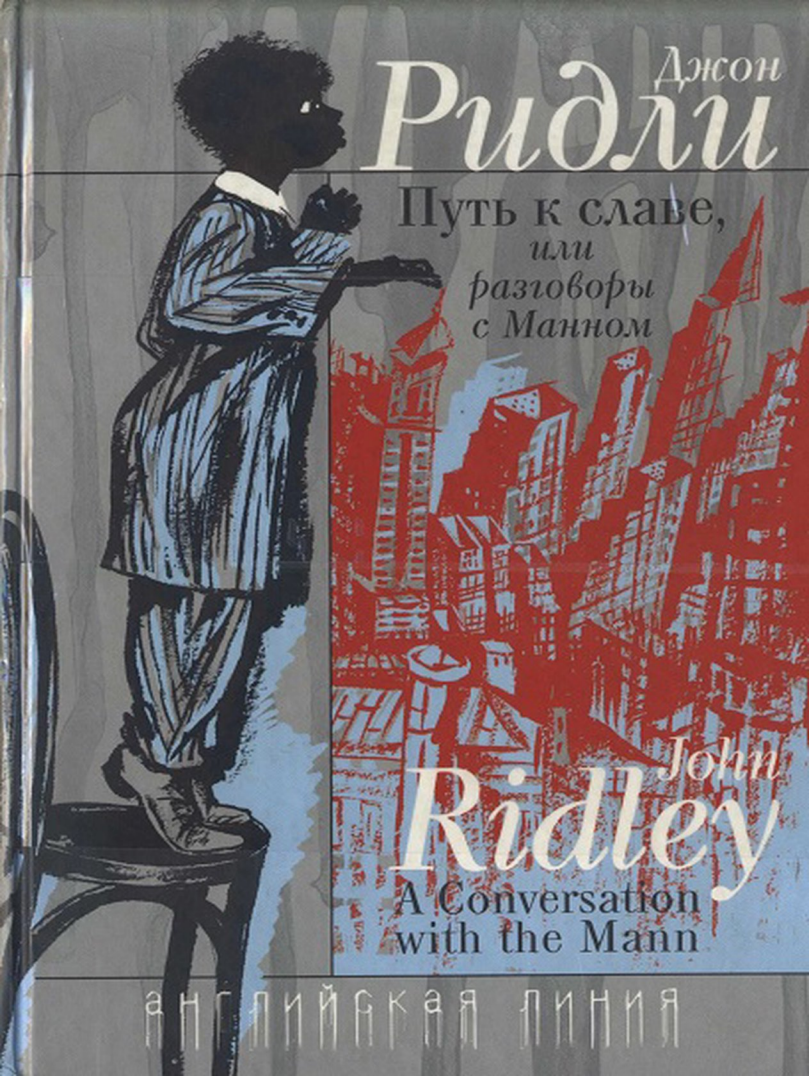
Джон
Ридли
Путь к славе,
или
разговоры
с Манном
John
Ridley
A Conversation
with the Mann
АНГЛИЙСКАЯ ЛИНИЯ

Путь к славе, или Разговоры с Манном

Джон Ридли

Аннотация
Джон Ридли. Путь к славе, или Разговоры с Манном
Предисловие
Часть I
  Начало пути
Часть II
  Март 1956 — июль 1957
Часть III
  Август 1957 — февраль 1958
Часть IV
  Март 1958 — май 1959
Часть V
  Июнь 1959 — январь 1960
Часть VI
  Февраль 1960 — декабрь 1961
Часть VII
  Январь 1962 — июнь 1963
Наши дни

Аннотация

Джон Ридли — известный американский писатель, сценарист и кинопродюсер. Мировую славу ему принесли романы «Любовь — это рэкет» (Love is a Racket, 1998), «Все горят в аду» (Everybody Smokes in Hell, 1999), но прежде всего — «Бродячие псы» (Stray Dogs, 1997): книга стала основой психологического триллера «Поворот» (U-Turn), снятого культовым режиссером Оливером Стоуном с Шоном Пенном, Дженнифер Лопес и Ником Нолти в главных ролях. Сильнейший козырь Ридли — сюжетность. Он мастерски плетет интригу, закручивая фабулу в немыслимо упругую пружину, которую отпускает в нужном месте и в нужное время. «Свой — среди чужих, чужой — среди своих» — излюбленный тип конфликта у Ридли. В романе «Путь к славе, или Разговоры с Манном» чужие — это мир шоу-бизнеса, куда стремится герой, свои — нью-йоркский Гарлем, откуда он мечтает вырваться. Среди героев книги, чьи характеры показаны выразительно и беспощадно, — Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис-мл., Эд

Салливан, Фрэнк Костелло и немало других реальных звезд и криминальных авторитетов Америки 1950–1960-х.

Джон Ридли
Путь к славе, или Разговоры с Манном

Памяти Этты Дженнингз

Предисловие

Впервые я встретил Джеки Манна в «Зеленой кухне». «Зеленая кухня» находилась на Манхэттене, в Верхнем Ист-Сайде. Это был маленький ресторанчик, где мы с ребятами — Суини, Ричи и Рейдером, да благословит его Господь, — обычно встречались, чтобы поужинать после выступлений в «Полоске», «Трофее» и «Стоячке». Вот почти и все ночные клубы с развлекательной программой, где мы работали. Если, конечно, можно назвать работой маету до двух часов ночи в надежде выступить перед аудиторией из шести человек. Но именно это мы и делали — маялись до двух ночи, потому что как раз в это время молодых комиков вроде нас выпускали на сцену важные клубные шишки, которые прежде содержали бары, — это комедийный бум восьмидесятых превратил их бары в увеселительные заведения, а их самих — в важных клубных шишек. Разумеется, восьмидесятые годы закончились и большинство клубов закрылось, а важные клубные шишки снова превратились в держателей баров. Но я совсем не об этом соби-

рался рассказать.

Я собирался рассказать о том, как повстречал Джеки Манна в «Зеленой кухне», куда обычно заглядывали перекусить мы, энтузиасты развлекательного жанра. Это было отличное место. После тяжелой ночи, когда приходилось пятнадцать минут подряд сыпать шутками, нам было о чем поворчать, покуда мы обменивались всевозможными историями о выпавших на долю каждого приключениях. И вот однажды утром, наворчавшись и наговорившись, когда ребята уже приготовились отправляться по домам, я собрал у всех деньги и подошел к стойке, чтобы расплатиться. И вдруг какой-то чернокожий старик, стоявший там, промямлил, обращаясь ко мне: «Дай-ка мне доллар. У меня тут не хватает, чтобы за жаркое заплатить», — или что-то в этом роде. Старик ничуть не выглядел оборванцем или попрошайкой. Скорее, он был похож на человека, забывшего деньги дома и решившего стрельнуть доллар, которого ему, как назло, не хватало. Но то, что он произнес, он произнес уверенным тоном, как нечто само собой разумеющееся. Произнес так, будто я ему должен этот доллар. Произнес таким манером, что я даже подумал: наверно, ему весь свет что-то должен.

Я дал ему два доллара.

И не услышал в ответ даже «спасибо». Вместо этого старик сказал, что уже видел меня здесь несколько раз, и поинтересовался, что это я делаю так поздно в «Зеленой кухне». Я ответил, что я — комедийный актер. Он посмеялся и переспросил: «Правда?» Я подтвердил, тогда он сказал: «Знаешь, я тоже когда-то был комиком».

Я этого не знал, я вообще понятия не имел, что за человек этот чернокожий старик.

Он сказал, что его зовут Джеки Манн, а я — в ту пору я был юным и дерзким — сообщил, как зовут меня, и добавил, что ему стоит запомнить мое имя, потому что когда-нибудь оно будет известно всем. Когда-нибудь я стану по-настоящему знаменитым.

Джеки снова посмеялся. *Надо мной.* А потом сказал, что лучше не мечтать о том, чтобы стать звездой, потому что мечты так и останутся мечтами.

На сей раз посмеялся уже я. Да кто такой этот старик, чтобы говорить мне, будто я не стану знаменитым? Все мы, я и мои ребята — Суини, Ричи и Рейдер, да благословит его Господь, — когда-нибудь выбьемся в люди.

Не больно-то это сбылось. Суини принялся пи-

сать хохмы для ток-шоу, Ричи продолжал пахать на клубных площадках в Нью-Йорке. Рейдер… да благословит его Господь. Но я совсем не об этом собирался рассказать.

Я собирался рассказать о том, как, встретив Джеки Манна, я уже не мог выбросить его из головы. Почему — не знаю. Я никогда о нем не слышал, а потому забыть о нем, казалось бы, легче легкого. Я ведь сам был комиком, я знал комиков, и не просто там каких-нибудь именитых типов из комедийных сериалов или еще более раскрученных типов из киномира. Пигмит Маркхем, Ольсен и Джонсон, Эрни Ковач, Годфри Кембридж, Джордж Керби. Не важно, знаменит ли я был или нет, черен или бел, я знал свою историю, а раз я ничего не знал про Джеки Манна, значит, Джеки Манн не стоил даже усилий, необходимых для того, чтобы выговорить его имя.

И все-таки…

То, как он посмеивался надо мной, как советовал забыть мечты о славе, — все это склоняло меня к предположению, что он знал, о чем говорит.

В нашей компании была одна девушка, тоже комедийная актриса, ее отец когда-то давно, еще в «золотом веке», работал на телевидении. И я

попросил ее узнать у отца, не слыхал ли тот про этого Джеки Манна.

Она расспросила отца.

Ну и ну — слыхал ли он про Джеки Манна?! Он помнил, причем превосходно, все эти истории, с которыми и мне предстояло подробно познакомиться: о том, как Джеки Манн выступал в «Копе» и в «Сайрос», вращался в компании Синатры, Дайно и Деймона. О его отношениях с девушкой Тамми, с которой он то ссорился, то мирился, то расходился, то сходился, о внезапной женитьбе, о незадаче с шоу Фрэн Кларк. И конечно же то, что вышло с шоу Салливана.

И вот я смутился, слушая рассказ о событиях и происшествиях, которые были известны и памятны многим, но совершенно неведомы мне. Стало стыдно, что человек вроде меня, — человек, воображавший, будто кое-что знает и об истории комедии, и о своих предшественниках, обнаружил столь полное невежество.

Я решил не оставаться больше невеждой.

Я еще несколько раз наведался в «Зеленую кухню», прежде чем снова встретил там Джеки Манна и упросил, умолил его поделиться со мной воспоминаниями.

К счастью, он согласился.

И за целой чередой тарелок с картошкой, жаренной во фритюре, Джеки по кусочкам рассказывал мне о давно минувшей эпохе, рассказывал с таким жаром и выразительностью, что каждый миг представал передо мной отчетливо и явственно. Чтобы записать его рассказ о том, когда, где и как все происходило, мне потребовалось больше десятилетия. Этот рассказ был со мной, пока я переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, поменял работу в клубах на телевидение, потом стал сценаристом и, наконец, слава Богу, начал публиковать книги. Так удачно сложилось, что рассказ Джеки, подобно доброму вину, с годами сделался только лучше.

Об этом-то я и собирался рассказать.

Джон Ридли 28 марта 2002 Голливуд, Калифорния

* * *

Вот что я вам скажу.

Ты останавливаешься. Ты не в силах продолжать. Не в силах больше вымолвить ни слова. Тебе мешают аплодисменты — этот мясистый звук тысячи хлопающих рук. Мужских рук — ухоженных, скорее всего, и с кольцами на мизинцах. Женских рук — с перстнями, скорее всего, на пяти,

шести или семи пальцах из десяти; перстни подобраны к браслетам, а те подобраны к ожерельям, к которым подобраны серьги. Скорее всего. Наверняка ведь не знаешь. Все это сокрыто от тебя: драгоценные камни, пышные рукава и высокие прически, поблескивающие костюмы и атласные платья; от тебя скрыт модный шик эпохи. Свет прожекторов ослепляет тебя, и разодетые в пух и прах люди превращаются в массу слипшихся силуэтов — в живое чернильное пятно, которое пляшет, пустословит и вопит, как единое целое.

Вот что я вам скажу.

Так-то оно и лучше. Лучше, чтобы они были ненастоящими, нестрашными, а ты был сверхнастоящим, высвеченным. Сияющим. Находясь на сцене, ты возвышаешься над столиками, за которыми они сидят, делаешься выше на три фута. В глаза слепит свет, и тебе остается только вкус — да, вкус — и запах этих людей; дым, почище паровозного, исторгаемый «Фатимой» и «Честерфилдом», которые они курят, — такой густой, что его только что не жуешь и неизбежно вынужден глотать, — вперемешку с ароматами двух десятков разных духов, шибающих в нос чем угодно, — от «Шанели» до «Вулвортса». Ты стоишь, единоборствуя с шумом от хлопанья

тысяч рук, со свистом, ревом и случайной репликой, раздающейся после твоей остроты: «Вот уж правда! Потому и смешно, что правда!» И все это не дает тебе вымолвить ни слова. Ты не в силах продолжать.

Итак, вот что я вам скажу.

Я и не думал продолжать. Я остановился и ждал, пока это чернильное пятно перестанет надрываться от хохота. Я стоял и ждал, вбирая в себя аплодисменты и всеобщую приязнь. Я ждал, и ожидание все длилось. Оно продлилось настолько, что второе шоу в зале «Копа», отеля при казино «Сэндз» в Лас-Вегасе, штат Невада, затянулось. А второе правило всех казино, подобно нерушимому закону природы, гласило, что развлекательные представления не должны затягиваться. Первое же правило гласило, что выпивка для клиентов должна быть бесплатной. Бесплатная выпивка, бесплатная еда, бесплатный ночлег… В общем, клиентов следовало всячески ублажать, чтобы они оставались за столами, где расклад шансов таков, что вырвать деньги из их упитанных, проспиртованных пальцев легче легкого. Но чтобы всякое казино получало свою наличность, клиент должен находиться за игровым столом, а он не мог находиться за

столом, пока сидел в эстрадном зале, заливаясь смехом, восторгаясь какой-нибудь певичкой или еще как-то отвлекаясь от игры. Ребята из Нью-Йорка, Чикаго и Майами — дружная команда крепко сбитых итальянцев и оборотистых евреев, которые тихо, очень тихо управляли этими казино, — вовсе не были заинтересованы в том, чтобы клиенты отвлекались от игры. Не для того же они бросили свои большие города и приехали сюда, в пустыню, чтобы открыть тут сеть благотворительных заведений. Отсюда и второе правило: представления не должны затягиваться. Никогда. Практически никогда. Исключением стал первый день октября 1959 года. В остальном те двадцать четыре часа были примечательны лишь своей незначительностью: русские вели себя хорошо. Шоу Донны Рид только-только появилось на ТВ. Прошло всего несколько месяцев со времени первого свидания куклы Барби с Америкой. Свежеиспеченной пятидесяти штатной Америкой. В остальном это был очередной день под лозунгом «Айк[1] — президент, Кастро — зло, Элвис — Бог». Если не считать того, что второе выступление в зале «Копа», отеля при казино «Сэндз» в Лас-

[1] Примечания: 1

Айк — прозвище Дуайта Дейвида Эйзенхауэра (1890–1969), 34-го президента США.

Вегасе, штат Невада, немыслимо затянулось, и затянулось из-за меня, а я нисколько не боялся рассердить итальянцев или евреев. Мой номер предварял выступление мистера Дэнни Томаса. Каждому разогревщику отводилось ровно шесть с половиной минут, чтобы подготовить публику к главному развлекательному действу какой-нибудь голливудской звезды, длившемуся ровно сорок три с половиной минуты, после чего стадо зрителей уводили обратно в казино, к очередной халявной порции выпивки. Но в ту ночь — как еще множество раз — я разил без промаха. Я не просто хорошо выступал: я бил толпу наповал, я заставлял это чернильное пятно колыхаться в проходах между рядами. Мне пришлось стоять и ждать, пока не иссякнут смешки и хлопки.

Некоторые артисты с именем не любят, когда разогревщик слишком заводит публику. Только попробуй вылезти за пределы отведенных тебе шести с половиной минут! Сцена принадлежит им, и только им, и они даже не допускают мысли, что кто-то может завладеть вниманием публики до того, как появятся они. Но Дэнни Томас не был какой-нибудь мелкой сошкой. Дэнни Томас был набирающей величину звездой из телевизионного шоу, занимавшего четвертое место в

рейтинге Нильсена. Дэнни Томас мог выступить вслед за мной и взмыть еще выше. Он дал мне знак задержаться на сцене еще на пару минут. А эта лишняя пара минут означала, что представление затянется. Ну и что? Владельцы казино не были до такой степени тупы, чтобы не понимать: публика, настолько заведенная хорошим шоу, вернувшись за игровой стол, станет делать совершенно безумные ставки.

Потому-то мне и позволялось шутить дольше положенного.

Главное — ублажить клиента.

Наконец я закончил, и на сцену вышел Дэнни, не преминув вытащить и меня — раскланяться еще раз-другой. Затянув под металлический грохот оркестра свой коронный номер «Парнишка Дэнни», он настроил публику на подобающий лад, а я устроился у дальней стенки, откуда мне все хорошо было видно, и стал размышлять: как я сюда попал? Чернокожий малый из Гарлема, выступающий на подмостках лучшего клуба в шикарнейшем из городов мира, разогревающий зал перед выходом на сцену одной из самых крупных эстрадных звезд. Прошло всего несколько лет с тех пор, как я прорвался в шоу-бизнес, и вот у меня уже есть почти все, о чем можно мечтать.

Теперь почти все в моих силах.

Но вот чего я не могу — так это выйти из зала «Копа» и очутиться в самом казино.

На календаре был 1959 год, и существенная разница между Лас-Вегасом, штат Невада, и Бирмингемом, штат Алабама, состояла в том, что на Юге всюду были развешаны знаки, запрещавшие чернокожим входить туда-то и делать то-то: ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ, ЦВЕТНЫМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. В Лас-Вегасе же об этом нужно было догадываться самому. И догадываться приходилось не мешкая. Держись подальше от Стрипа[2], поближе к Вест-Сайду. И уж тем более держись подальше от *их* казино. Не важно, что ты блистал на клубной сцене, не важно, что публика смеялась и хлопала, не важно, сколько раз ты раскланивался, — *за порогом* был все еще 1959 год, и *там* чернокожих не привечали. Нельзя остановиться в отеле. Нельзя отобедать в ресторане. Нельзя играть в казино.

А мне больше всего на свете хотелось сыграть в казино.

И не ради того, чтобы сделать безумную ставку, не ради того, чтобы рискнуть приличной сум-

---

[2] Примечания: 2

Стрип (букв. «Полоска») — группа казино и отелей в Лас-Вегасе, штат Невада.

мой денег. Чего мне хотелось — так это просто очутиться около игрального стола, рядом со всеми этими людьми — мужчинами в костюмах, дамами в самых нарядных платьях, живущими на широкую ногу, в темпе, в стиле коктейльных вечеринок. Мне хотелось увидеть, как они будут расступаться, словно воды Чермного моря, когда я направлюсь к рулетке, хотелось услышать их звездную болтовню: «Отлично выступил сегодня, Джеки», «Сногсшибательное шоу, Джеки. Не помню, когда я так хохотал в последний раз», «Не подойдешь поздороваться с моей женой, Джеки? Она твоя большая поклонница. Ей будет приятно». Мне хотелось, чтобы они любезничали со мною, восторгались и продолжали изливать свою любовь так же, как делали это, когда я выступал на сцене, на три фута возвышаясь над ними.

Я хотел, чтобы они приняли меня.

Приняли? Да они меня в упор не видели. Я получал в неделю почти тысячу долларов, я выступал на сцене, предваряя выход величайших эстрадных звезд, публика аплодировала мне стоя… И тем не менее, когда представление заканчивалось, меня отправляли на улицу через черный ход.

Знаете, зачем существуют черные ходы? Чтобы

выносить всякую дрянь. Они существуют для мусора, гниющих отбросов — и для чернокожих комиков. Не важно, что минуту назад ты блистал на эстраде.

Дэнни Томас уже раскачал аудиторию. Ему нужно было раскачать ее как следует, чтобы никто больше не вспоминал мое выступление и не перешептывался обо мне. О том, что я показал себя.

Я ощутил теплоту. И тщеславие. Я ощутил укол гордости, и в голове у меня поплыло.

И тут я решился на это. Никаких долгих споров с самим собой, никаких усилий. Я просто решился. Просто распахнул настежь двери — и вышел из зала «Копа» в казино.

Хотя в казино стоял шум — гудели игровые автоматы, челюсти чавкали чипсами, новенькие купюры хрустели на зеленом сукне столов, — я готов поклясться, что в ту секунду, когда я переступил порог, в заведении воцарилась гробовая тишина и столь же гробовой холод. Я услышал перешептывание. Буквально *услышал* каждый взгляд. Кое-какие из этих взглядов вопрошали: «Это что — Джеки Манн?» Некоторые говорили: «А я и не знал, что это заведение настолько прогрессивно». Большинство же взглядов крас-

норечиво говорило вот что: «Какого черта здесь делает этот черномазый?»

И вся звездная спесь, которую я принес с собой, мигом улетучилась от их гневных пристальных взглядов и тихого презрения. Меня затрясло. Меня бросило в пот. Я почувствовал, как бисеринки испарины проступают у меня на лбу. Я вспомнил про чернокожих детишек из Литл-Рок — тех самых, которые решились переступить порог средней школы для белых. Я вспомнил о том страхе («Ради Бога, не линчуйте меня»), который въелся в их расовую память и проступал у них сквозь каждую прожилку при всем их напускном стоицизме. Я знал, что так, наверное, и сам сейчас выгляжу: Джеки Манн, борец за право негров играть в азартные игры.

Но я выстоял. Разыгрывая персону из высшего света, подражая Питеру Лофорду[3], я развязной походкой направился к рулетке, устремив взгляд на выигрыш. Вытащил из кармана стодолларовую бумажку. Пускай все видят. Пускай видят, что Джеки Манн играет по-крупному. Я только надеялся, что они не разглядят на лице, достойном Бена Франклина, пятнышко пота, оставшееся

[3] Примечания: 3

Питер Лофорд (1923–1984) — актер и певец английского происхождения; играл в голливудских мюзиклах и кинофильмах.

на нем от моей мокрой ладони.

Стол уже так близко…

Но тут-то и вышла остановка. Преграждая мне дорогу, между мной и рулеткой вырос один из распорядителей казино — утянутый в костюм, который едва прикрывал его телеса.

«Нельзя», — просто сказал он. И все. Вот так коротко. Так грубо. Не «Извините, мистер Манн», или «Вы знаете наши правила, мистер Манн», или хотя бы «Эй, парень, уноси-ка ноги подобру-поздорову, пока не схлопотал». Нет! Он лишь бросил «Нельзя» — будто выбранил собаку, испачкавшую его любимый плед.

По всему казино люди глазели на меня все бесцеремонней, они явно подстрекали вышибалу сделать что-нибудь с этим нахальным цветным, который самовольно забрел на их игровую площадку.

Я попытался выглянуть из-за плеча этого парня. Раз уж нельзя играть, могу я, по крайней мере, посмотреть на стол вблизи. Пускай меня вышвырнут из заведения, но я одержу хотя бы эту маленькую победу. Или большую. Но не тут-то было! Обогнуть громилу взглядом было задачей не из легких.

Он снова сказал мне: «Нельзя» — потом ударил

костяшками своего правого кулака, поросшего темными волосами, о левую ладонь. Звук при этом вышел такой, будто скала треснула. Этому парню платили за то, чтобы он улаживал неприятности. Я, как он думал, собирался доставить ему неприятность. Впрочем, и без всяких неприятностей он готов был двинуть мне — просто так, для тренировки, — а я бы всего-навсего подвергся очередному насилию, к которому так привык за свою жизнь.

Поражение подползало ко мне. А вместе с ним и унижение.

И вдруг сзади на мое плечо легла рука.

«Черт, — подумал я. — Видно, вышибала тут не один, а с дружками. Значит, бить меня будут со всех сторон, спереди и сзади, панорамно и широкоэкранно».

Только вот… Глаза вышибалы округлились, а губы как-то запрыгали. Хорошо поставленный голос проговорил за моей спиной, адресуясь к этому качку: «Все в порядке. Этот малый тут со мной».

Вначале я подумал было, что это Джек Энтрэттер — парень, улаживавший дела в «Сэндз» вместо отсутствующих владельцев, — решил вступиться за меня. Но, скосив взгляд, я увидел, что рука на моем плече — черная. И черная на-

столько, что я смотрелся рядом так, будто у меня всего восьмушка негритянской крови. Сам вид этой руки подействовал на меня как удар, выбросивший меня на Квир-стрит. Кто же был этот чернокожий, чернокожий в Лас-Вегасе в 1959 году, сумевший вселить такой страх в штатного холуя из казино?

Я обернулся и увидел. Обернулся и взглянул в глаза — в единственный зрячий глаз — мистера Сэмми Дэвиса-младшего.

Часть I

В Америке конца 1930-х годов:

Средний годовой доход белого мужчины равнялся приблизительно трем тысячам долларов. Черный мужчина зарабатывал примерно вдвое меньше.

Среди белых один из восьми не мог найти работу. Среди черных — один из четырех.

В среднем белый человек доживал до шестидесяти одного года. Жизнь черного была на десять лет короче.

В год около шестнадцати чернокожих погибали от линчевания — были повешены, сожжены или забиты до смерти.

Это официальные цифры.

Таков был мир, в котором я родился.

Начало пути

Думаю, вы и представить себе не можете одиночество ребенка, родившегося не таким, как все. Не в физическом смысле — не калекой, не уродцем, не ущербным. Я говорю о ребенке, который «не такой, как все», в том смысле, что это не поддается описанию или констатации, но не менее доподлинно, чем когда у ребенка повреждена рука или изувечена нога: он всегда пария, всегда стоит в углу подобно привидению и наблюдает, как мимо него невозмутимо проносится остальной мир. В нем как будто есть нечто странное и ненормальное, невидимое глазу, но бесспорно доказывающее: он не такой, как все другие. А эти другие смеются и глумятся над ним, ибо просто не знают иных способов обхождения с таким существом, кроме как осмеяние. И ты чувствуешь отчуждение, чувствуешь полное одиночество в мире людей и знаешь, что никогда не станешь таким же, как они, и никто никогда не примет тебя в свой круг… И это чувство будет сопровождать тебя всю жизнь. Как шрам, который никуда не исчезнет.

Я родился в Гарлеме. Как и когда именно, при каких обстоятельствах, — этого я не могу сказать наверняка. К тому времени, когда я достаточно повзрослел, чтобы заинтересоваться подробностями этого события, мне уже некого было спрашивать. Со своим папашей, Кеннетом Манном, я почти не разговаривал. С матерью, Анной, поговорить уже не мог. Но точно знаю: самым приятным днем моего детства стал день, когда я наконец расстался с ним бесповоротно.

Я был единственным ребенком в семье. Единственным ребенком, которого пожелала родить моя мать, и единственным ребенком, которого пожелал завести мой отец, — впрочем, слово «пожелал» можно употребить лишь с известной долей допущения, поскольку отец часто ставил под вопрос мою «желательность». Отец был крупного телосложения — выше шести футов ростом, а весом около двухсот фунтов, — и в целом производил впечатление человека одновременно сердитого и жалкого. Злость его было легко понять. Он был чернокожим, а судьба чернокожего в начале двадцатого века могла вывести из себя любого, даже самого мягкого по натуре человека. К тому же он был бедняком. А даже на Севере — промышленном, прогрессивном Севере — найти

постоянную, хорошо оплачиваемую работу было хитростью, которую мой отец так до конца и не освоил. Он брался за любую работу, какая подворачивалась, — чистильщика обуви, банщика, уборщика в подземке, разносчика газет. Взрослый мужчина, шести футов ростом, — и газетчик! Работать «невидимкой» — так это называл отец. Люди, которых ты обслуживаешь, в упор тебя не видят, пока ты чистишь им башмаки или передаешь полотенце, чтобы они вытерли свои руки. Ты просто выполняешь положенное, даешь им сдачу с их новеньких пятерок и десяток, а под конец говоришь им: «Спасибо, сэр». Но для них ты не существуешь. Тебя как будто нет. Я уже сказал: злость папаши мне была понятна.

Чего я не мог понять, так это природы его злосчастья. Наверно, это было связано с его увечьем. Сколько я помню своего отца, здоровье у него всегда было расстроено. Когда-то он работал на стройке. Конечно, не квалифицированным рабочим, не начальником. Чернокожие не могли получить образования, требовавшегося для подобной работы, а если получали, то попросту не могли устроиться на такую работу. Поэтому мой отец, как и множество других чернокожих отцов, работал вьючной скотиной — поднимал доски,

таскал кирпичи. Белым любой физический труд казался или слишком тяжелым, или слишком недостойным. И вот однажды, ишача на стройке, он повредил себе не то спину, не то бедро, когда то ли поднимал, то ли швырял что-то, то ли делал еще не знаю что. Сейчас я уже не помню. Не помню, насколько серьезной была травма. Ходил-то он хорошо, даже хромоты заметно не было. И по лестнице поднимался без затруднений, и тяжести ворочал, насколько я мог судить. Но он получил увечье. Так он всегда говорил. Увечье, достаточное для того, чтобы сразу прекратить работать и сесть на пособие. Сесть — и больше уже не выходить из этого статуса. Да и зачем? Он рассуждал так: зачем гнуть спину, зачем чистить кому-то обувь или торговать газетами, раз деньги можно получать просто так? Зачем искать работу, если, не занимаясь ее поисками, получаешь столько же? Оказавшись без дела, он постоянно напивался, а вскоре, поскольку выпивка перестала помогать ему скоротать день, перешел на травку и таблетки. Мой папаша начал злоупотреблять и спиртным, и дурью. Он пил все, что лилось. Курил все, из чего можно было скрутить косяк. Еще немного — и его устроил бы пакет с клеем. Кайф, под которым он находился, обретал самые раз-

ные личины. Бывал кайф от «спида», когда отец весь дрожал и плясал, без конца куда-то рвался, хотя идти ему было некуда. Хмельной кайф, обычно унылый и угрюмый, лишь подогревал его извечную злость. В таких случаях он никого не узнавал, бросался с кулаками на любого, кто попадался под руку, и стремился свести счеты с целым светом за «все хорошее», выпавшее на его долю. Находясь же под кайфом от травы, отец смеялся, хоть смеяться было и не над чем. Какая разница? Он умел находить повод для смеха, — если надо, паясничал и потешался над собой. Он шумел, кривлялся, изображал соседей по дому. Целое представление разыгрывал. Насмотревшись на него, не надо было включать телевизор. Отец был куда лучше. Телевизор же не бегал за тобой по всей квартире, не догонял, не щекотал, повалив на пол. Телевизор не хватал тебя, не подбрасывал в воздух, не таращился на тебя с такой пройдошливой, но любящей ухмылкой, не говорил тебе: «Мальчик мой, Джеки. Мальчик ты мой!» И мы с мамой, бывало, смеялись и подыгрывали ему, и пусть нам было безрадостно, пусть смеялись мы над человеком, который был одурманен наркотиком, это все-таки позволяло хоть на короткое время забыть, как трудно нам

живется. Если бы мне пришлось выбирать, то это, без сомнения, был бы мой любимый кайф. Вся беда в том, что отец, которого я оставлял утром, уходя в школу, вечером бывал уже совсем другим. Поэтому я очень боялся возвращаться домой и по дороге ломал себе голову: что меня ждет — объятия или подзатыльники? Сказка без конца — или несмолкаемая ругань? Иногда мне было страшно подниматься по ступенькам лестницы, которая вела к нашей квартире. Еще долгое время после того, как другие дети расходились по домам ужинать, так что не с кем было больше играть, я все сидел на крыльце нашего дома и сквозь все городские шумы, заглушавшие друг друга, изо всех сил вслушивался. Если я различал доносившийся из нашей квартиры смех, то поднимался. Если же слышал крики, грохот посуды… Ну, тогда мне приходилось засиживаться на крыльце до самой ночи.

Но, независимо от разновидности кайфа, отец был под ним каждый день. Без исключения. Пьянство и наркотики сделали его ни к чему не пригодным, именно эта непригодность — он не приносил совершенно никакой пользы своей семье — и делала его таким жалким. А все заботы о семье — коль скоро мы трое считались семьей

— ложились на плечи моей матери.

Мать у меня была красивая. Это мне особенно запомнилось. Она была очень темнокожей женщиной, родом с Карибских островов — во всяком случае, семья ее происходила оттуда. У нее были нежные черты лица, а легкая полнота делала его скорее округлым, чем худым. Волосы у нее не курчавились, а скорее вились и доходили до плеч: тогда про такие волосы говорили «хорошая прическа». Насколько я помню, у моей матери не было недостатков.

А еще я помню, что мама трудилась не покладая рук, добывая то, чего не мог обеспечить нам отец: сносную еду и приличную одежду. Дом наш — квартира, состоявшая из пары комнатушек на четвертом этаже, — был настоящей школой выживания. Когда не было мяса, чтобы сделать начинку для бутербродов, мы обходились одним хлебом. Когда не было хлеба, перебивались водянистым супом. Мы мирились с периодически забегавшими к нам крысами, потому что те пожирали тараканов, роившихся во всех темных углах. Зимой мы всегда зябли, но никогда не замерзали. Мы всегда хотели есть, но не умирали с голоду. Потому что благодаря маме мы все время как-то выживали.

Мама была горничной, или, говоря проще, домашней прислугой. Она убирала дома белых в Ист-Сайде и Верхнем Вест-Сайде, равно как и в любой другой части города, где можно было отыскать полы, которые требовалось отскрести, или уборную, которую требовалось отполировать до блеска. Мама трудилась изо всех сил. Работу она находила без труда. Людям она нравилась. Она была честной труженицей. И веселой — как сейчас помню. Просыпалась спозаранку и готовила мне завтрак, припасала кое-какие лакомства — например, разрезанные ягоды клубники, чтобы я съел их с кашей, — а потом выходила в предрассветную тьму и на подземке отправлялась в первую из четырех-пяти квартир или домов, где ей предстояло заниматься уборкой в тот день. Домой она возвращалась поздно, усталая, но неизменно готовила мне ужин, купала меня, а затем укладывала спать. И каждую ночь, когда мама гасила свет, я чувствовал у себя на лбу ее трепетный, как крыло бабочки, поцелуй. И слышал ее голос, шептавший мне в темноте: «Ты — необыкновенный, Джеки Манн. И не слушай, если кто-то с этим будет спорить».

«Необыкновенный» — говорила она. «Не такой, как все», — думал я.

Потом мама уходила, но, прежде чем уснуть, я слышал из-за двери, как она напевает или насвистывает какую-нибудь мелодию. Слышал, как она смеется каким-то своим мыслям.

А иногда я слышал, как она ругается с моим отцом. Не иногда, а довольно часто. Вернее сказать, ругался в основном он — твердил, что мы на грани разорения, потому что мама мало работает, или что она плохо следит за домом — это при ее-то загруженности, — или что она недостаточно быстро принесла ему ежевечернюю бутылку спиртного. Но, при всем при том, я не помню, чтобы мама хоть раз плакала от отчаяния или вздыхала под грузом дневных забот, которые назавтра обещали лишь возрасти. Я ни разу не слышал от нее жалоб, когда отец приползал домой на четвереньках после ночной попойки, заполняя всю квартиру запахом перегара, и валился спать на кровать или кушетку, а иногда, так и не добравшись до цели, прямо на пол. Несмотря на такую каторжную жизнь, мама никогда не роптала. Если я что-то и слышал от нее, то лишь тихие песенки, которые она напевала вполголоса по ночам.

* * *

Мой Гарлем отнюдь не переживал расцвета. Мой Гарлем, тот Гарлем, в котором я рос, уже не был колонией черной культуры, — там уже не жили Хьюз и Барт, Эллингтон и Уэбб, — он превратился в гетто для цветных. Да, мы тогда были цветными. Еще не неграми, не чернокожими и далеко еще не афроамериканцами. В те дни мы были цветными. В лучшем случае. А чаще всего нас называли «они» или «эти люди», — когда не называли просто-напросто старыми черномазыми. И пусть нам жилось легче, чем чернокожим на Юге, не церемонившемся с Джимом Кроу[4], снисходительном к линчеваниям, — все-таки быть чернокожим в Гарлеме было по-своему тяжело.

Депрессия ударила по всем. Всем нужны были деньги. Лишившиеся мест белые начали браться за грязную работу, которая раньше считалась уделом лишь чернокожих. Черные оказались совсем без работы. Но по-прежнему черные из других районов Нью-Йорка стекались в Гарлем. Черные с Юга, черные с Ямайки, черные из Вест-Индии.

---

[4] Примечания: 4
Джим Кроу — кличка, данная неграм расистами.

Они скучивались в наемных домах, набивались в квартиры, которые делили перегородками, чтобы потом заново перегородить, — а все потому, что верили, будто, живя в черной столице мира, обретают возможности, недоступные им в других местах. И ошибались. Гарлем превратился в квартал, сплошь заселенный народом, который не мог прокормить себя досыта.

По утрам на углу 131-й улицы можно было увидеть вереницу людей — изможденных мужчин, женщин с детьми, в основном в нищенской, заношенной до дыр одежде с чужого плеча, — растянувшуюся на целый квартал или даже больше. Все они ждали своей очереди, чтобы потереться рукой о Дерево Надежды. Обычное дерево, ничего в нем особенного не было, просто люди со слепым упорством отчаяния верили в миф, который рос вместе с самим деревом, будто оно обладает способностью приносить удачу. Удачу особого рода: всякий, кто дотрагивался до дерева, находил работу. Хоть какую-нибудь работу. Не знаю, понимал ли я это уже тогда или только позже почувствовал, какое грустное зрелище — видеть столько чернокожих, которые так разуверились в самих себе, что повально ударились в суеверие.

Добавьте к этой деградации паршивое жилье,

паршивые удобства, паршивые школы и образование. Присовокупите летний зной — и вы получите готовую смесь для взрыва всеобщего возмущения. Так обычно и происходит, если с людьми обращаются как со скотом и запирают их в клетки двадцать на двадцать. Бунты вспыхивают, если у человека отнимают пристойное положение в обществе, если единственным голосом, какой у него остается для самовыражения, становится язык насилия. На моей памяти Гарлем полыхал дважды. Один раз — в 1934 году, когда белый владелец магазина избил чернокожего подростка за то, что тот украл у него товара, может, центов на пять. Второй раз — в 1943 году, когда белый полицейский застрелил черного служащего, который пришел на помощь пьяной женщине. Пьяной белой женщине. И не важно, что дело происходило в северном городе — в Нью-Йорке. Чернокожий, который посмел дотронуться до белой женщины, мог рассчитывать только на пулю в лоб.

Но Гарлем, даже в пору депрессии, оставался Гарлемом. Большинству людей, живших там, никогда и в голову не приходило, что можно куда-нибудь переселиться отсюда. На каждой улице, в каждом доме бурлила жизнь. На каждой

пожарной лестнице дудел на рожке или саксе какой-нибудь парень, а снизу этим импровизациям вразнобой вторили девушки. Днем и ночью тут и там готовилась самая разная еда — ямайская, карибская, вест-индская. Негритянская еда. Весь Гарлем был, по сути, большой кухней под открытым небом, и запахи стряпни просачивались во все уголки каждого квартала. Пожарные гидранты служили для обливания в летнюю жару, а припаркованные машины годились для того, чтобы прятаться от снежков зимой. А за пределами Гарлема простирался Нью-Йорк-Сити. Нью-Йорк-Сити — с парками и поездами, с небоскребами и подобными узким ущельям улицами между ними, — он казался нам целым миром, разросшимся — дальше некуда. И мир этот принадлежал нам — мне и Малышу Мо. Малыш Мо был моим лучшим другом. Не припомню, как мы подружились. Он жил в соседнем доме, — впрочем, там же жила еще добрая сотня детей.

Другие дети со мной не водились.

Другие дети меня недолюбливали.

Другие дети считали, что я — не такой, как все.

Мо всегда был коротышкой для своих лет, так и остался потом недорослком. Он был толстяком, но с годами немного сбросил вес и сделался просто

коренастым. Кожа у него была очень темная, а посередине большой круглой головы располагались очень узкие глаза. Такие узкие, что, глядя на него, можно было усомниться, а видит ли он что-нибудь сквозь эти щелки. Иногда он вставал рядом с дешевым магазинчиком и притворялся слепым — просто так, чтобы кто-нибудь угостил его конфеткой. Ему доставалось очень много бесплатных конфеток. Другой отличительной особенностью Малыша Мо были его уши. У него они не были закручены и изогнуты, как у большинства людей. Они были сплошной мясной массой — как будто кто-то залил в них, как в формочку, горячий воск, а потом забыл выскрести. Однажды кто-то из ребятни решил подразнить Мо за то, что у него такие уши. Мо поколотил опрометчивого обидчика. За это Мо на две недели исключили из школы, но с тех пор никто больше и заикнуться не смел о его ушах.

Может, оттого, что Мо, как и я, знал, каково это — быть не таким, как все, мы с ним сошлись. Мы вместе шлялись по улицам. Подземка была для нас американскими горками, открытыми весь день, и мы катались от Бронкса до Бруклина и обратно. Хорошо было слоняться и в Центральном парке: в этом огромном ящике с шутихами нас

каждый день ждал какой-нибудь сюрприз. Там мы с Мо впервые в жизни увидели голую женщину, купавшуюся в пруду. Это была бродяжка, покрытая коркой грязи, с грудями, как длинные воздушные шары. Она была безобразна, отвратительна. От нее даже на большом расстоянии воняло. Но, как от какого-нибудь карнавального чудовища, от нее невозможно было отвести взгляд, и мы с Мо не сводили с нее глаз, пока она мылась. Мы стояли и глазели. Пип-шоу окончилось, когда в пруд с плеском плюхнулись двое полицейских, совершавших обход, и стали вытаскивать женщину. Она сопротивлялась как могла, но в конце концов им удалось ее вытащить из воды. Мы с Мо гиканьем проводили копов, которые оборвали наше знакомство с обнаженной женской натурой.

Однажды вечером я возвращался домой после того, как мы с Мо набегались по улицам. Мы наигрались всласть и уже подходили к моему дому. Возле крыльца стояла толпа, которая росла на глазах. Я не придал этому значения. Нью-Йорк, Гарлем: ступеньки крыльца служили тут своего рода клубом общения, где обсуждалось все что угодно — от судебного дела «Плесси против Ферг-

юсона»[5] до бибопа[6] и традиционной музыки. Я ничего не заподозрил и тогда, когда все эти люди посмотрели на меня, а потом отвернулись, не желая встречаться со мной взглядами. Все молча и нервно расступились, давая мне дорогу, и я вошел в подъезд. И тут меня охватило нехорошее предчувствие. Я был еще ребенком, но уже понимал: если взрослые замолкают и нервничают, значит, что-то стряслось.

Я оказался совершенно не готов к зрелищу, ожидавшему меня.

У основания лестницы, которая вела к нашей квартире, посреди овощей, рассыпавшихся по ступенькам, лежала моя мать. Мертвая. Она поднималась наверх, чтобы приготовить ужин, или постирать одежду, или выполнить еще какую-то работу перед наступлением очередной ночи, за которой должен был последовать еще один длинный день, и тут у нее не выдержало сердце. Отказало — как будто оно вдруг решило, что та

---

[5] Примечания: 5

«Плесси против Фергюсона» — судебное дело, решенное в 1896 г. Верховным судом США, подтвердившим право штата Луизиана на введение ж.-д. вагонов с отделениями «для черных». Это решение породило законы о всесторонней сегрегации в Южных штатах, сохранявшиеся вплоть до 1954 г.

[6] Примечания: 6

Бибоп — род джазовой музыки.

тяжелая и безрадостная жизнь, которую влачит моя мать, не стоит тех усилий, что уходят на перекачку крови. И отпустило ее с крючка. Дало ей умереть.

В одиночестве.

Меня рядом не было. Я где-то играл — вместо того чтобы что-то делать по дому, помогать, хоть как-то облегчать матери груз забот.

Отца тоже не было рядом. Он облегчал собственный груз забот с помощью алкоголя.

Я стоял, как мне показалось, целую вечность над распростертым маминым телом. Она лежала там же, где упала. Все эти люди толпились поблизости, но никто даже не удосужился прикрыть ее или перенести куда-нибудь. Никто не подошел ко мне, чтобы солгать, что все в порядке вещей, что моя мама просто отправилась в далекие края, где ей лучше.

Пожалуй, такая ложь не была бы неправдой. Хотя бы отчасти.

Но все эти люди — они и пальцем не шевельнули. Просто взирали на происходящее в смущенном молчании — как зрители, которые явились на представление, но жалели о потраченных деньгах.

Потом пришла Бабушка Мей и увела меня к

себе. Бабушка Мей не была моей бабушкой, она вообще не была ничьей бабушкой, — просто эту милую старушку, жившую по соседству, все любили и называли бабушкой. Она дала мне стакан молока и сказала, что я могу поплакать, если хочу.

И я расплакался.

Потом Бабушка Мей отвела меня ко мне домой. Мамино тело исчезло. Продукты, упавшие на пол вместе с ней, — тоже. Мы поднялись по лестнице, пройдя площадку, на которой оборвалась жизнь моей матери, и вошли в нашу квартиру.

Наконец возвратился домой мой отец, как всегда, распространяя вокруг себя запах спиртного. Бабушка Мей рассказала ему, что стряслось с мамой.

Секунду он стоял молча, будто его оторопь взяла. А потом сказал:

— Черт возьми. Знаешь, сколько теперь гробы стоят?!

* * *

Теперь, без мамы, наша жизнь изменилась. И не просто в том смысле, что мне не хватало ее каждую минуту каждого часа. Отец — пусть он был теперь единственным взрослым в семье

— после смерти мамы отнюдь не стал для меня лучшим родителем. Скорее, худшим. То ли из-за бремени вины, которое легло на него (надеюсь, он это чувствовал), то ли потому, что пропало благотворное мамино присутствие, то ли просто потому, что теперь он был волен жить так, как вздумается, — отец вовсю предался своим порокам, причем все прежние разновидности кайфа уступили место одному. Злобному, угрюмому. Теперь это происходило так: либо отец бодрствовал и все крушил, либо начисто отключался. И если он и раньше был неспособен работать и обеспечивать семью, то теперь сделался еще менее способным к этому. Пособие уходило на *его* основные нужды — то есть на спиртное и на оплату квартиры, чтоб было где напиваться и отключаться. А деньги на еду, на одежду, на другие *наши* потребности должны были появляться из какого-то другого источника.

Этим другим источником стал я.

И тут же дням моего детства — с беганьем по улицам, играми — наступил конец. Мне еще не исполнилось одиннадцати, а я уже брался за любую работу, радовался любому заработку. В основном это была работа по случаю, работа, которую я получал из сочувствия ко мне: владельцы

магазинов, знавшие, что моя мама умерла, а папаша вечно мертвецки пьян, давали мне кое-какие поручения — помыть посуду или окна, отдраить полы. Между уроками и редкими часами отдыха в выходные я только и делал, что мыл, чистил, подметал, скреб или натирал, — мои маленькие черные руки не ведали покоя. Я слишком рано узнал, что такое труд. Тяжкий труд. Я прошел эту школу и постиг на собственном опыте, что такое приходить каждый вечер домой с пальцами, скрюченными от щетки или метлы, и с нестерпимо ноющей поясницей.

Под конец первой недели (мне она показалась целым месяцем каторжного труда) я пересчитал заработанные деньги. Пересчитал все монетки в один цент, в пять центов, прибавил к ним две монеты по двадцать пять центов. Всего — три доллара. Даже меньше. Не хватало еще около тридцати центов. За целую неделю. За столько-то часов! Три доллара. Даже меньше.

Я расплакался. Я плакал от жалости к себе, плакал по детству, которое закончилось. Я плакал о маме, о той жизни — теперь-то я испытал ее на собственной шкуре, — которой она жила: с утра до поздней ночи — тяжелый труд за гроши. Я плакал о своем будущем, которое вдруг отчетли-

во представилось мне как яркая картинка: мне повезет ничуть не больше, я так и буду ишачить, как бессловесная скотина, жить лишь для того, чтобы горбатиться изо дня в день, зарабатывая на пропитание.

Закончив плакать, я собрал свои неполные три доллара и положил их в банку, а банку спрятал в ящик. Улегся и заснул. Снова проснулся и отправился на работу.

В конце концов я нашел постоянную работу у сержанта Колавоула, который владел лавкой утиля. Иными словами, он торговал старьем. Находил разные поломанные вентиляторы, радиоприемники и часы, чинил их и перепродавал. В районе, где покупка новых вещей считалась неслыханной роскошью, сержант Колавоул делал неплохой бизнес. Но из-за того, что его лавка была забита всякой всячиной, подобранной с помоек, грязи там скапливалось невпроворот. Наводить в ней чистоту было сущей пыткой. Однако еще тяжелее было выслушивать болтовню сержанта. По его рассказам выходило, что он сражался в сопротивлении в Эфиопии и ему пришлось бежать в Америку как раз перед уходом итальянской армии. Таков был стержень его историй. Подробности, очень скучные, постоянно менялись. Но

сержант неплохо платил мне, и я слушал, делая вид, будто мне интересно.

Если я не брался за дополнительную работу, то шел в школу. От школы я получал не больше удовольствия, чем от работы. Кроме того, у меня все болело и ныло после мытья и уборки, и вдобавок у меня не оставалось времени на приготовление заданий (ведь дома никто не помогал мне с уроками), так что очень быстро я превратился в мишень для всеобщих насмешек. Денег нам не хватало, а на ту малость, что я зарабатывал, на ту малость, что не пропивал (не прокуривал, не пронюхивал) мой отец, новой одежды или обуви купить было нельзя. И хотя все гарлемские ребятишки смотрелись оборванцами, я в своих вечно коротких штанах и дырявых рубашках выглядел так, будто только что сбежал с бедняцкой фермы. Детей же хлебом не корми, только дай подразнить кого-нибудь — не толстяка, так очкарика. Теперь у них появился новый предмет насмешек — босяк Джеки.

Я оказался легкой мишенью.

Я был не таким, как все.

Меня задевало любое хлесткое замечание: «Что, Джеки, только что с хлопковых плантаций?»; «Джеки, разве ты не слышал — Линкольн

освободил рабов?»; «Джеки, нас не обманешь: ты не цветной — ты просто чумазый!» Все это было больно слышать, но еще хуже бывало, когда кто-нибудь из детей бросал мне монетки и велел почистить им башмаки или принести что-нибудь, как будто я у них в услужении. Это оскорбляло меня больше всего — то, что со мной обращаются как с ничтожеством. Меня злило, что они не уважают меня и им наплевать, что я работаю изо всех сил, чтобы прокормить себя и отца. Но как бы это ни задевало и ни злило меня, я все же принимал от них монетки. Позор, унижение — это доставалось мне сполна. Но доставались и их монетки. Любая мелочь была у меня на счету.

То, что не тратилось, я откладывал, всегда заботясь о том, чтобы хватало денег на выпивку или травку для отца. Если ему лень было отправляться за ними самому, эту работу проделывал за него я. В Гарлеме раздобыть наркотики было проще простого. В остальных частях города полиция охотилась за торговцами дурью и наркоманами, но за 125-й улицей хватали только цветных. Цветные грабили цветных, чтобы потом попасться. Цветные убивали цветных за то, что те попадались. Что тут такого! Цветные! Так пусть подыхают.

Не хочу сказать, что для этого существует какой-то подходящий возраст, но тем не менее я был слишком молод, чтобы покупать спиртное и тому подобное. Однажды я высказал это отцу — что не годится мне, совсем еще мальчишке, бегать по углам или темным переулкам за наркотой, рискуя попасть на глаза полиции. Он так ударил меня по голове, что у меня из уха пошла кровь. Больше мы не возвращались к теме моего возраста и его наркотиков.

* * *

По воскресеньям бывало хорошо; пожалуй, только воскресенья были теперь приятными днями моего детства, от которого остался один скелет. По воскресеньям я ходил обедать к Бабушке Мей. В пять часов вечера я ускользал из дому и отправлялся к ней — жила она в паре кварталов от нас, — а моему отцу было наплевать — иду ли я в гости к ней или собираюсь играть на контактном рельсе железнодорожного полотна. Лишь бы, уходя, я оставлял ему бутылку спиртного или упаковку его зелья.

До Мей оставалось идти еще больше квартала, а вы уже улавливали запахи, доносившиеся с ее кухни, — заливной ветчины, оладий с яблоками,

свежевыпеченного горячего хлеба. Даже если бы вы не знали дороги, то одни эти ароматы привели бы вас к ее порогу. Иногда Мей приглашала на обед только меня. Но чаще всего она звала еще кого-нибудь из нашей округи. То мать-одиночку, которой нечем было кормить ребенка. То вдовца, который, не позови его она, по привычке сидел бы у себя в одиночестве и жевал какие-нибудь консервы. И так далее и тому подобное. Если находилась в нашем квартале живая душа, которой было плохо, Мей тут же спешила на выручку.

Пока Мей заканчивала готовить, я помогал ей по дому — мыл или чистил все, что нужно. Если у стула отваливалась ножка, я приколачивал ее, если двери начинали скрипеть, смазывал петли. Вся прочая работа, которую я выполнял в течение недели, была лишь разминкой перед теми мускульными усилиями, которые я вкладывал в поручения Бабушки Мей. Ведь остальные, при всей их доброте, давали мне лишь деньги в обмен на мой труд. Мей же давала мне любовь.

Застольные разговоры растягивались на несколько часов — у Мей не было переводу историям из ее молодости, прошедшей в штате Индиана. Ее тамошняя жизнь, похоже, была неблагополучна и тяжела, но часто скрашива-

лась маленькими радостями — вроде свежих яблок, которые можно было срывать прямо с дерева по дороге в школу, вроде церкви, которую пришлось устроить в чистом поле, потому что у местных прихожан не было денег ни на строевой лес, ни на гвозди. Там от мамы и бабушки она научилась готовить все — от кукурузного хлеба до листовой капусты. Ее кулинарное искусство я ощущал в подцепляемом моей вилкой куске любого яства, лежавшего на тарелке.

Но сколько бы ни длились эти неисчерпаемые рассказы, ровно в восемь часов они прекращались. Все получали по порции мороженого, и вокруг «Филко» Бабушки Мей расставлялись стулья. Без двух минут восемь телевизор включался, чтобы он успел нагреться, а в восемь это случалось. Для нас, как и для почти всей Америки, начиналась программа «Любимцы города».

В эфир выходил Эд Салливан[7].

Спутниковое телевидение, кабельное телевидение — все это появилось потом, тогда было только обычное телевидение. А на телевидении

[7] Примечания: 7

Эд Салливан (полное имя — Эдуард Винсент; 1902–1974) — журналист и телеведущий. Популярны были, в частности, организованные им в Нью-Йорке в годы Второй мировой войны благотворительные концерты для раненых американских солдат.

было только три канала. А на этих трех каналах не было никого, кто мог бы сравниться с Эдом Салливаном. Из 50-й студии на углу 7-й авеню и 53-й улицы — в семидесяти кварталах от нас и как будто в другой вселенной — извергался поток блестящих зрелищ, песен и танцев. В течение часа мы с Мей и с другими ее гостями, вместе с остальными зрителями по всей стране, замирали перед экраном как зачарованные, и Эд знакомил нас с крупнейшими актерами из Голливуда и с Бродвея, с лучшими певцами и музыкантами, с эстрадными исполнителями со всего мира, из таких стран, о которых я раньше даже никогда не слыхал.

И с комедийными актерами.

Сколько я себя помню, мне больше всего нравилось смотреть на актеров комедийного жанра. Было в них, в том, что они делали, нечто такое… Человек просто стоял на сцене, один — никакого оркестра, никаких волшебных фокусов, — и говорил. Просто говорил. Но как говорил! Комик заставлял смеяться толпу людей, которых не знал и которые сами не знали друг друга. Уже в одной мысли об этом было нечто такое, что завораживало меня.

Проходил час — самый короткий, как мне каза-

лось, час за всю неделю, — и *«Любимцы города»* оканчивались. Мы с Мей и с другими ее гостями оставались сидеть и обсуждали передачу. Говорили, что неплохо было бы смотаться в Голливуд и посмотреть, как живут звезды, или прокатиться на Таймс-сквер и посмотреть какое-нибудь бродвейское представление, кусочек которого мы только что видели. Конечно, мы не могли этого сделать. И поездка в Калифорнию, и билет на Бродвей были нам по карману не более, чем покупка золотого слитка в оправе из бриллиантов. В глубине души мы прекрасно знали, что, скорее всего, никогда туда не попадем и никогда в жизни всего этого не увидим. Но затем-то и существовали Эд Салливан и его *«Любимцы города»*. Затем, чтобы мечтать.

Вымыв посуду и слегка размявшись, я прощался с Бабушкой Мей и шел домой, где находил отца уже в полной отключке после принятой дозы. Алкоголя, травки или таблеток. Кроме того, он завел привычку целыми днями не мыться, неделями не бриться и не стричься. В лучшем случае, он выглядел так, будто долго ехал в товарном вагоне. В худшем — скорее походил на зверя, чем на человека.

У нас в квартире, в большой комнате на полке

над камином, которым никогда не пользовались, стояла мамина фотография. Отец из чувства вины не убирал ее оттуда. Всякий раз, приходя вечером домой, я целовал этот снимок, желал маме спокойной ночи. А укладываясь спать, мысленно слышал ее голос — мама желала мне спокойной ночи точно теми же словами, как делала это при жизни: «Ты — необыкновенный, Джеки Манн. И не слушай, если кто-то с этим будет спорить».

Я знал: мама говорила так от чистого сердца. И мне хотелось верить ей.

* * *

Надин Рассел была первой девчонкой, которую я выделил из числа других. Я заметил ее, потому что увидел в ней не просто девчонку — одну из многих, — а что-то еще. Мне было почти двенадцать, а это тот возраст, когда мальчишки вдруг осознают, что девчонки — которых раньше они, естественно, недолюбливали — прямо на глазах превращаются в предмет поклонения. Я был еще слишком мал, чтобы испытывать сексуальное влечение, и мои чувства к Надин стояли в одном ряду с уже рождавшимся смутным желанием останавливаться у газетных киосков и глазеть на Джоан Беннет, Веронику Лейк и Лорен Бэколл,

чьи фотографии зазывно смотрели на меня с обложек киножурналов.

Чернокожие женщины никогда не появлялись на этих обложках. Чернокожие женщины не становились кинозвездами.

Хотя Надин всегда ходила в ту же школу, что и я, наступил такой день, когда я вдруг с оторопью понял, что мне необходимо ее присутствие, что мне непременно нужно видеть ее большие, как у лани, глаза и пухлые щечки, на которые я по неизвестной мне причине никак не мог наглядеться. Уже мысль о том, что день за днем я буду встречать ее в школе, наполняла меня сладкой истомой. Ради нее я стал тщательно мыться, чистить зубы и аккуратно причесываться. Она заставила меня делать то, к чему раньше не могла приучить даже мама — при всей моей любви к ней. А еще она вызывала во мне стыд. Ее отец работал на государственной службе — постоянное, приличное место, зарплата от правительства. В моих глазах это уравнивало семью Надин с важными персонами из жилых районов. А я — в своих обносках и стоптанной обуви, — наверное, казался ей последним голодранцем. И когда остальная ребятня дразнила меня и обзывала, я страдал гораздо больше, если Надин оказывалась

поблизости и слышала эти издевки, видела мои слезы. Хуже любых насмешек было для меня то, что она видит, какой я слабак. Надин только наблюдала — она никогда не присоединялась к моим мучителям, никогда не обзывалась, не смеялась. Иногда казалось даже, что ей было неприятно видеть все эти проделки.

В те дни, когда Надин выказывала мне нечто вроде сострадания, я испытывал к ней все те хорошие чувства, какие способен испытывать школьник к девчонке.

* * *

Закончив гнуть спину у сержанта Колавоула, я возвращался домой. Как и каждый вечер, я чувствовал при этом такую усталость, что сил мне хватило лишь на то, чтобы перекусить перед сном. Войдя, я застал отца на его обычном месте — он валялся на диване. Тело его, скрюченное над кофейным столиком, дергалось, он постанывал. Опыт подсказывал мне, что он сейчас отходит от своего, не важно какого, кайфа, падая с высоты все ниже и ниже. Я решил не тревожить его и на цыпочках, стараясь не производить шума, направился к себе в комнату: проходить мимо отца было все равно, что ступать по минному полю.

Один неверный шаг — и он взрывался эмоциями, не сулившими мне ничего хорошего.

Проходя мимо, я разглядел при свете лампы его лицо — на щеках блестели слезы. Содроганья, стоны: значит, отец не корчился от ломки, а рыдал. Его слезы капали на раскрытый фотоальбом, лежавший на столе. Мне стало любопытно (как любопытно бывает смотреть на разбившуюся машину), и я осторожно приблизился, трепеща при каждом отцовском движении. Но в этот вечер он был безобиден: его питало в данном случае не спиртное, а воспоминания, которые воскресил для него альбом с фотографиями.

Отец поднял голову, поглядел на меня. Глаза у него были потухшими, как и он сам.

— Джеки? — спросил он, словно не узнавая родного сына. — Джеки! — закричал он снова и вытянул в мою сторону руку. — Подойди сюда, мальчик мой. Подойди к своему папаньке.

Я сделал, как было велено. Не сострадание — страх гнал меня к этому человеку.

Отец дотянулся до меня, обнял и прижал к себе.

От него исходил смрад. Он по многу дней носил одну и ту же нестиранную одежду, она пропиталась по́том и испускала адскую смесь

отвратительных запахов. Уже много лет я не подходил к отцу так близко. И все, что я ощущал в тот миг, была бившая мне прямо в нос вонь.

— Погляди-ка сюда, Джеки. Вот, погляди. — Трясущейся рукой он силился ткнуть в снимок, где был изображен едва знакомый мне мужчина на каком-то тропическом побережье — молодой, сильный, красивый, с улыбкой на лице. Сколько же лет этому снимку — пятнадцать? Больше?

И отца прорвало. Он начал рассказывать, как когда-то работал на грузовом судне, бороздил моря и океаны. Побывал в Южной Америке, на Карибах, на Востоке. Он водил пальцами по фотографиям, пытаясь в буквальном смысле прикоснуться к своему прошлому, и рассказывал мне обо всем, что видел тогда, о дальних краях, которые повидал, причем каждая новая страна оказывалась диковинней и загадочней предыдущих. Может, все и правда так было. А может, годы, наркотики или нынешняя унылая жизнь помогли приукрасить те давние воспоминания.

Он рассказывал мне о своих женщинах. Не упуская ни малейшей подробности, отец рассказывал мне об экзотических красотках, с которыми он сходился, похоже, в каждом порту, куда заворачивал его корабль. Я не краснел от стыда, слушая

его истории. Я улыбался, с гордостью представляя себе, каким мужчиной был когда-то мой отец.

Он перелистнул страницу альбома. Там была фотография моей матери. Пускай черно-белая, старая и пожелтевшая: здесь мама, которую я всегда помнил красивой, выглядела совершенно бесподобной. Никогда еще я не видел ее такой молодой и красивой, как на этой фотографии.

Отец рассказал, как познакомился с ней — и сразу же выбросил из сердца и головы всех женщин, которых знал до нее. Рассказал, как полюбил мою мать.

Полюбил.

Это слово, слетевшее с отцовского языка, прозвучало будто иностранное.

Он выговорил его без труда.

А потом рассказал, как обещал моей матери, что у них будет дом, настоящий дом, семья и достойная жизнь. Но в те годы, давая подобные обещания, любой чернокожий становился лжецом. Оставив работу на корабле, отец, не имевший почти никакого образования, не сумел найти хорошую работу. Во время Великой депрессии[8] он вообще не мог трудоустроиться.

---

[8] Примечания: 8

Великая депрессия — экономический кризис 1929–1933 гг. в США.

А после несчастного случая и окончательно потерял охоту работать, просто не мог больше себя заставлять. Тогда-то он и сел на пособие.

Я как-то никогда раньше не размышлял об отце как о человеке, но, видно, у каждого есть своя гордость. Он принимал помощь, но всякий раз, как эти деньги попадали к нему в руки, они словно жгли ему ладонь: они напоминали ему, в какое ничтожество он превратился. Он оказался неспособен выполнить единственную обязанность любого настоящего мужчины — обеспечить свою семью. Спасаясь от стыда, он пристрастился к бутылке, а потребность в алкоголе все крепче привязывала его к пособию. Это была змея, пожиравшая собственный хвост. Он сломался не столько телом, сколько духом. Обстоятельства мололи, мололи и наконец перемололи его: пропойца, наркоман и драчун — вот и все, что осталось от молодого человека, улыбавшегося на фотографиях в альбоме на кофейном столике, склонившись над которым отец так теперь убивался.

Я впервые понял отца. Я не простил ему всего того, что он сделал с собой и с нами, не простил того, что он позволил своей жене — моей матери — угробить себя, вкалывая день-деньской. Но я

его понял.

И расплакался от жалости к нему.

Отец обнял меня своими слабыми руками.

— Все хорошо, Джеки, — сказал он. — Вот увидишь. Вот увидишь — все будет хорошо.

Мы немного посидели так, обнявшись, а потом отец уснул. Или отключился. Я поднялся, пошел к себе, улегся в постель, но еще некоторое время не мог заснуть, обдумывая то, что рассказал мне отец о своей жизни и о себе самом.

Наутро я проснулся рано, продолжая верить тому, что услышал накануне от отца, считая, что теперь у нас все будет хорошо, что жизнь как-нибудь наладится. Чтобы отпраздновать такой поворот, я стал готовить завтрак. Я решил не ограничиваться простой кашей. Я, как умел, испек оладьи, сделал яичницу, поджарил ветчину. Подражая Бабушке Мей, я красиво сервировал стол. Вот он — первый завтрак первого дня, начиная с которого все будет хорошо.

Я выложил еду на стол как раз в тот момент, когда на кухню вошел отец.

Я взглянул на него и улыбнулся.

Он тоже взглянул на меня и раскричался:

— Это еще что такое? Ты почему, черт тебя подери, спозаранку такой шум тут устроил, а?

Мне пришлось уворачиваться от полетевших в меня тарелок и вилок, от отцовских кулаков, и я бросился с кухни наутек. Пулей вылетел из дома на улицу, не успев надеть пальто, хотя стояли холода, зато остался без синяков. В ту минуту самое главное для меня было уйти от побоев.

Я пошел в школу, а после отправился работать к сержанту Колавоулу, потом еще заходил в разные места по соседству, делая все что угодно, лишь бы не возвращаться домой.

Возвращаться в конце концов все же пришлось.

Дома я застал привычную картину: отец сидел на диване. Он трясся и стонал. На сей раз не от воспоминаний. От пьяного кайфа. Когда я вошел, он меня не заметил. Просто сидел, трясся и стонал. Даже подобие того, что связывало его с человеком на фотографиях в альбоме — молодым, сильным, счастливым, — теперь исчезло без следа.

* * *

Я очень рано усвоил пару истин, которых придерживался потом всю жизнь. Первую я усвоил как-то раз — вернее, много раз — в школе: там надо мной смеялись, потому что я был плохо одет, был голодранцем, потому что мой отец пил, осме-

янию подвергалось все, что в моей жизни было не так. На площадке для игр ребятня со всех сторон окружала меня стеной рева и гоготанья, тыча в меня пальцами, как будто желая тем самым устранить последние сомнения: да, они дразнят именно меня. Их смех достигал двойной цели — больно задевал и злил меня. Но я был слишком запуган, чтобы броситься на кого-нибудь из обидчиков с кулаками. Проявить противодействие означало бы навлечь на себя побои. Просто стоять и глотать любые их насмешки было куда безопаснее.

Малыш Мо подходил, бывало, и пытался отпихнуть моих недоброхотов. В отличие от меня, Малыш Мо без колебаний лез в драку, если нужно было драться. Но Малыш Мо был один, а их — целая кодла. Они не обращали на него внимания и продолжали дразнить меня.

Мне хотелось убежать и спрятаться, однако они обступали меня плотным кольцом, так что бежать мне было некуда. Я готов был расплакаться, но мои слезы только раззадорили бы толпу. Не зная, что еще можно сделать, я решил сделать единственное, что умел. Я заговорил — и заговорил громко, чтобы меня слышали все:

— Да, точно. Я беден. Знаете, насколько я бе-

ден? Настолько, что даже не могу отплатить вам насмешками.

Они смолкли. Целую секунду они молчали, удивленные тем, что я решился заговорить.

А я продолжал:

— Черт побери, я настолько беден, что мне даже не на что поменять ту мысль, которая пришла мне в голову. Знаете, насколько я беден? У меня даже тень — и та дырявая.

Я повторял остроты, которые слышал от комиков в «Любимцах города». Я подражал их манере, интонациям. Как будто выступал на сцене.

Никто из ребят не знал, что делать, что сказать. Как же им было теперь смеяться надо мной, если я сам над собой смеюсь?

— Хотите узнать, почему у меня такие короткие штаны? Потому что это длинная история — купить новую пару.

Я продолжал в том же духе, и постепенно толпа маленьких мучителей, линчевавших меня словами, снова принялась смеяться. Только смех их переменился. Они смеялись именно тогда, когда этого хотел я, когда я велел им смеяться. Теперь ситуацией управлял я. Значит, позабавиться хотите? Я вас научу забавляться. Хотите смеяться? Я вас заставлю смеяться.

— Знаете, мой папаша подумывает жениться заново. Он даже не любит эту девушку. Ему просто хочется собрать тот рис, которым его будут осыпать во время свадьбы. Вы тут говорите еще, что у моего отца проблемы с алкоголем. Чушь! Он пьет, напивается, вырубается. И никаких проблем!

Прозвенел звонок. Пора было возвращаться на урок. Все побежали в класс, но теперь никто уже не гнался за мной по коридору, чтобы напоследок уколоть новыми насмешками. На этот раз они кричали мне:

— Еще, Джеки! Ну, еще одну прибаутку! Пожалуйста, Джеки!

Они говорили мне «пожалуйста».

А самое замечательное — это то, что, когда толпа разбежалась, я увидел красавицу Надин Рассел: она улыбалась мне дружелюбной, чудесной улыбкой.

Вторую истину я усвоил однажды летом, в июльскую субботу. Лето в Нью-Йорке бывало длинным и жарким. Жара стояла такая, что солнечный свет отскакивал от окон, отражался от тротуаров, а там, внизу, сгущался и превращал уличную твердь в нечто раскаленное и вязкое. Лето было длинным, от пекла деваться было некуда.

Зной томил нас каждый день до самого заката, а ночь оказывалась лишь ненамного прохладней миновавшего дня и грядущего адского утра.

В домах стояла такая же духота, как на улице. Квартиры превращались в настоящие печки, и наши маленькие старые вентиляторы фирмы «Дженерал электрик» с обтрепанными шнурами — такие были, кажется, у всех — вели жалкую и безуспешную борьбу с неподвижным удушающим воздухом.

Об общественных бассейнах нечего было и думать. Таких, где были бы рады цветным, просто не существовало. Иногда кто-нибудь откручивал вентиль у пожарного крана, приставлял упаковочную корзину к патрубку и превращал это сооружение в фонтан, где мы, дети, принимались плескаться и резвиться. Для меня звуки лета навсегда будут связаны с шумом воды, льющейся на бетон, и с детским смехом. С июня по август эти звуки раздавались на всех улицах всех жилых районов. Кому нужен бассейн под крышей, с подогретой водой и дорожками? Уж конечно, не нам, гарлемским огольцам. У нас, гарлемских огольцов, был городской пожарный кран.

Иногда.

А иногда приходили полицейские, отшвыри-

вали корзину, закручивали вентиль и запирали кран. Они заявляли, что это — собственность города, а мы не имеем права трогать городскую собственность, что это растрата воды, и если случится пожар, то нечем будет его тушить.

Так они говорили.

На самом же деле это означало: «Чтобы ноги вашей тут не было, черномазые!»

Тогда выдалась как раз такая суббота — страшная жара и скука. Мы с Малышом Мо и еще двумя соседскими ребятами сидели на крыльце, изнывая от зноя с каждой минутой все больше, и пытались придумать, как бы остудиться.

— Черт! — выпалил я (дома меня никогда не отучали чертыхаться). — А давайте просто сходим в кино. — В те годы в кино показывали не просто кино. Вначале шли мультики, потом короткометражка, потом рекламные ролики и только *потом* кино. Часто даже два фильма. Кино показывали весь день. Весь день — и, главное, в кинотеатре работал кондиционер. Там было ледяное царство вертящихся вентиляторов, рукотворной прохлады.

— А как мы туда попадем? — спросил кто-то из мальчишек.

— А как попадают в кино? — парировал я. —

Покупают билет и проходят.

Малыш Мо сказал за всю компанию:

— У меня нет денег на билет.

Билет в кино стоил тогда около четверти доллара. Для бедного чернокожего мальчишки это было все равно что пятьдесят долларов. Но для мальчишки, который ишачил шесть дней из семи, берясь за любую работу, часть его заработанных тяжким трудом денег не казалась слишком большой платой за прохладу — и фильм в придачу. А может, целых два фильма.

— Айда. — Я уже встал и был готов идти. — Я куплю билеты. Ну, давайте.

Я дошел до перекрестка и стал ждать, когда загорится зеленый, и вдруг заметил, что стою в одиночестве. Малыш Мо и остальные ребята по-прежнему сидели на крыльце.

Я зашагал назад.

Спросил:

— Ну?

— Ты, кажется, шел в кино.

— Ну да. Вы идете?

— Да как мы туда попадем…

— Я же тебе сказал, — оборвал я этого парня, — я покупаю билеты.

Малыш Мо осторожно, недоверчиво — так,

словно боялся спрашивать, — поинтересовался:

— Купишь — всем нам?..

Нас было четверо. Значит, билеты обойдутся в доллар. Еще утром, выходя из дома, я решил положить в карман три доллара. Три доллара — на еду, на коку и мороженое. Три доллара — на подземку. Три доллара — на то, чтобы не оставаться дома с отцом, который, скорее всего, уже ловит свой кайф любым из дюжины известных ему способов.

Я снова говорю ребятам:

— Да, всем. Ну что — вы идете, негры, или остаетесь сидеть тут на крыльце?

Мне приходилось слышать, как некоторые пожилые люди в нашей округе называют друг друга неграми, когда раздражаются на чужое поведение или чужую глупость. Употребив слово «негры» в этом смысле, я почувствовал свое превосходство — почувствовал, что я чуточку лучше или толковее, чем остальные ребята. Это чувство было для меня чем-то новым. Оно мне понравилось.

И вот что я вам скажу: вы, наверное, никогда в жизни не видели такой коллективной радости, какую тогда принялись выражать Малыш Мо и остальные. Они смеялись и веселились, и мне

приходилось бежать, чтобы поспевать за ними — с такой скоростью неслись они к кинотеатру. Я купил им всем билеты. И конфеты. Что такое еще пятьдесят центов на всех?! Мы сидели, смотрели мультики, короткометражку, рекламу, потом полнометражный фильм. А потом еще один фильм. То, что мы просидели там несколько часов кряду, а единственные черные лица, появлявшиеся на экране, принадлежали служанкам, кормилицам и отсталым аборигенам, в подметки не годившимся Большим Белым Охотникам, значения не имело. Единственным, что имело значение, была желанная прохлада.

Следующий день, воскресенье, прошел как обычно: сначала я держался подальше от отца, а потом настала пора отправляться к Бабушке Мей. Вкусная еда, приятная беседа, «Любимцы города», затем — снова домой.

Но в понедельник все круто переменилось. Как только я пришел в школу, ребята — те, с кем я был едва знаком, или те, кто еще несколько дней назад дразнил меня за то, что я босяк, что у меня отец — пропойца, — все они кричали мне: «Привет, Джеки!», «Как дела, Джеки?», «Может, помочь тебе с уроками, Джеки, ты только скажи!» Новость о том, что я, не поморщившись, раско-

шелился на билеты в кино и на угощение, как будто у меня денег куры не клюют, с невероятной быстротой разлетелась по школе. И все до одного захотели в следующий раз тоже поживиться за мой счет. Такое внезапное назойливое внимание к моей персоне — не важно, чем оно оказалось вызвано, — понравилось мне. Еще больше мне понравилось то, что улыбки Надин, прежде теплые, теперь сделались прямо-таки обжигающими.

Здесь-то и таилась вторая истина, открытая мной: нельзя заставить людей любить тебя, но нет никого, кому не нравился бы человек с деньгами.

Почти никого.

Однажды после уроков Надин доулыбалась до того, что я предложил ей угостить ее мороженым. Опаздывая на свидание, я помчался домой, чтобы взять денег. Устремился в свою комнату, открыл дверь, направился к копилке.

И вдруг остановился: на моей кровати сидел отец.

В комнате было темно, голову отец склонил низко, но я все-таки разглядел, что он в зверском состоянии: он мучился похмельем и отчаянно нуждался в выпивке, но, борясь с самим собой, предпочел дожидаться меня. Это требовало таких

усилий, что мышцы у него подергивались, по телу струился пот.

А он все сидел на моей кровати.

И, как бы его ни терзало желание опохмелиться, он все сидел и сидел, уставившись на предмет, который держал в руках. Это была моя банка-копилка, набитая деньгами.

Вот как развивались события: отец просыпается, отходит от дурмана, и тут же ему хочется снова вырубиться, а в доме нет ни грамма дури, в карманах — пусто. Он принимается шарить у меня в комнате, надеясь найти какую-нибудь завалявшуюся мелочь, хоть сколько-нибудь, чтобы хоть на пять центов приблизиться к желанной порции спиртного. А находит…

Находит…

Отец медленно поднял голову, словно ее утяжеляла вся та ярость, что скопилась у него внутри. И эта похмельная злость, кипевшая в нем, так исказила его лицо, что я почти не узнавал собственного отца.

— Это что?

— Пап…

— ЧТО ЭТО? — Его голос грохотал, как летний гром.

— Деньги.

Я не видел, как полетела копилка, да и не успел бы увернуться. Для забулдыги, который не мог справиться с похмельной дрожью, скорость была неплохая. И скорость, и меткость. Банка угодила мне промеж глаз — ровно в середину. Мой отец — резвейший из пьяниц. Очнулся я на полу, моя комната нависала надо мной под каким-то странным углом, украсившись по краям расплывчатой бахромой. Руки шевелились сами собой, изо рта вылетали слова на непонятном языке, которого я с тех пор никогда не слыхивал.

А посреди всего этого мой отец высился надо мной злобным темным пятном, как какое-нибудь чудовище из японского фильма ужасов.

— Никогда больше, — произнес отец — произнес настолько четко, насколько позволяла ему непрекращающаяся борьба с трезвостью, — никогда больше не прячь от меня ничего. Если я еще хоть раз найду заначку, ты об этом пожалеешь, сопляк! Ясно тебе? Слышишь меня?

Я что-то промямлил в ответ, шевеля своим новым языком.

— Еще как пожалеешь!

Ну, не больше, чем я сам себя сейчас жалел.

Кровь с переносицы, о которую разбилась копилка, стекла мне в правый глаз, и я заморгал.

Я так и остался лежать на полу посреди комнаты, истекая кровью. А отец ушел, предварительно забрав деньги.

* * *

Мелькнули — и пропали. Только что были на сцене — и уже нет. Хорошие артисты. Двое малых постарше и один помоложе исполняли сверхбыстрый танец, отбивая степ с молниеносной быстротой. Выбежали на сцену — и тут же прочь. Мелькнули — и пропали в мгновение ока. Промежутки между состязанием в скорости они заполняли кое-какими номерами в стиле «Чего изволите, сэр?», усердно улыбаясь — «Как я вам теперь, господин, а теперь как?» — и столь же усердно орошая эту улыбку по́том. Туфли из натуральной кожи скользят по паркету — сверкающие, темно-желтые. Скрип металла, затем — тик-так, тик-так. Хлопки. Качающиеся в такт головы в пандан к блестящей слоновой кости зубов. Миг колебания — когда кажется, будто сейчас угадаешь ритм, поддразнивание, затем снова скрип металла. Тик-так, тик-так. Настоящий водевиль, а не негритянское шоу. Отличная штука для разогрева. Ну, похлопаем хорошенько коллективу «Трио Уилла Мастина»? А теперь

черед главного номера.

Все же это были хорошие исполнители. Их показывали в *«Любимцах города»*, — значит, они должны были быть хорошими. Хорошими, но не великими — точно так же, как Тереза Бруэр была хорошей, но не великой. Так же, как Ал Хирт — трубач, нью-орлеанский джазист Ал Хирт — был хорошим, но не великим. Так же, как Дэвид Фрай был хорош, но совершенно не запоминался. Безымянная участь — вот что ожидало их всех.

При том, что совсем забыть это трио было нельзя. Ну, пожалуй, Уилла еще можно было забыть. Или его партнера, Сэмми Дэвиса. Но самый молодой артист был абсолютно ни на кого не похож. Сэмми Дэвис-младший, танцевавший посреди сцены, между двумя старшими родственниками, был как черная молния, сгусток человеческой энергии. Этот маленький человечек представлял собой сгусток веселья. Направьте на него свет юпитеров — и отойдите в сторону. Из него рвалась песня. Из него рвался танец, невероятно красивый и невероятно быстрый. Такой степ, что, глядя на него, начинало казаться, будто остальные двое вообще стоят на месте не двигаясь. Ноги скользили, перекрещивались, взлетали так, что хотелось произнести: «Быть такого не может,

просто быть не может». А потом он проделывал все это снова — только для того, чтобы доказать, что вы ошибаетесь. Я наблюдал за ним с таким же замиранием сердца, с каким обычно смотрел на канатоходцев. Сэмми Дэвис-младший умел завладевать зрительским вниманием без остатка. Он работал без сетки.

Та-та!

Вступил оркестр.

Сэмми и остальные двое поклонились в телевизоре. Из динамиков «Филко» Мей раздались взрывы аплодисментов: это хлопала публика, наблюдавшая трио вживе. Хлопала *ему* — Сэмми. Причем хлопали ему не менее энергично, как обычно хлопали белым артистам. Эд Салливан поднялся со своего места, пожал им руки. Пожал *ему* руку. Точно так же, как он пожимал руку белым артистам. Восхищение без дискриминации — вот что доставалось чернокожим исполнителям на телевидении. Вот что доставалось Сэмми. Остальным участникам трио это доставалось просто за то, что они были рядом. Это же доставалось Пёрл Бейли. Доставались и объятия в духе «плевать-на-спонсора». Доставалось все это и Билли Экстайну, и Саре Воэн. Эду и в голову не могло прийти лишить этих знаков Нэта Кинга

Коула. «Всегда приятно видеть тебя на шоу!»

«Спасибо, Эд! Мне тоже очень приятно». «Для меня огромная радость — возможность выступить перед тобой и перед публикой, Эд». «Эд, я бы хотел сейчас воспользоваться случаем и поблагодарить моих поклонников по всей Америке за поддержку». Они всегда так четко выговаривали слова. Чернокожие артисты, выступавшие в этом шоу, всегда выговаривали слова очень четко, и речь их была литературной.

Литературной. Иногда можно было услышать от белых: «Я видел Нэта Кинга Коула в *„Любимцах города“*, и он очень хорошо говорил». На клубном жаргоне это означало «приемлемо». Все они грамотно говорили. Их выговор был не такой, как у большинства чернокожих, поэтому они были приемлемы. До известного предела. И предел этот находился дальше, чем тот, до которого могли простираться надежды всех прочих чернокожих тех лет. Видеть такое — быть мальчишкой и наблюдать, как на телепередаче, транслирующейся на всю страну, от побережья до побережья, обходятся с черными как с равными, обходятся лучше, чем с большинством, — это было все равно что созерцать чудо. Я был молод, и то, что я видел по телевизору, заставляло меня мечтать. Я меч-

тал о том, чтобы не «казаться» чернокожим по выговору. Я мечтал стать приемлемым. Мечтал говорить хорошо. Говорить как белые. Я взял у Мей словарь. Читал его и учил слова. Большие, длинные, белозвучные слова. Я прошел «мастер-класс» по этой науке — говорить как белые. Меня учило телевидение. Меня учил чудаковатый Джек Бенни[9]. Меня учил суховатый Джек Уэбб. Меня учил гладкий и уверенный Стив Аллен[10]. Наконец, я вставал перед зеркалом и упражнялся во всем, что выучил.

Готов? Начинаем.

Эд, я должен сказать вам, каким несравненным удовольствием было для меня выступить сегодня вечером в вашей программе. Я могу только надеяться, что когда-нибудь в будущем снова смогу появиться на вашей сцене. И, если позволите, я хочу искренне поблагодарить всех моих поклонников, откуда бы они сейчас ни смотрели на меня.

Годится? Нет? Не важно. Я понятия не имел, что

---

[9] Примечания: 9

Джек Бенни (наст. имя — Бенджамин Кубельски; 1894–1974) — комедийный актер, выступал на радио, на ТВ и в кино.

[10] Примечания: 10

Стив Аллен (р. 1921) — широко известный ТВ-исполнитель 50–60-х гг., певец, шоумен, писатель-юморист.

мне делать теперь со своими новообретенными навыками. Не важно, как я говорил, не важно, что заставлял меня чувствовать этот новообретенный голос, — я оставался тем, кем был всегда: бедным чернокожим пареньком из Гарлема. Но таким же когда-то был и Сэмми Дэвис-младший. А теперь он так прекрасно говорил.

* * *

До конца учебного года оставался один день. От окончания одиннадцатого класса и начала летних каникул меня отделяли лишь двадцать четыре часа. Мои планы на следующие три месяца сводились к тому, чтобы работать шесть или семь дней в неделю — точно так же, как я делал это в течение шести лет, которые прошли — и слишком быстро, и слишком медленно — с тех пор, как не стало мамы. Я собирался как можно меньше попадаться на глаза отцу. Собирался посвящать свободное время тому, чтобы расходовать все свои лишние деньги на Надин Рассел.

Мои планы нарушил Малыш Мо.

Он показал мне объявление в «Нью-Йорк пост».

Я прочел его.

И сказал Мо:

— Ты, наверно, спятил.

— Двадцать пять долларов в неделю, — отозвался Мо. — Тебе что, этого мало?

Нет. Это не было мало. В те времена двадцать пять долларов в неделю казались хорошим заработком, рокфеллеровским богатством. Зато остальная часть объявления наводила меня на мысль, что сбрендил не я, а Малыш Мо.

> Требуются: мужчины от 18 лет в лесоповальный лагерь на Северо-Западе Тихоокеанского побережья. Заработок от $25 в неделю.

В объявлении указывались адрес и время, когда явиться, если уж конечно вы достаточно спятили, чтобы вообще являться.

Мо ткнул туда, где было написано «от $25 долларов в неделю».

Я ткнул туда, где говорилось «мужчины от 18 лет»:

— А нам с тобой по семнадцать.

— Двадцать пять долларов в неделю. — В качестве довода Мо вникал в текст объявления: — И выше.

— А как насчет Северо-Запада Тихоокеанского

побережья? Это же… — Я и сам точно не знал, где это, но мое невежество доказывало лишь, что это дальше, чем я мог себе представить. — Это же у черта на рогах, — продолжал я. — Ты что — думаешь, мы этак быстренько соберемся и отправимся в такую несусветную даль?

— Ну да, этот самый лагерь, конечно, далековато от нас, и нам придется наврать, будто нам уже исполнилось восемнадцать, и все такое. Но почему бы не попытаться поехать? У тебя на лето имеются планы получше, да?

Планы-то у меня были, но нельзя сказать, чтобы намного лучше.

Мо понял, что я вступил на шаткий путь от «нет» до «да», и перешел в решительную атаку:

— Сколько у нас остается до школы? Три месяца? Двенадцать недель. Это будет… — Мо понадобилось некоторое усилие, чтобы произвести вычисления. Мо никогда не был в особых ладах с математикой. Я и рад был бы помочь ему, да только с числами и сам обращался не лучше, чем Мо.

— Ну, это около трехсот долларов. Так вот: я слишком долго был твоим другом, чтобы не понимать, что значат эти триста долларов для Джеки Манна.

Деньги много значили для Джеки Манна. Только…

— Да, но нам же нет восемнадцати…

— А мы скажем им, что есть. Этим заготовщикам плевать, сколько нам лет, — лишь бы мы деревья валить могли.

— Да какие же из нас лесорубы?

Малыш Мо замахал на меня руками:

— В объявлении сказано: требуются мужчины. Здесь же ничего не говорится о том, что им нужны специалисты по заготовке леса.

— Ты хочешь сказать, что твои так тебя запросто и отпустят?

— Моим тоже могла бы пригодиться часть этих трехсот долларов. — Малыш Мо начинал злиться. Он устал от моих возражений, ему надоело подбивать меня на столь беспроигрышное, как ему казалось, дело. — Моя родня знает, что я уже не маленький мальчик.

— Я тоже не маленький мальчик.

— А я разве говорю это? Но у меня есть сестра и братишка, о которых нужно заботиться. Я не боюсь работы, мне надо помогать им.

— Думаешь, я по дому не помогаю?

— Это чем же? Помогаешь отцу бухло покупать, помогаешь ему очухаться, когда он нажрет-

ся? — Этот выпад Мо сделал метко, с боксерской ловкостью, быстро и резко. Удар пришелся по больному месту.

— Очень даже помогаю, — ответил я. — Я у себя в доме за хозяина.

— Тогда почему бы тебе не стать хозяином самому себе и не заработать деньжат? Лично я собираюсь наняться на эту работу. Ну, так ты едешь или не едешь?

Еду или не еду?

Я решил ехать. Не потому, что мне хотелось куда-то поехать, чтобы рубить лес, и даже не потому, что мне требовались деньги, которые так приятно будет потом потратить. Я решил поехать, потому что захотел доказать Малышу Мо, что я уже взрослый.

Контора по найму на работу находилась в Мидтауне. Объявление появилось в газетах утром, а уже несколько часов спустя, в середине дня, к двери рекрутской конторы тянулась длинная очередь. Там были мальчишки явно моложе нас с Мо. И старики, чей возраст был немал, но отчаянное желание найти работу — еще больше. Мы пристроились к этой многоножке из человеческих тел, медленно продвигавшейся к двери, и не очень рассчитывали, что на нашу долю что-

нибудь останется, когда подойдет наша очередь. Если, конечно, нам только не дадут пинка под наши черные задницы за вранье про восемнадцать лет. И вот мы двигались… двигались… Люди выходили из конторы с улыбками на лицах. Люди выходили из конторы со слезами на глазах. Так мы топтались часа полтора. Мы топтались, как толпа олухов, жаждущих попасть к волшебнику, который совершит великое и благое чудо — дарует нам работу. Когда же мы очутились внутри, нас просто оглядел с ног до головы какой-то белый парень, сидевший там за одним из столов. И спросил, когда мы сможем приступить к работе.

Мо ответил за нас обоих:

— Немедленно.

Белый парень заполнил пару листков, вручил по одному мне и Мо и сообщил, что через два дня мы должны явиться на станцию Пенн ровно в девять утра.

— Эти бумажки заменяют билеты, — сказал он, — так что смотрите не потеряйте их.

Вот так — будто мы с Мо и в самом деле дровосеки.

Вот так… да, но ведь мне еще нужно сообщить отцу.

В первый день после того, как мы получили

работу, я ничего не сказал отцу. Отпустит ли он меня? Или не отпустит? А если я просто возьму и уеду, заметит ли он вообще мое отсутствие? Взывая к логике, я убеждал самого себя, что, раз уж я достаточно взрослый, чтобы укатить черт знает куда рубить лес, значит, я достаточно взрослый, чтобы сообщить об этом отцу. Так я уламывал себя несколько часов подряд, но безуспешно.

Тогда я решил ничего пока не говорить отцу. Зато я решил рассказать о предстоящем отъезде Надин. Прощание с ней имело особый смысл. Мы встречались с Надин вот уже пару семестров. Она была моей девушкой: как свою девушку я водил ее в кино, как своей девушке я покупал ей сладости и мороженое. Как ее парень, я пользовался привилегией держать ее за руку на людях и целовать тайком. И все. Со временем эти держания за руку и поцелуи стали устраивать меня все меньше и меньше. Я взрослел, и мои желания росли вместе со мной. Когда я держал Надин за руку, то мечтал погладить ее бедра. Целуя ее, я представлял себе, что расстегиваю пуговицы на ее кофте домашней вязки, затем расстегиваю рубашку и обнажаю груди, которые у меня на глазах, с каждым учебным годом, росли и наливались все приметней. Она была моей девушкой. И я чувствовал, что

имею право изучать свою девушку. Но мне никогда не хватало смелости прикоснуться к ним, а Надин никогда не предлагала мне это сделать. И мне оставалось лишь предаваться своим подростковым фантазиям, пытаясь представить ее голой. Неужели она похожа на ту старую бродяжку, которую мы с Мо видели в Центральном парке, когда она залезла в пруд? Вероятно; только кожа у нее гладкая и не такая серая. Не дряблая, а упругая. Я это понимал, но мне хотелось посмотреть самому. И вот теперь у меня был повод подкатиться к Надин: я же уезжал на заработки в другой конец страны. Вспомнив всякие фильмы про войну (солдат уходит на поле брани, не зная, вернется ли домой), я решился так попрощаться с Надин, чтобы она сама захотела предложить мне себя. Пусть я еще не был мужчиной по возрасту, пусть не отваживался по-мужски потолковать с отцом, — я хотел отправиться в этот лесозаготовочный лагерь, приобретя хотя бы любовный мужской опыт.

Два квартала на юг, один на восток. Я дошел до дома Надин. С улицы позвонил в ее квартиру. Общение городских жителей. Раньше я швырял камешки в ее окно. Один раз я его разбил. Вставить новое стекло стоило двадцать долла-

ров, и отец Надин две недели не разрешал мне видеться с ней. Я подошел под ее окно и позвал ее. Она открыла окно и высунулась. Ее молодые груди вызывающе поглядели на меня. А через минуту мы уже удобно устроились на крыльце. Поговорили о том о сем, после чего я перешел к намеченному сценарию. Сказал ей, что уезжаю на Северо-Запад, на далекий Тихий океан, чтобы тяжелым трудом зарабатывать большие деньги. Я уезжал на двенадцать недель, но Надин сказал — «неизвестно, когда вернусь». Работа будет опасной. Возможно, меня… Я прервал себя на полуслове. Зачем стращать девчонку — мою девчонку, это уже лишнее. В конце концов пообещал ей, что вернусь домой, вернусь к ней, как только смогу, а там, в дальних краях, буду думать о ней каждый день.

Когда я замолчал, она спросила, сколько же я там заработаю.

Я сказал.

Надин вслух повторила сумму, глядя на здание напротив. Потом взяла меня за руку, сказала: она надеется, что со мной все будет в порядке там… где бы это ни было, и что я вернусь, как только смогу.

Я поцеловал ее.

Она меня поцеловала.

Я ее поцеловал.

Она меня поцеловала.

Я снова ее поцеловал, моя рука скользнула по ее талии к животу, а потом поползла вверх.

Надин, как бы ничего не заметив, высвободилась и встала. Глядя на меня сверху вниз, сказала, что будет очень по мне скучать и надеется, что я скоро приеду домой. Потом быстро поцеловала в щеку — на прощанье. И ушла в дом.

«Двадцать пять долларов», — задумчиво повторила она, когда я сообщил ей, сколько буду зарабатывать в неделю. И, после всех наших держаний за руку и поцелуев, это было единственное чувство, которое она выказала по отношению ко мне. И это была моя девушка! А я был ее парнем. Только тогда я впервые понял истинный характер наших отношений. Так благодаря Надин я действительно повзрослел — но не в том смысле, о каком мечтал.

Настал следующий день. Последний день школьных занятий. Вечером я ужинал вместе с отцом. Ну, во всяком случае, мы одновременно сидели за столом и ели. По тому, как бодро он глотал пищу, я догадался, что он под травкой. Раз уж он в состоянии есть, подумал я, значит, в

состоянии будет поддержать разговор.

— Пап, — начал я, — тут мне предложили работу — хороший заработок. Правда, очень хороший. Буду получать двадцать пять долларов в неделю. Или даже больше. — Я делал упор на деньги, догадываясь, что это важно для отца в первую очередь. Чем больше я стану зарабатывать, тем больше достанется ему. — Может, намного больше. Я смогу тебе регулярно высылать часть. Да-да, обязательно буду высылать тебе деньги. А эта работа… это далеко, на Северо-Западе. Но я же уже сказал — я смогу тебе регулярно высылать деньги, да к тому же это продлится…

— Никуда ты не поедешь. — Рот у отца был набит едой, я едва разобрал, что он сказал.

— Что?

— Никуда ты не поедешь.

— Но… А как же двадцать пять долларов в неделю? Или бо…

— Да плевал я, сколько. Ты мне здесь нужен.

Нужен? Нужен — для чего? Ишачить изо дня в день, добывая деньги ему на выпивку и наркотики? Пополнять его запасы, когда сам он будет в отключке и не сможет себя обслуживать?

Я уже долгие годы только это и делал. Меня уже тошнило от одной мысли об этом.

Я сглотнул. Потом сказал:

— Я уезжаю.

— Заткнись, сопляк!

— Я не сопляк. Мне восемнадцать лет. Почти. Я взрослый мужчина и могу делать все, что за…

Прежде чем я успел понять, как отец обрушил на меня первый удар, я уже лежал на полу, держась за горящую щеку и горько плача.

Я поднял на него взгляд.

Он уже тянулся за ремнем. Рывок — и ремень соскользнул с его пояса. Кожа издала характерный хруст под давлением его пальцев. Мелькнул отблеск света от металлической пряжки — от страха она показалась мне огромной.

Отец и раньше бил меня — мне перепадали и благоразумные тумаки, и изрядная порка. Теперь же мне достались настоящие побои. Он обрушил на меня целый град ударов — такого еще никогда не случалось. Первый взмах ремня — и пряжка угодила мне в голову, я еще больше вжался в пол. Второй взмах, третий — и моя жалкая оборона — вытянутые руки — была прорвана. Все, что мне оставалось, — это свернуться клубком и терпеть побои. Так, удар за ударом, отец выбивал из меня заносчивые слова о том, что я взрослый мужчина и могу делать, что захочу. Свист ремня, рассека-

ющего воздух, треск кожи и стук металла о мое тело перемежались стонами и хныканьем. Этот безобразный дуэт тонул в хоре шумов, который раздавался вокруг: плакали младенцы, играли на трубах и пели блюзы парни на пожарных лестницах, смеялись девушки, вели свой спор автомобильные рожки. Звуки, сопровождавшие мое избиение, растворялись в звуках города — всего-то одним шумом больше.

Наконец отец остановился — то ли устал, то ли просто выпустил всю свою злость. Обливаясь по́том, тяжело дыша, он швырнул ремень на пол рядом с моим лицом, чтобы я хорошенько поглядел на орудие моего воспитания.

— Ну что ты теперь скажешь — взрослый ты или нет? — пробурчал он. — Что теперь скажешь?

Мне нечего было сказать. Меня била такая дрожь, что я даже рта раскрыть не мог.

Я услышал, как отец протопал с кухни к своему дивану, как грузно осел, явно утомившись заданной мне поркой. Услышал, как он открывает бутылку. Отец принялся за выпивку. Он пил всю ночь, не двигаясь с места, а я всю ночь пролежал на полу, тоже не двигаясь с места. Алкоголь свалил его только на рассвете.

Я поднялся с пола, собрал кое-какие вещички, отправился к дому Малыша Мо и стал ждать его.

Через пару часов, покуда отец скорее всего все еще был в отключке, мы с Малышом Мо отправились на станцию Пенн.

* * *

Если не считать подземки, я никогда еще не ездил на поездах. За исключением, правда, почти всего Манхэттена, я вообще нигде больше не бывал. И вот, в семнадцать лет, я ехал в противоположный конец страны, на работу, о которой не имел ни малейшего представления. Пока же сама по себе эта поездка была для меня ярчайшим в жизни событием; помимо будоражащего ощущения от путешествия, я радовался тому, что каждая миля увеличивала расстояние между мной и отцом. Движение «Калифорнийского экспресса» — плавное покачивание, дробный стук стальных колес на стыках рельсов, — все это укачивало, убаюкивало, погружало нас в рассеянное и расслабленное состояние, в котором мы и провели почти трое суток. Как раз столько заняла дорога до штата Вашингтон — а именно он, как мы с Малышом Мо выяснили, и имелся в виду под «Северо-Западом Тихоокеанского по-

бережья», о котором говорилось в объявлении о найме лесорубов.

По пути мимо нас проплывала Америка: город перетекал в окрестные поля, а те переходили в равнины, пустыни и горы. Для мальчишки, который до этого видел мир только на черно-белом экране в тринадцать дюймов по диагонали, это казалось чудом. Пожалуй, стоило отведать отцовского ремня, чтобы это увидеть. Преодолевая последний отрезок пути, мы сделали пересадку в Лос-Анджелесе. Остановка была короткая. Времени — только на хот-дог да на кока-колу, но недостаточно для того, чтобы посмотреть город. Во всяком случае, чтобы толком увидеть что-нибудь. Я все-таки урвал минутку и отошел чуть в сторону от вокзала. Лос-Анджелес не был похож на Нью-Йорк. Плоский. Почти без высоких домов, которые мешали бы солнечному свету. Вытянутый. Он простирался во все стороны, и ему было куда разрастаться. Таким было мое первое впечатление от Лос-Анджелеса: сплошной солнечный свет и море возможностей. Я пытался отыскать надпись «Голливуд». Мне просто хотелось поглядеть на нее секунду-другую. Поглядеть, зная, что, пока она видна мне, она видна и всем этим удивительным, ослепительным звездам,

которые выбрали Голливуд своим сказочным домом. Но оттуда, где я стоял, надпись была не видна, да я и не знал наверняка, куда нужно смотреть.

Я поплелся обратно на станцию. Мы сели с Малышом Мо на поезд и поехали дальше на север.

Мы сошли с поезда в Сиэтле — не только мы с Малышом Мо, но и еще несколько десятков человек или даже больше, которые набрались по пути. Тут были мальчишки и почти старики, белые и цветные. Куда именно едут эти люди, можно было догадаться не только по тому, что они сошли с поезда на одной с нами станции, но и по их виду. Я понимал, куда они едут, ибо, как и мы, они выглядели отчаянными бедняками. По ним сразу было видно, что они готовы проехать полстраны — или всю страну — ради заработка.

Из одного вагона выходил белый парень — молодой, вероятно, немного постарше меня. Он с трудом волочил чемодан. Чемоданище. Можно было подумать, что этот малый тащил с собой невесть откуда холодильник.

Сам не знаю, почему я это сделал: он, как я сказал, с таким трудом волок свою ношу, а я, кажется, подумал, что неплохо бы с кем-нибудь подружиться, раз уж меня занесло далеко от род-

ного дома — на другой конец США. Я подошел к этому парню и спросил его:

— Не помочь?

Лицо у него было потное и скорее красное, чем белое, от напряжения. Он поглядел на меня:

— Я еще не докатился до того, чтобы принимать помощь от черномазого.

Сказал, как отрезал. Белый парень сказал то, что сказал: помощь от черномазого ему не нужна, — и снова принялся возиться с чемоданом, как будто мы с ним всего-навсего перебросились парой слов о погоде или о времени. Для него эти слова ничего не значили.

Нас встретили какие-то люди из лесозаготовочного лагеря, посадили в грузовики и повезли. По дороге я увидел, что за местность в этом штате Вашингтон — полная противоположность городу. Здесь пахло не выхлопными газами и не гарью, а дождем и соснами. Вместо домов полно деревьев. Вместо людей — трава. А те люди, что попадались, — я сразу же это заметил, — почти все были белыми. Не то чтобы я не привык к обществу белых. В Нью-Йорке их было пруд пруди. И, бродя по городу и всюду встречая белые лица, ты мог без особого труда увидеть и цветных. Причем всех цветов кожи. Черных, шоколадных.

Людей с Востока и из Индии. Здесь же — здесь, в штате Вашингтон, — был я, был Малыш Мо, было еще с десяток чернокожих, приехавших вместе с нами, — и всё. Я вспомнил того парня, которому попытался помочь с чемоданом и который походя огрызнулся, — и вдруг понял свое одиночество и впервые подумал, что лето, наверное, пролетит не очень-то быстро.

Мы ехали долго — ехали, пока город не остался далеко позади. Ехали так долго, что уже начинало мерещиться: мы уже бог знает сколько проехали на поезде на запад, потом на север, и скоро нам просто некуда будет ехать, потому что Америка закончится. Но мы ехали и ехали, а вокруг уже не осталось ничего, кроме деревьев — толстых, могучих, высоких: на этих коричнево-зеленых столбах как будто держалось небо. Мне вдруг показалось, что рубить их — преступление. А потом я подумал, что первая же получка избавит меня от угрызений совести.

Наконец мы прибыли в город Эверетт. Мы прибыли в Пембертон-Миллз — лесозаготовительный лагерь, где нам предстояло работать. Здесь был только лагерь — и больше почти ничего. Ну, здание, где пилили и отгружали лес, еще одно, где размещалась контора. Столовая,

где можно было собираться и по другим поводам, если вдруг такие поводы найдутся. А вокруг были повсюду натыканы лачуги — их называли «куджи», где нас и должны были расселить. Длинные, узкие сооружения, вроде железнодорожных вагонов. Достаточно просторные, чтобы вместить по десять человек, но недостаточно емкие, чтобы удержать в своих стенах все беды, какие только могли возникнуть в процессе общения незнакомых друг с другом белых и черных. Учитывая моральный климат тех дней, было бы безопаснее белых и черных рабочих селить раздельно. И для тех, и для других это было бы гораздо удобнее. Но почему-то у начальства возникла недюжинная идея свалить всех в одну кучу. Что-то вроде северо-западного тихоокеанского либерализма — подумал я вначале. Но чем больше потом об этом думал, тем сильнее становились мои подозрения, что владельцы лагеря просто не хотели селить всех чернокожих куда-то в одно место — видимо, из страха, что те замыслят какой-нибудь безумный воинственный заговор и, вырвавшись из жалкой лачуги в лесозаготовительном лагере, сокрушат мир англосаксов.

Потому-то людей разных рас и перемешивали. Нас с Мо — может, из-за того, что мы вместе запи-

сывались, — определили в один куджи, а с нами — еще одного чернокожего, по имени Кевин. Всего нас, чернокожих, было трое — а значит, когда мы вошли в свою хижину, нас встретило семь пар недружелюбных белых глаз.

Мы — я, Мо и Кевин — просто посмотрели на них, радуясь уже тому, что этим все и ограничилось, выбрали три кровати и бросили на них свои пожитки. Этого оказалось достаточно, чтобы мы поняли, что допустили оплошность.

— Что это вы делаете, черномазые? — скорее огласил, чем спросил один белый малый. В его непринужденном тоне слышалась угроза. Еще совсем недавно меня «обласкали» на станции, а теперь я понял, что в белых, которые ненавидят черных, здесь недостатка не будет.

Этот белый, ненавидевший черных, был высоким, худым и таким бледным, что синевато-зеленые вены у него на руках — вздутые, перегонявшие горячую кровь, — смотрелись как линии на карте Джима Кроу[11]. Все дороги вели к беде.

Белый парень снова поинтересовался:

— Что это вы делаете, черномазые?

---

[11] Примечания: 11

Аллюзия к политической доктрине, обосновывавшей сегрегацию негритянского населения США.

Малыш Мо и Кевин ничего на это не сказали, не испытывая никакого желания отзываться на «черномазых». Что же до меня, то я не испытывал никакого желания быть побитым за то, что не отвечаю на вопрос, который был явно адресован нам.

И я сказал:

— Койки выбираем.

Длинному, высокому парню мой ответ показался забавным. Он засмеялся.

Другие белые тоже засмеялись.

— Вот уж нет! Это не ваш отсек. Вам, черномазым, туда нельзя. Так что забирайте-ка свое черное дерьмо, выметайтесь из белого отсека и валите в черную часть лачуги.

Ага. Вот оно что. Только никто не удосужился сказать нам, где именно находится эта небелая часть куджи. Мы, все трое, подобрали свои вещички и наугад двинулись туда, где стояли другие пустые койки. И снова промахнулись.

— С чего вы взяли, что отсек для черномазых — там?

И снова белые парни хором загоготали.

Мы снова двинулись. Вначале — я, потом — Кевин. Мо — последним, нарочно еле шевелясь.

— Не-а, это тоже отсек не для черномазых.

Снова смех.

Я уже начал понимать: эти парни считали, что для нас здесь места нет. Ни в этом куджи, ни где-либо еще.

Оказалось, я был не совсем прав.

— Знаете, куда вам нужно, черномазые? Во-он туда. — Белый парень показывал на дальний конец куджи. — А теперь, черные задницы, давайте-ка сдвигайте все свои койки туда. — Он снова засмеялся.

Остальные белые тоже засмеялись.

Вряд ли они приехали сюда вместе или встречались друг с другом раньше. Непохоже. Мне показалось, что это просто семеро белых незнакомцев, которых наскоро сдружила подвернувшаяся общая забава — поглумиться над чернокожими.

Мы — я, Мо и Кевин — стояли опустив головы, но не двигались. Во всяком случае, не двигались в сторону того угла, на который нам было указано, — если не считать моих нервных подергиваний.

— Вы слышали, что я вам сказал? — Белый парень больше не хихикал, не смеялся. Шайка его новых корешей тоже молчала. Они разминали пальцы, сжимали кулаки, любовались их внушительностью… Этим людям уже приелось

слушать насмешки — им самим не терпелось позабавиться.

— Ну? Такие тупые, что койки двигать не умеете? Ладно, я вам сейчас покажу, как это делается. — Высокий белый парень схватил ближайшую ко мне койку и швырнул ее в угол лачуги — швырнул с такой силой, что она грохнулась на бок, матрас с бельем слетел на пол. Белый парень даже запыхался от такой физической нагрузки. — Вот так, черные тупицы, койки надо передвигать.

— Может, мы и тупицы, зато ты сейчас за нас мебель двигал. — Я хотел, чтобы это прозвучало как шутка. Подумал, что смех хоть как-то разрядит обстановку. Если бы я подумал как следует, то, скорее всего, вообще не стал бы рта раскрывать. А так — вышло, будто я умничаю.

Пару секунд никто ничего не говорил: все словно онемели от моей нечаянной дерзости. Но мне стало ясно, что еще миг — и белые парни опомнятся. Еще миг — и они решат, что надо выбить из меня спесь. Мое тело, опережая на шаг мои мысли, уже начало двигаться к койке, чтобы перетащить ее в угол, где уже валялась другая, — в отсек лачуги, предназначенный для черных. Я отказывался чувствовать смущение или унижение

из-за такого поступка. О чем я думал? Отколошматить меня могли и дома. Для этого не нужно было ехать через всю страну. Так что, если нужно перетащить койку, чтобы избежать синяков…

Я снова услышал, как хрустят пальцы. Не у белых. Теперь теряли терпение кулаки Малыша Мо. Он не собирался двигать койки. Он готовился кинуться на этих парней, как будто всю жизнь только и делал, что дрался, он явно собирался измолотить их, даже в одиночку, это было ясно на все сто.

Долговязый белый увидел, чем занят Мо, увидел, как в том разгорается огонь, и ухмыльнулся гопнической ухмылкой. Черномазый ищет неприятностей? Отлично. Он устроит черномазому неприятности.

В воздухе запахло насилием. Оно прямо сгущалось в этой тесной лачуге, отметая прочь логику и разум.

— Эй!

Мы все — и черные, и белые — обернулись и поглядели. У двери стоял еще кто-то. Белый. Дюжий с виду. Не большой и мясистый, а именно дюжий — как будто он много лет занимался тяжелым трудом, от которого все тело делается крепким и выносливым. На нем была рубашка с логотипом

лагеря, вышитым на груди.

— Что здесь происходит? — спросил стоявший у двери человек. В его голосе слышались одновременно досада и протяжный выговор южанина. И этот выговор наводил на мысль, что его обладатель раздосадован тем, что почти лишен возможности поупражняться на тему «Я тоже негров ненавижу».

И почему-то — наверное, потому, что все остальные молчали, — я начал отвечать этому человеку:

— Нам велели…

— Что здесь происходит? — снова спросил лагерный сотрудник, не обращая на меня внимания и глядя в упор на долговязого зачинщика ссоры.

— Да мы тут просто забавляемся с черномазыми, — ответил тот, явно довольный собой. Можно было подумать, он трепался с собутыльниками на тему рыбалки. — Черномазые не знают, где тут у нас Черномазовск. Я велел им койки переставить…

— Сейчас *я* тебе скажу, где их койки, — отчеканил лагерный, как дровоколом оборвав долговязого.

Тот опять было начал:

— Но он…

И снова лагерный работник заткнул ему рот:

— Их койкам место там, где они стояли.

Белый парень закусил губу и пробормотал:

— Тьфу, черт!

Лагерный сделал шаг в сторону парня. Такой мощный шаг, что тот невольно попятился. Может, под хихиканье дружков он и думал, что ему ничего не стоит заварить кашу с горсточкой черных, оказавшихся далеко от дома, но под личиной своей петушиной злости мальчишка оставался всего-навсего мальчишкой и понимал, что с этим крепким мужиком лучше не связываться.

Мужчина:

— Ты что-то сказал?

— Ничего, сэр. — Глаза белого мальчишки бегали по стенам лачуги, словно выслеживая жужжащую муху.

Все остальные белые мальчишки тоже озирались по сторонам. Озирались, глядели себе под ноги. В общем, выглядели по-дурацки. Видя, как стращают их вожака, они совсем присмирели.

— Ну ладно, — подытожил мужчина, кладя конец спорам. — Чтоб все тут было прибрано и чтоб я больше не слышал, что в этой хижине еще какая-то заваруха.

И человек, которого, как я узнал позже, звали

Дакс (а может, это было прозвище), развернулся, чтобы идти дальше по своим делам. Его миссия судьи в расовой стычке была окончена.

Кевин, один из «нашей» троицы, сказал вдогонку Даксу:

— Спасибо, сэр.

— А вы, черномазые, не задавайтесь, — ответил тот, даже не оглянувшись. И перешагнул порог.

Я пробыл в штате Вашингтон всего пару часов, а моя рабочая поездка уже превращалась в настоящую школу жизни. Я-то думал, что Дакс поступил так, как он поступил — предотвратил драку, — потому что он порядочный человек. Выходит, я ошибся. Для него я, Мо и Кевин были всего лишь черномазыми. Не людьми, с которыми положено обходиться на равных, а скотами, с которыми не следует жестоко обращаться без необходимости.

Война окончилась. Начался строительный бум. Семьи уезжали из городов. Возникали пригороды. Дома, как сорняки, вырастали по всей стране, за ночь возникали целые новые города. Сидер-Хилл. Кокрелл-Хилл. Левиттаун. Лейквуд. В каждом из них начинало строиться одновременно по сотне домов. Сто домов в день, но и этого было мало всем тем, кто сломя голову гнался за своим кусочком американской мечты, за жильем, обставленным

по последнему слову техники, за лужайками с розовыми фламинго. И чтобы удовлетворить возникший спрос на строевой лес, работа в лагере кипела безостановочно, шесть дней в неделю. От зари до зари лес оглашался звуками рубки: деревья сначала скрипели, потом со стоном валились, ударяясь о другие стволы, и наконец с глухим стуком замертво падали на землю. Работа состояла из десятка различных действий, для каждого имелось свое жаргонное словцо: тут требовались и ослы, и погонщики ослов, и буксовщики, и свистуны, и верхолазы. Все эти названия звучали необычно и возбуждающе. Все они сводились к одному: валить деревья. Рубить деревья, валить деревья. Пилить деревья, увозить деревья. Очищать землю от стоящих на ней деревьев, всех до одного. Ничего развлекательного в этом не было. Обычная работа, вгонявшая в пот. Тело ломило от нее так же, как от любого другого тяжелого физического труда. Единственная особенность работы дровосеком — это то, что ты учился уважать босса. А боссом этим были сами деревья. Лжетсуги тиссолистные, ситхинские ели, туи, порт-орфордские кедры. Некоторые достигали трехсот футов в высоту и весили больше тысячи фунтов. Когда босса валили, когда его волокли, ты

учился вовремя сторониться. Ты или сторонился — или калечился. В лучшем случае — калечился. Или же попросту превращался в труп за свои двадцать пять долларов в неделю.

Двадцать пять долларов, которых мы в глаза не видели. У каждого работника была расчетная книжка, и в конце каждой недели сотрудник компании записывал туда, сколько мы заработали, чтобы в конце лета с нами могли рассчитаться. Живых денег мы не получали. Начальство рассуждало так: раз у тебя нет на руках денег, ты не попадешь ни в какие передряги. Не поедешь в город, не напьешься. Не заберешь то, что тебе причитается, и не удерешь среди ночи. А будешь по-прежнему вкалывать. По-прежнему уважать босса — шесть дней из семи.

На седьмой день мы отдыхали. По утрам мы сбивались в религиозные группки, вместе молились или пели. Покончив с делами веры, резались в карты, курили, листали журнальчики, заказанные по почте. Поскольку выпивки не было, кое-кто взбивал коктейль из одеколона и освежающей туалетной воды. Одни получали кайф от этой смеси, другие — шанс бесплатно прокатиться в больницу.

Мы почти все время общались по расовому

признаку. Изредка можно было увидеть белого с черными, еще реже — черного, затесавшегося в толпу белых. Но чаще всего и те, и другие держались особняком, причем белые — в основном белые южане — ясно давали понять, что их такой порядок вполне устраивает. Например, они болтали между собой о том о сем, о погоде, рассказывали что-нибудь из своей жизни или обсуждали, как кто-то зазевался в тот день и чуть не подставил голову боссу. Словом, они говорили о всяких пустяках, — и вдруг до тебя доносилось слово «черномазый». «Черномазый», или «негр», или «чернозадый», или «чернушка». И слово это звучало не как брань, оно входило в законченное предложение, оно употреблялось наравне с прочими, самыми обиходными названиями. Яблоко. Небо. Лодка. Черномазый. Это-то и пугало: то, как легко у них это выходило. Как буднична была их ненависть. Как глубоко въелся расизм в их сознание. Они — хорошие белые, а мы — черные собаки: вот все и расставлено по местам.

Общение между расами не поощрялось. Общение между расами осуждалось.

Был один молодой парень из Мичигана, белый мальчишка, который плевал на то, кто белый, кто черный, кто — еще какой-нибудь. Он и с теми,

и с другими мог сидеть и болтать, не признавая никаких различий. Однажды ночью его схватили и уволокли в лес какие-то белые. На следующее утро его нашли голым и замерзающим, у него текла кровь из заднего прохода, куда несколько раз с жестокой силой вонзали толстый, грубый сук. Начальство только и нашлось, что сказать по этому поводу: «Не надо было с цветными якшаться», — и парня отослали обратно в Мичиган.

Общение между расами не поощрялось. Общение между расами осуждалось.

Итак, мы большую часть дня отдыхали после закончившейся трудовой недели и готовились к следующей неделе, потом всем скопом шли в столовую обедать, там ели — черные отдельно от белых, — затем снова разбредались по разделенным по расовому признаку кучкам и коротали вечер, развлекаясь песнями, игрой на гитарах, губных гармошках и варганах. Я не умел играть ни на одном из этих инструментов. Я не умел петь. Зато я умел травить байки. Уж это я умел. Ребята надрывали животики, когда я повторял номера, которые слышал когда-то в *«Любимцах города»,* или откалывал шутки насчет нашей жизни в лагере. Все просто покатывались. Наверно, у меня смешно выходило. Во всяком случае, до-

статочно смешно, чтобы меня заметили. Как-то в воскресенье, после всех этих шуток, меня отозвал в сторону Дакс. Он сообщил мне, что в следующее воскресенье собирается устроить любительское представление и что у талантливых ребят есть шанс показать себя и развлечь бесталанных. Он слышал, как я откалываю шутки, и хотел узнать, не хочу ли я тоже выступить. Мне и раздумывать не пришлось. Сама мысль о том, что я буду стоять перед толпой, а люди будут кричать и хлопать мне, в точности как комикам в телевизионных передачах, — уже привела меня в восторг.

— Очень рад, — сказал Дакс. — Я подумал, хорошо, чтобы кто-то из вас тоже выступал — для остальных цветных.

Следующие дня два я пытался разработать план выступления. Радостное возбуждение отвлекало меня почти от всего, что происходило вокруг. И вот я настолько отвлекся, что мне чуть голову не снесло буксирным тросом, который падал как огромный стальной кнут. Я по сей день убежден, что мне спасла жизнь давняя привычка уворачиваться от отцовских ударов. И все-таки трос слегка задел меня. Когда мне зашивали плечо в том месте, где по нему прошелся кабель, я твердо решил, что буду отрабатывать свои шутки только

по ночам, в постели. Бормоча их себе под нос, пока мое измученное тело будет молить о сне.

И вот наступил воскресный вечер. Зал в столовой был битком набит публикой — рабочими, начальниками. Все хотели посмотреть представление, поддержать друзей. К тому же в глухом лесу в штате Вашингтон для людей, у которых нет ни денег, ни возможности куда-либо поехать, такое любительское представление бывало лучшим и единственным развлечением. Некоторые из парней, работавших в нашем лагере, не были лишены таланта, а те, которых отобрал Дакс для этого вечера, были на самом деле хороши. Хорошо пели. Хорошо играли на разных инструментах. Возбуждение, которое я чувствовал в течение всей недели, уже переросло в нервозность: именно в тот момент я понял, какая пропасть лежит между способностью рассмешить горстку людей — и чудовищной неспособностью рассмешить несколько сотен. Я заметил, как что-то бьется о мою ногу. Взглянул. Оказалось — это моя трясущаяся рука.

А потом вдруг подошла и моя очередь выходить на сцену. Меня представили, и я вышел на середину зала. Жидкие аплодисменты смолкли. Может, из-за игры нервов я сделался сверхчув-

ствительным, не знаю, — только я различил ту мельчайшую долю секунды, когда стояла полная тишина между хлопками и моим первым словом. Это была пустота, которая, в моем воображении, повисла где-то в пространстве, ожидая, что ее заполнят. И я заполнил ее кое-какими номерами из выступлений комиков с телевидения, анекдотами — старыми и бородатыми, но все еще достаточно смешными, чтобы выбить из аудитории несколько смешков. Потом я перешел к собственным шуткам, в том числе насчет нашей жизни в лагере с ее тяжким трудом, длинным рабочим днем и вознаграждением за все это в виде отметок в расчетных книжках и невкусной еды. Словом, я стал подтрунивать над всей тамошней системой.

И тут смех стал накатывать волнами.

А когда я принялся изображать некоторых наших рабочих и начальников — передразнивать их выговор, пародировать их повадки, гримасничать, как это делал под кайфом от травы мой отец, высмеивая соседей, — то зал просто затрясся от визга и хохота.

Краешком глаза я заприметил того долговязого белого парня, который в первый день хотел избить меня в куджи за то, что я, черномазый,

не знаю своего «места». У него текли слезы по лицу, так он надрывался от смеха. Все просто катались.

Все — кроме Малыша Мо. Малыш Мо не смеялся. Ему казалось не больно-то смешным, что я кривляюсь перед толпой белых. Но, закончив выступление, я думал лишь об одном: вот зал, полный незнакомых мне людей, причем некоторые из них раньше открыто ненавидели меня, — и все они теперь хлопают мне.

После представления Дакс устроил ужин для всех исполнителей, нечто вроде благодарственного угощения — бифштекс с картошкой и кусок пирога. Я зашел на кухню и получил тарелку с едой, как и все остальные исполнители. Бифштекс еще шкворчал, когда повар шлепнул его на тарелку. Ломтики картошки румянились сочными корочками. Я зашагал к выходу, чтобы поскорее приняться за еду, пока все горячее.

— Джеки, — позвал меня Дакс от стола. — Ты куда?

— На улицу, — ответил я.

Дакс ухмыльнулся:

— Это еще зачем?

Затем, что я был голоден и хотел есть. Я спешил на улицу, потому что я был здесь единственным

черным среди белых. Черные не ели вместе с белыми, и мне никогда раньше не приходило в голову, что может быть иначе.

Очевидно, очень даже могло. Дакс помахал мне, приглашая расположиться рядом с ним:

— Иди сюда, Джеки. На улице к тебе мухи на тарелку слетятся.

Я сел возле него, вонзил нож в свой бифштекс и набил рот едой. И тут, я помню, Дакс уверенно опустил руку на мое плечо и сказал:

— Чертовски смешно было, приятель. И где это ты так научился смешить людей?

* * *

После любительского представления прошло дня четыре или пять. Я тащил буксирный трос, стараясь думать только о боссе и отгоняя мысли о все еще звучавших у меня в ушах аплодисментах и воспоминания о бифштексе, вкус которого заживо воскресал всякий раз, как я проглатывал слюну. Я усердно работал, когда неподалеку появился джип. За рулем сидел один из лагерных начальников. Он остановился напротив нашей партии и окликнул меня. Я подошел к машине с улыбкой на лице: думал, что он хочет похвалить мое выступление. Прошло уже пять дней, а ко мне

все еще подходили с добрыми словами разные люди, видевшие меня на концерте. Но на этот раз оказалось не так. Подойдя на достаточно близкое расстояние, чтобы разглядеть лицо начальника, я понял — и понял без слов, — что ничего хорошего он мне не скажет.

— Залезай. — Одно слово. Ничего лишнего. Секунда, в течение которой я пытался сообразить, в чем дело, оказалась слишком длинной: — Ну, давай, парень. Залезай. Поехали, — торопил меня лагерный начальник, щелкая языком, словно кнутом.

Я подставил ногу, чтобы забраться в джип. Водитель еле дождался, когда я заберусь, и рванул вперед.

Он отвез меня к административному зданию. Провел в контору. Там сидел другой лагерный работник, с виду еще более угрюмый, чем тот, который меня привез. Рядом было двое нахмуренных полицейских.

— Эти люди — из полиции, — объяснил мне начальник, как будто их синей формы, значков и автоматов было недостаточно, чтобы догадаться. — Тебя разыскивает отец. Говорит, ты сбежал из дома.

Чаще всего отец находился под мухой или под

кайфом и едва мог сползти с дивана. И все-таки этот пропойца как-то умудрился через всю страну дотянуться до меня и пригрозить пальцем.

Начальник сказал:

— Эти полицейские доставят тебя в Сиэтл, посадят на первый поезд в…

— Я не хочу домой. — Я постарался произнести эти слова как можно тверже, но мой голос прозвучал просительно, если не сказать умоляюще. — Если я поеду домой, отец меня…

— Тебе нет восемнадцати. — Начальнику были безразличны мои беды. Он показывал мне свое безразличие тем, что даже не глядел в мою сторону. — Тебе нет восемнадцати, — значит, ты не можешь работать. Мы посадим тебя на поезд, ты поедешь домой. — Он решил еще больше подчеркнуть свое безразличие, взял со стола какие-то бумаги и уткнулся в них. И, нахмурившись, всем своим видом показывал, что теперь его внимание полностью принадлежит этим бумагам, а не мне.

Я последовал за полицейскими.

И вдруг остановился.

Спросил у начальника:

— А где мне получить деньги?

— Тебе нет восемнадцати, ты не можешь рабо-

тать. Не можешь работать, — значит, деньги тебе не полагаются.

Копы плотно обступили меня с обеих сторон, будто врага народа, провели к своей патрульной машине и усадили на заднее сиденье. Дорога в Сиэтл была долгой, но за всю поездку я с полицейскими даже словом не перемолвился. Там, на станции, они оставили меня с билетом до Нью-Йорка. Наверно, за билет заплатила лесозаготовительная компания. За вычетом стоимости билета из суммы, которую мне задолжали, они дешево отделались.

Почти трое суток до Нью-Йорка. За окном — панорамное зрелище, горы, переходящие в пустыню, перетекающую в… Денег у меня не было. Проводник, пожалев меня, приносил остатки еды из вагона-ресторана.

Делая пересадку в Чикаго, я некоторое время раздумывал — не плюнуть ли мне на поезд, не убежать ли куда-нибудь, чтобы заняться… чем-нибудь. Но потом я представил себе, каково будет скитаться с пустыми карманами по незнакомому городу, где никто надо мной не сжалится, не станет подкармливать меня. Сел на свой поезд и доехал до Нью-Йорка.

На станции Пенн никто меня не встречал. У ме-

ня даже мелочи на метро не было, а проскочить зайцем я не отважился.

И поплелся домой пешком.

Когда я добрался до квартиры, отец был не то пьян, не то под кайфом, во всяком случае в отключке. Валялся на диване. Там же, где валялся пару месяцев назад, когда я уезжал. Я лег спать.

Посреди ночи отец ворвался ко мне в комнату с истеричными воплями и ремнем в руке: добро пожаловать домой! Он орал что-то вроде: «Я тебя научу, как убегать из дома! Я тебя научу, как строить из себя умника!»

И в течение двадцати минут он хорошенько меня учил.

Часть II

В реке Таллахатчи что-то плыло — раздутое, обглоданное рыбами, так что трудно было понять, что это такое.

А это было тело.

Тело Эмметта Тима.

Эмметту Тиму было четырнадцать лет.

Было.

В августе 1955 года Эмметт уехал из Чикаго, где он жил, погостить к родственникам в Мани, штат Миссисипи, и собирался провести у них остаток лета. Мани была деревней — жителей не больше пятидесяти пяти. В остальном ничего там не было — только свежий воздух да чистое поле. Казалось бы, подходящее место для детских каникул. Казалось бы. Только вот однажды в крошечной овощной лавке юный Эмметт сказал что-то нескромное белой женщине. Может быть, сказал. А может, только присвистнул, глядя на нее. А может, вообще только поглядел в ее сторону. Не важно, что там на самом деле было: в глазах добропорядочных белых жителей деревни Мани, штат Миссисипи, Эмметт поступил с той

женщиной так, как если бы ударил и изнасиловал ее. И в ту же ночь двое — Рой Брайент и его брат, Дж. Г. «Большой» Майлем (Майлем был особенно злостным хулиганом, даже по мнению жителей деревни), заявились к дяде Эмметта в поисках «того чикагского пацана». Они силой затащили Тилла в свой пикап и увезли куда-то в темноту.

А три дня спустя в реке Таллахатчи обнаружили этот раздувшийся, обглоданный рыбами труп. Одного глаза у него недоставало. Голова была проломлена. К шее утопленника была колючей проволокой примотана лопасть хлопкоочистительной машины весом в 74 фунта. И, наконец, маслинка к коктейлю: пуля в черепе мальчишки.

Брайента и Майлема арестовали. Брайента и Майлема отдали под суд. Присяжные — двенадцать белых мужчин — в течение долгого и многотрудного часа и семи минут доказывали, что двое ответчиков невиновны, несмотря на то, что множество очевидцев могли засвидетельствовать обратное.

Целый час и семь минут. Считая перерыв на обед.

Единственное наказание, какое, можно считать, выпало Брайенту с Майлемом, — это порезы на пальцах, которые они получили, пере-

считывая четыре тысячи хрустящих долларов, выплаченные им журналом «Лук» за рассказ об их преступлении. Рассказывали они, ни чуточки не боясь дальнейших преследований. Двойное преступление. Они были вольны говорить, что захотят. Они же захотели описать, как удушливой летней ночью отвезли Эмметта Тилла на реку и потребовали попросить прощения за то, что он будто бы оскорбил белую женщину.

Тот не стал просить у них прощения.

Эмметт заявил им, что ничего не сделал. Он заявил им: ну и что, что он заговорил с белой женщиной? Заговорил? Да в Чикаго он целовался со многими белыми девчонками и еще со многими будет целоваться, если захочет. Четырнадцатилетний Эмметт Тилл, находясь ночью наедине с двумя белыми южанами, заявил им, что он ничем не хуже их.

И двое белых южан сорвали с Эмметта одежду, избили Эмметта, бросили Эмметта в реку с металлической лопастью на шее. И один из этих белых прострелил Эмметту голову.

— А что еще нам оставалось? — сказал «Большой» Майлем. — Ему не на что было надеяться.

В середине 1950-х годов в Америке большинству чернокожих почти не на что было надеяться.

Март 1956 — июль 1957

Ничего другого мне не оставалось. Ничего другого. Я стану — я должен стать — знаменитым. Так я решил. Вернее сказать, так решили за меня жизненные обстоятельства. Мне исполнилось восемнадцать, я закончил школу и устроился вместе с Малышом Мо на работу в грузоперевозочную компанию: это была единственная работа, которую мы с ним смогли получить, а мне требовалось что-то более постоянное и высокооплачиваемое, чем та поденщина, которой я занимался раньше. Почти целый год я проработал грузчиком, вынося чужие пожитки из одной квартиры, запихивая их в грузовик, перевозя на другой конец города, а потом занося в другую квартиру. Платяные шкафы. Кровати. Столы. Ящики, заполненные посудой, книгами и всякой всячиной — тяжелые, будто набитые кирпичами. Тяжеленные, почти неподъемные. Но поднимать их приходилось. Ты поднимал их, потому что это был единственный способ заработать деньги. Поднимал, получал свои деньги, а боль после такой работы еще долго давала о себе знать. Ты отправлялся домой, спал несколько

часов, вставал спозаранку, шел на работу — и все повторялось по кругу.

Когда прошли первые триста с чем-то дней такой жизни, я попытался представить свое будущее. И понял, что меня мало что ждет впереди, а то, что ждет, не очень-то радостно. В пятидесятых годах у чернокожего было два выхода — стать знаменитостью или не стать никем. А стать чем-то средним между этими крайностями — скажем, врачом или адвокатом… Нет, это было невозможно. Конечно, такое тоже могло случиться. И случалось иногда. С отдельными чернокожими. Однако мечтать сделаться «белым воротничком» было почти все равно, что мечтать о прогулке по Луне. Кроме того, без высшего образования, на которое у меня все равно не было денег, даже если бы я хотел его получить, и которое не мог бы получить, даже если бы деньги на него были, — мне оставался лишь пожизненный приговор к тяжкому физическому труду: мести полы, чистить обувь прохожим, мыть машины, разгружать склады. Таскать мебель. Словом, мое будущее выглядело точь-в-точь как мое прошлое.

А стать знаменитым…

Знаменитых чернокожих можно было увидеть там, где было их поле деятельности, — на

телевидении и в кино: Гарри Белафонте, Диззи Гиллеспи, Лина Хорн, Джеки Робинсон, Шугар Рей Робинсон и Билл Боджэнглз Робинсон и… Черные знаменитости ходили, куда хотели, делали, что им нравилось, а обращались с ними совсем как с белыми. Их фотографии появлялись в газетах и журналах, их можно было увидеть на званых вечерах красиво одетыми, с бокалом в одной руке — другая обнимала белого партнера (белую партнершу), и белых ничуть не смущало, что они находятся на таком расстоянии — в такой близи — такой близости — от черной знаменитости. Ничуть не смущало. Я давно уже усвоил: если у тебя есть деньги или положение, то вокруг тебя все увиваются. И чем больше я видел черных богачей и черных знаменитостей, тем пуще меня одолевало тщеславие. Тщеславие буквально сжигало меня изнутри, оно сжигало все лишнее и оставляло только самое важное: необходимость. Мне необходимо разбогатеть. Мне необходимо прославиться. Не настолько уж это безумная мечта. Ведь вырвалась же Алтеа Гибсон[12] из этого самого Гарлема. И Диззи. И Сэмми Д. Значит, и

[12] Примечания: 12

Алтеа Гибсон (р. 1927) — теннисистка; первая чернокожая спортсменка, принявшая участие в чемпионате страны (1950) и в Уимблдонском турнире (1951).

я смогу.

Не умея совершенно ничего другого и исходя только из прошлого опыта (когда мне удавалось рассмешить школьников и лесорубов), я решил — и решил нахально, бесшабашно, — что лучшее поприще для осуществления обоих моих желаний — это комедийный жанр. И несмотря на то, что по-настоящему знаменитых на весь мир чернокожих комиков можно было пересчитать по пальцам даже трехпалой руки, я слепо ринулся к цели.

Первое: мне нужен был репертуар. Что ж! — я его крал. Я смотрел *«Любимцев города»*. Уже не так, как прежде, когда я сидел перед телевизором и просто наслаждался представлением, — теперь я изучал эту передачу, изучал комиков, перенимал их манеры и повадки. И лучшие номера перенимал. Вернее, перенимал вторично. Ведь большая часть их шуток уже была всеобщим достоянием — стары как мир, шаблонны по форме. Таков уж был комедийный жанр: милые люди с хорошо поставленной речью, мало отличавшиеся друг от друга костюмами и номерами, пересказывали известные всем анекдоты. Я сказал себе, что буду использовать чужие шутки только временно. Потом, когда у меня начнет все получаться,

придумаю себе собственную программу. Так же, как когда я учился «говорить хорошо», я тренировался перед зеркалом у себя в комнате. Глядя на свое отражение, я подражал Уиллу Джордану, Майрону Коэну и Алану Кингу. Особенно — Алану Кингу. Он тридцать семь раз появлялся у Салливана, и его манеру я вытвердил назубок.

Второе: мне нужен был клуб, где бы я выступал. Что ж! — во всем Нью-Йорке имелось только одно заведение, которое мне подходило, — «Копакабана». Я там никогда не бывал. Я даже по соседству — в фешенебельном Мидтауне — и то не бывал, но точно знал, что это *то самое* место. Потому что всякий раз, как Салливан спрашивал у своего очередного голливудского гостя, заскочившего к нему в перерыве между киносъемками, где его можно увидеть в городе, всякий раз, как он спрашивал об этом именитого комика или еще более именитого певца, куда он обычно ходит развлечься, то ответ был почти всегда один и тот же: «Копа».

И вот однажды я, как дурак, потащился на угол Пятьдесят девятой и Мэдисон и постучался в запертую парадную дверь клуба. Подождал. Еще постучал. Подождал. Заколотил громче. Подождал. Вскоре дверь открыл какой-то усталый

белый парень с обвисшим галстуком, закатанными рукавами и волосами, зачесанными на лысину так, что она делалась только заметнее.

— Чего нужно? — поинтересовался он.

— Я бы хотел поговорить с заведующим.

— Чего нужно?

— Разве вы заве…

— Чего нужно?

— Я хочу работать здесь, сэр.

— Кем? — Его тело застыло в дверном проеме, как будто ему не терпелось снова вернуться к занятию, прерванному моим приходом. Наверно, даже если бы я был весь охвачен пламенем, то мог бы надеяться лишь на половину его внимания.

— Я хочу выступать, — сказал я тоном, как будто это само собой разумелось. — Выступать на сцене. — И добавил: — Я комик.

Тут парень с начесом выдал целую обойму высказываний о моих умственных способностях и о степени законности брака моей матери на момент моего рождения. А потом велел мне убираться. Может, он как-то иначе выразился, но смысл был именно такой.

Чего я ожидал? Неужели я и в самом деле думал, что постучусь в дверь, помашу рукой — и сразу же взбегу на сцену «Копакабаны»?

Ну да.

Ну да, наверно, я и в самом деле так думал: у меня на глазах будто шоры были, я ничего не видел, кроме себя самого, раскланивающегося перед смеющейся, хлопающей, ликующей людской толпой. Я-то полагал, единственное, что мне предстоит, — это выйти на сцену перед полным залом, а зал этот уже будет меня ждать. Я очень, очень ошибался.

Но та же наглость или наивность, а может быть, и глупость, которая толкнула меня в «Копу», не дала мне сразу же отказаться от своих мечтаний. Значит, в «Копакабане» дело у меня не заладилось. Ну что ж? Да город кишит клубами. Если «Копе» я не нужен, так буду выступать где-нибудь еще. Я обошел все ночные заведения, имевшиеся на Пятьдесят третьей улице. Обошел все клубы, развлекательные бары и коктейль-бары при гостиницах. Обошел клубы в Ист-Сайде, Вест-Сайде, кафе и погребки на обеих сторонах Виллиджа. Так я прослонялся почти целый месяц, но нигде меня не звали на прослушивание, а гнали сразу, с порога, так что можно было немедленно обивать следующий. Мой товар никто не хотел покупать. Никому не нужен был комик — *очередной* комик на их голову. И тут я начал прозревать: наверно, в

Нью-Йорке целая орава людей мечтает прорваться в шоу-бизнес, а все клубы и кафе уже тошнит от одного их вида у своих дверей.

Наконец я скатился на уровень Театра на Четырнадцатой улице, и не только в географическом смысле. Потому что это было самое дно, дальше опускаться уже некуда. Это был театр-варьете, чудом сохранившийся с давних времен. Динозавр, не ведавший о том, что его сородичи давно уже прохлаждаются на кладбище. Это заведение, специализировавшееся на дешевом пиве и плохой эстраде, было настоящей дырой, и начинающие комики, певцы и прочие исполнители выступали там перед, с позволения сказать, публикой. А между их выступлениями на сцену выпускали стриптизерш. Или — если взглянуть на это под иным углом зрения — между стриптизершами вставлялись эстрадные номера, чтобы семейные парни потом возвращались домой и честно рассказывали женам, что ходили на представление.

Я зашел туда и спросил заведующего. Меня привели к парню по имени Рэй. Я попросил его прослушать меня — попросил со всей самоуверенностью, какая у меня оставалась, и стараясь вести себя как восходящее молодое дарование, а

не как очередной сопляк, которому хочется веселить публику, но больше негде этим заниматься.

Видимо, Рэю было все равно. Он велел мне прийти через две недели, считая от ближайшего воскресенья, в семь часов. На этом его разговор со мной был окончен.

Две недели.

Они проходили, но проходили медленно, и я проводил почти каждую минуту каждого дня, воображая, как выйду на сцену, и каково это — быть на сцене, и какая у меня начнется жизнь — новая, великолепная жизнь, — с того воскресенья, от которого меня отделяет больше четырнадцати дней. Но пока я еще не переродился, мне предстояло по-прежнему мириться со своей привычной жизнью и двумя ее главными составляющими. Отец, который всегда торчал дома — всегда под кайфом, всегда готовый наброситься на меня с кулаками. И работа грузчика. Я никогда не был силачом, скорее наоборот. Росту во мне было метр восемьдесят пять, но я никогда не весил больше шестидесяти: в общем, я не был создан для того, чтобы таскать мебель. Зато я был черным. А это — единственное требование для того, чтобы исполнять тяжелую черную работу.

Однажды мы с Мо грузили мебель для одного

человека, и у него оказался очень большой… большая… в общем, какая-то штука. Я так и не понял, что это такое. Вроде комода, только длиннее. И не такая высокая. Из сплошного дерева. Тяжеленная. В лифт она конечно же не влезала, и нам с Мо нужно было тащить ее вниз по лестнице. Шесть маршей — и это в знойный нью-йоркский день! Жара стояла страшная. И эта жара, и эта тяжелая штука, и пот, которым я обливался, ничуть не помогали мне нести груз. Зато не мешали владельцу мебели, стоявшему на верхней ступеньке, лаять на нас по-сержантски: «Не уроните! Ребята, поосторожнее, не уроните!» Можно было подумать, если бы он не орал на нас, мы бы просто сбросили его штуковину вниз по лестнице.

«Не уроните! Не уроните!»

Его голос так и звенел у меня в ушах. Я задыхался от нехватки свежего воздуха. Влажные руки скользили по древесине. Спина разрывалась, руки кричали от боли. Я оступился. Удержать равновесие было немыслимо. Я выронил конец, который нес. Штуковина ударилась о лестницу. Не слишком сильно. Но слишком сильно — для хорька, которому она принадлежала. Он тут же слетел вниз по ступенькам и набросился на меня с кулачищами. Голову мне обожгло, внутри че-

репа как будто взорвался фейерверк. Когда мои глаза прекратили вращаться и распахнулись, я очнулся там, где оказывался много раз, — снова на полу. И в который раз мое лицо под чернотой сделалось красным. Я взглянул на своего обидчика, силясь не плакать, силясь принимать такое обращение по-мужски. Но стоик из меня вышел дрожащий и заплаканный. Снова.

А пока человек в ярости обрушивал на меня удары, чередуя их с восклицаниями «Да как ты смел!» и пр., проклиная мою никчемную негритянскую (он употребил другое слово) голову, за то, что я уронил его драгоценную штуковину, Малыш Мо стоял и смотрел на него. Смотрел и сжимал руки в тугие злые кулаки — точно так же, как в лагере лесорубов, когда он был готов броситься на того красношеего и его красношеий клан. Он рвался выскочить и нанести удар угнетателям. Малыш Мо был готов начать революцию.

Все еще лежа на полу, я взглядом велел Мо остыть. Не нужно напрашиваться на неприятности — после них могли последовать только новые неприятности. Это было бы неразумно. Бороться с Белым Человеком всегда неразумно.

День еще не был завершен, но для меня он уже закончился. Мне хотелось побыть одному, и я от-

делался от Мо под выдуманным предлогом, будто мне зачем-то куда-то срочно нужно уйти, а сам отправился бродить, оставшись наедине со своим пылающим лицом и сердитыми мыслями. Как же мне хотелось отомстить этому белому хорьку, который ударил меня! Мне хотелось сжать руку в кулак и дать ему сдачи. Но если бы я его ударил, меня прогнали бы с работы. В лучшем случае. Я ненавидел свою работу, но она была нужна мне, к тому же мне нравились деньги, которые она приносила. Трудно быть гордым, когда на пути у тебя — желание и ненасытность. Особенно если тебе не переменить цвета кожи. Поэтому я покорно принял те удары. Ну так что же? Очень скоро я окажусь в таком месте, где ни этот белый тип, ни кто-либо другой уже не дотянутся до меня. Очень скоро. Меньше чем через две недели.

Я настолько погрузился в собственные мысли, что не заметил деревяшки, валявшейся в переулке у меня на пути. Задев ее ногой, я споткнулся и полетел на асфальт. Приземляясь, выставил вперед руки. А на тротуаре мою правую ладонь уже поджидало битое стекло. Маленькая стекляшка — но ее хватило, чтобы из ранки хлынула кровь. Я сидел на грязной мостовой — весь перемазавшийся кровью, с дыркой на коленке. А лицо все

еще ныло от удара.

Я поднял глаза.

В переулке стояло блестящее автомобильное чудо — новенький, 1956 года выпуска, «паккард-кариббеан». Он был припаркован. Пустой. Ничего не делал. Ничего? Да он насмехался надо мной! Он хвастался всем тем, чего у меня никогда не будет, этот туристский автомобиль, стоивший почти шесть тысяч, на который я не мог бы заработать, если бы даже корячился всю жизнь. Белые стенки, белая кожаная обивка, трехцветный верх — цвет яичной скорлупы, небесная синева, красный «танго», — начищенный до зеркального блеска. И эта решетка, эта ослепительная хромированная решетка — как нахальная жирная ухмылка. Я как будто слышал ее глумливый смех, обращенный ко мне: «Видишь меня, Джеки? Видишь, чего тебе никогда, никогда не заполучить, нищий, тупой, никчемный…»

Деревяшка оказалась у меня в руке. Деревяшка заплясала по всему «паккарду». Обрушилась на ветровое стекло и разукрасила его «паутинкой». Обеззеркалила дверцу. Взмах — удар — и полетело украшение с капота. Теперь — решетка. Теперь я взялся за эту идиотскую блестящую решетку. Деревяшка уродовала хромированное покры-

тие, портила его, оставляла зазубрины, сбивала выпуклые наконечники — это излишество ради излишества. Я колошматил машину, но на самом деле я бил того белого, который ударил меня. Я громил фары, но одновременно вымещал на них зло на своего отца, чьи побои слишком долго сносил. Я колотил, колотил и колотил эту машину, но на самом деле… Что же я делал на самом деле?

Я остановился.

После того как смолк стук дерева о металл, в переулке воцарилась страшная тишина. Вокруг меня был необозримый Нью-Йорк, а я слышал только, как где-то вдалеке лает собака и у меня в груди колотится сердце. Я слышал, как на мостовую упала деревяшка. Вокруг меня был необъятный Нью-Йорк, а мне казалось, будто каждому горожанину слышно мое прерывистое дыхание и топот: я наутек бросился из переулка, подальше от своей жертвы — злосчастного «паккарда», которому так не повезло с местом и временем парковки.

Воскресенье. Наконец-то воскресенье. Я подошел к театру в пять двадцать и прождал на улице минут сорок пять, не меньше, когда заведение откроется настолько, чтобы я хотя бы мог войти внутрь. После чего еще минут тридцать слонялся

без дела, ожидая начала представления. Когда оно началось, то в зале на двести человек посетителей набралось человек пятнадцать. Я боялся, что меня сразу же выпустят на сцену. Что же мне делать перед такой жалкой горсткой народу?

Я места себе не находил и только попусту сжигал калории.

Семь часов уже минуло, минуло и восемь, на сцене сменилось множество исполнителей, а я все еще прохлаждался.

После девяти. Заведение наполнилось примерно наполовину, — видимо, больше народу тут и не набирается. Публика, состоявшая сплошь из неряшливых мужчин, принадлежавших не то к среднему, не то к низшему классу, — разогретых и достаточно трезвых, несмотря на быстро поглощаемое пиво, — дошла до кондиции. Вот тут бы мне как раз и выйти на сцену, показать, на что я способен. Но меня не приглашали. Вместо меня на сцену поднимались какие-то певцы, пара других комиков, дрессированные собаки, какой-то малый, читавший отрывки из пьесы, и стриптизерши. Всевозможные стриптизерши. Тут были представлены все формы, все размеры и возрасты. Не было только хорошеньких. По-видимому, им вход в это заведение был строго

воспрещен. Но зрители не очень-то на это досадовали. Зрители пьяно салютовали женщинам, а те в знак благодарности с дразнящими улыбками стаскивали с себя одежду, прежде чем она падала на пол. Парни оставались вполне довольны, и девицы тоже оставались довольны: похоже, все, кроме меня, были довольны. Я только стоял и наблюдал, как занятых мест в зале становится вдвое меньше, а градус делается вдвое выше, к тому же публика проявляет все больше недовольства, когда выходит очередной комик, певица или дрессированная собака, отнимающие драгоценное сценическое время, которое куда лучше потратить на стриптизерш.

Я попытался разыскать конферансье, чтобы выяснить, когда же — хоть приблизительно — меня выпустят на сцену. Легче было бы поймать стаю перепуганных мышей. Когда же моя затея наконец удалась, все, что я из него выудил, было: «Скоро, приятель. Очень скоро». То же самое он сказал и какому-то старику с банджо, который, со своей стороны, поинтересовался, когда его очередь.

Десять часов, одиннадцать, двенадцать. Публика рассеялась, между часом и половиной второго снова достигнув прежней численности. Стрипти-

зерши выходили по кругу уже два с половиной раза, но подвыпившим зрителям, восторженно глазевшим на девиц, они казались новенькими, незнакомыми, а сквозь алкогольный туман — почти хорошенькими.

Примерно в половине третьего, когда на меня наваливалась усталость при одной только мысли о предстоящем рабочем дне, до начала которого оставалось всего часов пять, появился конферансье и сказал:

— Ты — следующий, Джейк.

«Джеки», — хотел было я его поправить. Но тут же мне пришлось бороться с собственным желудком: весь вечер я простоял на ногах, и как раз в этот момент он занервничал и потребовал, чтобы его опорожнили. Схватившись липкими от пота пальцами за живот, я занял выжидательную позицию за кулисами. Мое будущее место на сцене занимала девица, все таланты которой заключались в умении расстегивать пуговицы и молнии почти под ритм музыки. Почти. Когда она закончит свое дело, заведение будет принадлежать мне. Я попытался запечатлеть в своей памяти каждую секунду этого ожидания. Мне хотелось, чтобы у меня сохранилась настоящая музейная коллекция воспоминаний о предсто-

ящем событии, об этом моменте моей личной истории. Мне хотелось, чтобы у меня в сознании все это сохранилось как ценный документ, чтобы все памятные подробности можно было легко восстановить в отдаленном будущем, когда люди станут просить: «Расскажи нам, Джеки. Расскажи, как все началось».

Так вот, я вам расскажу: началось это все с того, что стриптизерша закончила выступление и принялась сладко раскланиваться, видимо ожидая, что из зала в нее полетят мятые долларовые бумажки, — но так и не дождалась. Публика была пьяна, да не настолько, чтобы раскошелиться хоть на цент сверх того, что уже было заплачено за вход, сколько бы девицы ни трясли своими прелестями. Наконец эта девица подхватила сброшенную одежду и ушла со сцены, не очень-то скрывая, что злится на сидевших в зале скупердяев.

На сцену нахально-ленивой походочкой вышел конферансье. Какая разница, что он всего лишь представлял исполнителей в эстрадном заведении в два часа ночи, — высокомерие так и перло из него.

— О-о-о-окей, — протянул он медленно и томно, смертельно-усталым тоном, причем во всей его

манере сквозило, что сам он слишком хорош для этого окружения. — Следующим номером будет комик. А ну-ка, похлопайте Джонни Манну.

Почти правильно.

Я выскочил на сцену — выскочил стремительно. Энергия била во мне ключом — ее сполна хватило бы и на изможденного конферансье, и на электроснабжение Стейтен-Айленда. Хлопки. Жиденькие. И короткие. И вот снова — та же пропасть, та же пустота между хлопками и моей первой шуткой, которая подстерегала меня и тогда, когда я выступал перед публикой в лагере лесорубов. Я ринулся в эту пустоту, спеша заполнить ее заемными номерами. Принялся рассказывать про «своих» чокнутых соседей, про тещу, которой у меня в помине не было. Про своего папашу-пьяницу, про которого и придумывать ничего не требовалось, потому что все было чистой правдой. И так — номер за номером. Ничего. Никакого смеха. Никаких ухмылок. И вот, после всех мечтаний, вдруг до тебя начинает доходить, как обстоит дело: ты выступаешь в два часа ночи перед горсткой пьянчуг, которые желают глазеть на голых женщин. Им даром не нужно твое выступление. В этом заведении нечего было и надеяться сорвать смешки. Но, что хуже всего,

народ не только не смеялся над моими шутками: меня вообще как будто не замечали. Народ не смеялся, но и не шикал. Никто не хлопал, но и не прерывал меня. Никому дела до меня не было. Я стоял на сцене, изо всех сил воплощая свою мечту в жизнь, пытаясь придать ускорение своей жизни, а всем было плевать на это. Зрители заказывали выпивку, болтали между собой. На меня не обращали внимания.

Моя самоуверенность растаяла. Я почуял провал: меня забила дрожь и прошиб пот.

Проведя на сцене три минуты, показавшиеся долгими, как целая жизнь, — на две минуты меньше предоставленного мне срока, — я кое-как убрался со сцены.

Конферансье вывел очередную стриптизершу.

Вот ей-то публика уделила внимание.

Выход! Скорее к выходу! Я пронесся мимо Рэя, управляющего этого заведения, не сказав ему ни слова, в полной уверенности, что говорить мне с ним не о чем. Но он, увидев, как я мчусь сломя голову на улицу, обратился ко мне.

— Что? — переспросил я, потому что хоть и расслышал, что именно он сказал, но не поверил своим ушам.

— По понедельникам, — повторил он. — Мо-

жешь работать по понедельникам ночью.

На миг ко мне вновь вернулось самолюбие — я решил, что выступил удачнее, чем мне показалось.

— Вам понравилось, да? — спросил я.

Рэй только пожал плечами:

— Нужно же кого-то пропихивать между шлюхами.

* * *

Грейс Келли[13] выходила за принца, и это было замечательно. Пятидесятые годы были американской мечтой, воплощением американского образа жизни, проживаемого как мечта. США были могучей державой, от «а» до «я». Президентом был человек, победивший Гитлера, а его сотоварищем — бывший солдат американской армии, совершивший высадку в Нормандии. А то, что мы оказались способны лишь загнать в тупик Северную Корею, было всего лишь побочным эффектом. Мы были асами. Мы процветали, мы наслаждались могуществом. Мэдисон-авеню

[13] Примечания: 13

Грейс Келли (полн. имя — Грейс Патриша Келли; 1929–1982) — ведущая американская кинозвезда до 1956 г., когда вышла замуж за Ренье Третьего (1923–2005), правящего принца княжества Монако.

убеждала нас в этом, навязывая нам «Плимуты» и «Джеритол» и с помощью Бетти Фёрнес уговаривая покупать холодильники «Уэстингхаус». Дома же всякий желал быть королем собственного, собранного из промышленно изготовленных секций и блоков замка, а каждая женщина желала стать королевой хотя бы на один день. И словно сила людских желаний вдруг воплотила мечту в жизнь, одна из блистательных голливудских старлеток в самом деле собралась сделаться всамделишной принцессой. На ней было свадебное платье, а он появился в королевском облачении — вся грудь в макаронах, в каких-то блестящих медалях в форме звезд, свисающих с целой радуги ленточек, так что ты диву давался — в скольких же войнах он успел побывать, чтобы получить столько наград. Но потом ты задумывался — и постепенно понимал, что ни в каких войнах он не участвовал. Принцы же не воюют. Принцы отправляют других парней воевать вместо себя. К тому же он был принцем крошечной страны, которую на карте мира только с третьей попытки можно было найти. А крошечные страны не ввязываются в войны. Иначе крошечным странам несдобровать. Так что все эти цветные макароны, и золотая оторочка на мундире, и орденская лен-

та, диагонально переброшенная через туловище, как у королев красоты, — все это, как россказни сержанта Колавоула о борцах за свободу, было «понарошку». За одним исключением: уж принцем-то он был настоящим. Еще бы не настоящим — ведь за него выходила сама Грейс Келли. Много, много лет спустя она погибнет трагической смертью, какой умирало еще много красивых и знаменитых людей (это даже наводило на мысль, что за красоту и знаменитость приходится расплачиваться). Но произойдет это много, много лет спустя. А пока телевидение всему миру показывало, как Грейс Келли выходит замуж за Принца Такого-то из маленькой страны, и я вместе со всей планетой смотрел на это и думал, как же чудесно быть красивым и знаменитым: вот женщина, у которой было все на свете, а она сейчас получает то, что еще осталось.

Да, у нее было все. А у меня была работа грузчика, целиком заполнявшая мои дни, и некое подобие домашней жизни в компании с отцом, к которой я возвращался вечерами. Но моей настоящей жизнью стал Театр на Четырнадцатой улице. Что бы он собой ни представлял, этому театру навсегда было суждено стать тем местом, где я впервые прикоснулся к миру шоу-бизнеса.

Там я впервые познакомился с людьми, одержимыми таким же, что и у меня, слепым желанием попасть на телевидение или в кино — приобрести громкое имя и узнаваемое лицо. Всем им хотелось стать чем-то большим, чем то, что они представляли собой. Одни были талантливы, другие просто льстили себе. Время должно было показать, к какой категории относился я.

Рэй позволил мне выступать по понедельникам ночью. Вернее было бы сказать, что, прежде чем я выходил на сцену, уже наступало утро вторника. А еще можно было бы добавить, что когда я выступал, то понедельничная толпа состояла из взрослых мальчишек, которые приходили поглазеть на раздетых баб, а паузы между их появлениями использовали в основном для очередной выпивки.

Какая разница!

Когда подходила моя очередь, мне доставалось развлекать уборщиков и посудомоек.

Ну так что же!

Поначалу. Поначалу я радовался уже одному тому, что могу регулярно работать на сцене, могу выступать не перед зеркалом, а перед живыми людьми, вдобавок получая кое-какой приварок — хотя чаще всего он даже не покрывал моих

расходов на метро.

Плевать!

Зато я попал в шоу-бизнес. Я развлекал публику.

Я проводил в театре не только ночь с понедельника на вторник, я приходил туда гораздо чаще. На самом деле я являлся туда почти каждый вечер. Прежде всего я надеялся, что какой-нибудь из намеченных номеров сорвется, а взамен на сцену выпустят меня. Обычно рядом кучковалось еще человек пятнадцать парней, которых одновременно посетила та же блестящая мысль. Заодно я смотрел чужие выступления. Одни мне нравились, другие — нет. Если мне кто-то нравился, я старался перенять соответствующий стиль и манеру. Я старался стащить все, что могло пойти на пользу мне самому. А если мне кто-то не нравился, я стремился понять, что именно мне не по вкусу, почему эти люди кажутся мне скучными, несмешными, почему они остаются в этом театришке, хотя им следовало бы давно или податься в какое-нибудь другое место, или вообще перестать выступать.

Цель моих наблюдений заключалась в том, чтобы с понедельника как-нибудь перебраться поближе к выходным — на пятничный или

субботний вечер. Это было лучшее время для выступления: заведение наполнялось, заработок повышался, так что его уже нельзя было назвать карманной мелочью, и, что самое главное, в выходные было гораздо больше шансов, что в театр заглянут агенты, продюсеры и прочие искатели талантов, — не то что в два часа ночи по будням. А такие люди были по-настоящему необходимы исполнителю — все эти десятипроцентщики, воротилы, открывавшие любые двери, заключавшие сделки и делавшие шумиху. Именно они запросто могли вознести исполнителя с клубной сцены — на телевидение, а с телевидения — к славе.

Со временем некоторые парни, которым никак не удавалось расширить свои возможности, вообще перестали приходить в театр. Поскольку они отпали, мои шансы несколько возросли, и медленно, но верно я переполз с понедельничной ночи на ночь между вторником и средой. На утро среды. А вскоре начал выходить на сцену уже не в предрассветные часы, а в ночные. Явное продвижение. Я радовался, я гордился собой. Я испытывал это чувство в течение нескольких месяцев. Потом еще несколько месяцев я был просто доволен. Спустя восемь или девять месяцев я чув-

ствовал только досаду. Я вдруг понял, что застрял на месте. Никуда я не продвигался. Я ничуть не продвинулся в сторону четверговой ночи, и уж точно ни на шаг — в сторону выходных.

Хуже того, я не попал и ни в какой другой клуб. Театр на Четырнадцатой улице вовсе не оказался тараном, который пробивал бы другие двери. В некоторых заведениях, упоминая работу в этом театре, я скорее вредил себе, чем помогал. А поскольку у меня не было агента или импресарио, который вместо меня самого расхваливал бы мои достоинства, то положение мое становилось отчаянным. Я топтался на месте — и доказательством тому служили новые лица, мелькавшие в театре: на сцену рвались все новые исполнители. А ведь еще совсем недавно я сам был тут новичком. Еще совсем недавно я сам хмыкал в сторону тех, кто, как мне казалось, слишком надолго задержался на здешней сцене, и думал: «Какого черта они тут путаются?» Может, излишняя мнительность заставляла меня видеть то, чего не было, но мне мерещились усмешки на лицах новичков, то же самое говоривших обо мне.

* * *

Ну скажите, можно ли было где-нибудь еще найти двух людей, столь же несхожих во всем? Бедный чернокожий паренек из Гарлема — и белая девушка-еврейка из Уильямсберга. Я хотел стать комиком, она мечтала петь. У меня семьи как бы и не было, образования я почти не получил. У нее же были хорошие манеры, мама и папа, которые всерьез беспокоились, что их дочь поздно приходит домой, пытаясь сделать карьеру в шоу-бизнесе. Единственное, что объединяло меня с Фрэнсис Клигман, — это жажда успеха и вера в то, что когда-нибудь он придет (и это несмотря на то, что оба мы, по-видимому, надолго застряли на подмостках наименее привлекательного заведения в городе).

Что мне лучше всего вспоминается, первое, что приходит на ум, стоит мне подумать о Фрэн, — это, что от нее всегда пахло едой. Не в том смысле, что несло едой. Просто она источала такой аромат, как будто долго находилась на кухне, готовила еду, болтая с домашними. Это благоухание напоминало мне о Мей. И эта-то причудливая смесь причин — присущий ей запах, наше несходство и наше обоюдное стремление к славе — оказалась

достаточной для возникновения нашей с Фрэн крепкой дружбы.

Мы вместе слонялись по театру, болтали, а потом у нас вошло в привычку обязательно разыскивать друг друга. Когда Фрэн была рядом со мной, к ней не липли другие парни, которые обычно не давали ей проходу. Фрэн была настоящей красавицей. Немного полноватая, зато везде, где нужно, идеальные от природы формы. Соломенные волосы. Вокруг нее постоянно кружили волки, готовые вступить в игру. Я их не винил — я просто отпугивал их. Фрэн же, в свой черед, уберегала меня от стриптизерш. Трудно было обращать на них хоть какое-то внимание, пока Фрэн смотрела на меня как старшая сестра. И правильно. Если девицам не хватало привлекательности, то напора было хоть отбавляй. Эти венерины мухоловки в два счета выманили бы у молодого паренька весь его скудный заработок. Причем без остатка.

Так что мы отлично сыгрались. Мы рано приходили в театр, смотрели чужие выступления, перебрасывались шутками насчет тех номеров, которые казались нам затасканными, честно критиковали друг друга, иногда вместе ужинали, сидели и болтали — порой часами. Словом, все

было так, как будто у нас с Фрэн близкие отношения, за исключением секса. Ничего странного. Мы были совсем разные, мы практически не знали друг друга — и в то же время мы не сходились близко почти ни с кем из окружающих. Так бывает: если у тебя нет друзей, ты готов ухватиться и за чужого человека, который хорошо с тобой знаком. А Фрэнсис очень хорошо меня узнала. Пожалуй, она была единственным человеком, с кем я мог оставаться самим собой, разговаривать честно и открыто. Впрочем, и она и я старались ни словом не касаться одной темы — а именно, что ни один из нас пока так и не добился успеха на сцене. Положение вещей было проще некуда, но, словно два сообщника, делившие между собой общий грех, мы не желали об этом говорить. И, как правило, не говорили. Но однажды, после очередной ночи в цепи никчемных ночей — жалкая публика, жалкий заработок, — мы с Фрэн болтали после представления и просто не удержались.

Я пересчитывал полученные деньги. Это заняло меньше секунды.

— Сколько заработал сегодня? — спросила Фрэн.

— Доллар тридцать. Да, хоть моя карьера и при-

казала долго жить, я слишком мало зарабатываю, чтобы устроить ей приличные похороны.

В городе никогда не бывало полной тишины, но в такой час — слишком поздний или слишком ранний, — тишина стояла почти абсолютная. Все как будто уснуло. Мне казалось невероятным, что место с таким количеством живых душ может перевоплощаться в царство безмолвия и пустоты. В такую пору, прогуливаясь по улицам, ты словно прохаживался среди голливудских декораций: целые кварталы будто состояли из фальшивых задников и пустых зданий, возведенных для видимости. Голые фасады. Получалось, город составляли не дома, а люди.

Я спросил у Фрэн:

— А ты сколько заработала?

— Столько же.

Фрэн была милашка, но врать совсем не умела.

— Да брось. Я не обижусь.

Она заколебалась — не хотела задеть мое самолюбие.

— Три.

Меня начали раздирать противоположные чувства. Значит, Рэй дал ей на доллар с лишним больше, чем мне, надеясь — ошибочно — на шашни с Фрэн. Это было нечестно, и расчет был

неверен, но все равно — доллар с лишним? Я понимал, что это и в малейшей степени не соответствует уровню таланта Фрэн. А раз уж даже она не получала достойной платы от парня, который вдобавок мечтал об амурах с ней, — то каковы же тогда шансы на справедливый заработок у меня?

Видя, что я упал духом, Фрэн попыталась приободрить меня, не дать совсем распустить нюни:

— Да это просто потому, что туда приходит одна и та же компания парней, чтобы послушать меня. Они приходят, заказывают выпивку — вот Рэй чуть-чуть и подбрасывает мне сверху.

Мы остановились под зажженным уличным фонарем.

— Он потому это делает, что хочет чуть-чуть поподбрасывать *тебя* сверху на заднем сиденье своего «крайслера».

— Я буду осторожна, папочка, — улыбнулась в ответ Фрэн.

Но даже эта теплая улыбка не смогла меня развеселить.

Рот у меня сам собой раскрылся, и моя душевная боль прорвалась наружу:

— Боже мой, Фрэн, да меня уже…

— Тебя уже — что?

Меня — что? Каким словом можно было опи-

сать муку от сплошных неудач, которая терзала меня?

— Тошнит! Меня тошнит от такой жизни, тошнит от того, что днем я таскаю мебель, а по ночам пытаюсь смешить своими анекдотами каких-то пьяниц. Ради чего все это? Ради горстки мелочи в кармане? Ради чертовой…

Я опустил голову, обхватил ее руками. Мне хотелось расплакаться. Но Фрэн все-таки была девушкой — пускай даже моим хорошим другом, — а я не собирался плакать при девушке. Только это меня и сдерживало… И я поплакал всухую. Я ревел без слез.

— Мне так хочется вырваться, Фрэн! Вырваться из этой жизни! Мне хочется…

— Чего же тебе хочется?

— Мне хочется, чтобы меня перестали все время бить. — Я изо всех сил пытался побороть разрывавшее меня отчаяние. — Надоело отовсюду получать пощечины и тычки. Сколько себя помню, все меня пинали, шпыняли, обходились со мной, как с дерьмом, как с ничтожеством. Всю жизнь я был ничтожеством. Даже хуже. Я всегда был грязным ничтожеством.

— Не говори так!

— Спроси у моего отца — он тебе тоже скажет

это. Спроси у любого белого на улице — все тебе скажут, кто я такой.

— Ты забыл про меня — а я с этим не согласна. Для меня ты — не грязный и, разумеется, не ничтожество.

Я на секунду прекратил себя жалеть и поглядел на Фрэн. Мне хотелось проверить — сказала она так, просто чтобы что-то сказать мне в утешение, или же в самом деле так думает. Даже при тусклом свете фонаря выражение ее лица говорило само за себя: все было честно.

Мне пришлось отвести взгляд. От смущения я дернул головой: Фрэн оказалась такой сильной, а я — таким слабаком.

Я спросил у Фрэн — я глядел на другую сторону улицы, но спросил у Фрэн:

— А почему ты этим занимаешься — не спишь ночи напролет, поешь перед какими-то пьяницами? Ты ведь не такая, как я. У тебя хороший дом, семья.

Она рассмеялась в ответ:

— Да нет. То есть да, у меня действительно хороший дом, хорошие родители, мы живем в хорошем районе. Мне бы встретить хорошего еврейского паренька, сыграть хорошую свадьбу, переехать в хороший пригород, а там… — Фр-

эн снова рассмеялась, но на этот раз смех был горький. Как будто та боль, которую только что чувствовал я, перекинулась на нее. — Но знаешь? Ты вот свою жизнь ненавидишь, а я не хочу этого — дома на Лонг-Айленде с двумя ребятишками, собакой и «бьюиком» в гараже. Не хочу ничего этого, боюсь как чумы. Больше всего на свете я хочу выступать на сцене, перед публикой. Я хочу петь. Я не просто хочу — я… я должна петь. И если это значит, что мне предстоит петь в Театре на Четырнадцатой улице в два двадцать утра, то уж лучше так, чем сидеть и думать, какие цветы посадить в саду или какие полотенца подходят к плитке в ванной. Я понимаю, это, наверное, звучит… У меня еще тысяча способов прожить жизнь, но я ничего не могу поделать. Ничего не могу с собой поделать — просто я так чувствую. У меня такое чувство…

— У тебя такое чувство, что ты — не такая, как все.

Фрэн обожгла меня быстрым, чуть сердитым взглядом, как будто я только что разгласил всему миру ее тайный позор. Но тут же выражение ее лица смягчилось. Она сказала:

— Иногда у меня бывает такое чувство.

Фрэн замолчала, и стал слышен глухой гул

городской жизни: в отдалении проезжали машины, и этот шум отдавался уличным эхом между стеклами небоскребов. Где-то завыла невидимая сирена. Какой-то парень болтал возле газетного киоска с другим парнем, дожидавшимся, когда с почтовых грузовиков «Пост», «Ньюс», «Геральд Трибьюн» или «Таймс» шлепнется утренний выпуск, и все склонял каких-то *их:* что он уже устал от *них,* что президенту, пока не поздно, пора уже что-то решить с *ними.*

Фрэн предложила:

— Давай завтра вечером сходим в Виллидж.

Я мотнул головой:

— Терпеть не могу.

— Терпеть не можешь что?

— Да ходить по этим клубам, смотреть, как другие устроились лучше меня.

— Да ладно, пошли. Повеселимся. Посмотрим пару номеров, сами заведемся. Дже-е-е-ки, — протянула она, — ты же не хочешь, чтобы я одна туда отправилась? — И Фрэн снова одарила меня улыбкой.

Фрэн была хорошим другом — с такой девушкой можно было во всем чувствовать себя на равных, как с парнем. Правда, только когда она не улыбалась. Когда она улыбалась, то превраща-

лась в женщину на сто процентов.

— Ну, ладно.

— И как это я догадалась, что ты согласишься? Ну, теперь я лучше побегу на метро. Завтра поговорим.

— Погоди. — Я протянул ей пару долларов. — Вот. Возьми такси.

— Джеки…

— Не надо тебе в такой час ездить на метро.

— И я должна отнять у тебя те крохи, которые ты едва заработал?

— Если ты не доберешься как следует домой, мы не сможем пойти в Виллидж. — Я вернул Фрэн полученную от нее улыбку.

Короткое колебание — и Фрэн обменяла деньги на поцелуй в щеку.

— Джеки, я тебя люблю, — сказала она.

Фрэн на моих глазах села в такси и укатила в Уильямсберг.

Я сорок минут прождал в метро поезда.

* * *

Время. Место. Какая разница? Нью-Йорк. Наши дни. Какая разница? Может, никакой, а может, какая-то и есть. Может, даже большая. Нью-Йорк, 1956-й год, восемь миллионов человек. И ты

— один из этих восьми миллионов. Так что инстинктивная боязнь одиночества, потребность сбиться в стаю имела гораздо большее значение в миллионных толпах, даже — и особенно — в Нью-Йорке. Человеческий голос сам по себе — ничто. А голос, повторенный и умноженный в хоре, — это уже мощный крик, мимо которого не пройдешь. Этот город и представлял собой целое множество родоплеменных стаек, стремившихся быть услышанными. У китайцев был свой Чайнатаун, упиравшийся прямо в Маленькую Италию. Черные взяли себе Гарлем. Пуэрториканцам досталась обветшавшая западная часть «Адской Кухни». У богачей была Парк-авеню. У богачей был Верхний Вест-Сайд. На Аппер-Эс и Уолл-стрит они работали, а Пятая авеню и вся Пятьдесят седьмая улица были заполонены магазинами для них. Верхушка общества верховодила во всем районе.

Остаток Манхэттена заселили остальные искатели родственных себе душ — волевые, независимые. Непохожие на других. Молодые, освободившиеся от иллюзий американцы, которых не манили ни обывательское существование в пригородах, ни соблазны религии, ни обтекаемые, как рыбы, автомобили, ни автоматы, ни

участь людей-автоматов — безымянных, безликих, бездушных, — трясущихся в общественном транспорте, чтобы добраться до места работы в городском корпоративном управлении за корпоративный заработок где-то на энной ступеньке корпоративной лестницы. Их не убеждали призывы быть начеку перед красной угрозой. Они явно не почитали Нормана Винсента Пила. Зато они считали, что телевидение засоряет мозги, что коммуняки не такие уж плохие, а если и плохие, то не хуже Пэта Буна[14], который обкрадывает негров. Эти люди, составившие новое пестрое племя, стекались сюда со всех сторон света. Они селились к югу от Четырнадцатой улицы и между Четвертой авеню и Гудзоном. В Гринич-Виллидже. Нулевая точка отсчета культурной революции на Восточном побережье. Виллидж проглатывал и переваривал всех до одного свеженьких художников, новеньких музыкантов, а заодно и прочих хиппарей обоего пола, которые только желали стать теми или другими. Поэтов, актеров, писателей, живописцев. Битников — мальчишек в водолазках, с козлиными бородками, и девчонок в неряшливых мужских

[14] Примечания: 14

Пэт Бун (наст. имя — Чарлз Юджин Бун; р. 1934) — американский певец, исполнитель популярной музыки.

свитерах и в брюках-дудочках, поднимавшихся на несколько дюймов над матерчатой обувью без каблуков. Униформа нонконформистов: все поголовно в черном. Всегда в черном. Черный был цветом, символизировавшим бунт среднего класса, — восстание, которое выражалось в щелканье пальцев под белые стихи, звучавшие в погребках, кафе и джазовых клубах, сплошь заполнивших Макдугал-стрит. Эти люди являлись в Виллидж с широко раскрытыми глазами и искренней верой в то, что именно их стихотворение, картина или эстрадный номер поразит всех наповал, вызовет ошеломительную паузу и фурор. А если нет — то уж, по крайней мере, здесь их ждут отменные наркотики, свободный секс и просто полная расслабуха.

И вот там-то, в этом-то безу-у-умном окружении, мы с Фрэн могли появляться вместе, не опасаясь ничьих взглядов. *Там* такая парочка — чернокожий парень с белой девушкой-еврейкой — смотрелась нормально. *Там* нормально смотрелись и другие парочки — мужчины с мужчинами, или женщины с женщинами, или мужчины с мужчинами в женской одежде, — и все прочие комбинации, какие только можно выдумать. *Там* все сходило с рук, и поэтому вре-

мя от времени мы с Фрэн отправлялись *туда* и зависали в клубах — «Виллидж-Авангард», «Наверху в Дуплексе», «Биттер-Энд», «Бон-Суар». Темные подвальчики, кабаре чуть поприличнее, где выступали и знаменитые таланты, и новички. Больше всего и тех, и других выступало в «Голубом Ангеле». Его называли просто «Ангел». Провести вечер в «Ангеле» — значило насладиться выступлениями Эрты Китт, Джули Уилсон или неизменно-страстной Лины Хорн. Там же представляли свои комедийные номера Николс и Мэй. Там начинал карьеру Морт Сал — с газетой в руках, в свитере с горловиной мысом, будто умник из Гарварда. Если ты выступал в «Ангеле», значит, у тебя был настоящий талант. Если ты выступал в «Ангеле», значит, у тебя были все шансы прославиться, а не просто мечтать об этом.

Я в «Ангеле» не выступал.

Я испытывал странные чувства к этому заведению — вроде тех, которые испытываешь по отношению к женщине, которая тебе нравится, но, как ты сам понимаешь, никогда тебе не достанется. Когда я сидел там и смотрел представление, то все напрямую говорило мне о том, как далеко мне до успеха, как велико расстояние от моего места в зрительном зале до этой сцены.

Казалось, мне больше не светит пробраться хоть немного вперед. Но вот мои терзания обернулись иронией судьбы: хоть я и мечтал, что когда-нибудь «Ангел» все-таки войдет в мое будущее, тем не менее и думать не думал, что однажды попаду на представление, которое полностью перевернет мою жизнь. Так обычно, ничего не ожидая, сходишь с тротуара — и тут-то тебя сбивают с ног. Я долго не мог оправиться от удара.

Мы с Фрэнсис смотрели в «Ангеле» представление — несколько певцов, несколько комиков, — и я получал удовольствие, несмотря на то, что каждое выступление вызывало во мне острый приступ завистливой ревности. Программа уже подходила к концу, когда конферансье подошел к микрофону и представил новую исполнительницу.

Затем она вышла на сцену.

И вот что я должен сказать: я должен сказать, что ни разу в жизни еще не видел никого — ничего — настолько прекрасного, чтобы меня кольнула такая боль. Боль от страха, что желанию, которое я ощутил, никогда не суждено сбыться.

На мой взгляд, она была самой красивой женщиной, какую я когда-либо видел: чернокожая, но светлая — цвета кофе со сливками. Непрерыв-

ная миля безупречного тела. Лицо гладкое, черты закругленные, нежные, миниатюрные — почти детские, и оттого большие глаза казались еще крупнее. Над самой губой, слева — крошечное пятнышко. Родинка. Пожалуй, это единственное, что можно было бы счесть хоть каким-то отступлением от совершенства.

То, что я ощутил, когда увидел ее, нельзя назвать любовью. Все-таки я был тогда скорее мальчишкой, чем взрослым мужчиной, и не знал по-настоящему, что такое любовь. Что такое любовь, мне показала мама. А еще Бабушка Мей. Папаша выучил всему, что любовью не было. Однако то, что заставила меня ощутить эта женщина, было абсолютно незнакомым чувством. Она заключала в себе все, о чем только могло мечтать мое сердце.

Ее имени я не знал — я не обратил внимания на то, что́ говорил конферансье перед ее выходом. А теперь, сидя и слушая ее номер, я томился неведением. У нее был высокий голос, но звучал он мягко, не доходя до резких ноток. Он растекался вширь и брал в плен: так, наверное, сирены до смерти убаюкивали моряков своим пением.

Фрэн ткнула меня локтем в бок, и я спустился с заоблачных высот.

— Подбери язык, дружок.

Я закрыл разинутый рот и снова вперился в женщину на сцене.

Как только она закончила петь, я первым вскочил с места и захлопал так, будто вознамерился напрочь отбить себе кисти рук.

Уходя со сцены, она благодарно улыбнулась всем зрителям сразу и никому в отдельности, но я отнес ее улыбку на свой счет.

Фрэн, потянув за рукав, усадила меня обратно. Конферансье снова подошел к микрофону.

Он сказал — и уж тут-то я слушал во все уши:

— Эта малышка — настоящая канарейка. Правда она чудо? Похлопайте же, пощелкайте пальцами. Томазина Монтгомери!

Я снова вскочил и принялся бешено хлопать. Да! Она — чудо.

Я стоял на улице, у входа в «Голубой Ангел». Я ждал. Становилось поздно. Я уже устал. Но мне было плевать. Я ждал Томазину и собирался ждать ее выхода из клуба хоть до скончания времен. Фрэн за компанию со мной стояла на страже, хотя мы ждали уже довольно долго и начинало стремительно холодать. Я подумал бы, что мы упустили Томазину, что она давно выскользнула и ушла домой, но нет, ведь, как только она поки-

нула сцену, я сразу же заплатил и вытащил Фрэн на улицу, так что Томазина никак не успела бы проскочить мимо меня.

Разве что… в «Голубом Ангеле» есть черный ход?

— А что ты ей скажешь? — прокричала мне Фрэн. Она стояла чуть вдалеке, держась на достаточном расстоянии от меня, чтобы не мешать мне… не мешать мне заговорить с Томазиной… с мисс Монтгомери…

— Я ей… Я ей скажу… У меня есть для нее одна фраза.

— Фраза? — Фрэн это позабавило. — Что ж, мистер Пуатье[15], скажите ей эту свою фразу.

Если быть честным, я не знал, что скажу ей. Мне хотелось выглядеть ловким, а не чокнутым. Сказать что-то лестное, но не шаблонное. Только вот что скажешь женщине, с которой, наверное, норовит полюбезничать каждый, кто видел ее на сцене, да и всякий встречный на улице? Я прокручивал в уме свои лучшие реплики: «Простите, мисс. Мне как-то обидно — вы хотели пройти мимо и даже забыли пофлиртовать». «Милая, у тебя, наверно, ноги устали: ты у меня перед глазами

---

[15] Примечания: 15
Пуатье, Сидни (р. 1927) — актер и режиссер кино.

так и бегала. Наверно, твоя мама — пчела: ведь у тебя голос как мед».

Наверно, твоя мама — пчела?.. Да, неплохо. Я бы сам с собой не стал разговаривать, если бы такое услышал. А как она вообще поймет, что я — шутник? А как насчет такого: «Наверно, твой папа — верблюд: мне даже твой горбик нравится».

Дверь распахнулась.

Она вышла.

Вблизи она показалась мне во много раз красивее. И моложе. Намного моложе. Ей было не больше восемнадцати.

Я уже раскрыл рот. Она поглядела в мою сторону, и я просто утонул в ее ланьих глазах. Все мои приготовленные остроты застряли у меня в горле, я сумел выдавить лишь:

— Привет.

— Привет, — отозвалась она. Одно слово — произнесенное ее мягким, высоким голосом. Одно слово. За один миг я услышал его снова и снова, услышал еще тысячу сладких раз. И после этого был уже не в состоянии ничего сделать — стоял столбом, а девушка у меня на глазах подозвала такси, села в него и укатила прочь из моей жизни.

Постепенно до меня начал доходить голос Фр-

эн, как луч света, пробивавшийся сквозь густую пелену, которой окутала меня Томазина.

— Ты же ничего не сделал, — сказала Фрэн.

— Как это — ничего не…

— Так это — ничего не сделал. Просто стоял столбом, как дурачок, — вот и все.

— Я поздоровался.

— Да, ты поздоровался, но так тихо, что я подумала, ты пожелал оставить свое приветствие в тайне. — Широкая, ослепительная улыбка. Фрэнсис потешалась.

— Я не тороплю события. — Я попытался сделать вид, будто нарочно позволил Томазине просто так раствориться в вечерней тьме, будто это часть моего гениального плана. — Я просто не хочу отпугивать девушку, понимаешь? Пусть сначала получше меня узнает. Буду двигаться постепенно.

— А ты двигайся еще постепеннее, может, тогда годам к семидесяти пяти и попадешь на первое свидание.

— Не смешно.

— Да нет, я надеюсь, ты еще достаточно молод, чтобы показать ей, на что способен. Это я не про твои выступления на сцене.

Я, с сарказмом:

— Ты настоящий друг, Фрэн. Правда. Да, в самом деле.

Она взяла меня под руку и потащила к одному из бесчисленных кафешек Виллиджа:

— Пошли, Сидни, давай утопим твои надежды в чашечке кофе.

Мы зашагали, а я обернулся еще раз на ту улицу и мысленно пообещал исчезнувшему такси: «Когда-нибудь я буду рядом с ней. Когда-нибудь я выбьюсь в люди и стану знаменитым, и Томазина будет рядом со мной».

* * *

«Вы — неповторимая личность, вы хорошо шутите… У вас есть талант».

Сид не был коротышкой, однако при росте пять футов шесть дюймов его нельзя было назвать и высоким. Он слегка горбился, успел лишиться изрядного количества волос, носил очки, похоже, не очень помогавшие ему видеть, и не выглядел на свой возраст — я хочу сказать, невозможно было вычислить, старше он или моложе, чем казался. А главное, Сид Киндлер не выглядел как человек, способный вытащить меня из Театра на Четырнадцатой улице и указать путь, который

приведет меня к успеху и сделает из меня одного из популярнейших молодых черных комедийных актеров — одного из популярнейших комиков конца пятидесятых.

В первый раз я столкнулся с Сидом, когда он слонялся за сценой театра. Увидел его, но особого внимания не обратил. За сценой всегда болтался всякий народ — другие исполнители, друзья других исполнителей, друзья клуба, которые просачивались туда, чтобы поглазеть на стриптизерш вблизи, когда те будут убегать со сцены. Я сидел в углу на табуретке, слегка отвернувшись к стенке — спиной к толпе людей вокруг меня, и пробегал в уме свое выступление. Театральные завсегдатаи сразу видят, когда исполнитель репетирует: он смотрит в зеркало или в стенку, почти не двигается и молча шевелит губами. А когда исполнитель собирался с мыслями, все старались ему не мешать. Мне никто не мешал. Кроме Сида. Он кружил вокруг меня, подходя все ближе и ближе, и всматривался в меня, как обычно всматриваются в понравившийся, но непонятный музейный экспонат. Наконец он остановился и встал как вкопанный, продолжая на меня таращиться. Я не знал, кто он такой, и не хотел вступать в разговоры, поэтому решил:

пускай пялится. Он не уходил. Так продолжалось еще несколько минут, пока наконец мое терпение не лопнуло: мне стало казаться, что по мне медленно ползает муха.

— Вам что-то нужно? — спросил я не очень грубым тоном. Этот тип действовал мне на нервы, но он был белым человеком, действующим мне на нервы. Не забывая о своем цвете кожи, я старался при любых обстоятельствах обращаться с белыми предельно вежливо.

— Вы слишком быстро говорите.

Я снова заговорил, уже медленнее:

— Вам что-то…

Он замотал головой:

— Нет, на сцене. Вы завели эту привычку выпаливать текст скороговоркой, чтобы поскорее перейти к следующей шутке, потому что не слышите смеха. А смеха вы не слышите отчасти потому, что говорите слишком быстро, и эти гаврики просто не успевают ничего разобрать.

Что меня больше всего поразило — помимо ощущения, что он (кто бы *он* там ни был) прав, что я действительно слишком спешу на сцене, — это то, что он проронил как бы совсем невзначай. Он сказал, что я «завел привычку». Он сказал это так, как будто уже видел мои выступления раньше.

Причем не раз или два, а много раз. Он сказал это так, как будто уже давно за мной наблюдал.

Он сказал:

— А когда это не помогает, вы изменяете текст и подбрасываете одну из своих концовок. Но тогда вы портите картину себе же — ведь завершать-то шутки уже нечем. Концовка потому так и называется, что ею принято заканчивать. Такие перетасовки, может, и вызовут смешок на скорую руку, но все-таки лучше к ним не прибегать.

— Что-нибудь еще? — спросил я не без сарказма.

Он пропустил мой сарказм мимо ушей.

— Парочка новых номеров вам не повредила бы. Парочка новых — но только не чужих — номеров. Ту шутку, насчет походов по магазинам с девушкой, когда вы держите ее кошелек, пока она смотрит по сторонам, — я ее уже слышал у Стива Алена недели три назад.

— Знаю. Я же не… Я иногда заимствую чужие шутки. Ну, это… Это только когда выступление чуть-чуть затягивается.

— Понимаю, это что-то вроде костыля, но такое годится только на первых порах. А вы сколько уже выступаете?

— Год. Год с хвостиком.

— Слишком долго, чтобы до сих пор повторять за другими комиками. Вам нужно иметь свои шутки, свой собственный голос. Если, конечно, вы хотите когда-нибудь выбраться отсюда. — И тут он прибавил: — Надеюсь, вы не против, что я…

— Нет. — Ложь. Его замечания кололи меня, как иголки, хотя все они попадали в цель. Может быть, именно поэтому. Уже одно то, что я все еще торчал в Театре на Четырнадцатой улице, ясно и внятно говорило мне, что с моим репертуаром что-то не так. И чтобы это понять, необязательно было выслушивать какого-то типа с улицы. Но он задевал мое самолюбие не для того, чтобы просто задеть. Он делал мне замечания, желая не ранить, а помочь — в точности как любимый дядюшка, дающий советы по игре в детский бейсбол. Сердиться на него вряд ли имело смысл.

Он протянул мне руку:

— Сид Киндлер.

— Джеки Манн, — отозвался я, хотя отдавал себе отчет, что уж он-то прекрасно знает, кто я такой. Мы пожали друг другу руки. Несмотря на обманчивую внешность, у Сида оказалась самая крепкая хватка, какую мне доводилось ощущать на себе со времен лагеря лесорубов.

Безо всякой вкрадчивости:

— У вас есть представитель?

— Представитель? Вы имеете в виду агента?

— Ну да. Агента. Импресарио.

— Один раз я заплатил какому-то парню двадцать долларов, чтобы он представлял мои интересы.

— Он что-нибудь раздобыл?

— Раздобыл — мои двадцать долларов.

Полуулыбка, потом:

— Я буду брать десять процентов, и то — когда добуду вам работу.

— Но, как я понял, у меня сплошные недостатки.

— У вас есть минусы, но есть и плюсы. Вы симпатичный паренек, ловко держитесь на сцене… Вот.

— Я владею литературной речью, — просиял я. Мое самое главное достоинство. Я с волнением сообщал об этом, думая набить себе цену.

Сид пожал плечами — на него это произвело такое же впечатление, как если бы я заявил, что владею искусством приготовления ледяных кубиков. Он подытожил свои наблюдения:

— Вы — неповторимая личность, вы хорошо шутите… У вас есть талант.

За все то время, что я пытался смешить людей

— начиная со школьной скамьи и заканчивая Театром на Четырнадцатой улице, — никто ни разу не сказал мне таких слов. Может, кто-то и говорил, что у меня смешно получается, что я хорошо откалываю шутки, — но то же самое можно сказать про какого-нибудь наклюкавшегося клерка на рождественской вечеринке на работе. Сам-то я всегда считал себя талантливым. Убеждал себя в этом. Но когда ты — единственный, кто так говорит (особенно если ты — единственный человек, кто так говорит после того, как ты закончил выступать перед шестью болванами перед рассветом), — то становишься похожим на безнадежного упрямца, который пытается уверить себя в том, чего нет и не бывает. И вот впервые в жизни другой человек пытался убедить меня в том, во что я сам упорно верил. Он произнес всего несколько слов — «У вас есть талант», — и я перестал быть единственным, кто верил в это. Или, по крайней мере, я перестал быть одиноким в своем заблуждении.

— Послушайте, Джеки, я веду дела для кое-кого, на довольно скромном уровне. На очень скромном, если говорить начистоту. Но мне кажется… С вами у меня может что-то получиться. Во всяком случае, я могу устроить вам кое-какие гастроли,

могу вывести вас на кое-какие сцены. А когда вы будете готовы, я сумею навести мосты, устроить вам смотр в нескольких заведениях. Когда вы будете готовы, — снова повторил Сид. — Можете сейчас ничего не отвечать мне, подумать на досу…

— Да! — О чем тут было думать? Согласиться работать с Сидом — или с другим из сотен агентов, которые никогда мне не встречались? — Да, сэр. Работать с вами было бы большой честью для меня.

— Ну, большая честь — это слишком. Значит, согласны?

Он достал из кармана визитную карточку и вручил мне.

Ничего особенного. Обычная карточка. Плоские черные буквы — имя и рабочий адрес Сида. Просто карточка. Я по сей день храню эту карточку — истрепанную, пожелтевшую от времени.

Сид сказал:

— Приходите ко мне завтра, и мы все обсудим. С десяти до пяти, только не с двенадцати до часу. Спасибо, Джеки.

Он меня еще благодарит?

Сид зашагал было к выходу.

Он повернулся, и вдруг у меня возникло стран-

ное чувство, разом смявшее всю мою радость: будто Сид — последняя спасательная шлюпка, отходящая от тонущего корабля, и он сейчас отплывет, а все невезучие пойдут ко дну. Это чувство придало мне смелости.

Смелости.

Я и сам не знал, что мне делать с этим ощущением, — только понимал: нельзя, чтобы Сид отошел хоть на шаг.

— Мистер Киндлер! — окликнул я его.

Он остановился и оглянулся.

— Вы можете подождать минутку, сэр?

— Подождать?

— Только одну минутку. Пожалуйста.

Со сцены как раз уходила стриптизерша с комом одежды в руках. Направляясь в раздевалку, она прошагала прямо мимо Сида. Он даже не посмотрел на нее.

— Хорошо.

Я пустился в долгий бег с препятствиями через все закулисье, проталкиваясь через борцов и полуголых женщин, и вертел головой во все стороны, разыскивая… разыскивая… разыскивая…

— Фрэн!

Она, совсем как я некоторое время назад, сидела в углу и тихонько напевала себе под нос.

— Пошли!

Она запаниковала, решив, что пропустила свою очередь:

— Мой выход?

— Я хочу тебя кое с кем познакомить.

— Что, свидание мне решил устроить? У меня нет на это времени. Мне нужно повторить свой номер.

Плевать. Я схватил Фрэн за запястье. Потащил ее туда, откуда бежал. Объясню ей все, когда буду объяснять все Сиду.

— Мистер Киндлер, — выпалил я еще на ходу. — Это — Фрэнсис Клигман. Фрэнсис, мистер Киндлер.

— Сид.

— …Приятно познакомиться, — бросила Фрэн небрежно: она все еще искренне полагала — или опасалась, — что я вознамерился найти ей жениха.

— Мистер Киндлер — агент.

— Сид.

— О-о-о. — Тут Фрэн наконец улыбнулась. Значит, это не Сид-потенциальный-жених. И Фрэн обнажила зубы перед Сидом-потенциальным-агентом.

— Фрэн — певица.

Сид кивнул:

— Видел. Слышал. Красивый голос.

— Она действительно талантлива.

— Она очень талантлива.

— А как вам кажется — вы могли бы стать и ее агентом?

— Я не ищу певиц. Я ищу комиков. Комика. Приятно было познакомиться, мисс Клигман.

Сид уже начал поворачиваться спиной. Я остановил его:

— Но я не могу бросить ее здесь.

— Бросить? — За очками глаза Сида принялись за настоящую акробатику — суживались, сходились в одну точку. Так он всячески пытался изобразить, что просто не понимает, о чем я говорю. — Это же Нью-Йорк — не Сибирь.

— Это развлекательное заведение, и вы сами говорили, что я могу застрять тут на всю жизнь. То же самое может случиться и с Фрэн.

— Ничего плохого с ней не случится. Она… — Тут он поглядел мимо меня на Фрэнсис. — Вы — очень талантливая девушка.

— Мне вы тоже говорили, что я талантлив. Говорили, что я талантлив, и говорили, что я могу всю жизнь проторчать здесь.

— Я лишь имел в виду… Я хотел сказать… — Сид

перевел дух, помолчал и выложил: — Мне сейчас не нужна певица.

— Все в порядке, мистер Киндлер, — приветливо сказала Фрэн, хотя ей стоило труда сохранить на лице улыбку. — Я понимаю. В любом случае спасибо.

У меня вдруг зазвенело в голове: упало кровяное давление. Я заволновался. И заявил Сиду — человеку, бросившему мне спасательный трос:

— Я не смогу с вами работать, если вы не возьмете Фрэн вместе со мной.

За сценой находилось человек пятнадцать или двадцать, еще сорок человек в зале слушали, как на сцене разрывается губная гармошка. И весь этот шум заглушил стук моего сердца, грохотавшего как испорченная коробка передач.

Фрэн положила конец этому уродливому грохоту:

— Ты не должен так поступать из-за меня.

Должен? Я и не хотел. Но ведь Фрэн была моим другом, а чутье подсказывало мне, что друзья обязаны выручать друг друга. Слова, которые я произнес, сами собой слетели у меня с языка, выразив мой безотчетный порыв.

— Значит, если я не возьму ее, — подытожил Сид, как бы уточняя, правильно ли он меня по-

нял, — вы не *позволите* мне взять вас?

— Я просто думал, вы… Я просто хотел сказать… — Моя соображалка работала с двойной скоростью, силясь придумать способ всех осчастливить, при этом я старался не глядеть в сторону Фрэн, чтобы не показалось, что я готов уступить. Но ничего путного не придумал. Недаром я острил со сцены, а не работал в ООН. Я уже подумал, моей карьере пришла крышка: мало кто из антрепренеров потерпит, чтобы комик из ночного клуба учил их вести дела. На мое счастье, Сид к таким людям не относился. Он воздел руки — в знак поражения, смешанного с досадой:

— Ну хорошо, я возьму и певицу.

— Фрэн? Вы возьмете Фрэн, правда?

— А что — у вас есть еще одна певица? Во имя всего святого, не говорите, что у вас есть еще одна певица.

— Нет-нет. Только Фрэн.

— Только Фрэн. Только Фрэн вполне достаточно. — Сид вытащил еще одну карточку и вручил ее Фрэн, в тех же словах назначив ей время встречи. Потом посетовал: — Удачная выдалась ночь: комик, который меня шантажирует, и певица, которая мне не нужна.

Удачная ночь выдалась у меня. Сид снял меня

с острого крючка. Я в трудную минуту постоял за Фрэн. Ведь она — мой друг. А раз она мой друг, то я, не раздумывая, сделал бы все возможное, чтобы поделиться с Фрэн частицей удачи, которая решила повернуться ко мне лицом. Я уверял себя, что никак иначе и быть не могло.

Я лгал себе самому.

Истина же…

Истина заключалась в том, что я больше всего на свете хотел вырваться из Театра на Четырнадцатой улице. Истина заключалась в том, что я хотел этого так сильно, так страстно, так жадно, что, дойди дело до этого… дойди дело до этого, я бы бросил Фрэнсис там, где она была.

Фрэн лучезарно улыбалась. Она нисколько не сомневалась, что за какую-то пару минут мы оба проделали путь от эстрадных выступлений до — по меньшей мере — эстрадных выступлений с агентом. Сид попал в плен благодарных объятий, на него обрушился град поцелуев.

Сид высвободился и, опасаясь, что если он не покинет театр немедленно, то ему навяжут еще каких-нибудь ненужных исполнителей, исчез так же, как и появился здесь: тихо и незаметно.

Фрэн бросилась мне на шею. Возбужденно пересыпая слова благодарности торопливыми

фразами о том, как теперь изменится к лучшему наша жизнь, раз все за нас станет улаживать агент, — она прижалась губами к моим губам.

Там же, за сценой, возле осветительной панели, стоял какой-то парень из персонала — короткая, под моряка, стрижка, некогда мощные, а теперь обросшие жирком мускулы. Его взгляд упал на нас с Фрэн. Я обнимал Фрэн. Фрэн целовала меня.

Он наклонился и сплюнул на пол.

* * *

Я зашел к Сиду в контору. С десяти до пяти, но не с двенадцати до часу. Находилась она на верхнем этаже здания совсем неподалеку от Мидтауна. Пожалуй, это все, что можно было сказать об этой конторе, если не вдаваться в подробности о скучной деревянной обшивке стен, дополнявшейся скучной деревянной мебелью. На стене висело несколько фотопортретов. Одно из лиц показалось мне знакомым. Здесь не было никакой мишуры и показухи, ничто не кричало об индустрии развлечений. Все, что тут было, — это имя Сида, выведенное трафаретными буквами на стеклянной двери, а под ним еще: АГЕНТ ПО ПОИСКУ ТАЛАНТОВ.

Сид усадил меня и угостил кока-колой. Мы

стали разговаривать. Не о шоу-бизнесе, не о моих надеждах. Не с самого начала. Вначале мы поговорили о том о сем, о разных пустяках. Сид спросил, откуда я родом. Я рассказал. Рассказал о том, как рос в Гарлеме, рассказал, что матери у меня нет, а отца, считай, тоже почти нет. Упомянул о лагере лесорубов и работе грузчика, об истории с Четырнадцатой улицей. Вот, собственно, и все, что можно было рассказать о Джеки Манне.

Потом Сид рассказал мне о себе. Как и я, он родился в Нью-Йорке, в Уайт-Плейнс. Он был вдовцом, у него были брат и племянница, в которой он души не чаял. А еще — еще у него была работа. В шоу-бизнес он влюбился давно, много лет назад, когда увидел как-то раз водевильное представление своего дяди. Тогда Сид захотел стать артистом. Но обнаружил, что у него нет таланта. Он обнаружил также, что, хотя у него нет таланта, он в состоянии добывать себе работу. Тогда Сид подумал — раз он способен трудоустроить такую бездарность, как он сам, значит, можно озолотиться, трудоустраивая действительно талантливых артистов.

Озолотиться по-настоящему не вышло.

Сид заботился о своих клиентах, думал о них не только ради своих десяти процентов. Он вол-

новался, ему нужно было знать, все ли у них в порядке, довольны они или нет в личной жизни, и если нет, то почему. Сиду не было наплевать на людей. А когда тебе не наплевать на людей, на их чувства, это мешает тебе быть хорошим агентом. Но, как бы то ни было, он зарабатывал достаточно.

Покончив с этой ерундой ознакомительного порядка, Сид спросил:

— Чего ты хочешь, Джеки?

Вопрос этот застал меня несколько врасплох. Меня очень редко спрашивали, чего я хочу. И все-таки я ответил не задумываясь:

— Салливана. Хочу выступить в шоу Эда Салливана. Хочу стать знаменитым.

— Интересно.

— Что именно?

— То, как ты это сформулировал. Не что хочешь быть смешным, что хочешь стать самым лучшим комиком. А что хочешь стать знаменитым.

— Да. — Ни тени смущения. Ни тени стыда. — Я хочу стать знаменитым.

Сид кивнул. Не стал высказывать своих суждений. Он просто спросил — чего я хочу, а я ответил. Видимо, его устраивал любой ответ — лишь бы честный.

Мы еще немного поговорили о деле. Сид снова сообщил, что у него на примете есть несколько заведений, куда он может меня устроить, и несколько клубов для гастролей, сказал, что, по его мнению, они здорово помогут мне в работе над моей программой — а он очень рассчитывал, что я *буду* работать над своей программой. Он не потерпит никакой лени, не потерпит, чтобы я как попугай повторял чужие шутки. Ему нужен был такой артист, который будет трудиться так же усердно, как он сам.

Я согласился с тем, что он говорил.

Потом он рассказал мне о нескольких исполнителях, чьими делами он занимался. Некоторые имена я слышал раньше — эти люди работали в клубах Виллиджа. Большинство имен я слышал впервые. Видимо, Сид таким образом давал мне понять, не говоря этого напрямую, что он — далеко не Король Развлечений.

Нет. Конечно нет. Зато он — единственный импресарио во всем Нью-Йорке, кто пожелал иметь со мной дело. Поэтому, когда он во второй раз стал спрашивать меня, точно ли я хочу с ним работать, я прервал его так же, как и в первый раз, ответив:

— Да.

Мы еще минутку посидели.
Я спросил:
— Ну что теперь делаем?
Сид протянул мне руку. Я пожал ее.
Он сказал:
— Беремся за работу.

* * *

Жизнь моя наладилась. Я еще не прославился. Конечно нет. Но когда я начал работать с Сидом, все пошло гораздо лучше, чем было раньше. Сид, как и обещал, устроил нас с Фрэн в несколько клубов. Очень скоро Театр на Четырнадцатой улице отошел для нас в прошлое. Он сделал нам полицейские удостоверения. Удостоверения для работы в кабаре. Нам полагалось их иметь еще тогда, когда мы работали в театре, но их у нас не было. В те времена по закону нельзя было работать в клубе, или кабаре, или еще в каком-нибудь заведении, где продается выпивка, не имея такой карточки. А получить ее можно было в нью-йоркском отделении полиции. Идея была в том, что копы, контролируя выдачу карточек, не допускали до работы в клубах подонков. Подонком, согласно указу, считался «всякий, осужденный за преступление или любое наруше-

ние закона». Подонком оказывался и «всякий, кто является либо притворяется гомосексуалистом или лесбиянкой». Даже в Нью-Йорке, где чернокожие ущемлялись в правах, геи были совсем бесправны. Перед лицом закона они ничем не отличались от преступников, были ничем не лучше их. Мне было за что благодарить судьбу: ведь день-деньской, и день за днем, мне приходилось тревожиться лишь из-за того, что я — черномазый.

Мы с Фрэн получили карточки, получили заказы, получили работу. Одни клубы больше подходили Фрэн, другие — мне. Она выступала в «Сент-Реджис», в «Дрейк-Рум»... в помпезных местах. Я работал в центре города, в кафе и погребках Виллиджа. Это положило конец нашим с Фрэн дружеским шатаниям. Но что хорошо, я работал теперь в тех самых клубах, куда еще месяц назад мог попасть, лишь если бы встал в очередь и выложил за вход свои зеленые, как и любой другой лопух с улицы. Теперь лопухи с улицы платили за то, чтобы посмотреть на меня. Теперь я трудился на тех же сценах, что Сад и Китт, Николс и Мэй. Да, трудился-то я на тех же сценах, только по-прежнему в предрассветные часы. Для меня изменилось к лучшему место — но

не время. А над своей программой я работал.

Сид, когда ему позволяло время, сам присутствовал на выступлениях, наблюдал, делал заметки. После представлений мы вместе съедали очень поздний ужин (или очень ранний завтрак) и Сид делился со мной соображениями: какая шутка хороша, какая не очень, не пустить ли ее ближе к началу или концу, а может, вообще выкинуть. Мне нравилось, что Сиду все это интересно, что я для него не просто статья дохода. Но больше всего мне нравилось то, что впервые кто-то еще, помимо обдолбанного чурбана, начал играть отцовскую роль в моей жизни.

Когда оставалось время, мы с Фрэн встречались и болтали о том о сем, как идут наши дела, кого из знаменитостей мы видели вблизи. Фрэн сразила меня молодой Барброй Стрейзанд.

Это была особенность клубного существования: когда проходил угар первых недель работы, когда оставались лишь поздние ночи и жалкие гроши заработка, когда до тебя наконец доходило, что ты — всего лишь очередной охотник за удачей в большом городе, где полчища людей стремятся песнями, танцами или анекдотами пробиться к лучшей жизни, — то и тогда все еще остается место для сюрпризов: кто мелькнет среди публики,

какая прославившаяся знаменитость заглянет в зал на твой номер. В те годы в Нью-Йорке, где звезды рождались в самой городской гуще, всегда имелось место для сюрпризов.

— Привет, — сказала она.

Я подскочил на месте. Я сидел себе за сценой. Сидел, бездельничал. Убивал время в ожидании своего выхода. Я подскочил и треснулся головой о полку, висевшую прямо надо мной, опрокинул ее и оказался под настоящим ливнем из электрических проводов.

Раньше, когда мы сталкивались в клубах, я едва с ней здоровался. Но мысленно разговаривал с ней тысячу раз. И всякий раз я видел себя обаятельным, как кинозвезда, а ее представлял по уши влюбленной, с широко раскрытыми глазами. И вот она говорит мне одно-единственное словечко — «привет», — и я превращаюсь в полного растяпу прямо на глазах у Томазины Монтгомери.

— Все в порядке? — Она слегка усмехалась, но сквозь усмешку проглядывала забота.

Ее зубам чуть-чуть — совсем капельку — недоставало прямизны. Совсем капельку. В остальном девушка была эталоном красоты.

Я потер голову:

— Ерунда. — После того, как в меня летали бутылки с выпивкой, конечно ерунда.

— Ты смешной.

Отлично. Значит, я для нее — шут.

Томазина, догадавшись, что я не так истолковал ее слова, добавила:

— Я имела в виду — на сцене. Я видела твои выступления.

— Правда?

— Тебя это удивляет?

— Я и не наде… Я не думал, что ты знаешь, кто я такой, и даже смотрела мои выступления.

— Я тебя раньше видела, кто-то говорил мне, что ты смешно рассказываешь. К тому же я ведь молодая девушка в полном здравии. Мне нравится смотреть, как выступает красивый молодой человек.

Вот что я вам скажу: тут у меня язык словно онемел и замер во рту. Я напрочь оцепенел. Я стоял столбом, надеясь вопреки надежде, что Томазина не заметит, как она наркотически на меня действует.

— Я — Томазина. Томми.

— Джеки.

Пауза.

— Ну… — сказала она.

— Ну…

— Я так понимаю, ты меня куда-то приглашаешь.

Боже… Неужели это не сон? Неужели это все на самом деле происходит? Неужели, после всех моих мечтаний, бесплодных и пламенных, эта девушка в самом деле оказывает мне внимание? А раз уж все эти фантастические разговоры, которые я вел с Томазиной — с Томми, — наконец обернулись правдой, тогда, может, мне все-таки разыграть свою роль?

И я прикинулся обаятельно-самоуверенной звездой:

— Да, но раз мы оба знаем, что я собираюсь пригласить тебя, то я просто решил подождать, когда ты скажешь «да».

— Но раз мы оба знаем, что я скажу «да», то я просто решила подождать, когда ты выберешь место, — парировала она, не помедлив ни секунды. Можно было подумать, мы с ней всю жизнь обменивались такими молниеносными репликами.

Я предложил:

— «Файв-Спот»?

— Я уже там, — откликнулась она.

Не важно, что раньше я никогда не бывал в

«Файв-Спот». Все знали: если хочешь показать, что ты следишь за всеми новыми веяниями, не вылезай из «Файв-Спот». Это был джазовый клуб на Бауэри, где музыканты экспериментировали с «новым» джазом и «прогрессивным» джазом с тем же непрошибаемо серьезным видом, с каким, наверное, ученые парни в Лос-Аламос экспериментировали с атомом. А мне такая музыка никогда особенно не нравилась. Сырая, бесформенная — как будто кто-то сбрасывает вниз по лестнице барабан вместе с палками, потом трубу, а им вдогонку — кошку. Но в те годы все тащились от этого шума. Под эту музыку битники читали вслух стихи, а белые отщепенцы шатались по трущобам. Джаз был звуковой дорожкой той эпохи, и звуки эти были тогда особенно яростными, дикими, не подвластными никаким правилам. Монк[16] называл это «бип-боп». Потом это назвали «бибоп». Такую музыку играли Диззи, Сонни,

[16] Примечания: 16

Монк, Телониус, по кличке «Шар» (1919–1982) — джазовый пианист, играл в ночных клубах Гарлема.

Мингус и «През»[17], и никто из нас ее не понимал, а раз мы в нее не врубались, значит, это было нечто этако-ое. Люди ходили в джаз-клубы точно так же, как прихожане ходят в церковь. Когда проповедь оканчивается, ты все еще не постигаешь Бога, зато чувствуешь, что немного приблизился к Нему.

Снаружи, на холоде, кучка людей дожидалась своей очереди, чтобы войти в «Спот». Двадцатка парню на входе — и мы с Томми спустя полчаса проникли внутрь. Мы заняли столик в дальней части зала, такого маленького, что дальняя часть была практически ближней. Мы сидели достаточно далеко от сцены, чтобы продолжать поддерживать беседу. Но недостаточно далеко от того джазового артиста (и не дай бог ошибиться и забыть назвать их артистами), игравшего на ксилофоне, который волком смотрел на нас из-за того, что мы не слушаем его, когда он старается нас просветить.

Черт с ним! Я ведь с Томми Монтгомери.

---

[17] Примечания: 17

Сонни (букв. «Сынок») — Теодор Уолтер Роллинс (р. 1929), выдающийся джазовый тенор-саксофонист. Мингус, Чарлз (р. 1922) — джазовый музыкант (басист), композитор, аранжировщик, руководитель оркестра; также пианист. «През» — джазовый музыкант (тенор-саксофонист) Лестер Янг (1909–1959). Прозвище «Президент», позднее сократившееся до «През», дала ему певица Билли Холидей.

Мы немного выпили и покурили — какой же ты без этого любитель джаза, — и Томми в двух словах поведала мне краткую биографию мисс Монтгомери. Она была девчонкой из Филадельфии, даже моложе, чем я думал (в некоторых штатах я нарушил бы закон, если бы просто улыбнулся ей), но уже ветераншей. Первый раз она победила на конкурсе юных дарований в одиннадцать лет, с тринадцати выступала в клубах в Пенсильвании и Джерси, а в пятнадцать записала свои первые песни. Ей даже удалось вплотную поработать с крестным отцом «соула»[18]. Это содружество просуществовало недолго, и то, что она сказала (или чего не сказала) об этом человеке, заставило меня подумать, что их связывала не только музыка.

Стоило мне представить, стоило мне только представить ее с ним — пускай он был звездой огромной величины, пускай в ту пору я не подозревал о ее существовании, — и я мгновенно возревновал. Тут я и понял, что если до сих пор еще не влюбился в Томми по уши, то вот-вот сделаю это.

Потом Томми принялась расспрашивать меня,

---

[18] Примечания: 18

Имеется в виду музыкант и композитор Рей Чарлз (полн. имя Рей Чарлз Родинсон; 1930–2005).

и от некоторых вопросов мне пришлось увиливать. Зачем филадельфийской девчонке знать, что я рос в гарлемской грязи и нищете? К чему милой юной леди из хорошей семьи слышать о том, чем потчует себя мой отец, который ждет меня, валяясь на полу? Я не пытался лгать ей о том, кто я такой… что я такое. Я только кое-что пытался скрыть.

Томми сменила тему:

— Почему тебе хочется быть комиком?

Я пожал плечами:

— Наверно, потому же, почему тебе хочется быть певицей.

— Это не ответ.

— Я хочу, чтобы у меня была пристойная жизнь — а это единственный путь к ней, какой я знаю.

— Разве сейчас у тебя не пристойная жизнь?

— Не такая, какой мне хотелось бы.

— А какой тебе хотелось бы?

— Чтобы пожимали руку, чтобы похлопывали по спине. Чтобы все, что нужно, можно было получать тогда, когда нужно. Если станешь кем-то, то никто уже тебя не будет пихать. А если попробует, то ты его пихнешь. Пихнешь как следует.

Вдруг я заметил, что повысил голос и тон. Заметил, что громко разглагольствую, а Томми

смотрит на меня широко раскрытыми глазами.

И — так же мягко, как я был резок, — Томми произнесла:

— В тебе много злости.

Я сразу смягчился:

— Во мне много злости потому, что ее в меня вбили.

— Смех сквозь… Как это любят говорить про комиков? Видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы?

— Невидимые миру слезы сквозь слышимый всюду смех.

— Значит, поэтому ты хочешь быть комиком? Чтобы над тобой не смеялись? Чтобы свести счеты?

Басист закончил свое соло, длившееся добрых десять минут, и публика принялась хлопать и щелкать пальцами — не потому, что басист очень хорошо играл, а потому, что именно это полагается делать, когда джазовый артист заканчивает десятиминутное соло.

Я спросил Томми:

— А ты почему поешь?

— Потому что у меня есть внутри что-то такое, что я хочу дать послушать другим, — какая-то часть меня, которую стоит услышать.

— В тебе есть и такие части, на которые стоит посмотреть.

— Ты меня не слушаешь. — В голосе Томми послышалась легкая досада. Острить нужно к месту, а когда девушка вроде Томми — девушка, которая живет ради песни, — рассказывает о том, что значит для нее музыка, не время для шуток.

Первое свидание. Похоже, я превращаю его в единственное и последнее.

Томми:

— Мне хочется сказать что-то своей музыкой, мне хочется говорить с людьми. Это для меня важно. Если тебе нечего сказать, когда ты там, — она махнула рукой в сторону сцены, — какой тогда вообще смысл туда выходить?

— Ну, знаешь… А я просто рассказываю анекдоты. Я не проповедую Десять Заповедей.

— Почему заповеди? Это может быть что угодно.

— Да? Ну так мне угодно, чтобы это был мой билет в лучшую жизнь. Ни больше ни меньше.

Томми, недовольная моим ответом, устремила все свое внимание на квартет: сценические импровизации вдруг сделались для нее интереснее, чем все, что я мог сказать ей.

Я проводил Томми домой — к западу от Бауэри,

через Вашингтон-сквер-парк, затем по Седьмой авеню. Расстояние от «Файв-Спот» до дома Томми помогло растопить образовавшийся между нами ледок. Я земли под собой не чуял. Выпивка, джаз, дым от чужих косяков, забитых еще в клубе, и Томми — все это смешалось в коктейль, который веселил и будоражил меня — и сделал почти непригодным для каких-либо других видов кайфа.

— Джеки… Джеки! — позвал меня откуда-то издалека бестелесный голос Томми.

Я остановился. Обернулся. Голос Томми был бестелесен потому, что сама Томми стояла в десяти шагах от меня, возле какого-то подъезда. Меня настолько захватило движение собственных грез, что я даже не заметил, как она остановилась.

— Я живу здесь.

Я только кивнул в ответ, не говоря ни слова, как будто так и надо — когда парень смотрит, как девушка стоит возле подъезда.

— Ты в порядке?

Я летал, я парил. Я был влюблен.

— Да. Все отлично.

Я подошел к Томми и встал рядом.

Она стояла.

Я продолжал стоять.

Так мы оба стояли.

Двадцать лет с хвостиком. Можно было принять меня за старшеклассника.

Томми первая прервала эту пантомиму:

— А почему ты меня никуда не приглашал?

— Приглашал. Сегодня.

— Нет, раньше. Да и сегодня не приглашал. Это я тебя пригласила.

После секундного колебания:

— Я хотел. Раз десять почти было решался. Просто боялся, что вокруг тебя все эти парни вьются.

— Какие — эти парни?

— Ну… Ты же такая известная певица…

— Известная? — Томми засмеялась так, как не смеялась, наверное, на моем выступлении. — Кафешки, парочка клубов. И это успех?

— Ну, когда смотришь со стороны…

Томми прекратила смеяться. И строго на меня поглядела:

— Это что — единственная причина? Ты хотел ко мне подойти только потому, что я была для тебя чем-то вроде знаменитости?

— Я хотел к тебе подойти потому, что, еще до того, как я встретил тебя, еще до того, как узнал о твоем существовании, я всю свою жизнь уже любил тебя.

Это была поэзия на шатких ногах. Это была чушь, которую обычно не болтают девушке — особенно при первом свидании. Может, остаточный кайф, под которым я находился, заставил меня все это сказать. Может быть. А может, это была чистая правда, которая шла от самого сердца. Наверное, так оно и было, потому что Томми, как рентгеном, просветила меня насквозь своим взглядом, попытавшись выявить хоть малейший признак фальши, ломанья или насмешки, — и случись мне пусть на йоту отступить на словах от того, что было у меня на душе, то поскакала бы моя черная задница обратно к себе в Гарлем.

Закончив меня изучать, пристально в меня вглядываться и взвешивать мою судьбу:

— Не зайдешь ко мне на чашечку кофе?

— Мы уже пили кофе.

— Но заходят же не для того, чтобы пить кофе. — Улыбка. Улыбка куда более взрослая, чем ее годы.

Так вот, а теперь знайте — и не подумайте плохого об этой девушке: в ту ночь ничего между мной и Томми не произошло. Ничего — если не считать того, что это был самый чудесный вечер в моей жизни.

* * *

Сид был человеком не без способностей. И главная из них — во всяком случае, в моих глазах — состояла в его умении творить маленькие чудеса. Мне он сумел раздобыть работу в приличные часы. Фрэн он подкинул договор о записи. Договор этот означал, что какая-то фирма выпустит и будет распространять ее сингл при условии, что сумма расходов не превысит пятисот долларов. Пятьсот — и на студийное время, и для музыкантов, а остаток — на выпуск и распространение. Такой ангажемент не сулил никаких денег. В лучшем случае, если все пойдет хорошо, Фрэн услышат за пределами клубов. И все равно одна мысль об этом уже будоражила: первый договор Фрэн, первая запись. Первый настоящий успех для одного из нас. Конечно, мы почувствовали, что это — только начало всего хорошего.

Пятисот долларов не хватало на то, чтобы нанять продюсера. Поэтому на записи, чтоб следить за ходом дела, будет присутствовать Сид. Я тоже буду рядом — просто чтобы быть рядом, чтобы разделить радость Фрэн.

Крошечная студия, на которую хватало такого бюджета, не поражала роскошью — мягко говоря.

Скорее, наоборот. Ничего общего с Брилл-Билдинг[19]. Конура в Вест-Сайде, недалеко от старого квартала Тин-Пэн. Обшарпанные стены, ковер с узором из кофейных пятен. Бычки. Повсюду, по всему полу, валялись бычки от сигарет, докуренных до самого фильтра. Кто, черт возьми, столько накурил? — удивился я.

Как в музыкальном зверинце, пространство там состояло из целой вереницы кабинок звукозаписи, и, проходя мимо, можно было увидеть за каждым стеклянным окошком по исполнителю. В этом зоопарке было много всякой живности. Исполнители с молочно-белыми лицами — их нетерпеливость пробивалась даже сквозь звуконепроницаемое стекло; исполнители бывалые — спокойные и уравновешенные: очередная запись очередной пластинки. Обычная работа — а что тут особенного, когда выполняешь обычную работу. Исполнители нервные. Нервные не потому, что они новички на музыкальной сцене. Как раз наоборот. Нервничали они потому, что топтались на ней слишком долго, но за много лет так и не добились успеха. Они хватались за последний шанс — неудача преграждала путь

[19] Примечания: 19

Брилл-Билдинг — здание, в котором располагались широко известные студии звукозаписи.

вперед, поражение напирало сзади. Глядя правде в глаза, они потели и бледнели, расхаживали взад-вперед по своим тесным кабинкам, как крысы, отчаявшиеся найти лазейку и выбраться из ловушки. Но сколь ни удручающ был дух уныния, витавший тут повсюду и чуть ли не кричавший о себе, Фрэнсис его в упор не замечала. Она все еще была полна боевого задора.

Сид провел Фрэн в нужную кабинку, познакомил с музыкантами. Она с энтузиазмом приветствовала их. Те энтузиазма в ответ не проявили. Это были ребята-почасовики. Парни, которым платишь, а они играют. Значит, певичка здесь в первый раз, да? Улыбочки, надежда прославиться… Что ж, и это не ново. Где денежки, и что за музычка?

Для записи Фрэн выбрала песню «Да будет любовь». Это была легкая вещица, популярный мотив в джазовой обработке. Выбранное сопровождение — фортепьяно, малый и большой барабаны, ксилофон — должно было прекрасно оттенить хороший голос. Должно было выгодно оттенить голос Фрэн.

Она порепетировала с музыкантами один раз, другой, потом еще раз, и все, кажется, спелись. Инженер дал Фрэн кое-какие указания. Фрэн

кивнула. Инженер нажал на запись, музыканты заиграли. Фрэн запела. Мы с Сидом слушали из кабины инженера, и за эту пару минут мне пришлось раз пять или шесть вытирать потные ладони о штанины — так я нервничал из-за этой девчонки.

Фрэн закончила песню, и получилось хорошо. Записала еще одну, и вышло тоже хорошо. Третья оказалась такой же хорошей, как и первая, а когда Фрэн допела ее, то я прочел на ее лице — и на лице Сида — выражение тревоги. Исполнение было хорошим — в том-то и беда. Оно было хорошим — и больше никаким. Не сногсшибательным. Не уникальным. Прослушав эти песни один раз, ты не вскакивал с места и не бежал за пластинкой в магазин. Я был другом Фрэн, быть может, ее лучшим другом, но даже мне показалось, что поет она ничуть не лучше любой другой девушки, которая поет очередную песню. То, чем она всегда так поражала на сцене, — то волшебство, та искорка, тот стиль, каким бы словом это ни называть, — начисто пропало в студии.

Потом Фрэн сделала небольшую паузу, прослушала запись, попросила музыкантов кое-что изменить, потом записала еще две дорожки подряд. Как и первые три, они были хороши — и

только. На следующей попытке в голосе Фрэн уже начало чувствоваться напряжение. Ее диапазон несколько сузился, прежняя живость и непосредственность казались теперь вынужденными, словно она с запозданием — «ах да» — о них вспоминала. Исполнение не улучшалось — ухудшалось. Все прошлые выступления в клубах, все ночи напролет, проведенные на Четырнадцатой улице в оттачивании ремесла, — все это не имело теперь никакого значения. Ночь за ночью, год за годом — и работа на сцене превратилась в нечто вроде пения под душем. Она превратилась в рутину. А в данный момент только эта конкретная запись — именно она имела сейчас единственное значение. И Фрэн задыхалась под таким грузом.

Сид объявил перерыв, заказал кофе с сандвичами и дал Фрэн и музыкантам время, чтобы размяться. Пока они перекусывали, Сид заговорил с управляющим студии. Запись затягивалась и, наверное, должна была еще затянуться. Сид пытался договориться с управляющим о дополнительной оплате, чтобы Фрэн успела сделать все, что нужно. Когда переговоры закончились, то по выражению лица Сида я понял, что прошли они не очень гладко. Фрэнсис он ничего не стал говорить. Ей он только улыбался. Он не собирался

давить на ее психику разговорами о деньгах.

После перерыва Фрэн с музыкантами снова зашли в кабину и записали еще одну песню. И снова — запись оказалась хорошей, только и всего. Может, даже не такой хорошей. Следующую дорожку Фрэн запорола, а ту, что шла за ней, испортил басист. У них получалось все хуже и хуже: музыканты играли спустя рукава, а Фрэн все больше зажималась.

Снова пришел управляющий студией. Он ничего не сказал — только постучал пальцем по своим часам. Сид кивнул. Он понял, на что тот намекает. Вот уже четыре часа мы занимали кабинку, заказанную на два часа. Сид достал из кармана несколько банкнот — его собственных, не от звукозаписывающей компании, — и вложил их в ладонь управляющему. Это продлит время записи. Но ненадолго. Сид, вынужденный выложить Фрэн всю правду, отвел ее в сторонку. И шепотом сообщил ей: времени осталось только еще на одну попытку. А потом придется отбирать лучший материал из записанного.

Фрэн медленно, словно на нее свалилась вся тяжесть обстоятельств, направилась к кабинке. Остановилась, сделала глубокий вдох, потом дала знак инженеру.

Запись пошла.

Фрэн подошла к микрофону… И очень скоро сделала отмашку инженеру.

Запись прекратилась.

Фрэн вышла из кабинки в коридор, бредя куда-то наугад.

Музыканты-поденщики завращали глазами, закачали головами. Весь их вид красноречиво и недовольно говорил: «Валяй, девочка. Просто спой, девочка. Запиши поскорее свои дурацкие дорожки, девочка, и мы потопаем домой».

Мы с Сидом тоже вышли в коридор. Фрэн стояла в дальнем конце, целиком уйдя в себя, и курила взятую у кого-то сигарету. Не помню, чтобы раньше я хоть раз видел ее курящей, но выглядела она сейчас такой сосредоточенной и серьезной, как будто выкурить эту цигарку — самое важное дело ее жизни. И хотя в это занятие она вкладывала все силы, казалось, что она почти не отдает себе отчета в собственных действиях. Она держала сигарету между пальцами, смотрела на нее невидящими глазами, как, бывает, смотришь на свою ладонь, не замечая собственной плоти. Мыслями она была где-то очень далеко.

Я устремился было к Фрэн.

Меня схватила и потянула назад рука: это Сид

без слов давал мне понять, что сейчас бессмысленно с ней говорить. То, что Фрэн необходимо было продумать, она должна была продумать сама. Ни Сид, ни я, никто другой не могли бы ей сказать ничего конструктивного. Все, что мы могли для нее сделать, — это оставить ее в покое. Это была ее запись. Это был ее час — и этот решающий час терзал ее.

Сделав последнюю глубокую затяжку, Фрэн покончила с курением. Она впечатала окурок в переполненную пепельницу, просыпав на пол часть ее содержимого. Тем самым накопившаяся груда бычков от сигарет, выкуренных в досаде, в страхе, в задумчивости, сделалась еще больше. Я получил наглядный ответ на вопрос, который задал себе, попав сюда.

Фрэн быстро зашагала по коридору и снова зашла в кабину звукозаписи. Строго оглядела музыкантов. Сказала:

— Следуйте за мной и не отставайте.

Те распрямились. Теперь их вид говорил уже не «Валяй, девочка», а «Да, мадам».

В той сигарете был всего лишь табак — но дым, минуты, проведенные в одиночестве, минуты, потраченные на то, чтобы собраться, — все это пошло на пользу Фрэн. Это была ее запись. Это

был ее час, и она не собиралась проморгать его. Она была хозяйкой этого часа.

Кивок инженеру.

Запись началась.

Фрэн подошла к микрофону. Фрэн запела. Она запела так, словно пела впервые в жизни — такая девственная радость звучала в ее голосе. Она запела так, как пела всю жизнь, — столь же уверенно, сколь перед тем была зажата и стеснена. Чего недоставало раньше, что у Фрэн не выходило еще несколько минут назад, теперь ощущалось в каждом слове каждой песенной строчки. Она чувствовала музыку. Не исполняла, не вымучивала — просто чувствовала ее, текла и вибрировала вместе с ней, и давала нам — слушателям — ощутить то же самое. Закрыв глаза, можно было услышать ее лукавую улыбку, уловить танец ее рук в воздухе: она скользила по музыкальным фразам, как по топленому маслу, как по речной воде. Просто стоя рядом и слушая, можно было ощутить ее восторг.

Когда замер последний звук, мы все захлопали и засвистели. Вот наконец то самое! Вот наконец то, что нужно! Ребята-музыканты, раньше державшиеся равнодушно, налетели на Фрэн и принялись целовать ее в щеки. Уж они-то сразу

распознавали настоящую душевность. Сид, а потом я заключили Фрэн в медвежьи объятья. Обнимая ее, я почувствовал, что она вся дрожит.

Сид сунул мне кое-какую мелочь, шепнул:

— Проводи ее домой. А я тут похлопочу.

Не выпуская Фрэн, я вывел ее из студии на улицу. С каждым шагом я все больше ощущал тяжесть ее веса. К тому моменту, как подъехало такси, моя хватка была, наверное, единственной силой, удерживавшей ее на ногах.

— Уильямсберг, — сказал я водителю.

Не проехали мы и двух кварталов, как Фрэн рухнула на меня и разрыдалась. Прежняя дрожь перешла в судорожное всхлипыванье. Пять часов подряд она отдавала все, что у нее было. На последнюю запись ушло все без остатка. Нельзя отрезать от себя кусок и ничего после этого не почувствовать. Всю дорогу от Вест-Сайда до дома она проплакала. И всю дорогу от Вест-Сайда до ее дома я не выпускал ее из своих рук.

Потом я вывел ее из машины, проводил по коричневой каменной лестнице до двери дома — здесь была квартира ее родителей. Фрэн поглядела на меня. В плохом освещении ее изможденное лицо казалось еще более бледным, ее выцветшие глаза — тусклыми и опухшими.

Она спросила:

— Последняя запись получилась хорошо, правда? — Не припомню, чтобы Фрэнсис когда-нибудь раньше говорила таким потерянным, таким отчаянным тоном.

Я приложил ладонь к ее щеке:

— Не просто хорошо. Это было лучшее, что я слышал от тебя. Лучшее.

Фрэн заставила себя улыбнуться, поцеловала меня и поблагодарила за добрые слова. Но пускай я говорил правду, уверяя ее, что она пела отлично, — похоже, она до конца не поверила. Ну да, она спела красиво. Да, она пела душой и телом. И все равно, я понимал, она задается вопросом: а нельзя ли было спеть хоть на чуточку, хоть на капельку лучше? Так много значило для нее пение. Она любила петь, и любовь эта причиняла боль. Такую цену ей приходилось платить за то, что она родилась не такой, как все.

Фрэн проскользнула в дом.

Я снова сел в такси и доехал до Гарлема.

* * *

Томми шла главным номером в «Бон-Суар». Тот вечер был последним, и я заглянул посмотреть, как она выступает. Она пела замечательно, как

обычно, была очень мила и все такое. В последний гастрольный вечер всегда выплачивали гонорар — и нам пришлось подождать, пока официантки пересчитают чаевые, а управляющий клубом закончит все свои записи и расчеты, после чего Томми могла забрать свои деньги. Покуда управляющий занимался делами, мы слонялись по залу — мы с Томми, другая исполнительница, выступавшая у нее на разогреве, музыканты, бармен и официантки. Ну, может, еще кто-то. Ожидание затянулось, и тогда пианист — не помню, как его звали, кажется, Скотт, — поднялся на сцену и принялся дурачиться, наигрывать отрывки то одной мелодии, то другой. Кто-то из обслуги попросил сыграть «Давай влюбляться» — тот сыграл, потом еще кто-то попросил «Ленивую реку» — пианист исполнил и это, а потом заиграл «Грешница поцеловала ангела». Песня эта была очень популярна несколько лет назад, и люди начали подпевать, но никто точно не помнил слов, и мы принялись сочинять смешные стишки. Наконец Томми поднялась на сцену, думая поставить всех нас на место, но скоро сама стала придуриваться — делая это в манере Этель

Мерман[20], — и мы от смеха буквально валялись, потому что никто раньше не слышал, чтобы Томми нарочно перевирала песни. А делала она это так истерично, истошно и до безумия смешно, что скоро люди стали выкликать разные другие песни, чтобы их она тоже переиначила. Она спела еще парочку песенок — подыгрывали ей приятель Скотта и басист, — а потом передала микрофон другой певице, потом какой-то официантке… всем, кто хотел забраться на сцену и спародировать Джуди Гарланд, или Джюли Ландон[21], или еще кого-нибудь, над кем хотелось посмеяться. Управляющий вышел из своего кабинета — он закончил подсчеты, но к тому моменту никто уже не спешил идти за деньгами. Наша маленькая компания разрослась: за одной официанткой заехал приятель, чтобы проводить ее домой, еще кто-то позвонил друзьям и пригласил зайти, вот уже раскурили косяк, — словом, образовалась вечеринка. Управляющий, видимо,

---

[20] Примечания: 20

Этель Мерман (наст. имя — Этель Циммерман; р. 1909) — звезда музыкальной комедии.

[21] Примечания: 21

Джуди Гарланд (наст. имя — Фрэнсис Гамм; 1922–1969) — певица и киноактриса, мать актрисы Лайзы Минелли (р. 1946). Джюли Ландон (р. 1926) — певица середины 50-х гг., актриса ТВ и кино, участница рекламных акций на ТВ.

просек это: он открыл бар и начал разливать всем выпивку в кредит, и вот уже все мы пили, курили, пели и хохотали, и Томми снова залезла на сцену, исполнила еще номер, и кто-то закричал: «Джеки, давай ты тоже, Джеки!» — как будто я умел петь. Сначала отнекивался, но Томми спустилась со сцены, схватила меня за руку и потащила за собой. Попробуй тут откажись! Мы заспорили о том, какую песню выбрать для дуэта, но тут Скотт заиграл «Старую черную магию», слов которой я почти не знал. Мой вклад в исполнение песни был приблизительно таков: «Эта старая черная магия тра-ля-ля-ля колдовской/ Старая черная магия тра-ля-ля-ля-ля с тобой…» Мне приходилось проделывать голосом настоящую гимнастику, чтобы угнаться за Томми, которая вела меня к сомнительному финишу. Потом мы оба затянули «Неучтенный блюз» и добрались до третьей строки, но тут не выдержали и расхохотались, и наши слушатели тоже не выдержали и расхохотались, принялись хлопать, свистеть, улюлюкать и вопить, а мы с Томми карикатурно раскланивались, и я провозгласил, что мы с ней будем выступать в «Копакабане», для узкого круга зрителей, а в качестве особого гостя нашу программу будет открывать мистер Фрэнк Синатра…

при условии, если его пробы для нашего номера пройдут успешно. Снова смех и аплодисменты. Тогда мы с Томми спустились со сцены, уселись в обнимку, горячо дыша в лицо друг другу, и стали смотреть, как другие исполняют всё новые песни. Так продолжалось еще долго, и лишь утром все мы наконец вывалились из клуба, улыбаясь, хохоча и радуясь жизни. Добравшись до квартиры Томми, мы, все еще улыбаясь, хохоча и радуясь жизни, вместе рухнули в кровать.

* * *

«Катись ты», — заявил я начальнику, хаму, управлявшему погрузочной компанией, — здоровенному детине, обросшему волосами, будто шерстью. При желании можно было бы его шкуру использовать вместо звериной в качестве напольного ковра. «Катись ты», — заявил я ему.

Мысленно.

Я предавался мечтам о том, как брошу эту работу, с того самого дня, когда поступил к ним. Я представлял себе эту сцену во всех подробностях: вот я вхожу в кабинет своего большого начальника, благодарю его за длинный рабочий день и паршивый заработок, говорю ему, что если впредь и захочу его видеть, то только для того,

чтобы его фирмочка помогла мне переехать из жилого квартала в деловой или из Гарлема — в Голливуд. А потом, не оглядываясь, выхожу за дверь.

Конец мечтам. Я шел на Седьмую авеню, в офис компании, чтобы попрощаться с начальником и его работой. Она мне больше не нужна. Моя жизнь вошла в благоприятную колею. Благодаря Сиду и его мини-чудесам, я регулярно выступал в клубах. Мне доставались все более ранние часы. Моя программа становилась все лучше. Я зарабатывал деньги. Не сумасшедшие деньги. Но постоянный заработок — уже хорошие деньги. Настолько хорошие, что клубы стали единственным местом работы, которое мне было нужно. Я и так ходил грузить мебель только три дня из пяти, а те бабки, которые я потеряю, вообще прекратив ходить на эту работу, — все равно что нуль без палочки.

Поэтому, начальничек, «катись ты».

Я сказал это в уме.

Все, что я на самом деле сказал, когда до этого дошло дело, все, на что я отважился, — я сообщил, что больше не приду, и присоединил вежливую просьбу: нельзя ли мне получить деньги за последний день. Сэр.

Я ушел с пустыми руками.

Перед тем, как совсем уйти, я решил повидать Малыша Мо. Он был в гараже, с грузовиками — огромными машинами с пустыми разверстыми кузовами, которые ждали, когда их вывезут на работу и заполнят. На то, чтобы заполнить их утробы, уйдет много долгих и тяжелых часов.

Катитесь вы, грузовики.

Я подошел к Мо, сказал, что уволился.

Он кивнул, услышав эту новость, и ничего не ответил.

Я попытался поделиться с ним своей радостью, рассказать ему, как хорошо идут мои дела с работой в клубах, как Сид здорово мне помогает…

— Значит, ты уволился. Да ты же и так никогда не приходишь. Ты не работаешь — как же ты можешь уволиться?

— Я просто говорю, что это здорово. Я всегда этого хотел, сколько себя помню. — Мне хотелось все растолковать Мо, чтобы он разделил мой восторг. — Если бы ты только знал, что это такое — стоять на сцене… Помнишь, как тогда, в лагере лесорубов, я заставил рассмеяться даже тех белых деревенщин? Когда тебе хлопают люди, которые вроде бы должны тебя ненавидеть и…

— Рад за тебя, — натянуто произнес он. — Ну,

ладно! Ты иди рассказывай свои прибаутки. А мне надо перевозить вот это дерьмо.

Мо направился к одному из грузовиков, направился так быстро, как будто его ожидало важное дело. А дойдя до цели, остановился и встал, и мне показалось, что единственное дело, какое у него было, — это поскорее отделаться от меня.

Я не мог взять в толк, почему Мо так ведет себя, не мог взять в толк, почему он недоволен тем, что у меня все так хорошо идет.

А чего еще я никак не мог сделать — так это собраться с мыслями и подумать об этом.

* * *

Вышел сингл Фрэн. Все деньги ушли на саму запись, а на рекламу и распространение совсем ничего не осталось. Но тем не менее, даже как незаконное дитя-первенец, ее песня вошла в список шестидесяти лучших песен еще до того, как все разошлось.

* * *

Это как с первой машиной, как с первым поцелуем. С первой девушкой. Все это остается с тобой навсегда — всегда присутствует в памяти,

и память никогда не подводит.

Вечер четверга. «Виллидж-Авангард». Конец представления. Я это как сейчас вижу. Я исполнял номер — рассказывал почти никуда не годную байку о парне в ресторане, который курил и ел *одновременно.* Какой смысл так делать? Чтобы придать пище приятный аромат деревенского дымка? Пожалуй, неплохой выход для тех, у кого нет времени на барбекю. Тут я с хрипотцой говорю: «Дайте-ка мне кусок сырого мяса и пачку „Кэмела“. Я тороплюсь».

Взрыв аплодисментов — так это называют комики. Это когда ты произносишь что-то настолько смешное, что зрителям мало просто посмеяться. Им нужно некоторое время, чтобы посвистеть и похлопать, нужно посидеть спокойно, чтобы перевести дух, просушить глаза, из которых от смеха катятся слезы: так ты их рассмешил. В тот вечер — вечер четверга, «Виллидж-Авангард», конец представления — этой байкой я сорвал свой первый взрыв аплодисментов. И, как мне предстояло делать еще много раз, срывая аплодисменты в последующие годы, я замолк и просто стоял молча, ждал, когда люди перестанут хлопать, прерывисто дышать и вытирать глаза. Я стоял и ждал, я купался в их

аплодисментах и любви.

Любовь.

Любовь, с которой всю свою жизнь до той поры я почти — совсем и не сталкивался. Любовь, поклонение, восхищение и одобрение. Да, они меня любили. За то, что говорю смешные вещи, эти люди, которых я не знал, которых никогда раньше не видел, с которыми никак не был связан, любили меня.

Вы можете понять, зачем парню, вооруженному только остроумием и микрофоном, — выходить в одиночку к толпе людей и пытаться произвести на них впечатление? Стоять на сцене — и не подбрасывать тарелки, не глотать монетки. Говорить. Просто говорить. Но в том, что ты говоришь и как именно, есть нечто… Есть нечто этакое, и оно так действует на людей, что они поневоле смеются. Смеются и не могут остановиться. Когда тебе это удается — когда тебе удается заставить людей полюбить тебя только за слова, вылетающие у тебя изо рта, — это ни с чем не сравнимое ощущение. Это не сравнить ни с алкоголем, ни с наркотиками. И даже с женщинами. Это такой кайф, которому нет равных, и охотиться за ним ты обречен уже всю жизнь.

* * *

Время, которое я проводил с Томми, проходило в грезах. Время, которое я проводил с Томми, проходило вдали от отца. Поскольку я продолжал жить дома, то любой повод сбежать бывал подходящим. А побыть с Томми — повод более чем подходящий. За несколько месяцев у нас возникла связь, которая не рвалась, несмотря на все наше несходство. Она была девочкой-паинькой, домашней и уютной, а я привык шататься до утра по клубам. Мне хотелось выступать на всех сценах, какие я видел. Мне хотелось тусоваться с клубной публикой. Томми не желала иметь с ней ничего общего. Мы с Томми были полными антиподами, это правда, но такими антиподами, которые летели навстречу друг другу со скоростью сто миль в час. Точка столкновения: любовь. Мы получали друг от друга то же, что и дарили друг другу. Томми дарила мне ощущение полноты бытия, ощущение моей значимости. Я же — если не считать, что каждый миг, насколько это было возможно, я старался обращаться с ней как с принцессой, — не знаю, дарил ли я Томми хоть что-нибудь. Мне и нечего особенно было дарить. Но она все равно меня любила.

А еще шутки. Вот что еще мне дарила Томми — шутки для моих выступлений. Пару раз она подбрасывала мне какие-то фразы, казавшиеся ей смешными. Поскольку я был ее парнем — а я думал, что парень может это сделать для своей девушки, — однажды я использовал одну ее фразу. Никто не смеялся. Томми была рада, что я хотя бы ее произнес. Вот в чем еще мы с Томми не сходились: нам казались смешными разные вещи.

— Ты не смеешься, — говорил я.

— Это не смешно, — отвечала она.

У нее дома, на экране «Зенита»: Мильтон Берл[22] в женском платье носится по сцене в черно-белом великолепии. А ей — хоть бы хны.

Я пытался наставлять Томми, показывал ей Сизара, Глизона, Ковача[23] и Берла. Они не произвели на нее впечатления. Особенно не нравились ей представления Берла — с таким же успехом можно было вести мусульманина на концерт

---

[22] Примечания: 22

Мильтон Берл (наст. имя — Мильтон Берлингтон; 1908) — популярный комический артист на сцене, на экране кино, на радио и на ТВ, прозванный «Мистер ТВ» и «Дядюшка Мильти».

[23] Примечания: 23

Сизар, Ирвинг (р. 1895) — ведущий поэт-песенник, а также исполнитель песен на сцене и в кино (20–30-х гг.). Глизон, Джеки (1916–1987) — актер, певец, композитор, руководитель крупных студийных оркестров; ведущий комик на ТВ в 50–60-х гг. Ковач, Эрни (1919–1962) — актер театра, кино и ТВ.

Джолсона[24].

Мы сидели на диване, голова Томми лежала у меня на груди, а сама она явно больше интересовалась чем-то в другом конце комнаты, но не тем, что происходило на экране телевизора.

— Это же классический номер.

— Мужчина в женском платье?

— Да, мужчина в женском платье. Очень смешно. Все обожают этот номер.

Томми — сухим тоном:

— И что — раз все обожают, значит, это смешно?

— Я только хотел сказать, что, раз что-то нравится множеству людей, значит, тому есть причина. Выступи с номером, который валит всех наповал, — и успех тебе обеспечен.

На экране «Зенита»: Берл лупит своего напарника кошельком. Публика в студии надрывается от хохота. А одновременно с ними надрываются тридцать пять миллионов зрителей по всей стране.

Но только не Томми.

— Допустим, это многим нравится — ну и что? Это еще не значит, что это хорошо.

---

[24] Примечания: 24

Джолсон, Ал (наст. имя — Эйза Йоильсон, родился в России; 1886–1950) — американский эстрадный исполнитель, певец, актер.

— Ну да, конечно, только… Это как… — С чем бы сравнить? — Ну, это как блюз и поп-музыка, понимаешь? Блюз — лучше, это настоящая музыка, но его же никто не просекает.

Томми оторвала свою голову от моего тела и устремила взгляд куда-то мне в переносицу.

— *Я* просекаю. — Пуля не ударила бы меня больней. — И я уж лучше стану делать что-то настоящее, а не ерунду, которая всего лишь популярна.

— А я лучше далеко пойду.

— Хочешь далеко пойти? Так иди к черту!

Между мной и Томми воцарился раздор. Иногда противоположности тянутся друг к другу. Иногда они просто ударяются друг о друга.

Она быстро поднялась и куда-то устремилась. Я стал ее догонять. Она на меня злилась за мои слова, а я на нее — за то, что она меня не поняла. Я крепко схватил ее за руку. И мягко притянул к себе.

— Детка, я же не говорю, что это правильно. Просто так все устроено. Это в природе вещей. Так всегда было с комедией, и так всегда будет.

— Значит, когда-нибудь и ты нацепишь женское платье? — Ее глаза горели. Грудь поднималась и прикасалась к моей. Она сердилась. Гнев

делал ее привлекательной. Еще привлекательней, чем всегда.

— Ну, если бы мне платили столько же, сколько ему…

Томми вскинула руки к вискам — растопыренными пальцами попыталась обхватить всю голову. И простонала:

— Господи, у меня голова от тебя болит!

Она не шутила. У девчонки действительно началась жуткая мигрень. Даже не вглядываясь, можно было заметить, как пульсируют у нее жилки на висках.

Ослабевшая, усталая Томми выскользнула из моих объятий, вернулась на диван — смотреть на комика в платье. Она не смеялась, не улыбалась — просто молча купалась в монохромном свете от экрана. Тут было и смирение, и протест. Она уступила мне — но уступила, как бы давая при этом пощечину. Ну вот, я смотрю. Делаю вид, будто мне интересно. Доволен?

Я не был доволен. Я, сам того не желая, обидел ее. А обидеть Томми было все равно что взять бритву и отрезать кусок от самого себя: ее боль была моей болью.

Томми перестала спорить, но наш разговор еще не закончился, он просто замер на время.

С тех пор нас постоянно преследовала эта тема — искусство или коммерция? *Быть* чем-то или *говорить* что-то? Для нас с Томми спор стал нашим внебрачным ребенком, которого нельзя было надолго оставлять без присмотра.

* * *

— Си-би-эс? Си-би-эс! — Я бы повторял это снова и снова, если бы мог на новый лад выразить свое удивление и возбуждение. Но вместо этого — от удивления и возбуждения — принялся повторять:
— В пятницу? В эту пятницу!

Сид:

— Джеки…

Фрэн уже очутилась в моих цепких объятьях, я закружил ее по тесному кабинету Сида.

— Си-би-эс приедет нас слушать!

— Я слышала, — пропищала Фрэн с закрытыми глазами — чтобы не закружилась голова.

— Джеки… — Голос Сида едва долетал до меня туда, куда я унесся.

А унесся я в воскресный вечер, недели на две или на месяц вперед. Я унесся на сцену к Эду Салливану, который пытался — изо всех сил, но безуспешно пытался — утихомирить разошедшуюся публику, когда закончилось мое первое

телевыступление на всю страну, от западного побережья до восточного. И вот что я вам скажу: едва эта сцена привиделась мне в мечтах, я сразу же решил, что этого слишком мало. Быть гостем в программе? А как насчет собственной программы? Как насчет такого — «Эстрадный час с „Колгейт“ и Джеки Манном»? Или такого — «Праздничная церемония „Жиллетт“ с Джеки Манном»? Пока я так фантазировал, мне было плевать, что до той поры единственным чернокожим, имевшим свою программу на телевидении, был Нэт Кинг Коул, а он — одна из крупнейших американских звезд, потому и получил ее. И все-таки, стоило ему получить эту программу, как Америка сразу же прекратила показывать его черную задницу по всем другим каналам. Конечно, Кинг был звездой, прирожденным талантом, но Страна Свободных и Родина Смелых… Уж лучше они будут смотреть сериал о Лесси.

Может, эта история сулила мне мало хорошего, но мои мечтания были круче любых метаморфоз реальности, какие когда-либо могли возникнуть на моем пути.

— Си-би-эс! Грандиозно, Сид. Ну, скажи…

Я опустил Фрэн на пол. Она выскользнула из моих рук, неловко прислонилась к стене, вы-

прямилась. Впрочем, я почти не обратил на это внимания. Я смотрел на Сида. Вид у Сида был какой-то неважный. Я-то от ликования был на седьмом небе, а у Сида вид был такой, будто его мутит.

— Что такое? — спросил я, боясь спрашивать что-либо еще.

— Ну… Дело в том… — Сид изо всех сил выдавливал из себя слова, но разговор явно был для него пыткой.

— Что такое?

— Они приедут слушать Фрэнсис… Только Фрэнсис.

Вот так.

— Мне не хотелось, чтобы ты узнал об этом из вторых рук. Мне не хотелось… Вы с Фрэнсис настоящие друзья, и мне не хотелось, чтобы ты подумал…

Вот так. На какой-то миг я позволил своим фантазиям ожить, и их тотчас же у меня похитили, их растоптали. Я боялся встречаться глазами с Сидом и Фрэн. Я не мог смотреть на них, так мне было стыдно за то маленькое представление, которое я только что устроил — визжал как девчонка, вообразив на один сумасшедший миг, что какой-то телевизионный чиновник или искатель

талантов захочет иметь дело с Джеки Манном. С какой это стати? С какой стати вообще кто-то захочет иметь хоть что-то общее с… каким-то черномазым ничтожеством.

Мне было больно. Физически больно. Меня опутала острая, как бритва, нескончаемая колючая проволока унижения, и я корчился от боли. Я вспоминал многочисленные отцовские побои, но сейчас пощечины, оплеухи и подзатыльники, которые он обрушивал на мою голову, казались чепухой по сравнению с этим ударом, нанесенным моей душе.

Голоса.

Голоса надо мною. Фрэн и Сид. Я слышал их из глубокой ямы, на самое дно которой свалился.

— Ты можешь с ними поговорить?

— Я пытался. Я пытался го…

— Три минуты. Попроси их послушать Джеки только три минуты…

— Они знают Джеки, знают про него.

— Тогда они знают, какой он смешной. Ну, так что им стоит послушать всего пару минут…

— Дело не в том, что они не… Они сказали… Они сообщили мне, что не…

Я пробормотал:

— Что у них ничего нет для негров. — Вот она,

правда. Мне надоело слушать их недомолвки, и я сказал это. — Фрэн, при чем тут смешной или не смешной. Я же негр! Они не собираются показывать негров по телевизору — а, Сид?

— …Нет.

Нет. Где уж тут сомневаться. Но, будь я Лесси…

Фрэн ничего этого не слышала — а если слышала, ей было все равно:

— Поговори с этими ребятами, Сид. Скажи им — если они не прослушают Джеки, тогда им не…

Тут мне следовало вмешаться, не дать Фрэн совершить харакири, не дать загубить собственную карьеру.

— Да что за беда? — вступил я, изображая беспечность, хотя внутри меня все кровоточило. — Не хотят меня слушать — значит, не хотят. Зачем заставлять их силой?

— Да потому что иначе они тебя вообще не станут слушать — вот зачем. Потому что это несправедливо. Одно дело — если бы они не считали тебя смешным, но они даже не хотят сделать любезность и посидеть, попивая свои дармовые напитки, пока ты будешь острить.

Фрэн была борцом за гражданские права еще до того, как гражданские права стали так называть. То, что нужно давать отпор изуверам, она

намертво усвоила с детства: навсегда запомнила, какой смущенный вид принимал ее отец, когда его вежливо, холодно и постыдно гнали, на глазах всего семейства, от дверей ресторанов «с ограниченным доступом» и гостиниц «для ограниченного круга лиц». Ограниченный доступ. Ограниченный круг. Фрэн выросла, изъясняясь на этом тайном жаргоне антисемитизма. Выросла, научившись не отворачиваться от него, как это делал ее отец. И теперь она приготовилась поставить на карту свою судьбу, отказавшись от прослушивания.

— Чего ты-то поднимаешь шумиху? Да плевать мне: если Си-би-эс я не нужен, значит, подамся на Эн-би-си. И вообще — меня вполне устраивают клубы.

— Конечно, устраивают. Ты обожаешь клубы — и чем они меньше, тем лучше. Будь по-твоему, ты отправился бы обратно в Театр на Четырнадцатой улице. — Фрэн явно не приняла за чистую монету мое кривляние. Нисколечко. Я продолжал валять дурака. Я обязан был — ради нее. Ради нее я врал напропалую, уверял ее, что это прослушивание ничего для меня не значило бы. Что скоро подвалит, будто цыганская кибитка, еще одна телекомпания, и Си-би-эс еще локти себе обку-

сает, узнав, что меня забрали другие. Я уверял Фрэн, что почти сочувствую ей: ведь страшно, наверное, петь перед какими-то малыми из крупнейшей телевизионной сети, которые, заточив перья, уже приготовились нанять ее на работу.

Разыграв такое крошечное грустное представление, я сумел убедить Фрэн не отказываться от прослушивания. Моя ложь была очевидной — как и мое желание уговорить ее.

Она сдалась, но с условием:

— Но ты тоже придешь послушать?

— Обязательно.

Потом мы немного постояли, потолковали о том, как это здорово, что Фрэн будут прослушивать. Я улыбался. Притворялся, что очень рад. Одной ложью больше, одной меньше.

Скоро Фрэн извинилась, сказала, что хочет пойти домой — примерить платье, отобрать номера, порепетировать… Словом, она хотела заняться подготовкой к самому важному вечеру своей жизни. Снова посыпались поздравления — и Фрэн ушла.

Как только она вышла за дверь, Сид поспешно заговорил: ему не хотелось, чтобы в воздухе повисала тишина, смертоносная для моего слуха.

— Правильно ты сказал: пускай убираются

к черту, раз ты им не нужен. — Вид у него был по-прежнему неважный. — Рано или поздно ты понадобишься Эн-би-си — или Эй-би-си. А они как раз все там и решают. Они на тебя посмотрят и затащатся. Эти лопухи из Си-би-эс сами не понимают, мимо чего проходят.

Господи, бедный Сид! Врун из него был еще хуже, чем из меня.

* * *

Вечер пятницы. Виллидж. «Голубой Ангел». Настрой — хороший. Публика — хорошая. В толпе зрителей — искатели талантов из Си-би-эс. От Сида исходило нервное возбуждение, он сиял и хорохорился. Я сам был на взводе, голова кружилась и казалась слегка пустой, как будто я нанюхался дыма от сигареты джазмена. И не потому, что я предвкушал зрелище. На душе у меня не все было в порядке: я испытывал такие чувства, какие, казалось бы, не способен был испытывать по отношению к Фрэн. Да, это был вечер ее триумфа — и все-таки я в глубине души немного завидовал. Старался прогнать это чувство, старался думать о том, как я рад за Фрэнсис. Я старался честно, старался изо всех сил.

Наконец свет в зале погас, началось представ-

ление, и вот, после недолгого разогрева, на сцену вышла Фрэн и запела. Я отчасти надеялся, что она все же откажется от прослушивания, предъявит-таки ультиматум: «Раз вы не станете слушать Джеки, значит, я не соглашусь, чтобы вы слушали меня».

Она не сделала этого. Если во время своей первой записи она и чувствовала себя неуверенно, то в этот вечер Фрэн пела как соловей.

Когда она закончила петь, публика зашлась от восторга. Ребята из Си-би-эс расплылись в довольных улыбках.

По окончании представления Сид с позволения управляющего клубом занял его кабинет и устроил там совещание с Фрэн и двумя агентами с телевидения. Я ждал, когда они закончат обсуждать дела. Ждать пришлось недолго. Ну, разумеется. Много ли времени понадобилось на то, чтобы сказать Фрэн, что она была великолепна, что они от нее без ума, хотят платить ей большие деньги и взять к себе на телевидение?

Совсем немного.

Двое ребят с Си-би-эс вышли из кабинета первыми, с довольно-покровительственным видом: еще бы — им удалось найти талант столь очевидный, что и слепой заметил бы. Потом вышел Сид.

Следом — Фрэнсис.

Фрэн подошла ко мне, она собиралась что-то сказать. Но ничего не сказала, поняв, что все, чего бы она сейчас ни произнесла, будет неправильно. Просто поцеловала меня. И ушла.

В следующий раз, когда мне приведется поцеловать Фрэнсис, она уже будет звездой. В следующий — и последний раз.

Часть III

В журнале «Лайф» была опубликована фотография симпатичной маленькой девочки с симпатичными кудряшками, прыгающей со скакалкой на тротуаре где-то на тихой окраине некоего среднего американского городка. Это был лучший образ лучшей поры детства: когда дети еще слишком малы, чтобы знать про такие страшные вещи, как Великая депрессия или Вторая мировая война. Слишком малы, чтобы знать про пыльные бури и лагеря смерти. Для детишек 1950-х существовали только Дэйви Крокетт[25] *и Всемогущее Телевидение, обручи Хулахуп. В жизни были сплошные забавы да радости. Как и положено. Детишки должны развлекаться, играть, смеяться и все такое. Дети должны быть детьми. Они не должны быть мучениками и героями, не должны быть солдатами переднего края в гражданской войне.*

А девятеро ими стали.

---

[25] Примечания: 25

Дэйви Крокетт (полн. имя — Дэвид Крокетт; 1786–1836) — политический деятель, оратор, литератор. В приписываемых ему произведениях велик комический элемент, а авторский герой — шутник и хвастун.

Девятеро детишек, которые всего лишь захотели пойти в школу и получить образование. Единственная загвоздка: они захотели поступить в Центральную среднюю школу в Литл-Роке, штат Арканзас. Правительство говорило, что они имеют на это право. Закон говорил то же самое. А вот добрые белые люди из Литл-Рока говорили иначе.

Говорили?

Как бы не так!.. Они горланили! Презрительно называли этих детей черномазыми. Проклятыми ниггерами. Паршивыми чернозадыми ниггерами. Взбешенные, с красными лицами, перекошенными от слепой ненависти, с пеной у орущих ртов, они называли этих детей животными.

Они называли этих детей животными?

Дети, вооруженные лишь книгами и чувством собственного достоинства, стремились учиться.

Их прогнала толпа белых.

Однако дети снова попытались пройти.

Их прогнала Национальная гвардия.

Но дети сказали, что снова будут пытаться пройти.

Губернатор заявил: что ж, давайте. Пытайтесь. Пытайтесь сколько влезет. Он их все равно

будет прогонять. Или натравит на них толпу.

Айку не понравилось, что войска губернаторов-деревенщин так нагло плюют на законы, которые он, Айк, по идее, обязан поддерживать. И он отрядил крепких ребят — тысячу солдат из 101-й Воздушно-десантной дивизии.

Толпа угомонилась.

Национальная гвардия посторонилась.

Губернатор поджал хвост.

Дети поступили в Центральную среднюю школу.

Девять детишек. Девять детишек, которые всего лишь хотели учиться. Они не собирались ничего такого начинать.

Но, сами того не подозревая, они способствовали возникновению движения в защиту гражданских прав.

Август 1957 — февраль 1958

Мы с Сидом сидели и разговаривали. Тема: будущее Джеки Манна. Будущее, к которому, как я чувствовал, я уже не лечу, а скорее ползу — все медленнее и медленнее. Телевизионщики отказались и прослушивать меня, и даже встречаться со мной, а с моей лучшей подругой после прослушивания заключили выгодный договор: этот удар сильно меня подкосил.

Сид, как мог, ободрял меня и ни разу не пытался меня обманывать, переоценивая мои возможности или суля невозможное. Он всегда говорил только о том, что может мне предложить, почему ему кажется, что мне следует согласиться на это, и как мне это поможет в дальнейшем. Коротко, просто и буднично. Иногда слишком просто, слишком буднично, а я ловил себя на том, что мне хочется чего-то большего. Как часто мне хотелось чего-то большего! Большего или лучшего: не тот клуб, а этот. Не клуб, а театр. А еще лучше — не то и не другое, а радио. Но больше всего мне хотелось Салливана.

А когда я давал себе волю и высказывал все свои желания, Сид принимался за свою обычную

осторожную канитель. Не обгоняй самого себя! Не несись сломя голову! Когда взбираешься по общественной лестнице, не перешагивай ни через одну из ступенек: на каждой из них у тебя есть шанс произвести впечатление на искателей и покровителей талантов. Если поскользнешься — лететь будешь только вниз. Поэтому никогда ничего не делай, лишь бы просто сделать, а только, когда будешь к этому готов.

Я слушал Сида.

Старался слушать.

Но его советам не под силу было ни придушить ту крысу застоя, которая ела меня поедом, ни унять чувство, что неудача уже подбирается ко мне и вот-вот нападет сзади. Эта парочка стала постоянной величиной моей жизни, которая терзала и мучила меня. Двойное стрекало, насылавшее на меня страх перед будущим: в лучшем случае я получу пожизненный приговор приклеиться к кафе и клубам Виллиджа. В худшем — в самом худшем — буду снова днем таскать на себе мебель, а ночью таскать для отца домой бухло или наркоту.

— Надо отправить тебя на гастроли, — говорил Сид. — Протолкнуть тебя в клубы в видных местах. Ты набираешь силу. Думаю, тебе это удастся

— выступать перед кое-какими знаменитостями. И я говорю не об одноразовых выступлениях. Если там выступаешь, то выступаешь в течение какого-то времени. У меня есть связи в Чикаго, в Филадельфии. Черт — да у нас же даже в Джерси еще не было выступлений. Могу легко устроить тебя в «Пятьсот». Это все престижные заведения, платят не скупясь. Триста долларов в неделю начинающим. Большинство еще и кормит за свой счет.

Триста в неделю. Триста плюс еда. Пожалуй, столько я еще пока не получал. Однако Выгода уже начинала тосковать без своей сестренки Славы.

Сид, глядя на меня, догадывался, что разговоры о гастрольной работе нисколько не ободряют меня. Он начал на все лады расхваливать заключительный этап турне — остановку в «Фонтенбло» в Майами-Бич. Это престижно, там много платят, это модное заведение, это такое-разэтакое…

Сид всё говорил. Я куда-то улетал мыслями, смотрел в окно. Туман. Угрюмая картина. Дождь. Внизу — перекресток. Вокруг засорившегося коллектора вода собралась в большую лужу. Какой-то мужчина — в сером костюме, безликий, — попытался перепрыгнуть через нее.

Неудачно. Он приземлился ровно посередине лужи, которая оказалась гораздо глубже, чем можно было подумать, и забрызгался с ног до головы. Он остановился там и стоял — обескураженный, мокрый, и становился еще мокрее. Мимо него, как ни в чем не бывало, сновали люди. Им было абсолютно безразлично, что он запачкался, что, может быть, он спешил на важную встречу или, как знать, на первое свидание, которое было для него уже испорчено: выглядел он не лучше половика. Людям было ясно только одно: на пути у них стоял насквозь промокший человек в сером костюме.

Это были ньюйоркцы.

Они торопились по своим делам.

Вдруг я очнулся — и затаил дыхание. Что-то из того, что говорил Сид, меня зацепило, вывело из оцепенения. Взбудоражило. Почти. Ожоги, что я недавно получил, преждевременно предавшись энтузиазму, были еще свежи, и я уже остерегался так скоро ловиться на ту же приманку.

Я переспросил:

— Что-что?

— Я ничего не обещаю. Но если все пойдет хорошо…

— Ты о чем, Сид?

— У ребят из «Фонтенбло» есть связи. Если ты у них хорошо выступишь, они могут поговорить с Жюлем — так они мне сказали.

Жюль. Это все, что ему требовалось сказать, и я понял его с полуслова. Жюль. Жюль Поделл. Жюль заведовал самым модным ночным заведением в городе. И одним только упоминанием его имени Сид дал мне понять, что если я отправлюсь в Майами и если успешно там выступлю, то у меня будет шанс попасть в «Копакабану».

* * *

Называется ли как-нибудь по-другому бабье лето? Было ли у него какое-нибудь особое название, или оно зовется просто ранней осенью? Листья еще держатся, до настоящих холодов еще много недель, даже октябрь еще не наступил, а воздух уже заметно посвежел. Прохладный ветерок, яркое солнце — все это создавало совершенно неповторимую погоду, которая, казалось, пропитывает тебя мятными ароматами, созданными самой Матерью Природой. Делая глубокий вдох, ты набирал полную грудь бодрящей жизненной энергии. В такие дни город словно упрашивал, чтобы по нему прохаживались неторопливым шагом, наслаждаясь прогулкой: давай выходи,

мальчик, иначе жизнь пройдет мимо. В такие дни Нью-Йорк казался почти безупречным городом.

И все же, при всей красоте такого дня, уже ощущался холодок.

— Все, что тебя волнует, — это деньги.

Мы спорили. Между нами снова разгорелся все тот же спор: что важнее — искусство или коммерция. Представление само по себе или бизнес. Что лучше — быть хорошим или успешным исполнителем.

На случай, если я все еще чего-то не понимал, Томми высказалась в лоб:

— Ты думаешь, что деньги — это все. Ты думаешь, они — все, но это не так.

Последнее время мы спорили почти регулярно. За едой, перед тем как заняться любовью, после просмотра чужих выступлений. Томми желала знать, считаю ли я увиденных исполнителей талантливыми или всего лишь популярными. Однажды после собственного выступления, когда публика проводила ее со сцены необычайно бурными аплодисментами и восторженным свистом, она бросилась ко мне с притворными жалобами — она тревожилась, что, раз люди в таком восхищении, значит, она утратила прежнюю глубину: «Не знаю, Джеки. Не знаю. Мне кажется,

я продаюсь».

Замечания всегда были острыми — никаких деликатностей. Слова Томми не кололи как иголки — они впивались в тебя как лезвие бритвы. Но даже если так, нельзя было сказать, что Томми просто пытается умничать. Для нее это было — в отношении меня — нечто вроде терапии, особенно в те месяцы, которые последовали за инцидентом с парнями с Си-би-эс, отшатнувшимися от меня, как от одноглазого альбиноса. День ото дня мне все больше хотелось подняться на такую высоту, достичь такого положения, чтобы эти прыщи в костюмах уже не могли даже пикнуть в мою сторону. Пусть ненавидят, пусть презирают меня за глаза, — но мне хотелось прославиться настолько, что в глаза мне они уже не отважились бы выражать ничего, кроме любви. Такие мечтания были не слишком по душе Томми.

— Да что ты заладил: «Если б я был звездой, все было бы отлично. Если б я был богат, жизнь была бы прекрасна»?

Я совсем не хотел провести в спорах последние дни со своей девушкой перед отправлением в турне. Мы возвращались после утреннего представления в «Зигфилде» и шли по Шестой авеню, прижавшись друг к другу и согреваясь словами

жаркого спора. И, как будто у Томми уже и без того не было поводов на меня сердиться, я — как и любой другой парень в Америке — навлек на свою голову позор и немилость, настоятельно предложив сходить на фильм с Лилией Дэви, европейской секс-звездой, в главной роли.

— Ты хочешь мне внушить, — говорил я Томми, — что пересчитывать деньги — хуже, чем пробивать себе дорогу, выбиваясь из сил? Гребешь положенное, гребешь левое — и все вокруг тебя уважают.

— А зачем тебе нужно их уважение? Зачем тебе нужно ужом вертеться только для того, чтобы кучка белых, которые терпеть тебя не могут, притворялась, что без ума от тебя?

Ну да, может, Томми в каком-то смысле была и права. Может быть. Но это была правота девчонки, которая выросла в миленьком и по-немецки чистеньком районе Филадельфии. Та правота, которую доказывал я, родилась в гуще гарлемских улиц. Я был готов высказать истину, от которой раньше увиливал ради сохранения наших отношений.

— Ты ничего не понимаешь, — заявил я. — Ты родилась в семье богачей.

— Мои родители упорно трудились и старались

дать нам с сестрой все, что могли.

— Да я это и хотел сказать — они дали тебе благополучную жизнь. Вот и я хочу того же самого. Завести дом где-нибудь в приличном тихом месте, чтобы деревья кругом росли. Мы бы здорово там устроились: поставили бы изгородь, сделали бы воро…

Если бы Томми выстрелила в меня в упор, то не могла бы ранить смертельнее. Если бы я дал ей пощечину, она не могла бы выглядеть более ошеломленной — так расширились ее милые глазки.

Она переспросила:

— Мы?

— Что?

— Ты сказал «мы». *«Мы* здорово бы там устроились».

Сотни раз я представлял себе тысячи разных комбинаций нашего с Томазиной Монтгомери будущего. Поселимся вместе, поженимся. Поженимся и будем жить в городе, а может, в северной части штата. В некоторых фантазиях мелькали детишки. Но одна деталь была неизменна: это мы. Мы двое — вместе. И то, что ее так поразило, — мое упоминание «мы», означало лишь, что я проговорился о том, о чем думал уже множество раз и что считал решенным.

И все-таки — проболтаться своей любимой о том, что ты мечтаешь о таком одомашнивании, было непростительной ошибкой.

Я дал задний ход:

— …Ну, я просто предположил. Я ничего не имел в виду. — Но, чтобы не перегнуть палку, добавил: — Нет, не то чтобы я совсем ничего не имел в виду, я просто…

Тут я замолк. Продолжать не имело смысла. Томми больше не обращала на меня внимания. Оно было целиком приковано к чему-то другому. Там, дальше, был магазин электроприборов. Толпа людей — и черных, и белых вперемешку — прильнула к витрине, будто загипнотизированная множеством картинок, которые мелькали на экранах телевизоров.

Мы с Томми зашагали в сторону этой толпы и, вставая на цыпочки, попробовали разглядеть то, на что все глазели. Без толку.

Я спросил одного черного собрата:

— Что происходит?

— Новости. Литл-Рок.

Все сразу стало понятно. То, что мне удалось высмотреть из-за стены чужих плеч, напоминало черно-белый фильм ужасов. Чернокожие дети пытались пройти к школе. Дорогу им пре-

граждали гвардейцы Национальной гвардии, размахивавшие штыками: они защищали свою белую, как лилия, школу от вторжения юных чужаков. Рядом бесновалась толпа белых, готовых к суду Линча. Крики. Вопли. Кто-то швырялся камнями. И через все это, через хор воплей, град оскорблений и запах насилия, мимо гвардейцев, которые скорее спустили бы эту толпу на «черномазых», чем замарали бы собственную форму, попытавшись остановить их, дети спокойно поднялись по ступеням и вошли в школу, чтобы получать знания.

Я сказал — самому себе, но вслух:

— Зачем, черт побери, люди допускают, чтобы их дети проходили через такое?

Собрату, к которому я раньше обращался с вопросом, не понравилось мое замечание, и он дал мне это понять, скривив губы — мол, «негр, пожалуйста, не забывайся»:

— Надеюсь, твоим детям не придется этого делать.

Разделавшись со мной, он отошел в сторону.

Томми — ее взгляд вилял зигзагами, пробиваясь между чужими телами к экрану, — сказала:

— Это чудовищно.

— Да.

По телевизору: несколько озверевших белых погнались за чернокожим, который случайно проходил мимо. Избили его до крови. Насколько я мог видеть, они били его до тех пор, пока не забили насмерть.

— Чудовищно.

Томми не двигалась с места, вертела головой туда-сюда, пытаясь хоть на одном экране что-то разглядеть. Наверно, таким образом она выражала свою солидарность.

Я не мешал ей. Некоторое время.

Но вскоре я дернул Томми за рукав и зашагал прочь, и она последовала за мной. Поскольку я никак не мог повлиять на решение расового вопроса в Америке, просто стоя перед магазином электротоваров, я подумал, что, пожалуй, лучше ломать голову над теми проблемами, которые я способен решить. Например, подумать над новыми номерами для своей программы.

* * *

Мой отец был почти трезв — насколько он вообще бывал теперь трезвым. Он сидел на кухне, за столом. И ел. Можно так сказать. А можно сказать, что он швырял пищу в направлении отверстия на своем лице.

При моем появлении он проявил чрезвычайную общительность, предельное гостеприимство, на какое был способен по отношению к собственному сыну, — он спросил:

— Хочешь?

Я подошел к столу. Положил себе на тарелку немного того, что ел отец (кажется, рис с красным перцем), присел. Стали ужинать вдвоем. Не глядя друг другу в глаза. Не говоря ни слова. Единственным нашим диалогом был спор его ложки с моей вилкой, стучавших о тарелки. Так или иначе, это был наш вариант совместной трапезы.

Потом я сказал:

— Я уеду на некоторое время.

— Когда вернешься, принеси мне…

— Я не вернусь. Некоторое время меня не будет.

Он на секунду задумался:

— Что это значит — некоторое время?

— Может, пару месяцев. Может, дольше.

— Ты никуда не едешь. — Он произнес это так, как обычно изрекают простые истины: небо голубое, вода мокрая. Я никуда не еду. Сказал — и сунул в рот новую порцию еды.

Я тоже съел несколько ложек, а потом поправил отца:

— Я уезжаю. Меня не будет несколько месяцев. Может, дольше.

— Куда? Куда это ты уезжаешь?

— На гастроли по разным клубам.

— Ночным клубам?..

— В Филадельфии, Милуоки, Чикаго. Еще в нескольких городах. Закончу в Майами.

Отец не слушал моих объяснений. Он раскричался:

— Несколько раз выступил в городе — и уже невесть что о себе возомнил! Решил, что ты чего-то стоишь. Да ты — ничтожество, Джеки! — Он почти рычал. — Джеки… Знаешь, почему я назвал тебя Джеки? Потому что это девчоночье имя, а ты и есть девчонка. — Тут он почти расхохотался. — Ты жалкая капризная дев…

— Я — хороший комик.

— Да никто не будет платить за то, чтобы посмотреть на твою черномазую задницу! — От злости отец из черного сделался темно-красным. Он часто и горячо дышал.

Я сохранял спокойствие, и это спокойствие вдвойне бесило отца.

Еще несколько ложек еды. Потом я встал из-за стола, отнес тарелку в раковину и поместил ее рядом с другой посудой, которую отец оставил

мне для мытья.

Я сказал ему ровным тоном:

— Люди будут платить, чтобы увидеть меня. Заплатят раз и еще больше заплатят в другой. И я на их деньги куплю себе много хороших вещей, хорошую квартиру. А когда у меня будет хорошая квартира, я уйду и оставлю тебя здесь.

— Никуда ты…

— Я перееду так далеко отсюда, что ты станешь просто каким-то чернокожим, которого я даже и вспомню-то не сразу.

— Никуда ты не поедешь! Никуда я тебя не отпущу! — Отец схватился за ложку, собираясь применить ее явно не для зачерпывания еды.

— Да я уже еду. Сид устроил мне…

— Этот еврей? Значит, этот еврей все подстроил?

— Не говори про него так.

— Этот еврей отравил тебе мозги и настроил против меня.

— Не смей так говорить про него! — Впервые с той минуты, как я переступил порог, сколько я ни держал себя в руках, отцу все-таки удалось меня взвинтить. Мне было наплевать на все, что он нес про меня. Ему уже нечего было прибавить к тому разбухшему фолианту, который он написал за

всю жизнь. Но наговаривать на Сида я позволить ему не мог. — Он — человек, в отличие от тебя. Он — *человек*, порядочный человек, и тебе до него еще черт знает сколько…

— Получай, черномазая задница! — Отец кинулся ко мне; ложка, завершив превращение из столового прибора в оружие, была зажата у него в руке. При всей своей злости, выпад отец сделал слабый: это было неловкое и несуразное нападение беспросветного пьяницы и наркомана, и замедленные движения казались преувеличенными. Мне не составило никакого труда увернуться и ухватить его за плечо. Еще меньше усилий понадобилось на то, чтобы оттолкнуть его. Настолько мало, что та минимальная энергия, которую я вложил в свою защиту, отправила отца на пол.

Не то чтобы я внезапно сделался силачом, эдаким Геркулесом, и решил дать отпор распоясавшемуся хулигану. Просто я перестал быть ребенком. И точно так же, как я больше не верил, что у меня под кроватью живут сказочные чудовища, я знал, что мой отец — никакой не демон, а всего лишь безрадостный старик, который больше не имеет надо мной никакой власти.

Он посмотрел на меня с пола прибитым взгля-

дом, в котором сквозила не просто физическая боль — она-то была невелика. Его отпрыск — его детеныш-слабак — швырнул его на пол. Если у отца и оставалось еще хоть какое-то мужество, то оно только что было растоптано.

Я сказал ему, четко произнося слова, как разговаривают обычно с животным, которое неспособно понимать твой язык:

— Сид нашел мне работу в клубах. Я уезжаю с ним на гастроли. Буду присылать тебе деньги на квартиру, на еду. Можешь тратить их на выпивку. На что угодно. Мне безразлично. Уже безразлично. Но я уезжаю, пап. Уезжаю от тебя.

В последний раз, когда я сообщил ему, что уезжаю по своим делам, я провел ночь лежа на полу — отлупленный ремнем, весь в крови — и выскользнул тайком, пока отец был в отключке. На этот раз я спокойно упакую вещи и выйду за порог здоровым, отдохнувшим и морально готовым.

* * *

Идея нарядно одеться и отправиться в клуб, чтобы поужинать и посмотреть шоу, похоронена на том же кладбище, что и решение *не* покупать машину, потому что у нее недостаточно большой

киль.

Но были времена…

Но были времена, когда мужчина надевал блестящий костюм, его дама сооружала себе начес на голове, нацепляла жемчуга, и они вдвоем отправлялись провести вечер за взрослыми развлечениями. Это означало, что они ели бифштексы, выпивали несколько бокалов вина и курили, а потом смотрели выступление какой-нибудь знаменитости с такого близкого расстояния, что им приходилось уворачиваться от капель пота, слетавших с трудолюбивого тела эстрадной звезды, которая выкладывалась, выкладывалась и выкладывалась на сцене до такой степени, что потом просто ничего больше не оставалось, кроме как вскочить с места и захлопать.

И вдруг я стал частью этого мира. Сид подергал за свои веревочки, и я вошел в эту Красивую Жизнь, начав выступать перед программами знаменитостей, которых раньше видел не ближе, чем на экране телевизора.

Первая неделя: Клуб «500» в Атлантик-Сити, выступаю перед Бадди Греко. Хороший парень. Классный парень. Парень, просто не умевший устраивать шоу меньше, чем на сто процентов. Сид решил, что Джерси — подходящее место для

начала турне: далеко от Нью-Йорка, от Виллиджа с его виллиджской кликой и кафешным антуражем, но вместе с тем достаточно близко от него, чтобы здесь все еще имелась «моя» публика, те люди, для которых я острил с той самой поры, как впервые вышел на сцену, с небольшой примесью пляжных туристов, по реакции которых я мог судить, что годится, а от чего лучше отказаться.

Сид поехал со мной — он собирался сопровождать меня во время всего турне. Он сказал мне, что хочет отдохнуть от своей конторы, что время от времени надо самому за руку здороваться с владельцами приглашающих клубов. Подспудная истина: он поехал не здороваться за руку с кем бы то ни было, а держать за руку — меня. Он отправился в эту поездку, чтоб быть уверенным, что со мной все в порядке.

Но мне не нужен был опекун. Я был профессионалом. Три бумажки в неделю, которые я зарабатывал, ясно говорили об этом. Конечно, было чему еще учиться. Я научился тому, что, выступая на разогреве, ты должен завоевывать публику, причем очень быстро, и больше не отпускать. Ведь эти люди в пиджаках платили не за то, чтобы увидеть тебя, — скорее всего, о тебе они даже не слышали, знать про тебя ничего не хоте-

ли (ВАС БУДЕТ СМЕШИТЬ ЗАЕЗЖИЙ КОМИК — так было напечатано про меня в одной из афишек). Ты разогревал публику, а значит, просто позволял ей начать переваривать омара с подливкой и тертым сыром, прежде чем грянет настоящее представление. Все это работало против тебя, и нельзя было расслабляться и по привычке тянуть с лучшими номерами. Все номера должны были быть отменными, причем начиная с твоего первого слова, — иначе следующие двадцать минут тебе предстояло распинаться перед двумя сотнями людей, которые будут лишь изредка бросать на тебя небрежные взгляды между попытками привлечь внимание официантки, чтобы заказать новую порцию спиртного.

Я открывал выступление «местными» остротами — такими, которые комик обычно выдает за местные, как будто у него в самом деле нашлось время на то, чтобы выяснить что-то «уникальное» о том городе, где он в данный момент выступает: «Ну, вы тут, ребята, у себя в Ничевойске, все так водите, как будто ограничение скорости — всего лишь рекомендация. Не могу сказать, что тут много чего возведено, но флаг штата не забыт, — наверное, это один из тех оранжевых метеофлажков, предупреждающих о приближе-

нии непогоды?» Вдогонку к этому — торопливую пошлость, подтверждающую мнение, которое никто не может оспорить: «Это только мне так кажется или Хрущев на самом деле спятил?»

А потом ждешь, когда стихнут аплодисменты и свист.

Затем шутишь об очевидном — просто чтобы мистер и миссис Белая Америка не слишком нервничали: «Думаю, поглядев на меня, вы поймете… что я ньюйоркец». Дальше приступаю к шуткам про родственников — никто не способен устоять перед шутками про родственников, пускай даже у меня они были выдуманными. Иногда выдуманными. Иногда заимствованными. Сид настаивал на том, чтобы я больше писал собственных материалов. Чтобы вырабатывал собственный голос. Я обещал ему, что постараюсь. Дело времени.

Подмешай к этому немного очарования, личное обаяние, литературное произношение, талант, добавь маслинку, и ты — хороший комик.

Каждую ночь этот коктейль удавался мне на славу, а Бадди затаскивал меня обратно на сцену и выдаивал из публики еще немного аплодисментов для меня. С каждым выступлением я делался все увереннее, а уверенность в себе была тем известковым раствором, который сплачивал

воедино мою программу.

Шесть ночей — и гастроли в этом месте завершились. В последнюю ночь я попрощался с Бадди, сказал ему, что почитаю его талант и что мне приятно было бы снова с ним поработать.

Бадди — обращаясь к Сиду и указывая на меня:

— Запомни эти слова, приятель: мне понадобится свидетель через пару лет, когда я захочу выступать *у него* на разогреве.

Хороший парень. Классный парень.

Следующая неделя: двухнедельная остановка в «Латинском Казино» в Филадельфии, разогрев для Джанис Пейдж. Она очень отличалась от Бадди. Пела медленнее, гуще. Сентиментальнее. После недели в Атлантик-Сити мое представление было похоже на струну арфы. В первую ночь я так настроил публику на этот лад, что потом Джанис пришлось стараться изо всех сил, чтобы соответствовать, и это ей не всегда удавалось. На следующий день ко мне зашел Сид и рассказал, что к нему заходил парень Джанис и попросил передать мне, чтобы я немного попридержал лошадей. Потом Сид добавил: парень Джанис поручил ему передать мне, что Джанис просила меня об этом таким тоном, что если я не соглашусь, то она попросит убрать меня из клуба.

Так я узнал еще кое-что: исполнитель, выступающий на разогреве, должен выступать хорошо — но ни в коем случае не лучше, чем артист, чье имя значится на афише главным.

На следующий вечер я по возможности сдерживал себя — острил поскромнее, то же было и в четыре других вечера: дважды в пятницу и субботу, и на следующей неделе.

Разделавшись с Филадельфией, мы отправились в Кливленд, где на неделю обосновались в «Эмпайре». Потом уехали на поезде в Милуоки, чтобы дать восемь представлений в «Риверсайде».

Пять недель.

Тридцать пять дней.

Я начал кое-что замечать. Ночами, после представлений, иногда я замечал, что чувствую… уныние — пожалуй, я бы это назвал так. Когда битком набитый клуб смеется над твоими прибаутками, хлопает тебе, — это такой кайф, от которого трудно отойти. Но от этого ничуть не легче проводить сумеречные часы в одиночестве, пялясь на скверную живопись на стенах гостиничного номера. После таких бурных выражений любви пустая комната действовала на меня удручающе: я ощущал себя еще более одиноким.

Конечно, можно было проводить время с Сидом, но Сид, пусть и друг мне, все-таки не мог бы поднять мне настроение. Оставалось спиртное, но привыкать к нему у меня не было никакого желания. Еще была Томми. Стоило мне только подумать о ней после представления, лежа на кровати и глядя в потолок, и я начинал думать о ней все больше. Чем больше я о ней думал, тем больше мне хотелось услышать ее голос. Я звонил, слышал ее голос… и мне делалось еще более одиноко. Иногда, когда на меня нападала такая тоска, я позволял себе выпить полпорции чего-нибудь, потом засыпал. Если везло, мне снилась Томми.

После Милуоки был Чикаго, где я выступал на разогреве у Вика Деймона, Синатры-младшего, в «Сент-Клэре». Его жена, эта итальянская красотка-актриса, приходила в клуб каждый вечер. И каждый вечер, слушая, как поет муж, плакала чуть ли не навзрыд. Видно, совсем от него без ума была.

Я трудился над этими чикагскими представлениями. Трудился изо всех сил. Я оттачивал и шлифовал свою программу. Уплотнил ее, потом сделал еще плотнее. Я чувствовал себя бойцом, который готовится к сражению. Эта неделя в

Чикаго была моей последней неделей перед отъездом в Майами, перед тем, как через «Фонтенбло» проложить путь к «Копе».

А еще это была последняя неделя моей жизни, в которой мне едва не довелось подвергнуться линчеванию.

Майами был жемчужиной, раем для отдыхающих, состоявшим из гостиниц в стиле «ар деко» и пляжных курортов. Родной дом для богачей, пристанище для звезд, игровая площадка для всех, у кого достаточно денег, чтобы ими швыряться. Майами был восточным Голливудом, Лас-Вегасом с океанским побережьем. Шик, блеск, прибой и солнце.

И вот там-то жило самое отъявленное белое отребье, гопники, самые оголтелые негроненавистники во всей Америке. А почему бы нет? Флорида расположена на юге Америки. Виргиния, Северная и Южная Каролина, а затем уж Флорида — еще южнее. Миссисипи, Алабама, — и вам нужно еще немного проехать к югу, чтобы попасть во Флориду. Флорида — это еще ниже.

Совершенная преисподняя.

Это сходство пришло мне на ум значительно позже.

Как только мы с Сидом вышли из вагона поезда,

нам сразу же бросились в глаза знаки и таблички расистского характера. Они были буквально повсюду. ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ. ЦВЕТНЫМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. Одна очень мило гласила: СОБАКИ И НИГГЕРЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Уж скорее они пустят собак, чем чернокожих.

Были и другие знаки — менее бросавшиеся в глаза, но очевидные: то, как чернокожие проходили через вокзальную толпу, опустив голову и пряча глаза, чтобы случайно не встретиться взглядом с кем-нибудь из белых: невинное, казалось бы, действие, но его слишком часто принимали за вызов, за дерзость и кидались на наглеца с кулаками. Те немногие черные, кто все-таки заговаривал с белыми, начинали и заканчивали каждое предложение со слова «сэр».

Каким-то непостижимым образом этим людям, и белым, и черным, такой безумный образ жизни — со всеми этими табличками, указывавшими, из какого фонтанчика тебе пить воду, какой уборной пользоваться, с этой сложной хореографией — куда глядеть, как говорить, — казался абсолютно нормальным.

Я не был простачком. Ни один чернокожий в Америке не был простачком настолько, чтобы не знать о жизни на Юге, а побывав в лагере

лесорубов, я узнал, что есть люди, которые так ненавидят черных, что не смогли бы ненавидеть еще больше, изнасилуйте их мать или пристрели их собаку. Но то, что происходило во Флориде, было расовым фанатизмом в качестве образа жизни. Это был укорененный расизм. Не тот расизм, что прячется в холодных взглядах, в неохотном обслуживании в присутственных местах — настолько медленном, что ты уходил раньше, чем подступала твоя очередь. Этот расизм открыто и гордо заявлял о себе на каждом шагу.

Немало времени у нас с Сидом ушло на то, чтобы подозвать носильщика. Хотя они все до одного были черными, при виде меня они, наверно, думали, что у меня нет денег на чаевые или что я слишком скуп. Вот как глубоко посеяла расовая дискриминация свою отраву в этом городе: он приучил нас ненавидеть самих себя. В конце концов я отошел в сторонку — и Сиду удалось-таки подозвать носильщика, чтобы тот дотащил наши вещи до такси.

Найти такое такси, которое отвезло бы нас к нашему отелю, тоже оказалось целым приключением. Как и всё в Майами, такси тут были черные и белые. Белые такси с белыми водителями, перевозившие белых пассажиров, отказывались

брать меня. Цветным же такси не позволялось заезжать туда, куда нам было нужно, — в престижный, для узкого круга лиц, Майами-Бич. Пришлось заплатить водителю белого такси двадцать долларов сверху, причем заранее, чтобы он отвез нас к «Фонтенбло». К задней двери «Фонтенбло». Это была единственная дверь, через которую я мог туда войти.

Дальше — больше.

— Ваша полицейская карточка.

— Полицейская…

Джо Фискетти был управляющим развлекательной частью в «Фонтенбло». Он протянул мне карточку — я взял ее и принялся на нее глядеть и глядел во все глаза, пытаясь понять, для чего мне эта штука может понадобиться.

Джо объяснил:

— В пляжной зоне действует комендантский час.

— В зоне ночных клубов — комендантский час? Да это все равно что запретить продавать сыр в гастрономе.

Джо не улыбнулся в ответ на мою шутку.

— Комендантский час для цветных. Если у тебя нет такой карточки, полиция может сразу тебя арестовать. Не просто может, а обязательно это

сделает.

Я поглядел на Сида.

Сид, который явно утаил от меня некоторые подробности, касающиеся Солнечного штата[26], просто пожал плечами и беззвучно прошептал мне: «Копа».

«Копа». Только ради нее я согласился примириться с этим бредом.

Завершая ликбез по правилам жизни в южной Флориде, Джо посоветовал нам что-нибудь придумать с такси. Может быть, найти два такси — одно для меня, одно для Сида, — которые возили бы нас туда и обратно из Майами в Майами-Бич.

Я ответил, что мы уже имели удовольствие ознакомиться с порядками в здешней системе перевозок.

Джо — как бы оправдываясь, но без эмоций:

— Не я же придумал такие правила.

А правила вот какие: я могу работать в «Фонтенбло», выступать в «Фонтенбло», но ни за что на свете мне не позволят жить в «Фонтенбло». Вместо этого меня поселили в «Мэдисон», за мостом, то есть не в Майами-Бич, а в самом Майами. Причина: подальше от шикарных отелей

---

[26] Примечания: 26
Прозвище штата Флорида.

— подходящее место для цветных, пускай там и селятся.

«Мэдисон» не была плохой гостиницей. Не была она и хорошей. В каждом номере протекали трубы. Холодная вода — ледяная, а горячая — едва теплая. Видимо, администрация очень серьезно отнеслась к Манифесту об освобождении рабов. В остальном… тараканы не возражали против моего вселения в гостиничный номер.

Я поглядел на Сида, покачал головой.

— «Копа», — напомнил он мне.

«Копа» становилась моим заклинанием.

Я сказал Сиду, что он не обязан страдать вместе со мной, — лучше пусть подыщет себе приличное место на побережье.

Сид ответил, что евреев фанатики-южане любят не больше, чем чернокожих. Мы оба немного посмеялись. Впервые за весь день.

Мы отдохнули.

В ту же ночь мы сели в два разных такси и поехали в «Фонтенбло», где я выступал перед мистером Мелом Торме. Его голос — *этот* голос, его голос вы знаете. А если не знаете, то познакомьтесь с ним, потому что, возьмись я его описывать, — будут лишь пустые слова. Этот человек обладал способностями, талантом и мастерством, кото-

рые не поддаются словесному объяснению. Для джаза и для джазовой импровизации он был тем же, чем стал «Обморок» для обязательного набора номеров в развлекательной программе. В жизни Мел был битником. Таким же живым вне сцены, как и на сцене. Мелу плевать было на всю эту черно-белую ерунду. Он был своевольным, и это своеволие не различало оттенков кожи. Однажды он пришел в настоящую ярость, когда пожелал поужинать со мной в гостиничном ресторане, а администрация не разрешила. Тогда мы перекусили сандвичами с мясом за кулисами.

Выступал я хорошо. Не просто хорошо — отлично. Может быть, лучше, чем когда-либо раньше. Хоть мы и находились в самом сердце Белобеднятчины[27] — у настоящих бедняков не было денег, чтобы селиться в отелях на побережье. Поэтому слушать нас приходили люди состоятельные — интеллектуалы Восточного Побережья и либералы из Новой Англии[28], приезжавшие сюда на несколько дней, чтобы погреться на песочке под

[27] Примечания: 27

Жители южных штатов, особенно Джорджии и Флориды, традиционно именуются «белыми бедняками».

[28] Примечания: 28

Новая Англия — общее название 6 штатов: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут.

звуки прибоя. Публика была нарядная, шикарная — особенно та толпа, которую привлекал Мел: продвинутые, прогрессивные белые, решившие послушать джазовые импровизации, чтобы показать широту своих взглядов, и вполне снисходительные к чернокожему парню, который разогревает их перед концертом. Мне отчаянно хотелось, чтобы здесь была Томми, чтобы она могла увидеть меня, послушать мои выступления. Разумеется, если бы Томми сюда и попала, ей бы не удалось посмотреть мои представления, потому что администрация не пустила бы ее в гостиницу, поскольку она — чернокожая. Если бы не это, то, я думаю, она бы по праву гордилась своим возлюбленным.

Вечер субботы. Последний вечер наших гастролей здесь. Поздний час. Закончилось второе представление, и мы втроем — Сид, Мел и я — поужинали за кулисами. Я попрощался с Мелом, и он удалился к себе в комнату. Мы с Сидом приготовились возвращаться обратно в Майами — город Майами. Вызвали по телефону такси — то черное такси, которое, как мы условились, забирало меня с берега.

И стали ждать. Сид был возбужден. Джо сказал, что я — сенсация, и обещал замолвить слово

Жюлю Поделлу в «Копе», в Нью-Йорке. Ну, могу вам сказать — это было все, о чем я мечтал услышать. Я готов был примириться с этим городом — пусть расистским, пусть фанатичным, пусть до мозга костей негроненавистническим, пусть еще каким угодно, — лишь бы он стал для меня трамплином в «Копакабану».

Мы с Сидом ждали. Возбуждение улеглось. Сид выглядел усталым, вымотанным за долгое турне. Я посоветовал ему не ждать меня, самому поймать такси и добраться до «Мэдисона».

— Немного свежего морского воздуха мне не повредит, — ответил он, намекая на то, что ждать ему не в тягость.

Мы с Сидом еще подождали. Возбуждение забылось. Я больше не мог видеть его мучения и ощущать себя виноватым.

— Сид, ты же был со мной каждый вечер, на каждом представлении с того дня, как мы отправились на гастроли, ты остановился со мной вместе в этой паршивой ночлежке, которую почему-то выдают за гостиницу… Ты все для меня делаешь, ну так сделай еще одну мелочь — поезжай и отдохни, раз я тебя об этом прошу.

Сид отмахнулся, сказал, что не устал. Его сонные глаза говорили об обратном.

Спор продолжался до тех пор, пока я чуть ли не силком затолкнул Сида в проходившее такси и отослал его в гостиницу.

А сам продолжал ждать свое такси. Такси для цветных.

Я все ждал и ждал.

Пятнадцать минут превратились в тридцать. Ну что ж? Позвоню, вызову другое такси. Только вот выряженные по-адмиральски лакеи на входе ни за что не пропустят меня обратно в гостиницу — через *парадную дверь*, — хотя смех после моего выступления еще, можно сказать, не успел затихнуть. Самолюбие не позволяло мне унижаться перед этими холуями в форме, которые наверняка не наскребли бы в своих карманах денег даже на билет на мое представление. Я решил, что лучше немного пройдусь, найду телефон где-нибудь в другом месте.

Таков был мой план.

Но теплая ночь, действие спиртного, выпитого после представления, замедлили мои шаги, а в ушах у меня все еще отдавались эхом недавние аплодисменты, ласкавшие слух: от всего этого моя голова кружилась и переставала соображать. Я шел пешком, и мне это нравилось. Прогулка доставляла мне удовольствие. И я подумал — а

что, раз при мне есть эта полицейская карточка, предписывающая «не трогать этого черномазого», почему бы мне не дотопать до «Мэдисона» пешком? Может, на это уйдет не больше времени, чем на поиск телефона и ожидание нового такси — черного такси. Ну да. Мне показалось, что разумнее пойти пешком.

Вскоре я заблудился. Не то чтобы бесповоротно. Просто алкоголь в сочетании с эйфорией рассеяли мое внимание, и я пару раз свернул не туда. Я видел за деревьями огни прибрежных гостиниц и различал вдали низкий горизонт Майами, но каким-то образом сбился на дорогу, которая увела меня от пляжа, но не привела в город.

Темная дорога.

Ну ладно.

Ладно. Подумал я. Тогда пойду обратно — так же, как пришел. Пойду обратно, найду этот телефон и вызову это такси.

Я так и сделал — повернул назад. Особенно не волновался, решил, что выкручусь. Если я вообще о чем-то и думал, то только о том, как вместе с Сидом посмеюсь над самим собой — надо же, попытался проложить пионерскую тропу и так крупно облажался.

Не очень я заволновался и тогда, когда сзади за-

светились фары и меня сначала догнала, а потом обогнала какая-то машина.

Машина. Просто машина.

Машина проехала еще тридцать, сорок ярдов… а потом ее задние фары из тусклых сделались яркими.

Она затормозила.

Тут я заволновался. Чуть-чуть. Чуть…

Машина остановилась — не поехала дальше и не покатила назад. Я тоже не двинулся с места. Единственными звуками нашего противостояния были гул работающего вхолостую мотора и мое частое дыхание. Никаких других звуков я не помню. Только я — и эта машина.

Над бампером зажглись яркие лампочки. Машина поползла в мою сторону.

Теплая ночь вдруг стала жаркой.

Я по-настоящему заволновался.

По-настоящему заволновался, но не трогался с места. Мой ум лихорадочно заработал, просчитывая бесчисленные варианты тех действий, которые можно было бы предпринять вместо того, чтобы стоять столбом, — но тело мое отказывалось даже шелохнуться.

Это была всего лишь машина. Всего лишь…

Машина — развалюха кремового цвета. Марку

и возраст было не разобрать из-за вмятин и пятен ржавчины. Она поравнялась со мной. Внутри сидели трое. В темноте мне было их не разглядеть — я только понял, что там три белых парня. Двое спереди, один сзади.

Тот, что был за рулем, протяжно спросил меня:

— Ты чего тут делаешь, парень?

— Иду домой. — Я с трудом выговаривал слова, и прозвучали они нервозно.

— Говорит — домой идет. — Тому типу, который сидел рядом с водителем, мой ответ не понравился, и он повторил его для остальных.

Водитель заявил:

— Тут черномазые не живут.

— Я тут не…

— Что-что, парень?

— Я тут не живу. Я из другого города.

— Говорит, он не отсюда. — Это опять парень, сидевший рядом с водителем, «переводил» другим то, что я сказал. Третий — тот, что сидел сзади, — молчал: просто лениво прислонился к дверце рядом с сиденьем и жевал что-то, что, видимо, постоянно было у него во рту.

— Ага, он не местный черномазый. — Они говорили обо мне друг с другом. Говорили так, словно меня тут и не было. — Ни один местный

черномазый не будет таким идиотом и не станет шляться по ночам, раз это запрещается.

Я показал им свою полицейскую карточку, пытаясь объяснить, что мне «позволено» находиться на улице после наступления темноты.

— Да плевал я на все эти карточки, — отрезал водитель.

А тот, кто сидел с ним рядом, быстро высунул из окна машины руку и выхватил карточку из моей руки.

Я не оказал сопротивления. Страх как будто парализовал меня.

Парень небрежно взглянул на карточку и сказал:

— Тут сказано, ему можно находиться на улице после комендантского часа.

— А ты что — какой-то особенный черномазый? Может, ты черномазый Иисус?

Слово «черномазый» срывалось у них с языка так же легко и просто, как злость. И с той же легкостью, с какой они выговаривали это слово, другое слово вдруг стало слетать с моего языка:

— Сэр? Нет, сэр. Во мне нет ничего особенного, сэр. Я работаю в одном…

— Полезай в машину.

За много миль отсюда раздался гудок поезда.

Это я помню. Я ясно помню этот гудок поезда, раздавшийся в ту секунду.

— Да я… Может, я лучше пойду обра…

— А ну, парень, живо полезай в машину. Мы тебя довезем куда нужно.

Третий — тот, что сидел сзади, — толкнул дверцу. Она распахнулась настежь, собираясь проглотить меня целиком.

Я не был идиотом.

Я не был таким идиотом, чтобы не понимать, что, если я залезу в эту машину, ничего хорошего мне не светит.

Я не был идиотом.

Я не был таким идиотом, чтобы не понимать, что пуститься наутек — ничуть не лучше. Если я побегу — за мной погонятся. Если погонятся, то поймают. Если поймают, то… Их трое. Я один.

Я не был идиотом.

Я залез в машину.

Залезая, я подумал — а что мне еще оставалось? — что, может, эти трое и впрямь отвезут меня куда нужно — в Майами, в гостиницу «Мэдисон», в номер с насекомыми, убегавшими от холодных капель из подтекающих труб, — в этот самый прекрасный номер, в каком мне когда-либо доводилось останавливаться.

Конечно. Туда, наверное, они меня и отвезут.

— Закрой дверь, парень, слышишь!

Я закрыл дверь машины. Меня сразу обдало запахами алкоголя и пота. От этих троих разило спиртным: они с каждым выдохом испускали вонь от выпитого в огромном количестве дешевого пива, сильно ударяющего в голову. По́том несло от нас всех. Южане потели от предвкушения. Я — от страха.

Некоторое время мы ехали. Не знаю, куда мы ехали: я только понимал, что не в город и не к пляжу. Кругом была темнота — сквозь нее пробивался только слабый свет фар, лишь обнаруживавший запустение впереди, и редкие вспышки фонарей на пригородных улицах. В свете этих вспышек я и рассмотрел своих попутчиков. Все — коротко стрижены, водитель — светловолосый. Шея у него была усеяна рубцами от угрей, которые уходили под воротник рубашки. И с ухом у него было что-то не так: край был как будто изжеван и порван, будто у собачонки, покусанной в драке.

Пассажир был красным — красная кожа, рыжие волосы.

Номер третий — тот, что сидел рядом со мной, — был худым. Почти как щепка. Если не считать

бочкообразного брюха, вываливавшегося из-под клетчатой рубашки, которую он расстегнул — видимо, чтобы удобнее было созерцать чудо его худобы-толщины.

Этот тип, тощий толстяк, оглядел мою одежку, отхлебнул из банки со «шлицем» и спросил:

— А чего это ты так вырядился?

— Я же объяснил.

— Ни черта ты не говорил, черномазый!

Похоже, слово «черномазый» служило у них стандартной концовкой каждого предложения.

Машина забарахлила. Мотор стал издавать какие-то странные звуки. Нехорошие. У меня никогда не было собственной машины, но я догадался, что, наверное, масло не меняли дольше, чем следует, а то, чему это масло служило смазкой, высыхало и скрежетало. У меня вылетел истерический смешок, который я замаскировал под икоту. Я все думал о машине этого южанина. Меня все это забавляло. Я снова икнул.

Я сказал:

— Я работаю в городе.

Еще глоток пива.

— И что это ты в таком прикиде делаешь?

— …Я — артист.

Смех и свист в исполнении южан.

— Артист? Так ты — звезда, парень? — спросил кто-то из них. Я не понял, кто именно. У них у всех было одинаково неграмотное бормотание с одинаковой растяжечкой.

— Значит, ты как тот ниггер-жид, — да, парень? — Тощий толстяк снова присосался к пиву. Еще больше опьянел от выпитого. Еще больше опьянел от ненависти. — Ты точно как тот ниггер-жид. Думаешь, ты такой особенный. Думаешь, ты такой из себя… — Конец фразы он утопил в пиве и злобно на меня посмотрел.

Кто-то спереди:

— Может, он нас развлечет.

— Могу помочь вам с билетами на шоу…

— Ага. Он должен нас развлечь, — сказал тощий толстяк. Сказал так тихо, так спокойно. Сказал это так, как будто берег силы для чего-то другого, помимо разговоров. И повторил: — Ага, он нас будет развлекать. Правда, парень?

Покрышка ударилась в его мягкое плечо.

От крыла машины со свистом отскочил гравий.

Я подпрыгнул.

Тот, что сидел рядом со мной, усмехнулся.

Водитель направлялся в сторону бензоколонки. Там темно, все заперто. Машина остановилась.

Южане один за другим вышли из машины. Я оставался сидеть внутри — точь-в-точь как смертник, который не хочет выходить из камеры, потому что камера куда лучше, чем то, что его ждет.

Один из южан — кажется, водитель — сказал:

— Пойдем-ка, малый. — Он хлопнул в ладоши — как хозяин, подзывающий свою собаку. — Давай-ка, развлеки нас.

Я потихоньку продвинулся к двери. Потихоньку выбрался из машины. Вот и все.

— Ступай туда, на свет. — Раскрасневшийся южанин указывал мне на стену гаража, где плясал свет от автомобильных фар. — Ступай.

Заплетающиеся ноги понесли меня на свет. Этот свет ослепил меня, а от моих недругов оставил лишь силуэты.

Один из силуэтов:

— Покажи-ка нам, как ты танцуешь.

Их руки-тени взметнулись ко ртам и снова упали. Подлили еще пива в свой огонь.

— Я не… Я комик. Я не танцую, я рассказываю…

— Не надо мне твоих паршивых ниггерских шуток. Ну, давай-ка, покажи нам, как ты танцуешь.

Я затанцевал.

Ни малейшей паузы, ни секунды бездействия,

которую можно было бы истолковать как неповиновение. Поднял одну ногу, потом другую. Немного пошаркал. Мелкие движения. Крошечные шажки. Отцовский ремень, валивший меня на пол, никогда не доводил меня до такой полной деградации. Мне было плевать. Мне было плевать, что трое южан стоят, смеются и показывают на меня пальцами, а я унижаюсь перед ними. Я думал только о том, что мне нужно пережить эту ночь и остаться в живых. Поэтому я танцевал.

Но мое жалкое самоуничиженье лишь распалило их. Какая уж тут забава — прибить того, кто как будто мечтает быть прибитым?

— Что это за дрянь? — подала голос одна из теней. — Что этот хренов черномазый тут воображает…

— Черномазый слишком горд, чтоб танцевать, — отозвалась другая тень.

— Нет, сэр. Я… Я не слишком го…

Их ругань сейчас, как никогда, была далека от какой-либо логики. Им нужна была любая зацепка, любой предлог, чтобы выплескивать свою ненависть, сквернословить и вести свою прелюдию, за которой должен был последовать оргазм насилия.

На землю полетела пивная банка. Пришла пора

приниматься за дело.

Один из южан вышел из темноты на свет. Это был тощий толстяк. Он встал. Поглядел на меня — мой вид был ему настолько невыносим, что его лицо мелко задергалось от брезгливости. Рука метнулась в карман штанов. Вылезла, держа что-то блестящее, отбрасывавшее медный лунный отсвет. Медная штука, слегка красноватая. Ржавчина. Ржавчина или засохшая кровь.

Ужас охватил меня целиком, меня неудержимо затошнило, и мгновенно все части моего тела как будто сдали. Сердце заколотилось. Мышцы обмякли и расслабились. Желудок и кишечник потребовали немедленного опорожнения.

Инстинкт, пришедший на смену обессилевшему рассудку, потащил меня назад. Я оступился — под ноги мне попался ящик для инструментов — и откатился под стену гаража.

Тощий толстяк ухмыльнулся: поглядите-ка на этого черномазого — этот идиот даже убежать не способен.

Двое других парней держались в стороне. Эти двое не хотели мешать тощему толстяку: пусть забавляется.

Припав к земле возле стены, я съежился и мысленно отгонял от себя этот кошмар. Я мысленно

покидал эту жуткую флоридскую глухомань и несся на север, в Нью-Йорк, в объятья моей Томми.

— Томми! — прокричал я: мой разум и голос охватил тот же спазм, что сковал тело. — Томми! — Я в бешенстве замолотил руками, схватился за деревяшки, к которым был прижат. Боль. Острая, жаркая боль. Ладони увлажнились и загорели. Кровь от щепок. Я продолжал цепляться. Продолжал…

Холод. У меня в руке — что-то гладкое, холодное и тяжелое.

Южанин нависает надо мной. Насквозь проспиртован, как мой отец, и нависает надо мной. На меня закапала его расистская желчь — бессвязная бурная ругань. Слова не имели никакого значения. Слова уже сделались недостаточными. Ненависть — вот что было важно. Ненависть трепетала и рвалась в бой. Тощий толстяк завел руку назад, и от медного кастета отразились огни фар, блеснув как бы в знак предупреждения: а вот и я.

Он замахнулся.

Я тоже замахнулся. Холодной и тяжелой штуковиной, которую сжимала моя рука, орудовал страх — не отвага. Я замахнулся. Она просвистела, рассекая воздух. Я замахнулся еще раз. Я замахи-

вался до тех пор, пока эта штука не наткнулась на что-то — и от этого столкновения моя рука завибрировала от кисти до плеча. Одновременно раздался сочный хруст — будто дыню молотком разбили. Следом — еще один звук: стук мертвого тела о землю.

После этого — ни звука. Ни от того парня, которого я только что свалил. Ни от остальных.

Я бросился бежать. Отшвырнул свое оружие — использованное, теперь бесполезное. Горячечное барахтанье, движение вперед, наконец я вскочил на ноги, мое тело само понеслось в сторону дороги, прочь от бензоколонки и оставшихся там двоих южан.

Они вдвоем погнались за мной. У них не хватило ума на то, чтобы преследовать меня на машине, но они все равно приближались. Меня гнал вперед страх, их — ярость. Их. Их двое. Один будет держать меня, а другой — вздергивать: минимальное число палачей, необходимое для линчевания.

Мой разум — до этого бесполезный, рабски подчинявшийся инстинкту, — наконец пробудился и снова вступил в игру. Мой разум подсказал мне, что бежать прямо по дороге — верный способ быть пойманным и убитым. Мой разум велел мне

скрыться в кустах, затаиться от преследователей в гуще деревьев.

Мой разум подвел меня.

На высоте моего плеча оказался забор — забор с колючей проволокой. Я врезался в него, врезался на полной скорости, отскочил и упал, а на заборе остался висеть добрый кусок кожи с моей щеки.

Лежа на земле, я открыл глаза. Взглянув вверх, я увидел темное небо в звездах. Повернул голову. И увидел злобных запыхавшихся преследователей.

Один из них — тот, что был за рулем: у него в руке — доска. В доске — гвозди. Тупые, ржавые, гнутые. Негодные гвозди. Ни на что не годные. Ни на что, кроме убийства.

Одна эта картина — красношеий, доска у него в руке, пьяная ярость, кипящая в нем, — одна эта картина заставила меня забиться в страхе: вот грязный ангел, который загонит меня в могилу. При виде него меня потянуло блевать, мочиться и плакать.

Я начал разом все три действия, когда этот фанатик двинулся на меня.

Мне хотелось только одного — чтобы не было больно. Об этом я и молился. Лишь бы не почувствовать боли. В остальном, валяясь на земле, в собственных нечистотах, я уже смирился с тем,

что сейчас все кончится. *Пожалуйста, побыстрей. Пожалуйста, без боли.*

Южанин сделал шаг вперед, чтобы осуществить мои молитвы.

Со стороны дороги донесся шум: тихий вой мотора, глухое трение шин о грязь. Все эти звуки отвлекли от меня внимание парней.

Горизонт прорвала белизна. Из-за возвышения показалась машина, стала подъезжать к нам… ближе, ближе… замедлила ход, притормозила, и ее фары, как два больших глаза, оглядели место действия. Секунда. Еще пара секунд. Фары загорелись ярче: большие глаза хотели хорошенько рассмотреть, что тут происходит. Поразмыслив, машина со стоном отворила дверь. Из нее кто-то вышел.

Меня и моих преследователей так ослепил встречный свет, что можно было лишь догадаться, что это мужчина, довольно крупный.

Он спросил нас обыкновенным тоном, который в темноте и пустоте прозвучал как крик:

— Что вы все здесь делаете?

— Да этот вот черномазый ударил трубой Эрла, — ответил парень, державший доску с гвоздями, махнув доской — этим судейским жезлом — в мою сторону, хотя никаких других «черно-

мазых» поблизости не было. — Мы ему сейчас покажем, как тут с черномазыми разбираются.

Южанин поднял доску. Сейчас должен был начаться показательный урок.

Но не начался. Рука парня застыла — ее на полпути остановил голос незнакомца:

— Оставьте его в покое.

Южанин снова поглядел на того человека, слыша, но не веря своим ушам.

— Ты понял, что я сказал? Этот черномазый избил нашего друга трубой.

Он забыл упомянуть, что его друг хотел проломить мне голову медным кастетом.

— Это не годится — чтоб черномазый избивал белого.

Незнакомцу, похоже, все это было неинтересно. Незнакомец снова повторил:

— Оставьте его в покое.

Парни обменялись взглядами, как бы сверяясь — правильно ли они понимают, что тут происходит: кто-то мешает им совершить заслуженную расправу над цветным, посмевшим оказать сопротивление и не дать себя линчевать?

Это никуда не годилось.

Южанин с двойной силой вцепился в свою доску, явно решив: похоже, тут уже двое напра-

шиваются на битье.

Из-за меня, из-за моей жизни, разыгрывалась драма, а я был всего лишь зрителем.

Парень с доской сделал шаг в сторону того человека. Один шаг.

И тут мы услышали щелчок.

Хотя и я, и оба парня ничего не видели из-за слепящего света, ошибиться было невозможно: раздался звук взведенного курка.

Обычно когда возникает спор и у одного парня — какая-то паршивая доска с гвоздями, а у другого — пистолет, то всем понятно: выстрел из пистолета положит конец любым разговорам и сравняет счет до самого что ни на есть нуля.

Хватка нападавшего парня ослабла — а одновременно и его желание пустить в ход доску.

Тень моего спасителя сказала мне:

— Пойдем отсюда, старина.

Хотя мою жизнь явно пытались спасти, я еще одно мгновение не двигался с места.

Тень повторила:

— Пойдем. Вставай. Забирайся в машину.

Как странно: все мои беды начались с того, что я, чернокожий, не мог поймать такси, а теперь вдруг все наперебой вызывались меня подвезти.

Я поднялся. Обогнул своих гонителей — рты

у них были закрыты, зато глаза красноречиво свидетельствовали о ненависти — и подошел к машине. Я шагнул в сторону от слепящего света фар, и моя голова дернулась, как у Степина Фетчита[29], будто меня лягнул мул.

Незнакомец:

— Веди себя спокойно, старина, и полезай в машину.

Ради нас обоих я сделал как было велено.

Незнакомец снова уселся за руль. Продолжая слепить фарами оставшихся ни с чем южан, он отъезжал назад… назад… потом резко развернул машину на 180 градусов и покатил туда, откуда приехал.

Незнакомец:

— Что ты делал?

Я не ответил. Не мог. Я просто не мог говорить. Я мог только сидеть и трястись.

Незнакомец повторил:

— Что ты делал, черт возьми?

Я оглянулся и всмотрелся в человека, который только что спас мне жизнь. Однако, когда

---

[29] Примечания: 29

Степин Фетчит (наст. имя — Линкольн Теодор Перри; 1902–1985) — актер кино с 1927 г.; прославился ролями нерадивых и бестолковых негров. В сленге афроамериканцев его имя стало обозначением трусости и раболепия.

я хорошенько пригляделся к нему, бредовость ситуации только возросла. Человек, который только что припугнул двух кровожадных белых, был чернокожим. Таким же, как я, даже темнее.

Ко мне понемногу начали возвращаться чувства. Я почувствовал холод, я почуял страх. Я выглядел как настоящее страшилище, и в нос мне ударила вонь от собственных нечистот. От стыда за все, что со мной произошло, я начал плакать. А от стыда за то, что я плачу, я плакал все сильнее.

Незнакомец:

— Ты меня слышишь? — Его голос подействовал на меня как отрезвляющая пощечина. — Что ты там делал, черт возьми?

— Нич… Я не… Просто шел.

— Ночью? Ниоткуда никуда?

— Вначале я знал откуда. — Я немного успокоился. Совсем немного. — Я заблудился. Я был в «Фонтенбло», а оттуда возвращался в свою гостиницу в…

— Ты был в «Фонтенбло»? — Судя по тону, он верил мне так же, как еще недавно те белые парни.

— Я там работаю… Я артист, и я… Мне не удалось поймать такси, и я…

— И ты решил пойти пешком от пляжа до Май-

ами. — Незнакомец заполнил кое-какие пустоты в моем ответе.

— А потом эти трое… их было трое…

— Какая глупость.

— Они собирались меня убить, — проговорил я спокойным голосом, чтобы как-то дистанцироваться от почти свершившегося факта.

— Какая глупость!

— Хуже. Настоящие животные. Тупые, дикие.

— Ну да. Они-то тупые животные, но ты… Ты — просто дурак дураком.

Это меня остановило. Это отбросило меня к самому началу.

— Что?

— Ходить тут ночью пешком! С таким же успехом мог бы нацепить на себя табличку: «Линчуйте меня».

— Я заблудился. Я же вам говорю: я заблудился. Я меньше всего хотел, чтобы меня поймала шайка этих… — Тут я почувствовал боль. Боль от жжения. Коснулся пальцами щеки. Из нее непрерывно сочилась теплая кровь. — О Боже… — До меня снова дошло, что я только чудом остался жив.

Незнакомец протянул мне носовой платок. Его презрение не отменяло сострадания, но со-

страдание не мешало ему задать мне хорошую словесную взбучку:

— Ты, должно быть, северный черный. Ты с Севера?

— Из Нью-Йорка.

Покачав головой, он произнес таким тоном, как будто мы — какой-то непостижимый биологический вид:

— Все вы, северные черные…

— Это что — моя вина? Значит, я виноват…

— Вы никогда не думаете. Вы там никогда не…

— Не думаем о чем? Не думаем о том, что нас могут вздернуть? Да, мы об этом не думаем. Но у «нас всех» там не носятся по улицам такие чокнутые гопники, у которых на уме только выпивка и линчеванье.

— Да, сэр. У вас, на Севере, все тихо, мирно и чинно. *Вы* не задираете носа, а *они* ничего не меняют.

Я некоторое время сидел молча, глядя невидящими глазами на приближавшиеся огни Майами.

И вдруг мне в голову пришла мысль:

— Вы ведь ехали один. Вы на меня нападаете, а сами ехали здесь в одиночестве.

— Я не один. — Он похлопал по пистолету, ко-

торый лежал между нами.

— Если бы вы не ехали в одиночку, вам не понадобилось бы оружие.

— Черному на Юге всегда нужна защита. А ехать мне далеко. Я возвращаюсь в Миссисипи с региональной конференции.

— Вы коммивояжер?

Он немного посмеялся. Потом задумался. Потом решил, что мой вопрос на самом деле ничуть не смешон.

— В каком-то смысле. Только мы ничего не продаем. Мы предлагаем. Предлагаем черным…

— Черным. Вы все время повторяете…

— *Они* называли нас цветными и неграми. Черными мы сами себя начали называть. Если они — белые, тогда мы — черные. Вот мы кто, вот мы что. А то, что мы предлагаем черным, — это достоинство, равенство и возможность… нет, *право,* право на то, чтобы с нами обращались так же, как с белыми людьми.

— А кто это «мы»? Кто все это предлагает?

— «Национальная ассоциация за расширение прав цветного населения».

Настал мой черед рассмеяться.

— Невысокого ты о нас мнения, — заметил незнакомец.

— По-моему, вам кажется, что вы делаете добро. Но если вы думаете, что, выпуская прокламации и произнося послеобеденные речи, вы чего-то добьетесь…

— Мы устраиваем демонстрации, бойкоты, ведем регистрацию избирателей…

— …чего-то добьетесь, помимо того, что разозлите шайку гопников…

— А ты так не думаешь?

— Я на себе ощутил, что это за сброд.

Незнакомец кивком показал на мою щеку:

— Это они с тобой сделали?

— Я порезался не во время бритья. — Еще десяти минут не прошло, как меня чуть не убили, а я уже снова острю.

— Это они тебя порезали?

— Они загнали меня прямо в забор.

Очередь смеяться снова перешла к незнакомцу.

— Не важно, как я порезался, мне больно! — сказал я.

— Ага. Больно. А знаешь, что я видел?

— Что же вы видели?

— Я видел, как чернокожих старух вышвыривают на улицу только потому, что они отказываются ехать в задней части автобуса. Я видел, как за

то же самое мужчин выбрасывают из автобусов и убивают. Я видел, как бьют школьников — и мальчиков, и девочек, — за то, что они устраивают демонстрации и требуют лучших книг и лучших классных комнат. Я видел мужчин, которые настолько боятся, что их вздернут за то, что они не так посмотрели на белую женщину, что они скорее будут шагать по проезжей части, чем пройдут по тесному тротуару, — а в это самое время белые мужчины тайком, по темным углам, осуществляют интеграцию с нашими женщинами.

— Я видел Эмметта Тилла.

Эмметт Тилл. Его избили за то, что он не показывал страха, а когда он отказался унижаться, его убили. Эмметт Тилл. Ему было четырнадцать лет.

А я танцевал.

Я повернул голову, поглядел в окно, как будто там, в темноте, было что-то такое, на что стоило смотреть. Я увидел только собственное отражение — лицо, на котором явственно читались вина и позор.

— И после всего этого, — сказал я, обращаясь к своему отражению в стекле и к незнакомцу, — после всего того, что вы видели, вы действительно

думаете, что заставите этих людей что-то вам дать?

— Нет. Они нам ничего не собираются давать. Нам нужно самим добиться всего этого: сидеть в ресторанах там, где они нам запрещают. Ходить по тротуарам, раз они считают, что нам можно топать только по проезжей части. Мы добиваемся этого, высоко держа головы и глядя в глаза белым людям. Мы добиваемся этого тем, что стоим за себя.

— Как этот Мартин Лютер Кинг в Алабаме? Пока он добивается только того, что его избивают и бросают в тюрьму.

— Ты знаешь другой способ?..

— Я знаю другой способ. — Теперь я снова взглянул на незнакомца и начал излагать ему основы своей религии. — Ты добиваешься успеха. Такого успеха, такой популярности, что белые люди не смогут встать у тебя на пути, даже если захотят, но они и не захотят. Чего они хотят — так это видеть тебя, быть рядом с тобой. Они хотят выстроиться в очередь и выложить свои кровные только за то, чтобы провести пару часов в твоем присутствии.

— Вот, значит, чем ты занимаешься — стремишься к успеху.

— Это лучше, чем получать дубинкой по го-

лове.

— Тогда почему же ты шел пешком в Майами, а не ночевал в отеле на пляже?

Эта реплика так больно хлестнула меня, что я позабыл о своей щеке. Я сидел молча — ответить мне было нечего.

Незнакомец продолжал вести машину.

До конца поездки мы больше не произнесли ни слова. Дорога была не очень ровной, но машина нашла удобную скорость и катилась в монотонном ритме, который весьма способствовал тому, чтобы успокоиться. Нас окружали только темнота и тишина, и почему-то все это казалось неправильным. У меня было такое чувство, как будто весь мир должен был обезуметь после полученной мной травмы и люди должны были вопить во все горло: как и почему такой позор мог случиться с Джеки Манном? Но вокруг были лишь темнота и тишина. Я был одинокой жертвой. Миру было наплевать — он и плевал.

Наконец мы приехали в Майами, к гостинице «Мэдисон».

— Здесь с тобой все будет в порядке?

Я кивнул. Кажется. Не помню. Мой разум, без того расшатавшийся до основания, полностью сосредоточился на монументальной задаче — как

раскрыть дверь.

— Спасибо вам.

Незнакомец пожал плечами.

— Уверен — ты бы то же самое сделал для меня.

Не зная, что еще сказать на прощанье человеку, который спас мне жизнь:

— Удачи вам.

— И тебе тоже. Как знать — может, если ты будешь идти своим путем, а я своим, — мы еще и встретимся посередине.

Я вышел из машины, а водитель покатил дальше. Я не сомневался, что он благополучно доберется до Миссисипи.

Я вошел в «Мэдисон». В холле сидел Сид, сам не свой от тревоги. Как только он меня увидел, нервно выпалил:

— Джеки, какого черта… — Увидев, что я в крови: — Тебе плохо?

Было ли мне плохо? Ведь я же решил, что своими шутками заслужил право считаться кем-то, — и тут мне грубо напомнили, что я — всего-навсего жалкое черное ничтожество. Плохо ли мне было? Хуже, чем в аду.

— Где ты был? Я пол-Майами на уши поставил, тебя всюду полиция ищет. Я обзвонил все отели

на побережье, в городе. Я объездил все…

— Мне нужно сейчас немного отдохнуть.

Сид перестал задавать вопросы, ничего больше не стал говорить. Он купил мне выпивку — купил мне целую бутылку, а потом отправил меня в мой номер.

Я выпил.

Меня стошнило.

Снова выпил.

Забрался под душ. Я стоял под холодными, бурыми от ржавчины струями воды и плакал. Через десять минут я сполз по стенке с выщербленным кафелем и сел на дно ванной, продолжая плакать. Через сорок минут я выключил воду и просто плакал. Потом, покончив со слезами, я сказал себе, сказал себе несколько раз: то, что произошло, произошло не зря. Не зря, потому что я кое-чему научился; столкнувшись с жестокой действительностью, пройдя по острию смерти, я получил кое-какое образование. Усвоенный урок: мне еще очень многое предстоит сделать. Мне нужно было настолько вырасти, чтобы никогда больше не оказываться в глухомани вроде Флориды, ни в какой глухомани вообще. Я заново переосмыслил свое предназначение. Сидя на дне ванной, в луже жижи с песком, я поклялся

себе, что Джеки Манн будет самой выдающейся знаменитостью. Он должен ею стать во что бы то ни стало, любой ценой.

Меня снова стошнило.

Я еще немного выпил.

Лег в постель. Я мог бы проспать целую вечность.

На следующее утро Сид разбудил меня — видимо, повинуясь чутью, он устроил так, что мы уезжали более ранним поездом. Я очень обрадовался этому.

Собирая вещи, я нашел у себя носовой платок того незнакомца. Поскольку я не знал, кто он такой, у меня не было возможности вернуть платок. И я его выбросил.

Мы с Сидом сели на поезд.

Мы уехали из Флориды.

В поезде я думал только о том, что каждая миля приближает меня к дому, приближает меня к Томми. Я знал, что, как только я окажусь рядом с ней, она, не говоря ни слова, одним своим присутствием сразу сделает так, что весь мир снова мне улыбнется.

* * *

Томми сказала мне:

— Я встретила одного человека.

Те двое южан с их медным кастетом, с их доской, утыканной гвоздями, не могли бы причинить мне более сильную боль. Томми нанесла мне удар в самое сердце.

Томми тотчас же заметила, как я поморщился от боли, и поправилась:

— Нет-нет. Я не имела в виду, что встретила другого мужчину. Я познакомилась с одним человеком, с представителем звукозаписывающей компании. Это маленькая фирма. Новая. Вот и все, что я хотела сказать, малыш. — Она взяла мою руку и сжала ее — на языке физического контакта дала мне понять, что наша связь по-прежнему прочна. В то утро Томми была со мной особенно нежна. Знала, что мне несладко пришлось в последнюю неделю гастрольной поездки (доказательством тому служила повязка, положенная на порез на щеке), но она не была посвящена во все подробности. От них я ее уберег. А себя уберег от необходимости заново переживать те события.

Ее прикосновение избавило меня от боли. Но воспоминание о том мгновенье, когда я «лишил-

ся» своей девушки, превратилось в страх, уже не желавший уходить.

Томми сказала:

— Джеки, я очень хочу, чтобы ты с ним встретился. Эта компания — они действительно неплохо разбираются в музыке. Я говорю не только о записи. Тут и оформление, и звук — словом, вся картина.

— Погоди-ка. Как ты познакомилась с этим парнем? Через агента?

— В «Авангарде». Он просто подошел ко мне, сказал, что ему нравится, как я пою, и он хотел бы работать со мной.

Вешайте мне лапшу на уши. Я сразу настроился скептически. Может, у меня за плечами и не было многолетнего опыта работы в развлекательном бизнесе, но мне хватило времени, чтобы научиться распознавать игрока, когда тот подкатывает к моей девушке: какой-то хмырь подходит к ней в клубе, говорит ей, что он из фирмы звукозаписи, обещает помощь, говорит, что ей достаточно прийти к нему в контору, или гостиничный номер, или — черт возьми — давай просто выйдем в переулок за клубом и… обсудим будущее.

Я сказал — сказал ясно, без обиняков:

— Мне не нравится этот тип.

— Ты даже не видел Ламонта.

— Ламонта? Да мне не нужно видеть Ламонта, чтобы он не понравился мне. Ходит тут, зубы тебе заговаривает, чтобы ты из штанов выпрыгнула.

— Он не из таких. Это деловой человек. Он думает только о моем голосе.

— Ну да, о твоем голосе — и о том, как громко он заставит тебя кричать.

— Ты просто ревнуешь.

— Я не…

— Да! Ты ревнуешь. — И Томми улыбнулась, думая, что я шучу.

Я не собирался шутить. Я говорил серьезно.

— Ну ладно. Сдаюсь. Я ревную, — признался я. — А как же мне не ревновать, если какой-то дешевый Гарри Белафонте пытается грузить свои бананы в твою лодку?

Улыбнувшись еще шире, думая, что я точно шучу, Томми наклонила голову и поглядела на меня глазами лани. Зубы ее чуть-чуть разомкнулись, она высунула язык и облизала губы.

Я ощутил, как кровь отливает от одной части тела и приливает к другой.

Томми сказала:

— Джеки, я ведь не маленькая девочка.

Юная, сладостная. Она обладала очарованием

невинности, но невинной не была: конечно же она не маленькая девочка. Томми — женщина с головы до ног.

— Тебе не кажется, что, если бы мужчина пытался за мной приударить, я бы сразу его раскусила?

— Я… навер…

Взгляды, которые бросала на меня Томми, начисто лишали меня возможности сосредоточиться.

— И тебе не кажется, что если бы я поняла, что какой-то мужчина — какой-то мужчина, кроме тебя, — пытается за мной приударить, то я бы его немедленно отшила?

— …Да…

— Значит, тебе не о чем беспокоиться, правда?

— …Не о чем.

— Не о чем. — Томми протянула руку, вложила свой кулачок в мою ладонь. Они подходили друг другу почти идеально. Джеки, я хочу, чтобы ты с ним встретился. Я думаю… Думаю, он мне действительно поможет. Не просто с карьерой, но и с пением, с той музыкой, которой я хочу заниматься. Я хочу, чтобы ты тоже имел к этому отношение. Я хочу, чтобы ты принял в этом участие. Хорошо? Ты встретишься с ним?

Это как ходить по раскаленным углям. Лизать

битое стекло. Разве я в чем-нибудь, когда-нибудь мог отказать Томми?

Нет.

— Конечно встречусь. Раз это так для тебя важно, я пойду и встречусь с ним.

Томми потянулась и коснулась меня губами.

Сколько мы уже были с ней вместе? Сколько раз я ее целовал? Мне все еще нужно было совершить усилие, чтобы прийти в себя.

Потом я спросил:

— Ты мне не сказала.

— Чего именно? — Томми вскинула брови.

— Как называется эта фирма?

— Она новая. Маленькая.

— Это ты говорила. А как она называется?

— «Мотаун»[30].

* * *

— Я не собираюсь тебя пугать, конечно, но это очень важно. Это — следующая ступень для тебя. «Копакабана».

Сид, находившийся в приподнятом настроении,

---

[30] Примечания: 30

«Мотаун» (сокр. от «Мотортаун») — наиболее успешная из принадлежавших афроамериканцам компаний звукозаписи популярной музыки (в Детройте).

говорил и взволнованно ходил по кабинету. Я слушал его, но разглядывал через окно Манхэттен — здания, небоскребы. Людей. Миллион семьсот тысяч человек толклись на острове шириной в две с половиной и длиной в двенадцать с половиной миль. Мы работали рядом. Жили рядом. Мы оставались друг для друга безымянными. Все мы были просто фоном и дополнением к чьей-то чужой жизни. У каждого человека в городе были Свои заботы. У меня в том числе. Я запустил руку в карман пиджака — пощупать свою заботу.

Потом снова сосредоточился на том, что говорил Сид…

— …Артистам чертовски трудно попасть в это заведение, особенно… Ну, там не очень-то дружелюбно настроены к чернокожим. Но после представлений, которые ты устроил в «Фонтенбло», и Мел, и Бадди хорошо о тебе отзывались. Одним словом: ты — один из моднейших разогревщиков.

Но у меня из головы не шла Томми.

— Расскажи мне о своей жене.

Секунду Сид ничего не говорил и не делал, а потом зашел за письменный стол и скорее рухнул, чем уселся, на стул.

— Прости, — сказал я. — Я не хотел…

Он поднял руку и хлопнул ею о стол.

— Я расскажу тебе об Эми. Эми — самая красивая женщина из всех, что я встречал. Какой мужчина не скажет того же о своей любимой женщине? Но лично я никогда в жизни не встречал женщины милей и добрей, чем Эми. Я помню одну неделю (мы тогда только начали встречаться) — мне приходилось допоздна работать. До двух, трех часов утра каждую ночь я ходил по клубам, смотрел выступления. Потом приходил домой, валился в кровать, вставал и снова шел на работу — мне не хватало времени на то, чтобы выспаться, не говоря уж о приличной еде. И вот однажды утром прихожу я домой, открываю дверь… Джеки, а там — этот запах, этот роскошный запах: яичница, поджаренный хлеб, кофе. Всё только что приготовленное, с пылу с жару. — От этих воспоминаний на лице Сида ожила улыбка. — Эми велела управдому впустить ее, приготовила мне завтрак, а сама даже не осталась, чтобы получить поцелуй в благодарность. — Тут его улыбка сделалась ослепительной. — Только не подумай, что я не отыскал ее потом, чтобы все-таки поцеловать. Вот такая она женщина.

— Ты все время говоришь о ней в настоящем времени…

— Знаю. И знаю, что ее уже нет. Я не пытаюсь обмануться, внушить себе, будто она еще жива, но… Но знаешь, Джеки? Она жива. Она все еще жива — вот здесь. — Он постучал себя средним пальцем по голове. — И вот здесь. — Палец перешел на сердце. — Не бывает и дня, чтобы я не вспомнил о ней. А иногда я прохожу мимо того угла или другого — и обязательно вспоминаю, что она там сказала или что мы…

Тут его улыбка исчезла. Он побледнел.

— Я солгал ей, Джеки. — Сид говорил таким голосом, будто это его предсмертная исповедь. Глаза его заблестели. — Она сказала мне, что пойдет в кино с подругой, а я сказал… Труба. — Влага в глазах Сида превратилась в ручей. Он страдал. Я не знал — прервать ли мне его или же это страдание такого рода, которому человек, пребывающий в вечном трауре, должен время от времени подвергать себя, иначе будет еще хуже: не найдя выхода, эта боль переполнит его. Затопит его. Поэтому я не стал мешать Сиду. — Вот это-то и непонятно… Если б это был какой-нибудь пьяный за рулем или сумасшедший с пистолетом, но тут — откуда-то с тридцатого этажа падает труба, и на кого тут ополчаться? На кого тут злиться? Просто труба отвалилась от какого-то здания.

Если бы она вышла на пять минут раньше или на десять минут позже… Я солгал ей, Джеки. В тот день, когда она пошла в кино. Я сказал ей, что мы увидимся позже… и солгал.

Я отвернулся, чтобы дать Сиду возможность успокоиться наедине с самим собой. И чтобы смахнуть собственные слезы.

Цель моего вопроса-просьбы заключалась вовсе не в том, чтобы ввергнуть Сида в горестное настроение. Но в его настроении я вдруг увидел решение собственных забот.

Я сказал:

— Я собираюсь жениться на Томми.

Улыбка вернулась к Сиду с такой же быстротой, с какой раньше исчезла. Сам того не желая, я заставлял его проделывать эмоциональную гимнастику. Он исполнил все мыслимые упражнения.

— О, Джеки… Это… это здорово. Я даже не могу тебе передать, как я рад это слышать. У тебя есть невеста? И не говори мне, что сделаешь все на скорую руку. Эта девушка заслуживает многого, и ты должен подарить мне шанс немножко сбросить вес, чтобы снова влезть в мой сюртук.

— Да, но… вначале мне нужно кое-что сделать.

— Что? Что тебе нужно делать? Ты же жениться

собираешься — не на Луну высаживаться. Выбери церковь, банкетный зал…

— Мне нужно узнать, согласна ли Томми.

— …Да, пожалуй, это тебе сделать необходимо. — Сид немного помолчал, видимо обдумывая следующий вопрос или то, как бы поделикатнее задать его. — Послушай, Джеки… Я не хочу быть темной тучкой на безоблачном небе, но что, если — если, повторю, — что, если она отнесется к твоему предложению без энтузиазма?

Я вытащил из кармана пиджака то, что давно ощупывала моя рука: мою заботу. Коробочку. Раскрыл крышку.

Сид тихонько присвистнул.

Сид сказал:

— Мать честная. Выгрузи-ка этот камешек. — Он вынул обручальное кольцо из коробочки, подержал его, полюбовался. В оправе сидел камень такой величины, какой только мог себе позволить купить парень, зарабатывавший почти каждую неделю по три сотни. А в ту пору, когда большинство семей зарабатывали меньше пяти кусков в год, на те деньги много можно было купить.

— Тебе кажется, он слишком большой? — спросил я.

— Ну, это как посмотреть. Для Элизабет Тейлор — нет.

Я настолько ушел в свои тревоги, что даже не понял — шутит Сид или хочет намекнуть на то, что я перестарался.

— Я могу отнести его обратно. Продавец из ювелирного сказал, что, если мне по какой-нибудь причине…

— Забудь про кольцо, ладно? Оно очень милое, оно красивое. Но это кольцо — еще не «да» и не «нет» Томми. — Одновременно Сид положил кольцо обратно в коробочку, а коробочку вернул мне. Потом пошутил: — Если она откажется, *я* за тебя выйду. — Пауза. — Я за тебя рад. Очень рад. Я вспоминаю о днях, прожитых с Эми, и о хороших, и о плохих. — Еще пауза. — Они все были хорошими. Когда вспоминаешь — они все были хорошими. Все до одного, и все… — Внезапно Сид резко оборвал свою мысль, которую проговаривал, и перескочил на другую тему. — Ладно. «Копа». — Сид уставился в договор, лежавший у него на столе, чтобы сосредоточиться. — Одна неделя работы на разогреве у Тони Беннетта — да, у Тони Беннетта, со вторника по воскресенье. В пятницу и субботу — по два представления. Оплата — та же, что в Майами. Не предел, но для

города это хорошие деньги. И, черт возьми, это лучшее в городе… — Тут он умолк так же резко, как заговорил.

Сид оторвался от бумаг. Посмотрел на меня — посмотрел на меня такими глазами, в которых читалось самое страшное, самое сокровенное, чем только может поделиться один человек с другим.

— Если любишь кого-то, Джеки, — если любишь кого-то, тогда хватай этого человека обеими руками, держись и никогда не отпускай. Ни за что, ни за что на свете. И если любишь, если по-настоящему… молись о том, чтобы смерть тебя первым прибрала.

* * *

Чуть лучше меблированной комнаты — комната гостиничного типа с душевой. Только душ, без ванны. Кухонька. Окошко, которое слегка приоткрывается наружу и дает мне любоваться видом на переулок. Вот и всё. Ничего больше, ничего особенного. Пристанище, куда я переезжал, находилось меньше чем в шести кварталах от моей прежней тогдашней квартиры. Три квартала на восток, два с половиной на юг. Однако эти почти шесть кварталов находились на другом конце

мира от моего отца. Он давно превратился в отшельника, никогда не ходил по окрестностям, вообще едва выбирался за пределы квартиры. У него было только два состояния: под кайфом или без сознания. Я мог бы поселиться в том же подъезде и без труда никогда с ним больше не встречаться. Пять с половиной кварталов? Да это все равно что переехать в Китай!

Я донес до двери пару сумок с собранными вещами. Отец наблюдал за мной с таким же грустно-тупым видом, с каким смотрит собака, когда понимает, что ее надолго, очень надолго оставляют одну.

— А мне что делать? — промямлил он.

— То же, что и раньше. Накачивайся. Надирайся. — Я даже не глядел в его сторону. — Я буду подбрасывать тебе деньжат, как всегда.

Он сказал мне что-то еще, но это что-то заглушил прощальный звук захлопнувшейся двери. Я не собирался тратить время попусту. И так этот человек уже растратил попусту большую часть моей жизни. Я не собирался отдалять свое освобождение, разыгрывая фальшивую долгую сцену, чтобы облегчить ему боль. Ну вот, папа. Все хорошо, папа. Давай я устрою представление из нашей с тобой жизни, папа. У меня не было

ничего, кроме бессловесного прощания, для человека, который ввел меня в этот мир и вывел из него мою мать.

Моя новая квартира была маленькой. Иначе и быть не могло. Я ведь платил за оба жилища — отцовское и свое, так что особенно не разгуляешься. И все равно, она была достаточно велика, чтобы вместить всю ту независимость, которой я никогда не пользовался раньше. Входя в это крошечное пространство, я знал: там *нет* моего отца. Мне не нужно ходить на цыпочках, когда я встаю рано утром или поздно прихожу вечером. Здесь не слышно его пьяной ругани, нигде не разит его вонью. Если раньше я постоянно болтался у Томми, то теперь мог привести ее сюда. Мог выкрасить стены квартиры в любой цвет, какой захочу, обставить ее любой мебелью на свой вкус, забить холодильник любой едой, какая мне понравится… При всей тесноте это помещение имело огромное достоинство: оно предоставляло обладателю исключительное право делать все, что заблагорассудится.

Наутро после первой ночи, проведенной там, я проснулся счастливым. На следующее утро — тоже. На третий день я был просто доволен: чувство легкости, свалившегося с плеч бремени

быстро становилось нормой моей жизни.

На четвертое утро пришла Бабушка Мей, принесла мне тарелку овсяного печенья с изюмом — поздравить с новосельем. Печенье было еще теплым. С тех пор как я начал выезжать на гастроли, я стал пропускать наши традиционные посиделки по воскресеньям вечером, поэтому мне было особенно приятно, что она пришла и что у меня есть где принять ее. Я устроил ей экскурсию по квартире. Вытянул руки в стороны, сказал: «Вот и все». И экскурсия окончилась. Впрочем, при мысли о том, что я могу отплатить Мей ее же монетой, могу развлекать ее у себя, я чувствовал себя взрослым мужчиной. За печеньем мы говорили о том о сем. Я рассказал Мей о звездах, с которыми работал, обо всех местах, где побывал, — о Филадельфии, Чикаго и Милуоки. Рассказывая о Майами, кое-какие подробности я опустил. Мей слушала мои рассказы раскрыв рот, как я обычно слушал рассказы звезд в *«Любимцах города»*.

Еще я рассказал Мей о Томми, намекнул на то, что надеюсь жениться на ней. Мей, тоже намеками, выразила надежду, что когда-нибудь мои намерения сбудутся. Сказала, что семья — это очень важно, что самый большой успех, какого

может достичь мужчина, — это стать хорошим мужем и любящим отцом.

Я шутливо заметил, что мне остается верить ей на слово.

Мей сказала, что все прекрасно понимает: ей ли не знать, что у меня никогда по-настоящему не было семейной жизни. К этому она прибавила: в отличие от посторонних, родные люди, что бы между ними ни происходило, всегда заботятся о родных — это она усвоила с детства. Потом она осторожно заметила, что мой отец — не важно, что он натворил, что он за человек, — все равно остается моим отцом и заслуживает если не моей любви, то хотя бы сострадания.

И тут я вспылил. Пускай даже от Бабушки Мей, но слышать, что я должен своему отцу — этому злобному пьянчуге, который вечно избивал меня, — что-то еще, кроме «до свиданья», — слышать это спокойно я не мог. Разве не он унижал меня любыми способами, при каждом удобном случае? Разве не я все еще продолжал его содержать, давая деньги на еду и квартирную плату, которые он транжирил на выпивку и наркотики?

В этом-то, заявила мне Мей, уравновесив своим спокойствием мою горячность, — в этом-то вся проблема: я содержу отца, даю ему деньги, но раз

я окончательно ушел из дома, значит, об отце некому будет позаботиться. Ведь я приносил ему то главное, что нужно для жизни, — еду и спиртное, а значит, он не шатался в оцепенении по улицам, выглядывая, где бы перехватить съестного или как бы нализаться. Я стирал его одежду, убирал квартиру. Значит, отец не жил в собственной грязи. Пока меня не было, Мей за ним приглядывала, она готова делать это и впредь, но что нужно моему отцу, заявила она, так это семья. Он — всего-навсего великовозрастный младенец, убеждала меня Мей, один он попросту пропадет. Она не просила меня вернуться к отцу. Она понимала, что, если попросит, я вернусь — только ради нее. Но такого она не могла от меня потребовать. Мей только попросила поступить так, как скажет мне сердце, а потом ушла, чтобы я подумал.

И я стал думать.

Я думал обо всех полученных оплеухах, обо всех гнусных кличках, обо всех грубых выволочках, обо всех злобных выходках — обо всем, что сыпалось, и сыпалось, и сыпалось на меня от этого человека. Этого человека.

Этот человек.

Мой отец.

Я представил себе, как он живет один, предпочитая дурь и выпивку еде и крыше над головой. Сколько времени пройдет, прежде чем такой выбор убьет его? Меня это не заботило. Я не хотел об этом задумываться. Я хотел только одного — предоставить его самому себе.

Но не мог. Не мог, потому что этого не сделала бы моя мама. Она бы не бросила его, хоть бы это… хоть это ее и убило. За что я ненавидел отца — в моих глазах это было убийство. Я ненавидел его — но не так сильно, как любил мать. А чтобы доказать ей свою любовь, чтобы почтить ее…

Я обругал самого себя. Просил Бога проклясть меня за то, что я способен хоть какие-то чувства испытывать к этой никчемной вошке.

Я перепаковал вещи и проделал обратный путь через пять с половиной кварталов, чтобы снова оказаться рядом с отцом. Этот поступок обошелся мне в сумму месячной арендной платы. Ну и стоил мне свободы.

* * *

В телефонной трубке гудки… гудки… гудки…

— Алло!

— Фрэн?

— Джеки!

— Я не вовремя?

— Да я тут еду готовлю.

— Могу перезвонить, если…

— Что ты, не надо! Я хочу с тобой поболтать. Сколько лет, сколько зим!

— Я на гастролях был.

— Знаю. Ну и как?

— Хорошо. В общем, по-своему забавно. Я раньше никогда так не разъезжал, поэтому весело получилось. Поработал недельку с Бадди Джи, недельку — с Виком Деймоном, Мелом Торме…

— И какой он?

— Настоящая звезда: важный, но симпатичный. Я тоже таким хочу быть, если когда-нибудь… ну, понимаешь, когда я выкарабкаюсь. Важным, но порядочным.

— А «Копа»? Сид сказал мне, что ты будешь выступать в «Копе».

— На следующей неделе, с Тони Беннеттом.

— Джеки, это же здорово! Просто сенсация! Это будет грандиозное представление, я уверена. Мне нужно лететь в Лос-Анджелес на следующей неделе. Пожалуй, я это отменю.

— Не надо.

— Я могу поговорить с…

— Да о чем ты говоришь — «отменю»?

— Это же твое первое важное выступление.

— Первое из многих. Теперь я буду выступать в «Копе» регулярно. Зайдешь посмотреть как-нибудь в другой раз, а сейчас не надо с ума сходить, отменять свои дела. А кстати, что у тебя в Лос-Анджелесе…

— Сейчас, погоди минуточку… тут мне нужно было кое-что с плиты снять.

— Может, я все-таки тебе перезвоню?

— Нет-нет. А что ты…

— Что ты-то собираешься делать?

— …Ничего…

— Что значит «ничего»? У тебя же есть этот важный контракт…

— Ну да. Огромный.

— Важнее, чем мой, — у меня-то вообще никакого нет.

— Да знаешь, что это такое? Связаться с Си-би-эс — все равно что заиметь второго папашу. Эти ребята вечно во все нос суют: прическу мне нужно сделать такую-то, одеваться я должна так-то…

— Ну, это же телевидение. Ты должна хорошо выглядеть.

— А сейчас я плохо выгляжу?

— Да ладно тебе. Ты же знаешь — я тебя красавицей считаю. Просто хочу сказать, что на ТВ ты

должна выглядеть…

— Я уже сейчас могу предсказать: однажды они станут учить меня, какие мне петь песни…

— Не станут. И вообще — перестань преувеличивать, всё совсем не так плохо.

— Как Томми?

— Она познакомилась с каким-то парнем из фирмы звукозаписи, из Детройта, он хочет, чтобы она записала пластинку.

— По-настоящему? Замечательно, Джеки! Девочка заслужила это.

— Конечно. Все здорово! У тебя пластинка, у нее пластинка. У всех… Почему ты смеешься?

— Я просто подумала… Помнишь, как, ну, как ты в первый раз увидел Томми — в «Ангеле». Как ты всю ночь торчал возле выхода из клуба и ждал ее.

— Да, это было какое-то безумие.

— А потом она выходит, и ты ей говоришь… Не знаю, что ты ей сказал. Ничего не сказал. И вот она садится в такси и уезжает, а ты так и стоишь…

— Может, ты наконец перестанешь смеяться…

— Тебе нужно как-то обыграть эту историю в своих выступлениях.

— Обязательно. Начну прямо сейчас: «Добрый

вечер, дамы и господа. Я вам еще не рассказывал, каким могу быть болваном?»

— Это же личное, Джеки. Это было на самом деле. Мне просто кажется, что, когда рассказываешь про то, что на самом деле было, это очень сме… Ой!

— С тобой все в порядке?

— Обожгла палец.

— Давай я тебя отпущу.

— Да… Пожалуй, мне тут нужно доделать… Только перезвони потом, хорошо?

— Обязательно.

— Потому что мне хочется с тобой пообщаться. С тобой и с Томми. Правда хочется… Можно тебе сказать одну глупость? Я знаю — ты подумаешь, что это глупо, как и все, что я говорю, но… иногда я скучаю по Театру на Четырнадцатой улице. А ты когда-нибудь по нему скучаешь?

— Отчасти. Иногда, кажется, да.

— Но ты понимаешь, что я имею в виду, когда говорю — «скучаю»? Ты же понимаешь, я не по пьяницам скучаю. Не по грошовым заработкам. Я скучаю…

— Да я понимаю, о чем ты.

— Я так и знала — ты будешь думать, что я дура!

— Нет, Фрэн, неправда. Никакая ты не дура.

…

— Ну… Значит, ты мне перезвонишь, договорились?

— Хорошо. Перезвоню.

— Ладно.

…

— Джеки, я тебя люблю.

— Я тоже тебя люблю. Фрэн положила трубку. Я тоже.

* * *

«Хорн и Хардарт» находился за углом от вокзала Гранд-Сентрал. Там я ждал Ламонта Перла. Он позвонил мне, сказал, что хочет потолковать. Я не возражал против встречи с этим человеком по двум причинам: во-первых, меня попросила с ним встретиться Томми, а все, чего Томми хотела, Томми получала. Во-вторых, я еще не настолько забыл о том, как был голодающим артистом, чтобы пожелай меня угостить бесплатным обедом хоть свидетель Иеговы, то я не смог бы выкроить для него немножко свободного времени.

Я ждал его за чашкой кофе. Над болтовней посетителей, обменивавшихся полуденной трескотней, над звяканьем монет, перекатывавшихся

в автоматах, над спорами за тарелкой супа, за сандвичами, за кусками пирога — надо всем этим разливались звуки радио. Новость дня: Алберт Анастасиа — Ал Безумный Шляпник, Большой Ал, Алберт Палач — получил пулю в голову, сидя в парикмахерской в «Парк Шератон». Мафия свела свои мафиозные счеты. Зверское, кровавое убийство… и все мы с жадностью впивали каждое слово диктора. Болтовня стихла. Монетки перестали звякать. Может, эти мафиози и были всего лишь шайкой жестоких, беспощадных уголовников, но они уже стали такой же неотъемлемой частью города, как Таймс-сквер или статуя Свободы. Они убивали, крали, вымогали. Они облагали призрачным налогом почти каждый товар, каждую услугу в Нью-Йорке. Но они заставляли о себе говорить, поэтому их любили. Вывод: не важно, как ты прославился, важно, что ты знаменит.

И тут он пришел.

Ламонт вошел в ресторан, двигаясь с такой уверенностью, которая сразу покорила все заведение, хотя он ничуть не был похож на человека, уверенного в себе от рождения. Росту в нем было пять с половиной футов. На лице читался полный перечень пощечин, от которых ему, как упорному борцу за первый приз, не удалось в своей

жизни увернуться. Работа в сборочном цехе завода «Форд» лишила его руки каких бы то ни было следов нежности. Вы никогда бы не подумали, что такого рода человек примет участие в создании совершенно нового звука — столь свежего, столь гладкого, что — плевать, что это музыка черных, — вся белая Америка будет со стоном умолять, чтобы ее лили и лили ей в глотку. А может, как раз благодаря такому обманчивому впечатлению он и оказался среди авангардистов, проскочив под радар на пути к совершенно новому музыкальному пейзажу.

Взяв стул, Ламонт поблагодарил меня за то, что я пришел с ним увидеться, тем более так быстро — скоро ему предстояло уезжать из города.

Я сухо выложил ему свою шутку про свидетеля Иеговы.

— У меня сложилось впечатление, что я вам не очень нравлюсь.

— Зачем вы себе льстите? — парировал я. — Почему вы думаете, что вообще нравитесь мне?

Ухмылка.

— Довольно колкостей. — Ламонт жестом подозвал официантку, чтобы та принесла ему кофе. Она ушла, просияв от его чаевых — целого доллара. — Я догадываюсь, о чем вы думаете. Но что

бы вы там ни думали, я не собираюсь отбивать у вас Томми.

Ладно, поверю. Но меня все равно раздражал его костюм, сшитый на заказ, и блеск, только что наведенный на его дорогие заграничные туфли. Меня не приводило в восхищение то, как он скрывал грубость своих рук под мягким шиком изящных золотых украшений. Его самоуверенность, его развязность… Мне не нравилось в нем то, что он обладал всем, к чему стремился я сам. И я не собирался прибавлять Томми к этому списку.

Ламонт приложил максимум усилий, чтобы избавить меня от этих опасений.

— Вы двое — такая красивая пара. В самом деле. Вы собираетесь на ней жениться?

— …Откуда вы…

— На вашем месте я бы на ней женился. На вашем месте я бы давно уже был на ней женат. Вы — счастливчик, Джеки. — Он отхлебнул кофе. — Только, мне кажется, я бы не смог оставаться где-то вдалеке от такой женщины, как Томми.

— А я и не собираюсь оставаться где-то вдалеке.

— Вы больше не будете ездить на гастроли?

— Конечно буду.

— Конечно будете. Нужно ведь держать связь с клубами, нужно работать над программой.

— Вы собираетесь и моими делами теперь управлять?

Ламонт снова улыбнулся. Этого франта ничем было не прошибить. Я заметил, у него была привычка водить туда-сюда большим пальцем по кончикам остальных. Туда-сюда. Он шевелил им так быстро, будто ему деньги за это платили.

— Я просто хотел сказать: вы будете выступать по клубам — значит, будете разлучаться с Томми.

— Она может ездить со мной.

— Может. Может. — Еще глоток кофе. — Но это будет нехорошо.

— Нехорошо, если мы будем в разлуке, нехорошо, если будем вместе…

— Нехорошо потому, что это будет конец ее карьеры как певицы.

— Почему же конец? Я не прошу ее бросить петь.

— Но вы говорите, она будет ездить вместе с вами. А если она будет разъезжать с вами — как же ей петь?

— Но это же не… Я же не говорил…

Совсем как наемный адвокат, Ламонт испыты-

вал меня, повторяя мои же слова. Если Господь недодал ему роста и наружности, то умом наделил его с избытком.

— Послушайте, Джеки. Конечно, Томми может продолжать петь. То там, то здесь. По крайней мере, пока у вас не родится ребенок. Даже тогда она, может быть, изредка сможет петь. Если повезет. Но вот что я хочу сказать. У нас имеется не так уж много возможностей. — Он произнес «нас» так, как обычно чернокожие говорят «мы», подразумевая *нас,* чернокожих. — Не так уж много возможностей пробиться, и пробиться по-настоящему. Собственно, эта идея и стоит за звукозаписывающей компанией Берри.

— Берри?

— Берри Горди. Он основал «Мотаун». Основал, исходя из идеи, что нужно создать оформление, звук и стиль настолько неповторимый, что игнорировать его будет невозможно, даже если они и хотели бы. — Он произнес «они» так, как обычно чернокожие говорят «они», имея в виду *их,* белых. — Если это удастся, если ты добьешься успеха, тогда тебе не придется зависеть от какого-то белого, который даст тебе то, чего ты заслуживаешь. Просекаете, о чем я?

Я просекал. Ламонт читал проповедь обращен-

ному.

Он продолжал:

— А Томми многого заслуживает. Ей цены нет. И голос, и внешность при ней. У нее талант! Но если вы сейчас отнимете у нее возможность петь, то она не пробьется никогда.

Вот что я вам скажу: мне хотелось ударить его. Скажу это просто и прямо: я мог бы перегнуться через столик и ударить Ламонта Перла. Если я отниму у нее возможность петь. Я, я. Выходит, виноват я: жениться на Томми было все равно что нанести ей смертельную рану.

Мне хотелось ударить Ламонта, но его слова отдавались во мне эхом, отдавались до тех пор, пока я не усвоил истину: да, на меня действительно ляжет вина. Я буду тем человеком, который отнимет у Томми возможность петь. Я первым брошу лопату земли на могилу ее карьеры. Еще днем раньше я был настолько уверен в себе, что мое будущее и будущее Томми представлялось мне исключительно нашим совместным будущим. Но, поговорив с Ламонтом, выслушав его приглаженные слова, я перестал понимать, как быть.

Я так и сказал:

— Я не знаю, что делать.

— Когда не знаешь, что делать, то иногда луч-

шее, что можно сделать, — это не делать ничего. По крайней мере, тотчас же. У вас обоих будет время подумать, когда Томми добьется успеха. Когда вы добьетесь успеха.

Я пытался побороть логику чувством:

— Я люблю ее.

— Ну-ну, ладно. — Ламонт вскинул руки, будто сдаваясь. — Я же вам ничего не навязываю. Только вот что это за любовь? Отнять у нее все, чем она могла бы стать. Положим, вы тоже хотите, чтобы она добилась успеха, но вы же знаете эту женщину: знаете, как она преданна. Если вы на ней женитесь, она вас никогда не покинет. Никаких больше клубов, никакого пения. Все, всему конец.

— Вам это известно? Вы были рядом с Томми, наверное, всего минуту и уже знаете…

— Ну тогда скажите мне, что я неправ. — Его большой палец вновь заскользил по кончикам остальных пальцев. Он отпил еще кофе.

Непрошибаем.

Ламонт уже не говорил ни на одном из известных языков — он просто производил резкий шум, из которого я мог разобрать только: Карьера. Успех. Провал. Брак. Не. Понимаете.

Понимаете?

— Вы понимаете, Джеки, или нет? Не понимаете?

Потом Ламонт, кажется, произнес какие-то любезности и попрощался со мной — вероятно, попрощался, — а потом отправился на Гранд-Сентрал, чтобы сесть на свой поезд.

Ничего этого я не помню.

Помню только, что я еще долго, долго сидел в «Хорне и Хардарте».

* * *

В этот час в «Виллидж-Авангарде» было пусто. Обеденное время, темнота средь бела дня, заведение было закрыто для посетителей. По ночам, когда шли представления, «Авангард» был битком набит, как и любое другое кабаре в любой другой части города.

Сейчас там было пусто.

Пусто — если не считать Томми и аккомпанировавшего ей пианиста. Она пела «Говоря о счастье» перед стульями, поставленными вверх ногами на столики, и перед уборщиком, который подметал пол, но куда больше внимания обращал на Томми, чем на свою метлу.

Я прошмыгнул в угол зала.

Я стал слушать. Я слышал, как Томми поет,

раз уже, наверное, сто двадцать. Но на этот раз я *слушая.*

Есть люди, которые поют. Не только под душем — есть люди, которые выходят на сцену перед публикой, поют и получают деньги за свое пение. Иногда у них приличный голос. Иногда у них есть какая-то особая манера. Как бы то ни было — они считаются певцами и певицами.

Есть люди, которые интерпретируют. Точно так же, как если бы они заменяли французские слова на английские, они рассказывают тебе, о чем эта песня, переводят лирику и мелодию на известный слушателю язык. Любовь. Радость. Печаль.

Одиночество.

А есть люди настолько одаренные, что они способны заставить вас прочувствовать эти слова, так что текст вонзается в тебя, будто новенький скальпель хирурга. Такие певцы не просто поют тебе песенку за твои деньги. Они сами вливаются в песню, обнажают свои чувства, отрезают для тебя кусочек от своей души. Они дарят тебе часть самих себя. А ты — желаешь того сам или нет — начинаешь улыбаться, щелкать пальцами, плакать… Ты делаешь то, что велит тебе их голос. Одаренные певцы обладают такой властью. Такой особенностью.

Вот о чем думал я, стоя в углу «Авангарда» и *слушая* Томми. Мне казалось, что, как только ее голос смолкнет, пустые стулья, водруженные на столы, должны будут вскочить с мест и бешено зааплодировать.

Но случилось нечто иное: прослушав ее в тысячный раз и услышав впервые, я без единого слова выскользнул из зала — так же незаметно, как проскользнул внутрь.

* * *

Мы с Томми сидели друг напротив друга за столом, за кофе, на кухне у нее дома. Разговор начался издалека, за полмили от главной темы. Как у меня дела? Как у нее? Погода. Необычная. Да, совсем не по сезону. Слышала, что Советский Союз вытворяет? Эти красные совсем с ума сошли.

Потом перешли к делу.

Томми спросила:

— Ты говорил с Ламонтом?

Я кивнул:

— Да, перед его отъездом.

— Ну и как?

Отредактировав самого себя, я произнес:

— Мне показалось, он умен.

— Это правда. У него куча отличных идей. —

Последовала значительная пауза, потом Томми сказала: — Он хочет, чтобы я отправилась в Детройт, поработала там над кое-какой музыкой.

Я ничего на это не ответил.

— Не знаю, сколько мне придется там пробыть. Несколько месяцев. А может, и дольше. А потом — ну, если у меня выйдет пластинка, — мне придется еще поездить с выступлениями. Ну, чтобы она лучше продавалась. — Последнюю фразу Томми скомкала.

Под столом, незаметно для нее, я сжимал в пальцах маленькую коробочку с очень большим кольцом внутри.

— А ты будешь далеко, где-нибудь на гастролях, так что непонятно, когда мы увидимся… — Томми будто на гору взбиралась. Ей пришлось остановиться, перевести дух, прежде чем продолжить путь. Как будто она знала, что там, куда она поднимается, воздух разреженный, поэтому голова обязательно закружится. — Ты всегда говорил, как важно делать карьеру. Но только если… если тебе кажется, что, может быть… Если тебе кажется, что мне не стоит ехать…

Я сидел. Я сидел на стуле, сидел секунду, другую — и мог бы просидеть еще хоть год. Так всегда бывает, когда оказываешься на перепутье: карта

вдруг оказывается бесполезной, а стрелка компаса просто вертится и вертится, и не важно, что кто-то подсказывает, в какую сторону нужно идти.

Я сунул руку в карман. Положил в карман коробочку с кольцом.

— Конечно поезжай. Я же сказал — Ламонт шустрый малый. Он тебе поможет, он тебе здорово поможет. Ну, а из-за того, что ты уедешь, а я… Да ничего для нас с тобой не изменится. Как там говорят? Разлука и прочая ерунда. Небольшая разлука — и мы с тобой с ума будем сходить друг по другу… — Вот и все, что я сумел наговорить, прежде чем меня начало тошнить от звука собственного голоса.

Я поднял глаза. Пока я молол языком эту чушь, мне не хватало смелости взглянуть на Томми. Но теперь я это сделал.

Глаза у Томми были на мокром месте.

— С тобой все в порядке, детка?

— Не знаю… — Томми приложила руку к голове и с трудом встала со стула. — Наверное, тебе лучше уйти.

— Хочешь, чтобы я что-нибудь тебе принес?

— Я не… — Теперь она схватилась за голову: ее пальцы словно пытались проникнуть внутрь

черепа. — Пожалуйста, уходи.

Томми скрылась в спальне и закрыла дверь — но не настолько плотно, чтобы оттуда до меня не доносились ее всхлипыванья. Я дал Томми то, что ей было нужно: свободу сделаться звездой, которой она заслуживала быть.

Но чего хотела Томми…

То, чего хотела Томми, было спрятано в кармане моего пиджака.

* * *

Дня два спустя. Или три. Томми улетала в Детройт. Мы сказали друг другу «до скорого», избегая излишне трогательных прощальных сцен. Из этих же соображений я посадил Томми в такси, но не стал провожать ее в аэропорт. Ей предстояла всего лишь небольшая поездка. Подумаешь! Не стоит из этого делать неизвестно что.

Самолет Томми вылетал в два тридцать.

Она отправилась в аэропорт Ла Гуардия в час. Там ее должен был встретить Ламонт, откуда-то вернувшийся, чтобы доставить Томми в Детройт. Самолично.

Когда такси отъехало, я немного погулял по городу, поглазел на витрины. Мне понравились часы. Симпатичные. Я таких никогда не имел.

Денег на них не было. Почти не было. Но посмотреть приятно. Прошел мимо ателье, поглядел на костюмы. Костюмы, которые были мне не по карману, которые подходили к часам, которых у меня не было. Остановился возле ресторана, чтобы набить желудок. В общем, я потихоньку возвращался к своей привычной жизни.

Я узнал, который час.

Час восемнадцать.

Бесполезно. Бесполезно притворяться, что для меня существовала какая-то нормальная жизнь без Томми — по крайней мере, без возможности проводить Томми по-человечески.

Я поймал такси. Пришлось заранее помахать двадцаткой перед носом у водителя, чтобы он в рекордно короткое время довез меня в Куинс. Мои ноги, тоже на время став рекордсменами, доставили меня к выходу Томми как раз тогда, когда объявили посадку на ее рейс.

Я увидел ее — она разговаривала с Ламонтом. Подойдя ближе, я уловил обрывки их разговора: «Продемонстрировать… Образ… Подача…»

Ламонт оглянулся, заметил меня. До меня донеслось: «Черт!»

Томми просияла, как солнышко, и бросилась мне на шею.

— Я знала, что ты придешь!

Мы сразу стали обниматься и целоваться. Нам стало хорошо. Все стало как нужно. Во всяком случае, было море эмоций. Эмоции Томми, вытекая из ее глаз, просочились сквозь мою рубашку и залили мне грудь. Слезы были такие теплые, что я даже спиной как будто чувствовал их.

— Я не хочу улетать.

— О чем ты говоришь?

— Не хочу оставлять тебя.

— Но ты же не… Это же ненадолго. — Я вновь принялся за свою ободрительную чушь. — Зачем ты устраиваешь сцены? Ты летишь в Детройт, вот и все. Отсюда туда на воздушном шаре можно добраться. Ты должна туда лететь.

— Зачем? Чтобы стать настоящей звездой? Чтобы заработать кучу денег? — Она плевалась в меня моими же словами. Они жгли меня как кислота.

Я попытался прибегнуть к разуму, чтобы осадить Томми:

— У тебя появился шанс, хороший шанс пробиться. Ты ведь уже потратила уйму времени на то, чтобы твою музыку услышали. Наконец-то ты получаешь первое достойное предложение — и тут же хочешь все это послать к черту?

Еще раз объявили посадку.

— Чего я хочу — так это чего-то настоящего, чего-то важного.

— Я всегда буду здесь, я буду тебя ждать. Что может быть важнее? У нас еще есть время.

— А ты уверен, Джеки?

Я не был уверен. Я не был уверен ни в чем, я сам не понимал, что я такое говорю, что делаю. Я знал только, что люблю Томми и что не позволю ей загубить свою карьеру ради… ради меня.

— Чего ты хочешь от меня? — спросил я ее.

— Попроси меня остаться.

Я заколебался. И сказал:

— Я люблю тебя.

Она повторила умоляющим голосом:

— Попроси меня остаться.

Попросить ее остаться? У меня рот отказывался раскрываться, а когда раскрылся, то я только и сумел, что повторить:

— У нас еще будет время.

Через миг Томми отлепилась от меня. Она подошла к Ламонту, что-то сказала ему. Обернулась, быстро махнула рукой — словно боялась, что задержись она чуть дольше, то сникнет еще больше, — и сломя голову устремилась к дверям, помчалась по гудронированному покрытию, по

какой-то лестнице навстречу своему лайнеру.

Ламонт подошел ко мне:

— Я понимаю, это трудно…

— Садитесь в свой самолет.

— Но так будет лучше.

— Да садитесь вы в свой самолет!

Ламонт так и сделал. Он сел в самолет, и почти сразу трап убрали, а двери заперли.

Супермашина, дав задний ход, сдвинулась с места стоянки, вырулила к взлетно-посадочной полосе, помедлила там, будто ожидая, не решусь ли я на что-нибудь.

Я ни на что не решился.

Самолет развил скорость и улетел в Детройт.

Я отправился домой.

Часть IV

Джеки Мейсон посмеялся над Эдом Салливаном. В его присутствии прямо на сцене, во время шоу Эда — шоу, которому он в 1955 году присвоил свое имя, чтобы ни у кого не было сомнений — кто тут главный, — Джеки Мейсон посмеялся над Эдом Салливаном.

На самом деле было не совсем так.

Но Эд Салливан решил, что Джеки над ним смеется. Номер Джеки затягивался. Эд из-за кулис начал показывать жестами, чтобы Джеки закруглялся, уходил со сцены. Джеки занервничал и стал отвечать Эду — тоже жестами.

Джеки решил, что это забавно.

Эд решил, что Джеки над ним смеется.

Эд выгнал Джеки из своего шоу.

После этого Джеки с позором был выставлен с телевидения.

Это погубило карьеру Джеки.

В конце 1950-х телевидение, все еще пребывая в младенчестве, уже обладало таким могуществом. Появившись у Салливана, Паара или

Годфри[31]*, какой-нибудь артист, раньше выступавший по клубам, мог в одночасье прославиться. А не появившись там, артисты могли до конца жизни оставаться теми же, кем и были, — никому не известными исполнителями, которые шутят или напевают в прокуренном помещении в ночные часы.*

Но телевидение не просто в корне меняло жизнь людей, оказывавшихся внутри него. Оно меняло жизнь всех людей. Как только ТВ начало вещание от океана до океана, вся страна зажила по одним часам. Нам показывали развлечения в прямом эфире. Нам показывали спорт в прямом эфире. Нам показывали новости в прямом эфире.

Нам показывали мир не в записи.

Как брандспойтами и бойцовыми собаками разгоняют борцов за гражданские права — вживе.

Как главари мафии ссылаются на Пятую поправку — вживе.

Запуск спутника и как у Айка сдали нервы — вживе.

И как-то вдруг обнаружилось, что весь мир уже не находится где-то там, вдалеке. И как-то вдруг катодно-лучевое изображение любого круп-

---

[31] Примечания: 31

Паара Джек — руководитель шоу на телеканале Эн-би-си. Годфри Артур (1903–1983) — ведущий развлекательных программ на радио и ТВ.

ного события — славного, жуткого или дивного — сделалось такой же деталью интерьера вашей гостиной, как торшер, кофейный столик в форме листика клевера и диван. И как-то вдруг вы уже больше не могли оправдываться незнанием того, что происходит где-то там, на Юге, или на Севере, или далеко на Западе. Как бы вы к этому ни относились, блаженное неведение кануло в прошлое точно так же, как кринолины или фалды фрака. Действительность вторгалась в жизнь каждого.

Есть и такие болтуны, которые готовы тявкать о том, что Америка потеряла невинность, когда перед нами засветились голубые экраны телевизоров. Но, во-первых, страна, которая была украдена у туземцев и построена на горбах рабов и кули, никогда не знала невинности. Все, что мы отмели, — это невежество. Таково было могущество телевидения. Такова была сила убеждения телевидения. Однако, чтобы полностью наслаждаться этим преимуществом, нужно было принадлежать к миру телевидения.

Вы не могли принадлежать к этому миру, если Эд Салливан думал, что вы над ним смеетесь.

Март 1958 — май 1959

Фрэнсис Клигман перестала быть Фрэнсис Клигман. Фрэнсис Клигман стала Фрэнсис Кларк.

Ребята из Си-би-эс, которым она так полюбилась на представлении в Виллидже, полюбили ее еще больше после того, как силком заставили девушку деэтнизировать свою фамилию.

Я спросил у Сида, что он об этом думает.

Он передернул плечами.

— Люди не против того, чтобы смотреть по телевизору евреев, — просто они не хотят, чтобы им напоминали о том, что они смотрят по телевизору евреев.

Сид сказал, что Фрэнсис заартачилась, когда ее попросили переименоваться в Кларк, заявила, что ей плевать на то, кто еще менял свои фамилии, и плевать, какой славы они достигли, нося свои новые фамилии. Она — Фрэнсис Клигман, и точка.

Понадобился пятидесятитрехминутный телефонный разговор с Дайной Шор[32], чтобы

---

[32] Примечания: 32

Дайна Шор (наст. имя — Фрэнсис Роуз Шор; р. 1917) — популярная певица 40–50-х гг. на радио, ТВ, в кино.

убедить ее в том, что изменить имя — не означает продать душу.

Если не считать этого небольшого облачка, всё для Фрэн оборачивалось как нельзя лучше. Скоро у нее должна была выйти новая пластинка. На этот раз — в Ар-си-эй. Можно было ожидать большого успеха.

В Си-би-эс не хотели полагаться на случай. У них уже имелись виды на свою новую звездочку. Телевизионщики попросили Фрэн повременить примерно месяц с выпуском альбома. Им хотелось, чтобы ее песни прозвучали там, где их обязательно заметят. Им хотелось, чтобы они прозвучали на первом в новом сезоне шоу Салливана.

Фрэн узнала об этом, когда была в Лос-Анджелесе, и пришла в неописуемый восторг. Еще бы! Новая пластинка на первом шоу нового сезона с Салливаном. Помимо того, что Фрэн и впрямь была очень талантлива, такая реклама гарантировала ей ошеломительный успех. Уже в понедельник после воскресного шоу, в котором появится Фрэнсис Кларк, ее имя будет у всех на устах.

После того, как ей сообщили новость, Фрэн первым делом позвонила с океана мне, настаивая,

чтобы я пришел на передачу, был рядом с ней. Как раньше. Как в пору Театра на Четырнадцатой улице.

Я ответил, что ни за что не пропущу такого случая. Раз двадцать повторил, как я рад за нее.

Мы оба повесили трубки.

Из другой комнаты отец хрипло прокричал мне, что ему нужна доза.

* * *

У Артура Миллера была Мэрилин Монро. У армии был Элвис. У меня — отец.

Я ненавидел отца. Никакое другое, менее жесткое, слово тут не подошло бы. Я ненавидел его, но по-прежнему жил с ним. Это был какой-то безумный синдром дурного обращения. Когда-то меня удерживали его побои, страх перед побоями. Теперь, когда он стал безвредным и жалким, это было чувство вины. Невысказанная клятва, адресованная матери, не давала мне бросить его на произвол судьбы: иначе я чувствовал бы себя виноватым. Мне суждено было заботиться о нем, пока он жив. И пока он жив, мне не суждено было стать свободным.

Сколько способов умереть существует для алкоголика? Сколько способов закончить жизнь

— для наркомана? Столько же, сколько ночей я убаюкивал себя перед сном, перебирая в уме все эти способы. Обыденный: пьяница падает. Пьяница разбивает себе голову. Пьяница слишком пьян, чтобы как-то помочь себе, он просто лежит и истекает кровью. Сенсационный: наркомана изрешетили пулями во время налета агентов ФБР из отдела по борьбе с наркотиками. Просто иронический: пьянь, рвань и дрянь — у него отказывает сердце, когда он поднимается по лестнице, и он испускает дух на тех же ступенях, где много лет назад испустила дух моя мать.

Но ничего этого не происходило.

Как бы разрушительно ни действовали на моего отца спиртное и наркотики, они не могли его уничтожить. У него выработалась сопротивляемость. Курево, колеса — ему все трын-трава. Спиртное для него — все равно что стакан прохладной воды. Мне ничего больше не оставалось, как сидеть и дожидаться, дожидаться, дожидаться, когда же его не станет.

Сколько способов умереть существует для алкоголика? Сколько способов закончить жизнь — для наркомана?

Для моего папаши — по-видимому, ни одного.

Прервав поток ругани, я извинился перед Си-

дом за то, что заставил его все это выслушивать. Я зашел к нему на работу поплакаться в жилетку — и теперь нападал на своего отца — этого зловонного алкаша. Этого паршивого, проспиртованного ублюд…

Снова — Сиду:

— Извини.

Сид пару секунд сидел молча. Он немного поерзал за своим письменным столом.

— Я хочу тебе кое-что рассказать, Джеки. Мне надо было сразу рассказать тебе это… — Он умолк, обвел взглядом комнату, посмотрел в окно. На меня он не глядел. — В моей жизни… э… было время, когда я слишком много пил. Слишком много, слишком часто.

У меня вырвалось:

— О-о! — От удивления, от любопытства. Но больше всего — от сожаления, что я толковал перед Сидом о том, как должны умирать пьяницы.

— Да что там говорить! Я был алкоголиком. До сих пор им остаюсь. То-то и оно: привыкнешь к бутылке — она больше никуда от тебя не уйдет.

Сид ждал, что я скажу что-нибудь в ответ.

Я не проронил ни слова.

Сид продолжал:

— Когда Эми… когда ее не стало, я на некоторое

время будто в яму провалился. Ты представить себе не можешь, как мне было больно, когда она… И вот, живешь с этим пару недель, несколько месяцев и наконец ты уже не хочешь так жить, не хочешь ничего чувствовать. Тут-то на помощь и приходит спиртное. — Сид рассеянно водил пальцами по столу. — И вот я, когда слушаю, как ты говоришь про своего отца…

— Но ты — совсем другой человек! — согласился-возразил я. — А мой отец, этот… Как он со мной обращался…

— А ты думаешь, я никого не заставлял страдать?

Ну, тут уж я не знал, что и подумать.

— Я никого не бил. Никогда не впадал в буйство.

— Ну, тогда ты и не…

— Страдать можно по-разному. Мой брат, его жена — ты бы у них спросил, каково им было рядом со мной, когда я надирался. Или у моих клиентов, чьими делами я должен был заниматься, а на самом деле в разгар дня сидел за стаканом. — Он уронил голову. — Не случайно мне некем похвастаться из знаменитостей, а те клиенты, что у меня есть…

— Что — они? Не забывай, мы с Фрэн тоже к

ним относимся.

Тут он слегка улыбнулся.

Я осторожно добавил:

— Но ты-то уже завязал. Я хочу сказать, это-то и важно. А мой папаша не собирается от бутылки отрываться. Ты ведь завязал… да?

Сид кивнул.

— Однажды только не удержался. А так я приверженец здорового образа жизни. Я просто рассказываю тебе все это, Джеки, потому что ты должен об этом знать. Ты должен знать, что люди не безупречны. Что я не… Я тебе это рассказываю потому, что, зная, как ты относишься к пьяницам… — Впервые с той минуты, как началась эта исповедь, Сид поглядел мне в глаза. — Если ты захочешь от меня…

Сколько еще людей за всю мою жизнь так порядочно со мной обходились? Включая Сида, я все равно загнул бы не все пальцы даже на одной руке.

Я повернул запястье, сверился с часами.

— Мне нужно домой, переодеться. *Нам*, — я сделал особый упор на это слово, — надо быть в «Копе» в полседьмого.

* * *

«Копакабана». «Копа». Предмет моей преданности. Символ эпохи: высший класс. Запах больших денег. Про нее читаешь, про нее слышишь, но большинство американских тружеников спустило бы весь свой месячный заработок только на входной билет, еду и выпивку. Но даже если б им удалось наскрести столько зелени, они бы выяснили, что могут лишь подойти к «Копе», а вот войти внутрь не могут. И дело не в том, что в этом клубе не любили чернокожих. То же самое относилось к «Аисту», к «21» и особенно к «Эль-Марокко». В «Копе» не любили всех, у кого не было денег, или влияния, или приемлемой комбинации того и другого. В этом смысле «Копакабана» отличалась прогрессивными взглядами: ее дискриминация уравнивала всех.

Мы с Сидом вылезли из такси на пересечении Шестой и Мэдисон, подошли к дверям «Копы». У меня был переброшен через плечо пластиковый пакет с костюмом, только что из чистки. Внутри нас окликнул — «Эй, как дела?» — Жюль Поделл, владелец клуба, который тут же наскоро представил нас всем вокруг. Официантам, барменам. Я поздоровался с каждым.

В ответ я чаще всего получал прохладные взгляды.

Нас проводили в мою гримерку — номер в «Гостинице 14», расположенной над клубом. Ко мне зашел Тони Беннетт, опередив меня и лишив меня возможности первым его поприветствовать. Он сказал, что слышал хорошие отзывы обо мне, о моих выступлениях. Сказал, что надеется на успешное совместное представление, а если что, то он мне поможет, стоит только дать ему знать.

Он спрашивал: может ли чем-нибудь помочь мне?

Тони оказался приличным человеком. Рядом с ним я не чувствовал себя мальчишкой на переменке: напротив, создавалось ощущение, что я с ним на равных, что сам я — вроде как звезда.

Он снова пожелал мне удачного представления и отправился к себе в гримерку — готовиться.

Сид сначала поторчал рядом, а потом объявил, что ему нужно пойти поглядеть на публику. По правде говоря, я решил, что он просто не хочет заражать меня собственной нервозностью. Он ушел, на ходу роняя пожелания удачи.

Я просто задрал ноги кверху и расслабился. У меня было еще добрых четверть часа до начала шоу, и я решил насладиться затишьем. Я

вспомнил, как когда-то заявился сюда и постучал в дверь «Копы», но не сумел проскочить мимо того верзилы со скверной прической, — а вот сейчас, спустя считанные минуты, я поднимусь на сцену, принимая смешки, хлопки и улыбки из зрительного зала, забитого людьми, которые изрядно раскошелились, чтобы меня увидеть.

Ну ладно, раскошелились они, конечно, на Тони Беннетта, но как довесок шел я, так что они тем самым платили и за то, чтобы посмотреть на меня тоже. Как бы то ни было, утешал я себя, пройдет какое-то время, и жирным шрифтом на афише будет набрано уже мое имя, и тогда не останется никаких сомнений в том, кто и за что платит.

Я подумал о Томми.

Снял телефонную трубку, и оператор междугородной связи соединил меня с ее гостиницей в Детройте. Томми на месте не оказалось.

Я взмахнул рукой, посмотрел на часы. До начала шоу оставалось всего несколько минут. Я потянулся за стаканом воды. Она пролилась мне на руку. Вернее, моя рука так дрожала от волнения, что вода из стакана выплеснулась. Я встал, чтобы схватить полотенце, но колени едва держали меня. Вдобавок способность ровно, спокойно

дышать вдруг превратилась в цирковой трюк.

Нервы.

Нервы, которые я весь день как-то держал под контролем, обернулись волками, готовыми вцепиться мне в горло. Месяцы гастролей, работа во множестве клубов — все теперь было не в счет. Ведь это — «Копакабана». Я мог разыгрывать равнодушие, для всех окружающих я мог изображать, что сегодня — просто очередное представление, но, разумеется, я только притворялся. А правда состояла вот в чем: мысль, что я буду выступать на разогреве у самого Тони Беннетта, вселяла в меня жуткий страх. Мысль, что я буду выступать в «Копе», наводила на меня ужас. Наверно, Сид правильно мне тогда советовал. Наверно, надо было убедиться, что я абсолютно готов ко всему, что мне предстоит делать — на каждой ступеньке моего пути. А я внезапно ощутил себя не опытным исполнителем, а перепуганным мальчишкой, который почему-то вообразил, что умеет развлекать народ. Я снова почувствовал то, что так часто ощущал в глубине души: никакой я не особенный — просто не такой, как все.

Я спустился из гримерки вниз, в помещение за сценой, примыкавшее к кухне. Жюль Поделл, зажав в пухлой руке бокал виски с содовой, на-

блюдал за залом из-за кулис. Он поглядел на меня, заметил мою бледность-сквозь-черноту и поинтересовался:

— В чем дело, малыш?

Я был застигнут врасплох:

— Да так, дрожь напала. Наверно, я немного нервничаю. Сказать начистоту? Боюсь, меня сейчас стошнит. — Тут я посмеялся. Над самим собой.

Жюль улыбнулся мне — улыбнулся так, как будто сейчас приободрит меня по-отцовски мудрыми словами давнего владельца клуба.

Он сказал:

— Что ты там мелешь, хрен собачий? Нервничает он — ниггер паршивый, вонючка чернокожая!

Тут до меня дошло. Он не улыбался — он глумился.

— Я тебя пускаю в свой клуб, кормлю тебя, угощаю выпивкой, плачу тебе хрен знает сколько денег, а ты, ниггер чернозадый, скулишь тут, как собака? «У-у, боюсь», — передразнил он меня.

Почему он просто не ударил меня? К побоям-то мне не привыкать.

— А теперь послушай, черное дерьмо. Чтоб я больше не слышал твоего хренового хныканья. Давай, проваливай на сцену и рассказывай свои

паршивые прибаутки. И чтоб смешно было, мать твою!

Покончив с ободряющей беседой, Жюль сделал глоток из бокала, почти не видного в его мясистой руке, и ушел, будто его затошнило от моего присутствия.

Официанты и наемная обслуга на кухне продолжали хлопотать, записывать заказы, подцеплять шарики фруктового мороженого. И так далее. Они не стали смеяться надо мной, хуже того — они даже не удостоили меня внимания.

Я стоял на месте, все еще чувствуя боль от словесных пощечин Жюля, и теперь к прежней нервозности добавился новый страх. У меня не было никакого желания видеть, насколько неприятным способен сделаться этот человек, случись мне оказаться на грани истерики.

Появился конферансье. Я услышал свое имя. Вышел на сцену. Аплодисменты, которыми меня приветствовали, были неплохими. Неплохими — до тех пор, пока толпа облаченных в костюмы и вечерние платья, усыпанных драгоценностями и увенчанных начесами зрителей не разглядела моей черноты. Тогда их хлопки сначала сделались вежливо-жидкими, а затем вовсе стихли.

Я снова оказался на краю этой пропасти — этой

молчаливой пустоты, которая отделяет аплодисменты, какими бы они ни были, от смеха над моей первой байкой. В ту ночь в зале стояла не просто тишина — гробовое молчание.

Помня о прохладном приеме публики и напутствии Жюля, я решил выкладываться на полную катушку. Ничего другого мне не оставалось. Номер, с которого я обычно начинал, вертелся у меня в голове, мне никак не удавалось воспроизвести его. Тогда, подгоняя себя, я начал с другой шутки:

— Ну и публика тут собралась! Никогда в жизни не видел столько разодетых людей. Вот, наверно, куда отправляются хозяева фирмы «Тиффани» покупать драгоценности.

Послышался звон серебра о фарфор. Кто-то подозвал официанта попенять ему на недожаренный или пережаренный бифштекс. Раздались и смешки. Несколько. Не очень громких. Не то чтобы шутка была несмешная — просто все эти люди не очень понимали, как на меня реагировать. Может, они видели по телевизору Нэта Кинга Коула, может, кто-то видел наяву Сэмми Дэвиса-младшего здесь же, в «Копе», но в остальном они не привыкли видеть на сцене чернокожих. На *своей* сцене, в *своем* клубе. Куда катится мир?

Вероятно, над этим вопросом они и раздумывали, вместо того чтобы от души смеяться.

Большинство из них.

Из кабинета слева от сцены раздался какой-то шум — как будто страдающий астмой медведь пожирает виргинский окорок. Лишь секунду спустя до меня дошло, что это смеется мужчина. Следом раздалось еще несколько смешков: это подключились другие люди из того же кабинета.

Как только смешки стихли, я выпалил:

— Классное место — «Копа». Не хочу сказать, что дорогое, но, знаете, тут у каждого столика по три официанта. Один дает тебе счет, двое остальных приводят в чувство.

И снова тот тип подавился смехом, а за ним следом рассмеялись его соседи по кабинету.

Люди стали озираться, пытаясь вычислить смехача. По залу пробежал шепоток, как огонь пробегает по сухому валежнику.

Я приступил к третьему номеру, попытался кружной дорогой вернуться к своей программе:

— Я к такой роскоши не привык. Когда я был маленьким, денег у нас было мало. Мы жили не от зарплаты до зарплаты, как остальные, а от заплаты до заплаты и постоянно меняли шило на мыло, потому что нам было не по карману и то,

и другое сразу.

Теперь смех сделался уже более дружным: смеялся тип в кабинете, его спутники, прочие зрители. Публика наконец расслабилась и начала получать удовольствие. Тот факт, что я понравился парню из кабинета, как бы дал добро остальным, — и теперь я им тоже понравился.

А больше мне ничего и не нужно было. Ко мне вернулось самообладание, вернулось правильное дыхание и ощущение ритма. Как борец вдруг замечает, что перевес на его стороне, так и я понял, что сумею покорить эту толпу, и в течение следующих двадцати минут я разил ее наповал своими остротами, меча их в зал одну за другой, без передышки.

Это шоу, первое шоу в «Копе», было далеко от того громкого успеха, который я представлял себе, мечтая о нем долгими бессонными ночами, однако не стало оно и катастрофой, хотя вполне могло ею стать. Когда я закончил, аудитория была тепленькая, добренькая и настроенная на Тони, а большего и желать не приходилось. Провожали меня более громкими аплодисментами, чем встречали, а тот мужик из кабинета прокричал мне что-то вслед. Что именно — я не разобрал, слишком был взволнован. Во всяком

случае, не «Паршивый ниггер!», так что я сделал шаг вперед от той отправной точки, с которой начался вечер.

За кулисами меня поджидал Сид.

— Неплохо, Джеки. Вытянул! Чуть не провалился, но потом вытянул.

Вот что мне нравилось в Сиде — наряду с сотней других вещей: он не перегибал палку и не подслащивал пилюлю. От него я не слышал ни преувеличенных похвал, ни смягченной полуправды, которую, может, и хотелось бы услышать. Он всё рубил сплеча. Выступил я прилично, и только-то, а большей похвалы от Сида ждать бессмысленно.

Другое дело — Жюль. Он явился за кулисы с широченной улыбкой и распростертыми объятьями наготове.

— Отлично, Джеки. Потрясающе смешно! Когда ты там про своего дядю рассказывал, я чуть живот не надорвал. Есть хочешь? После такого представления у тебя, наверно, волчий аппетит. Эй, Ник, где ты там? Принеси-ка Джеки меню.

И это был тот самый Жюль, который перед моим представлением прекратил орать на меня только потому, что у него иссяк запас ругательств? А персонал — те самые люди, у которых не нашлось

для меня приветствия добрее равнодушного взгляда, — теперь носились вокруг как угорелые, будто с них головы снесут, если я хоть на секунду останусь без внимания. Мне хотелось бы верить, что всем этим проявлениям доброжелательности я обязан своему представлению, — однако самомнение у меня еще не раздулось до такой степени, чтобы не понимать: искусная работа, выполненная мной на сцене, не соответствовала тому вниманию, которое мне оказывалось. Значит, имелось что-то другое, вдруг заставившее всех сменить неприязнь на радушие.

Тони закончил свое выступление. В зале зажегся свет, и тут же толпа ревом принялась выражать восторг.

Жюль снова появился на кухне, где я доедал свое филе по-нью-йоркски.

— Джеки, там кое-кто хочет с тобой поговорить.

Какой-то поклонник желает со мной поболтать? У кого не найдется на это минутки?

Жюль повел меня из кухни в зрительный зал. По пути я наслушался всяких похвал, сыпавшихся на меня из-за столиков справа и слева: «Отличное шоу, малыш». «Настоящий динамит, Джеки». «Потрясающе! Я просто катался». Создалось такое

впечатление, будто весь клуб поразил какой-то вирус под названием «Полюби Джеки!». Проходя по залу, я подумал, нельзя ли заплатить русским, чтобы те запустили этот вирус в водопровод.

По тому, какой курс взял Жюль, я сразу понял, что мы идем в кабинет. В кабинет слева от сцены, где сидел тот хохотун.

В кабинете — самом просторном во всем клубе — находилось шестеро: трое мужчин и их подруги — крашеные блондинки, вероятно, из тех, кто оделяет своей дружбой на почасовой основе и с кем прощаются, потрепав их по щечке и положив деньги на ночной столик перед тем, как выскользнуть в утреннюю мглу.

Жюль быстро представил нас:

— Фрэнк, Джеки Манн.

Мужчина, сидевший в центре кабинета, кивнул мне. Он был мясистым, но не толстым. Скорее плотным. Мордастый. Одет он был как щеголь — шелковый костюм, шелковая рубашка, шелковый галстук, — но в остальном выглядел совершенно заурядно. За исключением носа. Его нос — целая отдельная история. Нос этот был огромен, он занимал бóльшую часть лица. Он не был крючковатым или остроконечным — он вырастал прямо между глаз, дугой выпирал вперед, а опускался

над самой губой. Дуга. Да, только этим словом можно, пожалуй, описать его нос. Дуга.

Этот человек, Фрэнк, сказал:

— Приятно познакомиться, Джеки. — Голос у него оказался довольно высоким и звучал чуть сдавленно, как будто он говорил со мной через пылесосную кишку. Мне показалось забавным, что у такого крепкого на вид человека — такой тонкий, одышливый голосок. — А знаешь, ты уморительный парнишка.

Парнишка. Мне это не понравилось. Но я никак не показал своей реакции.

Жюль сделался словоохотливым:

— Конечно уморительный. Иначе бы я его не нанял. Я чуть живот не надорвал, слушая этого малого, а я ведь всех их переслушал. Всех, Фрэнк. Помнишь, как-то раз у нас тут выступали Мартин с Льюисом, и Льюис…

— Эй, почему бы тебе не пойти на кухню и не проверить, хорошо ли разбавили выпивку? — проскрипел Фрэнк.

Жюль исчез, не сказав больше ни слова.

Может, голосу этого типа и не хватало басистости, зато властности было хоть отбавляй. Он говорил — люди слушали. Я сделал мысленную зарубку, отмечая такое почтение окружающих:

не мешает перенять.

Все вокруг — парочки, дружеские компании за столиками, — все вдруг перестали обращать внимание друг на друга и умолкли, чтобы не пропустить ни одного слова из моего разговора с этим Фрэнком. Все начисто забыли о том, что я и даже Тони творили на сцене. То, что происходит сейчас, — вот настоящее представление.

Фрэнк поинтересовался:

— Как там — про то, что твой старик не пьяница… — Он силился вспомнить слова.

Один из его спутников, сидевших тут же за столом, торопливо — совсем как комнатная собачка, которая торопится поднести хозяину газету, — подсказал:

— Он говорил: его отец не пьяница, потому что он может запросто лежать на полу и ни за что не держаться.

Фрэнка снова одолел приступ неудержимо-удушливого смеха, как будто он услышал эту шутку в первый раз.

Другие мужчины тоже засмеялись.

Девушки просто улыбнулись.

— Откуда ты узнал такой прикол? — спросил Фрэнк.

— Это не прикол, сэр. Это чистая правда. Мой

отец превратил умение напиваться в целую науку, — ответил я очень серьезно.

Фрэнк и его дружки снова расхохотались.

— Если бы питье превратили в олимпийский вид спорта, мой отец точно получил бы золотую медаль. Джесс Оуэнс[33] среди бухарей… конечно, если ему не придется бежать по прямой.

Фрэнк — тут его лицо из красного сделалось синим — замахал на меня рукой: мол, перестань, а то я задохнусь.

Его приятели принялись делать то же самое. Топали ногами, стучали по столу, чтобы показать Фрэнку, что им тоже до колик смешно слушать меня.

Девушки просто улыбались.

Я стоял и думал об отце — этом алкаше, из-за которого на всех напал приступ смеха. Хоть на что-то он наконец сгодился.

Фрэнк:

— Садись, Джеки.

Места для меня в кабинете не было. Прошло полсекунды, прежде чем это стало понятно, но, по-видимому, полсекунды оказались слишком

---

[33] Примечания: 33

Джесс Оуэнс (1913–1981) — знаменитый американский легкоатлет. На Олимпийских играх 1936 г. в Берлине этот чернокожий спортсмен опроверг гитлеровскую расовую теорию, завоевав 4 золотые медали.

долгими для того, кто не поспешил уступить мне место.

— Поли, какого хрена? Вставай, мать твою, пусть Джеки сядет.

Поли — кто бы ни был этот Поли — вскочил с места, причем с таким видом, будто хотел заслужить отсрочку от смертной казни.

Я занял освободившееся место рядом с подругой Поли.

По залу пробежал говорок. Я не мог понять, о чем судачат: о том, что я сижу с Фрэнком, или о том, что я сижу рядом с белой бабой.

Фрэнк. Фамилию его я не разобрал и вот теперь ломал голову — кто он такой. Его лицо казалось мне знакомым. Смутно. Он вроде смахивал на Джорджа Рафта, но явно не был актером. Киномагнат? Сердце у меня забилось. Неужели я вошел в милость к какому-то киномагнату? Вполне возможно — на нем было столько драгоценностей! Вся кабинетная публика тоже сверкала камнями на пальцах, золотыми часами, алмазными булавками на галстуках и жемчужными ожерельями.

Пока я думал об этом, Фрэнк повторил:

— Ты уморительный парнишка. А почему я тебя раньше здесь ни разу не видел?

— Я никогда раньше не выступал здесь, сэр. Я

в основном работал по разным кафе, по клубам в Виллидже.

— А, с этими волосатыми психами. — Фрэнк ясно дал понять, что ему публика из Виллиджа не по вкусу. — Ты наркотиками не балуешься, а?

— Нет. Нет, сэр.

— Это чистая отрава. Держись лучше подальше от этой отравы. — Фрэнк допил остатки своего спиртного.

— Да, сэр. Я недавно ездил с большими гастролями. Только-только пробиваюсь в престижные заведения.

Фрэнк кивнул, потом сказал:

— Мне нравится, что ты не сквернословишь. А то у многих — особенно у тех, кто на волосатых работает, просто мат на мате стоит, матом погоняет. У тебя — нет. На тебя я могу с женой приходить.

— Конечно, Фрэнк, — поддакнул Поли из своего штрафного угла позади нас. — Ей бы очень понравилось.

Появился официант в красном пиджаке, принес Фрэнку новую порцию выпивки и без единого слова удалился.

Я почувствовал, как что-то легко коснулось моего бедра. Взглянул на женщину, рядом с кото-

рой сидел. На подругу Поли. Она со скучающей улыбкой таращилась на Поли.

Фрэнк:

— Ты когда-нибудь на Тахо выступал?

— На Тахо? На озере Тахо? Нет, сэр.

— Тебя надо устроить на Тахо. — Обращаясь к Поли: — Напомни мне, чтобы я поговорил с Момо насчет этого малого. Чтобы в клуб его устроить.

Поли, видимо не рискуя доверяться собственной памяти, вытащил ручку и бумагу и все записал.

Я спросил:

— А кто этот Момо?

Фрэнк от добродушия мгновенно перешел к резкости:

— Один наш знакомый — вот кто, черт возьми. И не фиг тебе об этом тревожиться.

Я об этом и не тревожился. Меня гораздо больше тревожило, не нарвусь ли я на что-либо посерьезнее отчитывания за неуместные вопросы.

— Жюль о тебе хорошо позаботился? — снова добродушно спросил Фрэнк. Я начал догадываться: этот тип — из тех, кто с одинаковой готовностью и ударит тебя, и приголубит, причем обоим действиям одинаково не придаст никакого значения.

— Да, сэр. Меня накормили отличным бифштексом по-нью-йоркски.

Он кивнул еще пару раз, потом сказал:

— Ну, тебе, наверно, надо к следующему шоу готовиться…

Я достаточно долго вращался в эстрадных кругах, чтобы понять намек с лёту. Я встал и сказал:

— Благодарю вас за ваше гостеприимство и добрые слова, сэр.

В ответ вновь раздался тот же одышливый смех.

— Гостеприимство и добрые… — Фрэнк обернулся к дружкам. — Вы только послушайте этого хренова комика! Прямо хренов Шекспир, ни дать ни взять! — И еще посмеялся.

Как всегда, мне не нравилось, когда надо мной смеются.

Как обычно, когда смеялся надо мной кто-то, наделенный властью, тем более — властью устроить меня на Тахо, — я ничем не выразил своего недовольства.

Фрэнк протянул мне руку, и я пожал ее, а потом пожал руку девушке, сидевшей рядом с ним, и другому парню за столом, и его девушке, и девушке Поли, которая сидела рядом со мной…

Между нашими ладонями оказалась смятая

бумажка. Я поглядел на девушку — она в ответ поглядела на меня с видимым безразличием, которое ясно говорило всем окружающим, что между нами происходит всего лишь рукопожатие.

Я на манер фокусника быстро и незаметно нырнул рукой в карман, прежде чем пожать руку Поли.

И отправился обратно на кухню. По пути услышал, как где-то за столиком говорят: «Невероятно! Этот парень знаком с Фрэнком Костелло».

Костелло?

Я остановился. Мои руки вспотели и задрожали, заскользив по спинке стула, за который я схватился, как за костыль.

Костелло.

Фрэнк Костелло! Это имя знал весь город. Чаще всего в газетах его имя соседствовало со словами вроде «будто бы» или «как стало известно». Фрэнк Костелло. Вот почему Жюль так пекся о том, чтобы обо мне как следует позаботились; вот почему весь зал смеялся, когда *он* смеялся. Оказывается, все дело в том, что меня позвал к себе на посиделки Премьер-Министр, один из самых крупных главарей мафии в Нью-Йорке.

Я добрел до своей гримерки, рухнул на диван.

Я был в полном истощении. Все превращалось в какой-то бесконечно долгий, безумный карнавальный аттракцион, а у меня впереди было еще второе выступление.

Ко мне зашел Сид. Я вкратце изложил ему свой разговор с мистером Костелло, сказал, что он обещал помочь мне с Тахо.

— О Боже, — ахнул Сид.

Ну да. Я тоже все понимал. Фрэнк Костелло устраивал делишки для мафии. В народе издавна утвердилось мнение, что именно он покупает всех и вся в Нью-Йорке — начиная от рядовых копов и кончая мэром. Даже фэбээровская шишка Гувер — игрок в общественной, дегенерат в частной жизни — находился у Костелло в брючном кармане, и тот таскал его с собой повсюду, как амулет на счастье. Если кто-то хотел вести дела в городе, если кому-то нужна была защита от закона, обращались к Костелло. Делал он все по-чистому: раздавал деньги кому нужно, чтобы не было беды. Но при необходимости, если что-то не получалось мирным путем, ему не составляло труда всадить пару пуль в чью-нибудь голову.

Сид улыбнулся — усталой и осторожной улыбкой.

— Теперь у тебя есть друг, — заметил он, и этим

все было сказано.

Сид поспешил вниз, занять столик для предстоящего шоу. У меня оставалось еще несколько минут до выхода. Я достал из кармана клочок бумаги, который сунула мне в руку подруга Поли. Развернул: имя — «Джина» — и номер телефона.

Милая девушка. Недурна собой. Очень даже недурна.

Я попытался мысленно забежать вперед — представить себе, что после второго шоу буду ощущать — то же, что и после множества других своих шоу: буду вымотан и голоден, причем такой голод не имеет ничего общего с аппетитом к еде и питью.

Одиночество.

Одиночество — вот что я буду ощущать.

Джина и номер телефона.

Я задумался. Подумал, как хорошо было бы переспать с этой женщиной. Подумал о том, как хорошо — в порядке диковинки — было бы переспать с белой женщиной. С белой женщиной, одновременно проводящей время с каким-то парнем, что приходится дружком какому-то другому парню, перед которым все ходят на цыпочках. Все это так; все это лежало на одной чаше весов.

А на другой чаше была Томми. Одна только

мысль о Томми, которая где-то там, далеко, думает обо мне, пока я думаю о ней. Больше ничего не потребовалось.

Я выбросил бумажку.

А потом спустился, чтобы выступить во второй раз за вечер.

Даже без Фрэнка Костелло, заводившего толпу своим хохотом, я бил наповал.

* * *

У меня появилось новое хобби: я пытался пересечься с Томми. Казалось бы, в эпоху воздушного сообщения двое молодых людей, прилично зарабатывающих, могли бы легко составить регулярный график физического общения. Казалось бы.

Примерно через пять месяцев Томми прилетела обратно в Нью-Йорк. Я был в ту пору с двухнедельным туром в Кливленде. Проездом я был в Чикаго, хотел повидаться с ней в Детройте, но она уезжала в гастрольное шоу, которое Ламонт назвал Мотаунским ревю, где свежеиспеченные, еще не известные исполнители будут выступать на разогреве у Смоки Робинсона и «Миракл» — у первых настоящих звезд, открытых новорожденной фирмой звукозаписи. Это ревю было удачно

придумано: познакомить публику с новыми артистами, а заодно подзаработать денег. Пусть мне и не нравился Ламонт, пусть меня все еще терзали подозрения, что он положил глаз на мою девушку, я все-таки был вынужден признать: этот парень знал свой бизнес.

Гастрольное ревю проходило в основном по Югу и в дельте Миссисипи, чтобы концерты могли увидеть черные, для которых развлечения были обычно недоступны. После злоключений в Негрофобске я не мог не тревожиться за Томми. Но, в отличие от моих гастролей, ревю проходило в сети «читлин» — в клубах и заведениях, которыми владели черные и где с чернокожими исполнителями обращались получше, чем просто с полевыми работниками.

Томми предложила мне тоже устроиться в эту сеть. Занятость — большая, оплата — хорошая, публика — благодарная.

Не сомневаюсь.

Но черным комикам, работающим в «читлине», дорога в шоу Салливана закрыта.

Я сказал Томми, что меня покуда устраивают мои клубы.

Ревю должно было продлиться не меньше месяца, а к тому времени, когда Томми освободится,

я сам отправлюсь на гастроли.

Я скучал по Томми. Вернее сказать, расстояние, разделявшее нас, было своего рода пыткой. Поначалу. Но постепенно, месяц за месяцем, разговаривая с ней по телефону, я замечал, как ее голос делается все более довольным: боль от разлуки притуплялась. Она привыкала к Детройту, к гастролям. Я начинал бояться, что так она привыкнет и к жизни без меня.

Я разгонял тоску постоянной работой.

Я нуждался в этой работе.

И не столько из-за денег, хотя и деньги были мне в усладу. Теперь я чаще всего зарабатывал свыше четырехсот долларов в неделю. Но гораздо сильнее я нуждался в работе ради самой работы. Я становился опытным исполнителем и с каждым выходом на сцену все больше отшлифовывал свою манеру, свой стиль, так что публике просто не оставалось ничего другого, кроме как смеяться. А когда я бывал в ударе и все шло как по маслу, зрители просто лежали в лежку.

Но все-таки чего-то мне явно недоставало. Это я понимал. Сид тоже это понимал, а иногда и говорил мне об этом. Не хватало мне какой-то изюминки, которая отличала бы меня от всякого другого комика, который травит байки. Джек

Картер, Шелли Берман, Норм Кросби — кроме цвета кожи, я ничем от них не отличался. Я не был ни лучше, ни хуже. Ничем не брал. Ты мог выступать без сучка и задоринки, мог разить публику наповал, мог загребать столько денег, сколько позволялось законом, но до тех пор, пока ты не предлагал нечто такое, чего не предлагали другие, ты оставался всего-навсего очередным парнем, который пытается смешить людей. Чего мне не хватало — так это голоса. Таков был парадокс: единственный раз в жизни от меня требовалось быть не таким, как все, а я, к своему стыду и боли, как раз был таким, как все.

* * *

У меня было гастрольное выступление в одном клубе в Сент-Луисе. Мне позвонил Сид — ему только что позвонили из отеля «Калифорния-Невада» на Тахо. Мне предложили приехать туда через месяц с недельными гастролями.

Я спросил, у кого я буду на разогреве.

— Ни у кого.

— Ни у кого? Как это?

— Вот так. Ты будешь главным номером. Тебе хотят отвести зал «Кабаре». Он не такой большой, как «Селебрити-Рум», там меньше сотни

мест, но…

Слыша, но не веря:

— Главным номером? Ты уверен, что им нужен я?

— Они спрашивали именно тебя. К тому же тебе повышают ставку до пятисот пятидесяти в неделю.

Какая разница, маленький зал или нет: пятьсот пятьдесят долларов наличными в неделю за то, чтобы выступать главным номером?

Фрэнк Костелло. Значит, это Фрэнк Костелло так обо мне позаботился.

— Только… — Видимо, у Сида заготовлена и нехорошая новость. — Та неделя, которую они предлагают, совпадает с дебютом Фрэн у Салливана. Поэтому я попросил распорядителя перенести тебя на…

— Не надо!

— Джеки, мне сказали, все можно пере…

— Я не хочу рисковать.

— Рисковать? — Сид явно ушам своим не верил. — Рисковать чем? Ты же знаешь не хуже меня, почему тебе это предлагают. С таким покровителем, как Фрэнк Костелло, тебе нечего бояться. Я могу ему лично передать…

— Мой первый серьезный ангажемент, да еще

главным номером, — подарок от какого-то типа, с которым я едва знаком. Я не собираюсь упускать такого случая из-за какой-то ерунды.

— Даже из-за Фрэнни? Но Фрэнсис — не ерунда, Джеки. Она твой друг.

Молчание. Между мной и Сидом, и так разделенных огромным расстоянием, пролегла еще и пропасть молчания, тянувшегося не более минуты, хотя мне показалось, что гораздо дольше.

Сид прервал тишину коротким: «Я подтвержу дату» — и повесил трубку.

Позднее я позвонил Фрэн, извинился за то, что не смогу прийти на шоу Салливана с ее участием. Она несколько раз повторила «ничего страшного», но я понял, что это ее явно расстроило. Я сказал Фрэн, как мне жаль, что не смогу приехать. Сказал, что буду смотреть ее по телевизору; сказал, что очень рад за нее, что горжусь ею.

Но кое-чего я Фрэн не стал говорить: я утаил от нее, что то пятнышко в глубине моей души, та рождавшаяся во мне ревность, когда она записывала свою первую пластинку, когда ее взяли на Си-би-эс, с тех пор это пятнышко, созревая в холодной тьме внутри меня, разрослось в большой плесневый гриб зависти.

* * *

Тахо был тем, другим местом штата Невада. В отличие от таких городов, как Рино и Лас-Вегас, там больше любила собираться публика подвижная — те, кто любил съезжать на лыжах по склонам Высокой Сьерры зимой, ходить в походы и кататься на лодках в теплые месяцы. В Тахо было немноголюдно, транспорта мало. Это была летняя шаблонная версия Лас-Вегаса. Конечно, и тут играли, но играли как бы с запоздалой мыслью: дескать, ладно, мы тут все излазили, на лыжах покатались, на воде порезвились. А теперь, наверно, можно сотен пять и за столом прокутить. Словом, здесь тоже жили на широкую ногу, только делали это скромно, не пуская пыль в глаза.

Отель «Калифорния-Невада» находился на северном побережье озера. Довольно маленький, он представлял собой скорее пансион, чем отель, а казино больше походило на гостиную. Изюминка — на которую и намекало название — заключалась в том, что граница пролегала прямо посреди плавательного бассейна. Ты мог выпить пару коктейлей в Калифорнии, а потом

перешагнуть в Серебряный Штат[34], чтобы побаловаться в рулетку.

Я отправился туда один. Сид остался в Нью-Йорке с Фрэн — нарочно решил остаться в Нью-Йорке с Фрэн. Это был знак лично для меня.

Я прилетел в Рино, где меня должны были встретить и довезти уже до самого озера Тахо и отеля «Калифорния-Невада». Выходя из самолета, я толком не знал, чего ожидать, поэтому ожидал того же приема, который встречал по всей стране, во всех отелях, где выступал, — холодных взглядов и неохотных рукопожатий со стороны людей, меня же и нанимавших. Комната где-то на отшибе. Обращения в духе: «Спасибо, что приехал, вот твои денежки, а теперь проваливай».

Но ничего этого тут и в помине не было.

В аэропорту меня встретил шофер на новеньком — похоже, только что с завода — «кадиллаке», серии 62, в униформе и с украшениями.

Он был сама вежливость:

— Как вы долетели, мистер Манн? Это ваш багаж, сэр? Давайте я понесу. Вот сюда, пожалуйста. — Он распахнул передо мной заднюю дверь машины и встал, придерживая ее. Я в полном

---

[34] Примечания: 34
Штат Невада.

ошеломлении рухнул на сиденье.

Водитель поехал. Я покатился. Немного поволновался сначала. В любой момент ожидал подвоха, грубой реплики, которая даст мне понять, что надо мной подшутили.

Но ничего подобного не последовало.

Два часа до Тахо. Гладкий ход «кадиллака», ритмичная езда: я поневоле расслабился, разнежился. И решил всесторонне изучить внутреннюю часть собственных век.

Проснулся я, когда мы уже подъезжали к самому отелю. Меня поджидала целая вереница тружеников в гостиничной униформе — морская пехота на посылках, готовых подхватить мою кладь, впустить меня в отель, показать мне то, показать мне это. Проследить, чтобы обо мне позаботились. Им конца не было, этим услужливым ребятам, они увеличивались числом быстрее, чем я успевал раздавать чаевые.

Один из коридорных препроводил меня в номер. Никаких намеков на «черную» половину города. Меня поселили прямо здесь, в гостинице. Королевская кровать. Вид на озеро. Как у любого другого постояльца. Лучше, чем у большинства. И самое главное: в отличие от всех остальных постояльцев, не я платил, чтобы тут жить, а *мне*

платили. Все это приводило меня в ступор, голова шла кругом.

Но почему? Когда я задумался, то вдруг осознал: почему все это — машина от самого аэропорта, обслуживание по типу «да, сэр», шикарная комната, — почему все это должно смущать меня? Я же тут звезда. У меня статус главного номера. Я вышел в дамки. Я увидел свет в конце длинного туннеля, по которому полз из Гарлема до звездного рая. Я оказался в таком месте, которого заслуживал.

Мне хотелось, чтобы рядом была Томми, хотелось поделиться с ней всем этим. Мне хотелось, чтобы рядом был Сид, чтобы он тоже порадовался со мной. Мне хотелось, чтобы тут был мой отец, и я мог бы всем этим утереть ему нос.

Ему было бы на все наплевать. Он бы только спросил, где бар и бесплатная ли выпивка.

А потом, почти в порядке запоздалой мысли — «ах да» — ко всему остальному, были выступления — главная причина моего пребывания на Тахо. Кабаре оказалось маленькое: если напихать и натолкать туда народу, то человек пятьдесят поместилось бы. Поэтому можно догадаться, что не было в течение недели такой ночи, чтобы зал не набивался битком. И не было в течение недели

такой ночи, чтобы я не имел сногсшибательного успеха. Администрация поспособствовала этому, придя мне на помощь с пропагандистской ерундой типа: новая сенсация, прямиком из нью-йоркской «Копакабаны». Любимый разогревщик Бадди Греко и Тони Беннетта. Но если отбросить эту рекламную шумиху, я просто хорошо выступал. Все номера были тщательно отобраны, манера исполнения была безупречна. Моя самооценка была высока как никогда. Может, я еще и не обрел собственного голоса, но по тому, каким ревом толпа отвечала на мои шутки, я понимал: ей вполне годился и тот голос, которым я говорил сейчас.

Ночь четверга. После представления. Я уже шел к себе в номер, как вдруг этот парень окликнул меня:

— Джеки!

— Да?

Он был коротышка. Толстенький. Кругленький. Вид у него был такой, словно он под одеждой пытается контрабандой пронести желатин через границу.

— Джилли Риццо. — Он представился таким тоном, как будто это имя должно что-то мне сказать.

Мне оно ничего не говорило.

Я попробовал мимикой изобразить нечто вроде: «Ну, и?..» Парень, видимо, не уловил намека.

Просто сказал:

— Он хочет с вами поговорить.

— Кто?

Джилли бросил на меня взгляд, в котором отчетливо читалось: «Какого хрена ты не понимаешь, о ком я, черт возьми, говорю?»

— Фрэнк, — пояснил он.

— Мистер Костелло здесь? — удивился я.

Джилли пытался быть терпеливым, это ясно. Но не менее ясно и то, что он был не из тех, у кого не иссякает запас терпения для непосвященных.

— Синатра хочет с вами поговорить.

* * *

Фрэнк Синатра заполнял собою комнату.

Не физически. Это ему не удалось бы. На нем был оранжевый свитер, надетый поверх белой водолазки и коричневых штанов: обычного вида мужчина, чей-нибудь равнодушный к моде дядюшка. Впечатление он производил не большее, чем тарелка не заправленных соусом спагетти. Он потихоньку старился, заметно погрузнев со

времен Хобокена[35]. Облысел. Лысину скрывал зачесом. Лицо уже покрывали морщины, середина лба напоминала вспаханное поле. Но посреди всех этих изъянов сияли глаза небесной голубизны. А от этих голубых глаз разбегались гусиные лапки морщинок.

То, чему явно недоставало места в этой комнате, было, конечно, не самим этим человеком, а суммой легенд, мифов и умелой рекламы. Существовала целая история о человеке, прошедшем путь от Синатры-Свунатры, заставлявшего поклонников хлопаться в обморок, до эдакого Чарли-Бывшего, а затем до Председателя Почетного Совета — до звезды киномира, а также звукозаписи, а также телевидения, а также любой другой формы развлечений, кроме разве что сочинения японских лирических стихотворений хокку. Выпивоха, собутыльник и мессия для коекого из самых крупных звезд и самых крепких печенок, какие только водились в Голливуде. Не секрет, что такую же дружбу он водил и с уймой мафиози. Он оплачивал девчонок-подростков, чтобы те содержали притоны; а еще он был соучастником налета, якобы «ошибшись дверью»,

[35] Примечания: 35

В г. Хобокене, штат Нью-Джерси, Фрэнсис Альберт Синатра родился 12 декабря 1915 г.

вместе с каким-то головорезом, пытаясь раздобыть несовершеннолетнюю девочку, девчонка насплетничала на «господ», в результате чего оба чуть не угодили в тюрьму. Был «Оскар», были скандалы, были избитые репортеры… И были любовные связи.

Была грандиозная любовная связь. Та, столько же раз обрывавшаяся, сколько и возобновлявшаяся, связь с Авой Гарднер — страстная, горячая и бурная: поездки в больницу случались не реже, чем в цветочный магазин. По сравнению с этим мои перепалки с Томми выглядели невинными посиделками мормона с квакершей. Ходили слухи: когда Ава выставила Фрэнка насовсем, тот пытался покончить с собой.

И не однажды.

Чтобы светило такой величины захотел лишить себя жизни из-за какой-то цыпочки, пусть даже из-за такой цыпочки… вот это любовь!

А еще комнату заполнял голос Фрэнка. Его легендарный голос. Такой же глубокий. Такой же проникновенный и выразительный, как и в ту пору, когда он записал первую патефонную пластинку.

В настоящий момент этот голос обрушивал самую непристойную брань, какую мне только

доводилось слышать, на какого-то бедолагу, который ежился под струями собственного пота. Как шар, вместо воздуха наполненный по́том, вдруг давший течь. Этот малый был так перепуган, что не смел ни двинуться, ни моргнуть, ни посмотреть на Фрэнка, ни отвести взгляд в сторону. Единственное, на что он отваживался, — просто стоять на месте и выслушивать все это. Целые потоки *этого.* Насколько я мог разобрать из всего этого мата-перемата, кто-то, видимо, сорвал очень и очень неплохой выигрыш за карточными столиками. Вероятно, считая карты. Фрэнку как владельцу казино не очень понравилось то, что никто из его работников не удосужился подрезать того парня, прежде чем он успел уйти с мешком денег.

— Какого хрена я тебе плачу — чтоб ты кому-то там деньги раздавал — мои деньги, мать твою! Ах ты хренов хорек безмозглый!

Тот, кого ругали, издал какой-то звук. Я не мог понять, то ли он вот-вот заговорит, то ли разрыдается.

— Сейчас ты у меня получишь. — Фрэнк сложил пальцы в кулак — чтобы не оставалось никаких сомнений относительно того, чем именно он собрался поделиться с тем парнем. — Ну и вмазал

бы я тебе… Пошел вон, предатель паршивый! Пошел в задницу!

Бедолага пулей вылетел из комнаты.

— И не просто из моей гостиницы — катись вообще из этого чертова штата! И не останавливайся! Беги до самой гребаной Канады и не останавливайся, твою мать!

Я подумал — он, чего доброго, и до самой Исландии без остановок добежит.

Джилли сказал:

— Фрэнки…

— Что!

— Ты хотел повидаться с Джеки.

Тот поднял глаза — взглянул на меня.

И вот что я вам скажу: тут уже меня, вместо того убежавшего парня, прошиб пот.

— Как дела, Чарли? — Фрэнк улыбался ослепительно как никогда, говорил ровным тоном. Можно было подумать, то, что тут только что было — все эти вопли и крики, — происходило уже пару лет назад, если вообще происходило. Он двинулся мне навстречу, протянул руку: — Как твоя пташка?

— Моя…

Его рукопожатие оказалось крепким, но дружеским.

— Хочешь повеселиться, Чарли?

Я не понял, на что соглашаюсь, но все-таки сказал:

— …Конечно.

Он устремился обратно к бару:

— Что пьешь?

— Кока-колу, если можно, мистер Синатра.

Фрэнк рассмеялся.

Джилли тоже рассмеялся.

Но, в отличие от всех людей, от которых я терпел насмешки — во всяком случае, когда я не был на сцене, — эти двое не потешались надо мной. Они смеялись, как ребята, которым просто весело вместе.

— Ладно, корешок. Нам всем уже стукнуло восемнадцать. Выпей немножко виски.

— Спасибо, мистер Синатра.

— Да что ты все заладил — мистер Синатра, мистер Синатра? Зови меня просто корешем, как я тебя.

Он был такой расслабленный, непритязательный. Разговаривать с ним, разговаривать с Фрэнком, было то же, что разговаривать с обычным, несуперзвездным, человеком. Он выглядел абсолютно как обычный парень в свитере, который собирается не то смотреть на игру в мяч,

не то листья разгребать. От того, что разговор с ним казался каким-то совершенно обиходным, естественным делом, все становилось еще более нереальным. И нельзя сказать, чтобы его присутствие здесь явилось для меня полной неожиданностью. То, что «Калифорния-Невада» принадлежит Фрэнку Синатре, было общеизвестно. Об этом сообщала и надпись, вознесенная над дорогой, которая вела к гостинице: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛЬ „КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА“ ФРЭНКА СИНАТРЫ». Но кто бы догадался, что он лично появится в своей гостинице на озере Тахо, пусть он и владеет ею? И кто, черт возьми, мог бы предположить, что он захочет со мной познакомиться?

Он сказал, протягивая мне выпивку:

— Я еще не успел посмотреть, как ты выступаешь, но, говорят, у тебя потрясное шоу.

— Да, сэр. Публика хорошо меня принимала.

— Ага. Момо говорил, Фрэнки К. тащится от тебя. Правда, Джилли?

— Он говорил, что ржал как конь.

— Ну, вот я и сказал ему: приводи паренька ко мне. Ты с Момо знаком?

Знаком ли я с ним? В последний раз, когда я спросил, кто такой Момо, меня так отбрили, что

пропала всякая охота интересоваться.

— Нет, сэр.

— Тебе надо с ним познакомиться. Сэмми очень хороший парень.

— Сэмми?

— Сэмми. Сэм Флад.

— Момо, — пояснил Джилли, снова потеряв терпение от моей неотесанности.

— Конечно. Я бы с удовольствием с ним позна…

— Ну как тут тебе всё? Порядочно тут все с тобой обращаются?

— Да, со мной очень порядочно обращаются. Мне кажется, никогда еще…

— Никто тебе не докучает, нет? — По тому, как Фрэнк обрывал меня на полуслове, я догадался, что он и один мог бы прекрасно вести диалог. — Ты должен себя чувствовать здесь как дома, корешок. А если кто-то думает иначе, ты мне сразу скажи. — Тут Фрэнк нахмурился. И сразу сделался крайне мрачным. — Ты мне скажи, а я ему скажу — и так скажу, что вовек не забудет.

— Хорошо, сэр, но никто мне не докучает. Мне тут очень хорошо. Все прекрасно со мной обходятся. Правда, все очень хорошо.

— Вот и отлично. — Туча умчалась так же

быстро, как и возникла. Фрэнк снова лучился, как солнышко. — Ты знаешь, я ведь совладелец «Сэндз» в Лас-Вегасе. Я собираюсь потолковать с Джеком — чтоб взял тебя туда.

Вот так. Одним словом, одним взмахом руки он предложил мне предмет моих мечтаний с такой же легкостью, с какой кто-нибудь другой мог предложить стакан воды.

— «Сэндз» в Лас-Вегасе? Вы предлагаете мне «Сэндз»? — Самолет разбился. У меня в голове пронеслось: мой самолет разбился, не успел я попасть на Тахо. Мой самолет разбился, я сгорел, и погиб, и очутился здесь. Я был хорошим маленьким мальчиком, поэтому я попал в рай.

— Я тебе не предлагаю ничего такого, чего ты сам не заслужил. Ты же блестяще выступил на моей сцене, дружок. А как, ты думаешь, все такие дела делаются? Через связи. Все зависит от тех, с кем ты знаком. Теперь ты знаком со мной. — Фрэнк обнажил зубы в широкой белозубой улыбке. Ему нравилось благодушествовать. Он наслаждался своей ролью короля. — Придется для начала устроить тебя разогревщиком, но потом, я думаю, все уладится. Джилли, сколько мы платим Чарли?

— Пятьсот пятьдесят.

— Пятьсот пятьдесят? Зачем же мне так обирать малыша? Как он сможет снимать барышень, если будет жить впроголодь? — Обращаясь ко мне: — Семьсот пятьдесят тебя устроят, Чарли?

— Да это… Да я бы даром выступал!

— Хочешь, я скажу тебе одну вещь: ты стоишь столько, на сколько соглашаешься. Соглашаешься на ничего — ничего и стоишь. В Лас-Вегасе или еще где-то — не важно, выступай за хорошие деньги, выступай по-настоящему или вообще не выступай.

Легко сказать. Но, когда поднимаешься, и падаешь, и снова поднимаешься, обязательно узнаешь кое-что новое.

Фрэнк сказал:

— Я рад, что мы с тобой поболтали, приятель. Я многого жду от тебя.

Я поблагодарил его за уделенное мне внимание, стараясь выглядеть хладнокровным, стараясь говорить так, как говорят между собой звезды.

Я пошел вслед за Джилли к двери.

— Дружок!

Я оглянулся.

Фрэнк снова обратился ко мне:

— Я правда многого от тебя жду.

И король одарил меня благословением — по-

махал на прощание зажатым в руке бокалом с коктейлем.

* * *

Воскресный вечер. На Западное побережье транслировали шоу Салливана. Я посмотрел, как публика приветствует Шелли Уинтерс, Пег Лег Бейтс отбивает чечетку, а между номером Райнера и Брукса и японской оперной труппой Фудзивара — вот она, Фрэнсис Клигман, под именем Фрэн Кларк, исполняет песню «Иными словами». Она вложила в эту песню все свои силы, спела очень решительно и дерзко, но ничуть не перестаралась. Если Фрэн и нервничала, я этого не заметил. Если она и испытывала какой-то страх перед сценой, этого не было видно. Она уже не была той девчонкой, что пела по ночам на Четырнадцатой улице. Она была настоящей звездой, пересекающей небосклон и движущейся прямиком в Страну Славы.

Утро понедельника. В газетах про Фрэн — сплошная хвала. Она явно произвела фурор.

И вечером в воскресенье, и утром в понедельник я пытался позвонить Фрэн, поздравить ее. Но не смог дозвониться — все время было занято.

* * *

Снова в Нью-Йорке. Снова в городе. Город — скорее точка на карте, чем родной дом. Перевалочный пункт. Туда я возвращался, когда заканчивались гастроли. Возвращался я, чтобы выстирать одежду, прочитать письма, позаботиться об отце и, может быть, повидать Томми.

Может быть — но маловероятно.

Для нее Нью-Йорк тоже стал перевалочным пунктом. А родным домом сделался Детройт. Особенно когда она начала работать над своим первым альбомом.

Поэтому обычно мы перезванивались, продолжая скучать друг по другу. Мы очень скучали друг по другу. Даже по телефону поговорить не всегда удавалось. Я оставлял сообщения для Томми в «Мотауне». А мне отец, когда был достаточно трезв, передавал, что звонила Томми.

Он почти никогда не бывал трезвым.

Приветы от Томми часто не доходили до меня.

Я стирал одежду, прочитывал письма. Готовился снова колесить по Америке, работал над новыми номерами.

Однажды я что-то писал, когда вошел отец. Ничего не сказал, просто застыл тенью у двери в

мою комнату. Я не мешал ему. Я с ним много не разговаривал теперь. Я с ним вообще почти не разговаривал теперь. Если можно было без этого обойтись. Но он все не уходил, все пялился на меня, и я спросил:

— Тебе что-то нужно?

Спросил нейтральным тоном, не зная, с каким именно отцом я говорю. С обкуренным отцом. С надравшимся отцом. С обторчанным отцом. С беспомощным отцом.

Он спросил:

— Скоро опять уезжаешь?

— Ага.

— Похоже, ты все время теперь в разъездах.

— Похоже, что так.

— Всегда занят. Много ездишь. Как видно, у тебя все хорошо.

— Как видно.

«Доджерс» только что перебрались из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и я раздумывал, не придумать ли про это какую-нибудь шутку.

— Ты все время уезжаешь… и… все время уезжаешь… Работаешь много… И как оно — стоять перед всем этим народом? Как оно тебе?

— Да никак. Ничего особенного.

— А я думал, это… Ну, столько народу…

Я обернулся, поглядел на него.

Весь потный. Глаза на мокром месте. Тело мелко подрагивает, трясется. Значит, это беспомощный отец. Безобидный отец. Давно не пил, но уже очень хочется.

Он снова залепетал:

— Ты все уезжаешь, а мне делается одиноко…

— Город полон людей. Приведи себя в порядок. Выйди на улицу, пообщайся с кем-нибудь.

— Угу. Я думаю… Думаю, я как-нибудь да…ба…ва… — домямлился он до полной невнятицы, а потом снова замямлил: — Знаешь, что я тебе скажу… Ты теперь столько работаешь, ездишь там по всяким городам, на жизнь себе зарабатываешь… а я тебе скажу…

— Скажешь мне — что? Что ты хочешь мне сказать? Ты же пришел со мной поговорить только потому, что еще не надрался, и несешь всякий бред! Что ты хочешь мне сказать? Да ты даже не вспомнишь об этом завтра, когда будешь под кайфом! Что ты хочешь мне сказать? Да это не имеет никакого значения, абсолютно никакого, потому что ты приходишь ко мне только из-за наркоты, или из-за отсутствия наркоты, или из-за того, что тебе нужна наркота! Ну так что — что ты мне собираешься сказать?

Отец ничего не ответил на это. У него был такой вид, какой, наверно, бывал у меня всякий раз, когда отец беспричинно отвешивал мне оплеуху: обиженный.

Наконец отец уплелся из моей комнаты. Я слышал, как он рыщет по квартире. Слышал, как он откупорил пивную банку. Пиво для него — закуска. Пустяк — так, для аппетита.

Я продолжал писать.

* * *

Я ожидал когда-нибудь увидеть ее. Не в тот день. Не в то утро. Впрочем, для большинства горожан это была уже вторая половина дня. Но для меня, после ночи работы по клубам, послеполуденные часы все еще были ранним утром.

Не важно.

Я не ожидал увидеть ее — одинокую, усталую, листающую журнал «Лук» — именно в тот день, садясь за свой завтрак — ланч — в ресторанчике на Бродвее. Но я всегда представлял себе, что рано или поздно снова встречусь с Надин Рассел. Много лет назад, вернувшись из того лагеря лесорубов, я потерял ее из виду — или это она позволила мне потерять ее из виду. Она ясно дала мне понять тогда, что ее симпатия не идет

дальше долларовых бумажек, а их у меня, как видно, оказалось недостаточно.

В ту пору, когда я пробавлялся поденными заработками, она поступила в ремесленное училище, чтобы выучиться не то машинописи, не то стенографии, не то скорописи, чтобы потом устроиться на работу в одну из всего двух существовавших в Нью-Йорке компаний, где в те годы черная женщина вообще могла устроиться на приличную работу. Но это даже не так важно. Ведь Надин хотела устроиться на такую работу не для того, чтобы делать карьеру. Она всего-навсего хотела подыскать себе мужчину. Мужчину, у которого впереди надежное будущее, а в кармане позвякивают денежки. Где же еще искать такого мужчину, как не устроившись на работу в башню с офисами? Ладно. Отлично. Да вот только подыскивать ей нужно было чернокожего мужчину, а такого чернокожего мужчину подыскивали себе все без исключения чернокожие женщины, — следовательно, такие мужчины наверняка были нарасхват, на всех не хватало. Оно и понятно — ведь для цветных мужчин возможностей хорошо устроиться было немного… Надин неспроста оказалась в ресторане одна. Она неспроста выглядела усталой. Раз она не встретила своего мужчину,

ее временная роль девушки, делающей карьеру, растянулась до бесконечности. Никто о ней не заботился, никто не покупал ей красивых вещиц, никто не водил в рестораны и на представления. Ей не к кому было возвращаться домой, не с кем было ощутить себя особенной, если на то не было особой причины. Ничего ее не ожидало, кроме скучной работы — стучать под диктовку по клавишам, печатать чужие записки.

И меня это порадовало.

Надин увидела во мне мужчину без средств к существованию, а разве мог ее устроить такой мужчина? Джеки, мальчик на побегушках. Джеки, парень из грузчиков. Да вот только я возьми и превратись в Джеки-комика, восходящую звезду, приятеля знаменитостей. И этот Джеки зарабатывал столько, сколько даже не снилось ее среднему чернокожему мужчине, и еще было куда расти. Надин наверняка об этом знала. Наверняка встречала где-то мое имя, где-нибудь в негритянских газетах, слышала обо мне от кого-нибудь из старых знакомых по кварталу, с кем поддерживала отношения. Она знала, что я многого добился, а я знал, что она, наверно, локти себе кусает, и, говоря по правде, мне не терпелось выложить ей все, как оно есть, чтобы она утерлась. О, у меня

даже разговор с ней был давно отрепетирован. Когда мы встретимся, сначала я притворюсь, что не узнал ее, изображу такое озадаченное выражение лица, которое затем, когда Надин напомнит мне свое имя, преобразится в приятно-удивленное выражение. А-а, Надин, как поживаешь? Правда? Отлично. Нет, я про таких не слышал, но, наверно, это неплохая маленькая компания, — должно быть, приятно на них работать. Ну да, ты и впрямь выглядишь слегка утомленной, но, думаю, когда тебя немного повысят… Неужели? Так долго, и никакого продвижения? Я? Пожалуй, неплохо. Ну да, на разогреве у такой-то звезды, и у такой-то, и я то, другое и третье, ну да, и я зарабатываю неплохие деньги, и, пожалуй, добился успеха, и, пожалуй, тебе следовало получше со мной тогда обойтись. Надеюсь, ты еще найдешь себе чернокожего мужчину, который устроился в этой жизни не хуже меня.

Когда-нибудь.

Может быть.

Рад был повидаться, Надин.

Да, сценарий был давно написан и выучен. Только черта с два я пройдусь между столиками и первым поздороваюсь с Надин. Я ждал, когда она сама подойдет ко мне. Ждал, пока не доел

весь свой завтрак, не выпил вторую чашку кофе и не заказал еще одну яичницу из двух яиц.

Вот это мне нравилось в Нью-Йорке: тут можно было заказать какую угодно еду в какое угодно время суток, и при этом на тебя никто не таращился с таким видом, мол, «какого черта этот парень вместо ланча ест первый завтрак?», как это происходило в любом другом городе Америки. В общем, все чудесно.

Наконец Надин доела свой обед, дочитала свой журнал. Встала. Прошла между столиками, направляясь к двери, и вышла на Бродвей. Она смешалась с потоком пешеходов, который лился в нужную ей сторону, и пошла по своим делам.

Меня она даже не заметила.

Или…

Нет. Она меня заметила. Сразу заметила, но ей было стыдно даже глядеть в мою сторону: она же упустила меня, а потом следила за моим восхождением, тогда как сама в поте лица работала изо дня в день, но ей похвастаться было нечем. А теперь, выйдя на улицу, она, наверно, плачет — по щекам ползут соленые дорожки, размывая грошовую тушь, и спешит она навстречу своей никудышной жизни.

Да. Вот как мне хотелось бы представлять себе

это.

* * *

Мне снился страшный сон. Я видел во сне чернокожего, который пытался пешком вернуться домой. Это все, чего он хотел: просто вернуться домой пешком. Но на пути к дому ему попадались то гвозди, похожие на когти, то блестящий кастет — они хотели растерзать его на куски, сбить его на землю. Они хотели уничтожить его. А тот парень все думал, что кто-нибудь появится на дороге, по которой он идет, и спасет его от этих истязаний. Спасет его от гибели.

Никто не появлялся. Парень был совсем один. Ему почти уже пришел конец.

И вот что еще происходило с этим сном: много раз он снился мне, когда я бодрствовал.

* * *

Я уехал из Нью-Йорка на пять недель на гастроли, которые должны были закончиться в «Сэндз» в Лас-Вегасе, где мне предстояло выступать на разогреве у Эдди Фишера.

* * *

Лас-Вегас был полноценным городом только по дефиниции. В действительности это был скорее городок. Да какое там! Вернее сказать, это был просто жилой район, вытянувшийся вдоль железнодорожной станции, да еще, чуть к югу, в местечке Парадис, около полудюжины гостиниц-казино вдоль Лос-Анджелесского шоссе. Позднее это место назовут Стрипом — «Полоской». Поскольку город — городок — находился в пустыне, там всегда было жарко, лишь по ночам становилось холодно, да еще зимой, когда стужа почти не прекращалась. Всюду песок — от него некуда было деться, ветер заносил его во все щели и дыры, засыпал песком абсолютно все в домах и на улице. Там не было ни заводов, ни фабрик, ни какой-нибудь серьезной промышленности. Вообще непонятно было, зачем этот город существует.

А причина одна.

В Лас-Вегасе можно было играть на деньги.

Играть на деньги можно было во многих городах. Играть на деньги можно было по всему штату Невада. Но в Вегасе имелось несколько особых завлекалочек: шикарные, с коврами, заве-

дения, где, если ты проигрывался, тебя бесплатно кормили. А тем, кто проигрывался по-крупному, оплачивали еще и ночлег. В качестве пикантной закуски предлагались также полуголые актриски и бесплатные коктейли, которые разносили официантки, прикрытые едва ли больше, чем девицы из кордебалета. Лас-Вегас угощал выпивкой и подмигивал неоновыми огнями не для того, чтобы просто доставить гостям удовольствие: ведь, чем больше ты пьешь, тем глупее становишься. Тем вернее пускаешься во все тяжкие.

А если всего этого оказывалось недостаточно, чтобы заманить вас в объятия пустыни, то у Вегаса имелся в рукаве последний козырь: развлечения. Лас-Вегас был настоящей столицей развлечений на западе страны. Может, в Голливуде все звезды и зажигались, но в Вегасе они сверкали. Теша других и себя. И нигде они не светились ярче, чем в «Сэндз». По-другому именуемый «Место под солнцем», этот отель-казино, король всех прочих отелей-казино, заявил о себе в Медоуз в первый же день, когда распахнулись его двери: ты подъезжал к входу по превосходному круговому накату, под тремя узкими балками, отходившими от гостиницы, а затем под прямым углом разворачивался и попадал прямо на

просторный помост, как будто уже само здание предъявляло свои претензии городу. Куда там до него старомодным постройкам типа хижин из дерева и камня: тут вас встречали хромированные поверхности, стекло и мрамор, с ходу давая знать, что это самое современное место, где можно и модно тратить деньги. А на тот случай, если вас все это еще не убеждало, то здесь имелась и вывеска — в пятьдесят шесть футов высотой. Каждый ее дюйм переливался огнями, которые нахально и незатейливо складывались в буквы: СЭНДЗ. Тут не оставалось места для сомнений: да, это и есть *главное* место под солнцем. Это и было то самое, о чем я всегда мечтал. Все, о чем я только мог мечтать.

К тому же, помимо всего прочего, здесь имелся и свой зал «Копа», близнец того, другого, нью-йоркского клуба. И точно так же, как это было с клубом в Нью-Йорке, в «Копу» стремились попасть все, кто что-то собой представлял — от Марлен Дитрих до Ноэля Кауарда[36]. Работая там, ты понимал, что выступать в пустынном краю Лас-Вегаса — вовсе не так уж плохо. Выступать

[36] Примечания: 36

Кауард, сэр Ноэль Пирс (1899–1973) — английский драматург, актер, композитор, театральный и кинорежиссер. Автор оперетт, музыкальных ревю и фильмов.

там — уже событие.

Но, несмотря на скопление голливудских знаменитостей, на все эти пальмы и неоновые огни, Вегас оставался исключительным Глухоманском. А где Глухоманск, там дом родной для обывателя.

— Извини, Джеки.

Извинялся Джек Энтрэттер.

Джек Энтрэттер распоряжался эстрадной частью в «Сэндз». Именно он и вел все дела, касавшиеся зала «Копа» при казино. При росте метр девяносто он был кряжист, коренаст и вдобавок обзавелся несколькими подбородками. Он мог бы показаться чудовищем, но на деле был вполне порядочным малым. То ли по природе, то ли потому, что после болезни, перенесенной в детстве, у него осталась хромота, научившая его скромности. Как бы там ни было, ему как-то хотелось верить, когда он говорил:

— Ты знаешь, мне-то все равно, но такая уж тут политика. Просто здесь не пускают цветных в казино, и точка. Ты же понимаешь, Джеки, правда?

Конечно. Я понимал. Здесь все оказалось так же, как и во множестве других мест. Мне разрешалось развлечь народ. Мне разрешалось заработать неплохие деньги. Мне разрешалось стоять на

сцене и дослушать до конца те аплодисменты, на которые публика готова будет расщедриться, но потом я должен был убраться — и желательно побыстрее.

— Если бы все зависело от меня… — Джек пустился было снова в свои извинения. — Но мы не можем делать никаких исключений. — Он поправился. — За исключением одного исключения.

Я знал об этом исключении. Но и сам мистер Развлечение был исключительным типом.

Джек перевел взгляд с меня на Сида, потом снова посмотрел на меня, изображая беспомощность на лице, после чего поднял руки, как бы показывая, что обстоятельства ему совершенно неподвластны. И на случай, если я все-таки эту его пантомиму не пойму, подытожил:

— Ничего не могу поделать.

Это была правда. И не важно, что Джек подчинялся приказам самого Фрэнка Синатры. Пусть Синатра и был совладельцем «Сэндз» — это делало его не начальником, а рабом платежеспособной публики. Раз платежеспособная публика не желала видеть чернокожих в казино, — значит, платежеспособная публика и не видела чернокожих в казино.

Мы с Сидом поблагодарили Джека. Мы с Сидом

ушли.

В «Сэндз» позаботились о нас и предоставили в наше пользование машину на то время, пока мы будем находиться в городе. А машина нам оказалась очень даже кстати. От гостиницы до той части города, которая называлась Вест-Сайдом, расстояние немаленькое. Эта часть города была «негритянской». Именно там нам и предстояло поселиться. А по сравнению с ней черные кварталы Майами сошли бы за Французскую Ривьеру. Тесные убогие лачуги вместо домов. Обшарпанные автомобили, которые уже десяток лет проездили до того, как здешний народ покупал их «новенькими». Никаких школ, ни одной больницы я там не заметил. Я не заметил вообще ничего такого, что показалось бы мне приятным и красивым. Похоже, в Вест-Сайде не было ничего, кроме нищеты. А нищета кричала о себе на каждом углу.

Мы поселились в пансионе «У миссис Шо», где обычно останавливались все иногородние чернокожие — не важно, знаменитые или нет. Поселились за цену примерно вдвое дороже той, какую с нас взяли бы за номер в каком-нибудь отеле с казино. Если бы только мы могли устроиться на ночлег в каком-нибудь отеле с казино.

Но мы не могли — и потому платили миссис Шо двойную цену. И торговаться тут было бессмысленно.

На Сида здесь глазели — чего это, мол, белый мужик остановился в ночлежке для черных, — но я, тоже взглядами, всех отшивал: мол, этот парень со мной, так что отвалите.

Мы получили ключи и отправились в свои номера. Комнаты представляли собой крайнее убожество.

И точно так же, как делал всякий раз, когда мы останавливались в городе, не отличавшемся прогрессивными взглядами, я сказал Сиду:

— Я уже большой. Если хочешь, отправляйся обратно на Стрип…

И точно так же, как он делал это всякий раз, Сид только отмахнулся, отговорился:

— Да это просто ленточка клубов с неоновой бахромой.

Мы посидели, убивая время, потолковали о предстоящем шоу, еще разок обсудили, какие номера включить в программу. Немного потрепались о том о сем, о спорте, о погоде.

Потом Сид, зайдя с левой стороны поля, сказал:

— Я разговаривал с Фрэнсис.

— Ага, — протянул я.

— Ага. Знаешь, ее новая пластинка имеет бешеный успех.

— Я только об этом и слышу.

— Ага. — Сид выдержал паузу, потом добавил: — Си-би-эс хочет выпустить отдельную передачу с ней.

— Отлично. Она талантливая девчонка. Если кто и заслуживает…

— Это будет первая передача, понимаешь? А если у передачи будет приличный рейтинг, то Фрэн дадут делать свое шоу, ну, с разными эстрадными номерами. «Фатима» уже готова все это финансировать.

Я поворочал языком во рту — удалить моментально появившийся нехороший привкус.

Всего раз. Всего раз Фрэнсис появилась у Салливана — всего один ошеломительный раз — и теперь она уже сама вот-вот станет Эдом в юбке. Моя зависть сорвалась с цепи.

Сид продолжал:

— Ты бы ей позвонил.

Я — подумав о том, как я пропустил ее дебют, чтобы самому выступить на Тахо:

— Да у нее своих дел полно. Зачем ей про меня слышать?

— Она тебя прощает.

Это причинило мне боль. Еще больнее было то, что Сид докопался до истины — а именно до того, что меня было за что прощать. Но так оно и было. Я это знал, Фрэн знала, Сид знал.

Сид попытался чуть смягчить свое замечание:

— Фрэнни понимает, что работа на Тахо много для тебя значила. Ведь ты благодаря Тахо попал в Вегас, а мы с тобой прекрасно знаем, какой это прорыв — работать здесь. И Фрэн знает. — Пауза. — Она по тебе скучает, Джеки. Если бы ты просто позвонил…

— Да я пробовал. Ты сам знаешь, что я пробовал, но не дозвонился. Так что не делай вид, будто я вообще не пытался ей позвонить.

— Ну да, пару раз после того, как она появилась у Салливана. Но потом-то — часто ли ты действительно пытался звонить?

Вопрос остался без ответа, но правда была известна и мне, и Сиду: не часто. И не страх перед реакцией Фрэн мешал мне позвонить ей. Я знал: она поймет, почему я предпочел ей Тахо, или, по крайней мере, как и сказал Сид, я знал, что она простит меня. Нет, мне не давал сделать этот звонок мой собственный стыд перед ней.

Я сказал:

— Сегодня предстоит важный вечер. Пожалуй,

я лучше порепетирую.

Сид даже не удосужился хоть как-то поддержать разговор. Просто сказал «ладно» и ушел.

Репетировать я не стал. Я не находил себе места. Лег и попробовал вздремнуть. Но и в постели не смог забыться.

Я заранее отправился в «Сэндз», оставив Сиду записку и сообщив, где я.

В «Сэндз» мне разрешалось пройти только в «Копу» и только через заднюю дверь. Прекрасно. Именно в «Копу» мне и нужно было сейчас. Я уселся в своей гримерке и уставился на свое отражение в гримерном зеркале. Трудно сказать, кем я ощущал себя в глубине души — не мужчиной, хотя уже и не мальчиком, — но на лице моем была написана многолетняя усталость. Постоянные отцовские затрещины, оплеухи, следы от ремня, бутылок и прочего, чем он меня бил. Шрам от колючей проволоки, вытатуированный на щеке. Морщины вокруг глаз — зарубки тревоги, образовавшиеся долгими ночами, проведенными без сна, в беспокойных раздумьях о моей жизни, о карьере. Вот оно, негритянское мое счастье! Столько всего — а ведь мне еще нет и тридцати. Одна мысль о том, как я буду выглядеть еще через двадцать пять лет, заставила меня отвернуться

от зеркала.

Прибежал коридорный, спросил, не нужно ли мне чего-нибудь.

Хорошее свиное ребрышко. Средней величины.

Он без единого слова ушел исполнять заказ.

Я вышел на сцену, оглядел зрительный зал: зеленое с вкраплениями красного — зеленые стены, красные стулья, зеленые ковры. Официанты в красных пиджаках сервируют столики. Я стоял, глядя в пустоту перед собой, забегая мыслями на несколько часов вперед и представляя себе, как этот зал заполнит публика, желающая, чтобы ее развлекали. Чтобы я ее развлекал. Ну, во всяком случае, разогревал ее перед Эдди Фишером. Пусть даже так — огромное расстояние отделяло меня от Гарлема, от Театра на Четырнадцатой улице, и не просто физическое расстояние. Я стоял на противоположном конце лестницы, взобраться по которой почти невозможно. Но я взобрался. Еще не на самую вершину, но, по крайней мере, вот на эту ступеньку: штат Невада, Лас-Вегас, отель «Сэндз», зал «Копа». А в глубине души, какие бы несбыточные мечты я ни вынашивал в уме, я понимал, что забрался выше, чем когда-либо рассчитывал. И все-таки еще не достиг предела

желаний. Моей сокровенной мечтой было пройти сквозь эти двери и попасть в казино. Стать главным номером программы. Появиться у Салливана. Добиться пробного выпуска, как Фрэн. Попробовать вести собственное шоу.

Желания.

Желания.

Чего бы я ни достигал, я желал еще большего. Вот она, правда: при всем мишурном блеске успех оказывался всегда лишь дешевой удачей, победой на задворках. Здесь все обстояло так же, как с отцовской привычкой чуть что прикладываться к бутылке, чему я столько раз бывал свидетелем: чем больше заполучаешь, тем больше хочется, тем больше у тебя *возрастает* потребность хотеть еще больше. Я чувствовал, как все мои былые мечты скукоживаются. Чувствовал, как в моих желаниях словно поселяется какая-то хворь: для меня так много значило дозволение проникнуть в казино, где единственной ценностью были деньги, которые ты можешь там просадить; и я насквозь пропитался завистью и ревностью к лучшему другу, какой у меня был за всю жизнь… Я сам не понимал, что со мной творится. Мне было не по себе от тех чувств, какими заражал меня этот наркотик нужды. Но чего я никак не мог

сделать — так это прекратить употреблять его, — даже если бы сам того захотел. А я и не хотел.

Я вернулся в свою гримерку. Коридорный принес мне заказанное блюдо, пожелал удачного представления. Было время, когда я не мог есть перед выходом. Стоило мне поесть — и, пока я стоял на сцене, нервы сжигали все, что бы ни лежало у меня в желудке, причиняя мне сильную боль.

Но только не сегодня вечером.

Сегодня вечером я знал: все пройдет на ура. Худшее, что мне довелось испытать за время своего восхождения — от крикливых пьянчуг вместо публики до фанатиков южан, которые хотели меня удавить, и до прочих вех на этом тернистом, горестном пути, — все это осталось позади. То, что должно произойти в «Копе», было началом моего истинного начала: отсюда я должен взлететь в стратосферу, сделаться настоящей звездой.

Я без труда проглотил свинину.

В комнате появился Сид. Он вошел так тихо, что я даже не слышал его шагов. Я поднял глаза и увидел его. Я сообщил ему то, что считал неоспоримым фактом:

— Сегодня будет хороший вечер, Сид.

Он медлил с ответом. Когда ему наконец удалось разжать губы, он тут же сжал их, так и не

проронив ни слова.

— Что такое?

Сид глядел в сторону.

— Что такое? Ты дуешься на меня из-за Фрэн? Ну, я же сказал тебе, что позвоню ей.

— …Нет.

— Хорошо, давай я прямо сейчас позвоню ей, произнесу все, что нужно. Ты этого хочешь?

— Нет, Джеки. Не в этом… Тебе надо… — И он буквально спиной повернулся ко мне. — Удачного тебе выступления. — Сид явно что-то от меня утаивал. Вернее, пытался что-то утаить, но крайне неумело.

— Что происходит?

— Ничего. Ничего не происходит.

— Где ты учился врать — в монастыре? — Тут вырвалось мое самое страшное опасение: — Меня что, отменили?

— Нет.

Второе по важности опасение:

— Ты заболел? С тобой всё…

— Не волнуйся. Просто выступай хорошо. Шоу — вот что сейчас главное. Вот что важнее всего. А все остальное… остальное подождет.

Сид продолжал бекать и мекать, но так и не ответил на мой вопрос о том, не болен ли он. Я

подошел к нему, взял его за плечи и развернул лицом к себе: мое сочувствие и озабоченность обернулись грубостью.

— Рассказывай! Что бы там ни было, рассказывай, черт возьми!

Секунда или две — молчание. Сид пытался заговорить. Он совершал над собой такие усилия, будто глыбы ворочал. Наконец пожелавшие выходить наружу слова слетели с его уст.

Он проговорил:

— Тебя не застали «У миссис Шо», поэтому передали мне. Я хотел подождать, пока не… Я понимаю, как важно для тебя это представление, но… Позвонили из Нью-Йорка. Твой отец… — Тут Сид осекся. Вот оно что. Больше он ничего не смог из себя выдавить. И, по правде говоря, больше мне ничего и не нужно было слышать.

Умер.

В течение минуты-другой никто из нас не проронил ни слова, не зная, что сказать.

Мой отец умер.

Сид первым нарушил тишину:

— Если хочешь, я поговорю с Джеком…

— Не надо.

— Он все поймет. Ведь речь о твоем отце.

— Сид, я выступаю сегодня. Я выхожу на сцену.

Шоу должно продолжаться, и все такое. Мой отец умер, ну и что?

У Сида был такой ошарашенный вид, будто его ударили камнем по голове.

— Ну так что теперь? Ты его когда-нибудь со мной видел? Ты когда-нибудь видел, чтоб он пришел в зал поддержать меня? Ты вообще хоть раз его видел, Сид? Он умер, это грустно, но точно так же бывает грустно, когда умирает любой другой человек, которого сбила на перекрестке машина и которого я никогда не знал. Не могу же я отменять представление всякий раз, когда умирает бог знает кто.

Сказав это, я сам себя убедил: мой отец — бог знает кто. Мне наплевать.

Сид ничего на это не сказал. Сид просто глядел на меня… глядел на меня…

Сид ушел.

Наконец клуб наполнился народом, пора было начинать представление, и я вышел на сцену — снова вступил в эту пустоту, поджидавшую меня.

Я хорошо выступал.

Я хорошо выступал первые три минуты из моих шести с половиной. А потом я дошел до номеров, где речь шла о моем отце-пьянице. И

тут не выдержал. Я не сломился и не расплакался, я не распустил нюни — ничего такого. Я просто объявил со сцены, что мой отец умер, — и моментально все смешки стихли. Обычно всегда так бывает, если начинаешь говорить в комедийном представлении о реальных людях, которые умерли. Правда, раздалось жидкое хихиканье: видно, кто-то решил, что я заготовил чертовски смешную шутку.

Ничего подобного. Меня внезапно охватил острый приступ вины, который никак не проходил. Я заговорил о том, что мой отец никогда мне не помогал, что он избивал меня, что, по моему убеждению, он свел в могилу мою мать. Я вовсе не собирался в свой первый вечер в Лас-Вегасе трепаться обо всем этом, но мое горе словно затянуло меня в канаву, из которой я никак не мог выкарабкаться. Я уже, как камикадзе, летел носом в землю. Вся эта безобразная сцена продолжалась от силы минуту. Или меньше. Но даже без малого минуты такого безумного трепа оказалось достаточно, чтобы любая толпа успела растерять улыбки. В течение следующих ста двадцати секунд я трудился как мог, старался снова отвоевать зрителей, чтобы Эдди ожидала публика, настроенная не на поминки, а на радость.

Мне это удалось. Кое-как. Со сцены я уходил под смущенные и нестройные хлопки.

Джек был в ярости — я не просто запорол свой первый вечер, но еще и превратил его клуб в морг, — но Сид отвел его в сторону, объяснил ему, что байки про моего отца не были байками. Он действительно умер. Джека это не охладило, но что ему оставалось делать? Он понимал: если Фрэнку станет известно, что он устроил мне взбучку из-за того, что у меня скончался отец, тот семь шкур с него сдерет.

Пока Сид с Джеком мирились, я просто сидел молча: мне было тошно и с каждой секундой делалось все тошнее. Чувства, от которых я пытался отмахнуться, повергали меня. Чувства, с которыми я ничего общего не желал иметь. Угрызения совести, раскаяние, печаль…

Чего мне в этот момент хотелось, в чем я испытывал потребность — так это или выпить, или сесть за рулетку, или затеряться в Лас-Вегасе, погрязнуть в болоте всех тех грехов, какие тут предлагались. Но тогдашние правила предписывали мне сидеть за сценой, в гримерке, подальше от лилейно-белых расистов. Сидеть там — или отправляться к себе в Вест-Сайд.

Я подумал, не позвонить ли Томми.

Она закрутилась. Я закрутился. Прошло уже много времени с тех пор, как мы в последний раз разговаривали с ней. Я знал: стоит мне услышать ее голос — и мне сразу станет если не хорошо, то намного лучше.

Мне захотелось позвонить Томми.

Но Томми работала сейчас над записью своей пластинки. А я находился в таком настроении, что и сам опасался, как бы не вылить на нее по телефону неудержимый поток своих безумных эмоций. Через неделю, две недели — да нет, мы уже дольше не разговаривали с ней, — я вдруг вывалю ей новость об отце, наброшусь на нее, как только что на публику, со своей слабостью, слезами… Каково ей будет? Каково ей будет это вынести, как раз когда она готовится совершить решительный рывок в своей карьере? После того как я сделал все возможное, чтобы она отправилась в Детройт, — с какой стати я должен обременять ее своим безумием?

— С той стати, что она — твоя девушка, — возразил мне Сид. — А когда люди любят друг друга, они всем делятся друг с другом — и болью, и силой.

Сид делался красноречивым: к истине, которую он проповедовал, он пришел ценой личной

потери.

Я слышал сквозь стену, как там, на сцене, Эдди допевает «Синди, ах Синди». Слышал, как ему хлопают, восторженно свистят. Он отвоевал публику. Каким-то одним ему известным волшебством он влюбил в себя целый зал незнакомцев.

Тихо, будто сам себе, я сказал:

— Я столько раз желал ему смерти. Правда. Я не просто желал ему зла. Я хотел, чтобы мой отец умер. А теперь…

— Я понимаю, Джеки, тебе сейчас чертовски тяжело, но это пройдет. Ты должен понять, ты должен поверить: где бы ни был сейчас твой отец, он знает, что ты его любишь. Он это знает и прощает тебя.

Я поднял голову. Поглядел на Сида, издал гулкий смешок: опять он неправильно меня понял.

— Ты не так понял мои слова. Я столько раз хотел его смерти, а он решил дождаться моего первого вечера в Лас-Вегасе, чтобы наконец помереть. Сукин сын! Даже мертвый — продолжает мне пакостить.

* * *

Ирония. Шаблонность мышления. Не знаю уж что. Ирония, шаблонность мышления заставили

меня думать, будто отец нарочно дождался моей премьеры в Лас-Вегасе, чтобы умереть. Я оказывал ему слишком большую честь. Он не сумел бы так ловко подгадать, даже если бы сценарий написали в Голливуде. А было так: многолетнее злоупотребление наркотиками ослабило его организм. Его хватил… удар, вроде паралича, и он разом онемел и обезножел. Шли дни, и отец — молча, неподвижно лежа на полу квартиры, — медленно и мучительно умирал от истощения. Протекло еще сколько-то дней, прежде чем его обнаружили. Смрад от разлагавшегося тела стал единственным вестником его смерти. Всего с того дня, когда отец перебрал и с ним случился удар, до того дня, когда нашли труп, минуло больше недели. Больше недели. Так что он умер не в день моей премьеры в Лас-Вегасе: в тот день до меня лишь дошла весть о его смерти.

Сид и Джек договорились между собой насчет того, кто заменит меня в оставшиеся дни, указанные в договоре. Найти исполнителя, который хотел бы поработать две недели в «Сэндз», было проще простого.

Я превратился в клубок перепутавшихся эмоций, и Сид отвез меня обратно в Нью-Йорк. Как это было много лет назад с моей матерью, бабуш-

ка Мей взяла на себя бóльшую часть похоронных хлопот, в том числе — чего не случилось, когда хоронили маму, — нашла достаточное количество плакальщиков, чтобы создавалось впечатление, будто мой отец при жизни что-то для кого-то значил. Мей распустила слух, что приготовит угощение для поминальной трапезы. На эту приманку кое-кто и пришел в церковь.

Гроб оставался закрытым. Я не хотел видеть отца. Не думаю, что и кто-то еще пожелал бы его видеть. Я знал — никто не захочет увидеть его руки, его пальцы, стертые до мяса, до кости, пока он тщетно и бессильно цеплялся за половицы и постепенно, день за днем, умирал.

Сид привел в церковь Фрэнсис. По его словам, она сама настояла на том, чтобы приехать. Выразила мне соболезнования. Похоже, Фрэнсис была искренне опечалена, хотя и знала, что за человек был мой отец.

Взяла меня за руку, стиснула:

— Все в порядке, Джеки.

Я понимал, что она не об отце моем говорит. Я понимал: она говорит о том, что я не пришел тогда на ее выступление у Салливана. И несколькими этими словами — «Все в порядке, Джеки» — она дала мне понять: как бы я ни вел себя, как

бы я ни поступил с ней, ничего для нас не поменялось. Как и прежде, в точности как всегда, она оставалась моим другом.

Оба Фрэнка — Синатра и Костелло — услышали о кончине моего отца. После моего выступления в «Сэндз» они не могли об этом не прознать. Оба прислали венки на похороны, кое-какие денежные суммы — на покрытие моих расходов.

Фрэнк — Синатра — позвонил мне, чтобы высказать сочувствие и поддержку. Мы с ним немного поговорили, хотя мне не верилось, что он станет попусту тратить на меня время. Но он, похоже, не спешил отделываться от меня: мол, как дела, малыш, отлично, ну, мне пора. Покончив с соболезнованиями, он перешел на другие темы, поинтересовался, что я поделываю. Я сказал, что Сид устроил мне выступление в «Слапси-Максиз» недели через две — это будет мое первое шоу на побережье, в городке западнее Лас-Вегаса, где живут все идиоты.

Фрэнк посмеялся над этим. Поздравил, сказал, что «Максиз» — модное место, что иногда среди публики там попадаются и перчинки в виде пролетариата. Если я там хорошо выступлю, мне светит большой успех в дальнейшем. И добавил, что, раз уж я буду в Голливуде, то мне нужно

непременно забежать в «Сайрос» и посмотреть на Смоки[37].

— Смоки?

— Сэмми. Он возглавляет трио. У парня потрясающее шоу.

Я ответил Фрэнку, что это было бы здорово, но, говорят, когда выступает Сэмми, то на его шоу остаются только стоячие места. Пробиться туда практически невозможно.

— Об этом не беспокойся, дружище. Твое дело — добраться до «Сайрос».

Фрэнк закончил разговор.

* * *

В отличие от большинства людей, которые только что схоронили родню, я сразу же после погребения превратился в настоящего тусовщика. Я шлялся по всем клубам и ночным заведениям, побывал в каждой дыре, где предлагалась музыка со спиртным или любыми другими законными развлечениями. Я занимал всякую свободную минуту дня танцами и выпивкой, потому что, если хоть одна минута оставалась свободной, то

[37] Примечания: 37

Смоки (букв. «Закопченный») — шутливое прозвище Сэмми Дэвиса-младшего.

в эту минуту мне в голову лезли мысли об отце, и мысли эти были паршивыми.

Какая несправедливость!

Он делал мне гадости. Он издевался надо мной. Мне было безразлично, что он умер. У меня не было оснований огорчаться из-за его смерти… а мне было не по себе. Чувство вины — так это принято называть. Оно проникало, просачивалось в меня, и никакое бухло, никакой джаз не в силах были его вытравить.

Бежать отсюда!

Мне нужно бежать отсюда. Прочь из этой старой квартиры, где я так надолго застрял, прочь из Гарлема. Прочь от прежней жизни. Я быстро приискал себе новое жилье, в Мидтауне, и стал паковать вещи. Взять с собой самое необходимое — ничего лишнего. Никаких памятных мелочей. Никаких реликвий. Ничего из вещей отца. Все отцовское я сплавил мусорщику. Никакой багаж больше не обременял меня. Отца я схоронил, а теперь мне хотелось схоронить в соседней яме мое прошлое.

Наступил канун моего отъезда. Я уже был почти собран. И вдруг пришел Малыш Мо. На похороны он не приходил, так что мы не виделись уже много лет — с того самого дня, как я ушел из

грузчиков, а он так со мной обошелся, как будто я пытался соблазнить его сестру.

Я открыл дверь — он стоял на пороге. Он изменился. Не просто повзрослел. Он стал серьезным. Очень серьезным — но не так, как обычно бывает, когда человек думает о чем-то. Скорее, у него был такой вид, будто свою серьезность он всегда носил теперь с собой, как носят часы или бумажник.

Я улыбнулся, когда увидел его, и он тоже изобразил что-то вроде улыбки. Мы неуклюже обнялись и обменялись замечаниями насчет того, как каждый из нас хорошо выглядит.

Я пригласил Малыша Мо войти.

Он не был против.

Потом мы постояли секунду-другую на месте. Похоже, нам и сказать-то друг другу больше нечего.

Как странно. Между нами было метра полтора, не больше, но с таким же успехом нас могла бы разделять целая миля. Мы с ним двигались по жизни в противоположные стороны, набирая скорость, и никакое радушие в мире не могло бы покрыть этого расстояния за то короткое время, в течение которого мы должны будем превратиться просто в двух парней, когда-то знавших друг

друга. В чужаков со знакомыми лицами.

Я поблагодарил Малыша Мо за соболезнования, которые он мне послал.

— Мне было жаль, когда я узнал, — сказал он. — Твой старик был…

— Ублюдком?

Он улыбнулся — на сей раз искренне.

— Все равно, терять близких — всегда горе.

Я пожал плечами, не желая вдаваться в подробности сложных, двойственных чувств, связанных у меня с отцом.

Вместо этого я спросил:

— Ну а ты-то как?

— Работаю сейчас в «Таймс».

— В «Таймс»? Молодец. — Я изобразил энтузиазм. — Здорово, просто отлично. Ты всегда был толковым, с головой на плечах. Ну, значит, тебе удача привалила…

— Загружаю газеты в грузовики, — оборвал меня Малыш Мо. Он произнес это таким тоном, как будто в этой работе не было ничего плохого. Но стало понятно, что и ничего хорошего в ней тоже нет.

Я даже не знал, как на это реагировать: умерить ли свои похвалы или пожелать ему при первом же случае бежать от такой работы, как от чумы.

— Но ты-то хорошо устроился, Джеки.

Притворно-скромно:

— Пожалуй, неплохо.

— Не пожалуй, а точно. Все время твое имя в газетах вижу. Вижу, ты то в одном клубе, то в другом работаешь.

— Ты бы как-нибудь зашел, — предложил я. — Поглядел бы представление.

— Ага. Ну да, я бы не прочь. Только, я думаю, меня не пустят на шоу в «Копакабану». Наверно, в «Аполло» я бы еще мог тебя увидеть. Наверно, да. Только вот ты никогда не выступаешь в «Аполло». — Он таким тоном обронил это замечание, будто ножом в бок меня пырнул.

Я решил переменить тему разговора, начав было:

— Ну, знаешь, Малыш Мо, что я тебе скажу…

— Моррис. Я больше не Малыш Мо. Все, вырос.

К той пропасти, что уже разделяла нас, вмиг прибавилось расстояние еще в полмили.

Моррис оглядел мои упакованные пожитки. И не столько спросил, сколько сказал:

— Значит, меняешь жилье?

— Ну, просто перебираюсь поближе к центру.

— Нам тут не хватать тебя будет.

— Но ведь Мидтаун — не Китай. Ты сам знаешь,

что можешь…

— Я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что нам нельзя терять своих собратьев. Это неправильно.

— Неправильно — что? То, что негры добиваются успеха, что переезжают в кварталы получше?

— Переезжать — это значит уезжать, оставляя здесь свой народ. Выходит, ты делаешься успешным чернокожим, только когда не обязан уже жить вместе с другими чернокожими.

Ну так вот, когда ты — когда собратья вроде тебя уезжают отсюда, неправильно получается.

— И что же, мне тут оставаться только для того, чтобы это выглядело прилично в глазах других негров…

— Надо говорить — «чернокожие».

— А тебе не кажется, что в глазах других *негров*, — я нарочно сделал упор на этом слове, — прилично выглядит то, что я упорно работал и заслужил право жить в хорошем районе…

— Гарлем для тебя плох?

— Я не сказал… — Только тут я осознал, как тяжело дышу. Этот разговор отнимал у меня столько сил, будто я бежал в гору с карманами, набитыми свинцом. — Здесь у меня больше ничего нет.

— А как тут может что-то быть для кого-нибудь,

если все чернокожие вырываются отсюда, стоит им чего-нибудь добиться?

— Хватит об этом. Мне-то что до того, как поступают другие. Я о себе говорю. Какая разница — уеду я или останусь? Один человек ничего не решает.

Моррис кивнул, как будто понял меня. Кивнул, но тут же сказал:

— Не просто один человек. Еще один человек.

На этом мы и закончили разговор. Закончили настоящий разговор друг с другом. Еще немного поболтали о спорте, о музыке. О предметах, о которых можно было поговорить, не поскользнувшись. Но нам обоим было ясно, что мы болтаем только для того, чтобы у нас не возникло чувства, словно мы ничего не сделали для сохранения нашей былой дружбы, от которой осталась одна видимость.

Сказав:

— Ну, мне, наверное, уже пора. — Моррис дал мне понять, что игра окончена.

— Приятно было с тобой повидаться, Ма… Моррис.

Мы снова неуклюже обнялись, и Моррис ушел.

Я закрыл за ним дверь.

* * *

— Что-нибудь случилось, Джеки?

Звонила Томми.

— Нет, — солгал я. — Всё… Всё в по…

— У тебя такой невозмутимый голос.

— Я просто… знаешь, просто…

— Если ты хочешь мне что-то рассказать…

— Я просто немного устал.

Я и сам точно не знал, зачем вру. Нельзя сказать, что смерть моего отца была каким-то особенно травмирующим событием, от которого Томми следовало оберегать, — тем более что рано или поздно она все равно узнает, что он умер. Но у меня имелись свои причины, множество причин, поступать так. Я не хотел обременять Томми своим горем — ведь она сейчас записывала пластинку. Я не хотел, чтобы она тревожилась из-за меня, — ей и так хватало тревог из-за собственной карьеры. Запись идет медленно, но успешно, сообщила она. Песня звучит хорошо, сказала она. Еще она сказала, что подумывает о сценическом имени для себя. Сказала, что «Тамми» кажется ей задорнее, благозвучнее, чем «Томми». Так пускай лучше думает о себе, обо всем этом, а про отца моего нечего думать.

А еще правда состояла в том, что в эту минуту мне не нужна была ничья забота. Мне не нужно было больше ничьего сочувствия, не хотелось очередных расспросов о том, как я держусь. Не хотелось пускаться ни в какие объяснения по поводу моих запутанных чувств, вызванных смертью отца. А главное — я не хотел, чтобы мне напоминали об этих чувствах, чтобы мне снова пришлось справляться с ними. Так что лучшим выходом было все отрицать. Прежде всего ради самой Томми. Вот что я говорил тогда себе: говорил, что то, что я делаю — лгу, — я делаю ради нее.

Томми ничего этого не поняла.

Все, что Томми поняла по моему спокойному голосу, по моему сдержанному, уклончивому тону, — это что ее пытаются оттолкнуть, тогда как на самом деле мне больше всего на свете хотелось прижать ее к себе.

Она сказала, что примерно через неделю будет выступать в «Рив» в Атлантик-Сити. Сказала, что очень хочет, чтобы я туда приехал. Даже если она не разглядит меня со сцены, ей просто хотелось знать, что я где-то среди публики. Сказала, что больше всего на свете хочет быть рядом со мной.

Я ответил, что на той неделе, когда она будет в

Атлантик-Сити, я буду работать в «Слапси-Максиз» в Лос-Анджелесе.

В день ее премьеры я послал Томми цветы и открытку с пожеланием «ни пуха ни пера».

Часть V

Голливуд трясло. Голливуд колотило. Удары сыпались со стороны маленького деревянного ящика с катодной трубкой. Телевидение, в ту пору все еще нью-йоркская штучка, перехватывало у Голливуда работу и переманивало зрителей. Голливуд ненавидел телевидение. Голливуд ничего не мог поделать с телевидением.

Студиям тяжко пришлось в те годы метаний между их «золотым веком» и тем временем, когда они наконец подняли руки вверх и принялись поставлять ящику свои программы. Поскольку ничего другого не оставалось, Голливуд продолжал делать то, что у него так хорошо спорилось: воздвигал фальшивые декорации роскоши и многозначительности. Он по-прежнему потягивал коктейли на палубе корабля, медленно идущего ко дну.

Голливуд — больше идея, чем реальное средоточие, — по-прежнему представляв собой одну бесконечную пышную римскую оргию — со спиртным, наркотиками и страстями. Входной билет: звездный статус. Это по-прежнему было

место, где студийные жирные коты масштаба Луиса Майера[38]могли спасти от тюрьмы и от скандалов в желтой прессе кого-нибудь из своих звезд-пьяниц, сбивших на дороге незадачливого пешехода и смывшихся с места преступления. Это было место, где каждый день в четыре часа все дела в студии «XX век-Фокс» замирали на то время, пока потребности Даррила Занука[39] удовлетворяла претендентка в старлетки под номером 32. Это было место, где Гарри Кон мог взять девицу вроде Маргариты Кансино, выщипать ей брови, изменить ей электролизом линию волос, перекрасить, диетой превратить ее в секс-бомбу, предать забвению ее латиноамериканское происхождение, и — вот вам — Рита Хейуорт[40].

Голливуд постоянно занимался такого рода

---

[38] Примечания: 38

Луис Майер (полн. имя — Луис Берт Майер; 1885–1997) — кинопродюсер, выходец из России; гражданин США с 1912 г. Основал компанию «Метро-пикчерс», которая затем влилась в «Метро-Голдвин-Майер» («МГМ»).

[39] Примечания: 39

Даррил Занук (Зэнэк; 1902–1979) — кинопродюсер и сценарист. В 1931–1933 гг. возглавлял студию «Уорнер бразерс». Затем, совместно с Дж. Шэнком, создал студию «XX век», позднее (после слияния в 1935 г. с компанией У. Фокса «Фокс-филмз») ставшую компанией «XX век-Фокс».

[40] Примечания: 40

Рита Хейуорт (1918–1987) — звезда Голливуда 40-х гг.

трансформированием — производством звезд. Констанс Оклман преобразилась в Веронику Лейк. Иссур Демски — в Кирка Дугласа. Бетти Джоан Перск стала Лорен Бэколл. Бернард Шварц? Ну, как же — Тони Кертис. Иногда — потому что Голливуд оставался Голливудом и делал что хотел, — такие маленькие чудеса творились шиворот-навыворот. Ава Гарднер так и родилась Авой Гарднер, но студийная артиллерия из рекламной службы трубила по всему миру, что ее настоящее имя — Люси Энн Джонсон, чтобы честь изобретения такой девушки приписывалась все тому же Тинселтауну[41].

А в свободное от ковки собственных талантов время фабрика грез рыскала по заморским странам в поисках местных звезд и тащила их с собой в Штаты: Брижит Бардо, Джина Лоллобриджида, Лилия Дэви, Софи Лорен.

Голливуд, США. Если у них чего-то нет, они создают это. Если не могут создать — крадут. Если не могут украсть — велят ребятам из прессы убедить вас, что вам это совершенно не нужно. Их единственная настоящая забота — производить славу, деньги и власть любыми и

---

[41] Примечания: 41

Тинселтаун — ироничное прозвище Голливуда, которому по-русски соответствует «Мишуринск».

всеми возможными средствами.

Существовало ли в целом мире место более идеальное?

Июнь 1959 — январь 1960

Поезд-экспресс доставил меня на Запад. Я не был в Лос-Анджелесе уже годы — с тех самых пор, когда пересадка с поезда на поезд по пути в штат Вашингтон дала мне возможность пару минут поискать взглядом надпись «Голливуд». Тогда я не сумел рассмотреть ее.

Теперь, спустя не так уж много лет, сидя за рулем арендованной машины и направляясь от вокзала «Юнион-Стейшн» к своей гостинице, я ясно увидел эту надпись: огромные белые буквы — каждая, казалось, в целую милю высотой, — на холмах, которые отделяют Лос-Анджелес от соседствующих с ним городков побережья. Город остался таким, каким я его видел и тогда: солнечный свет, открытые пространства. В действительности это было скопление небольших населенных пунктов: Бойл-Хайтс, Силвер-Лейк, Эко-Парк, Лос-Фелис, Инглвуд, Брентвуд, Вествуд и — Голливуд. Все они, как жемчуг, снизаны вместе, связаны между собой бесконечными грунтовыми дорогами, городскими улицами и скоростными шоссе, которыми можно добраться куда пожелаешь — в город, на взморье, в горы или

в изрядно пересеченную сельскую местность. Там было все сразу в одном месте. Там было сразу много всего. Много, очень много. Всё в Лос-Анджелесе кричало о росте, о новых возможностях. Здесь был аванпост Америки, самый дальний край нашей страны. Этот край напоминал остальную страну, но отказывался принимать ее культуру и обычаи, взамен выбирая беззаботное существование. То ли из-за жары от никогда не исчезающего солнца, то ли из-за слабого развития других ремесел, за исключением развлекательного бизнеса, здесь ощущалась какая-то особенная легкость и мечтательность, реявшие над непрерывной сумятицей той единственной индустрии, что процветала в этих местах: как сделаться знаменитым, как остаться знаменитым, как вновь завоевать утраченную славу. После толкотни и толчеи, после прохладного обращения, после неоднократных тумаков — не даешь сдачи, тогда утрись, — что постоянно сыпались на тебя в Нью-Йорке, тут, в этом пуэбло, непринужденный поток жизни походил на теплые и дружеские объятия, как бы говорившие: не торопись, отдыхай. Всё придет к тебе в свое время. В *свое* время. А покуда где-то, каким-то образом это «все» меня поджидало. То, что мог мне предложить Голливуд, — таилось

поблизости, подобно припрятанному подарку, который оставалось лишь отыскать, чтобы вступить в обладание им.

Приехав в Лос-Анджелес на две недели, я остановился в «Сансет-Колониал». Эта гостиница была нулевой точкой отсчета для великого множества всяких актеров и актрис, только что спрыгнувших с автобуса. Она кишела накачанными парнишками и крашеными блондинками. Они приехали сюда, на Западное побережье, преисполнившись намерений стать звездами. Намерений-то у них было хоть отбавляй, но вот как достичь своей цели — об этом они явно не имели ни малейшего представления. Поскольку им ничего больше не оставалось, они сделали своим единственным занятием заботу о собственной внешности. Их прибежищем стал бассейн. Там они околачивались день-деньской, притворяясь, что заняты делом, и ожидая, что кто-нибудь их заметит.

Ожидание.

Они были готовы ждать сколько угодно или ждать до тех пор, пока это ожидание не ломало их волю, — и тогда они нехотя возвращались к той прежней жизни, какую вели до поездки в Лос-Анджелес.

Я добрался до «Колониал». Парень у стойки регистрировал меня с очень деловым видом. Этот деловой вид он сохранял до тех пор, пока я как бы случайно, а на самом деле нарочно, не обронил, что буду работать в «Максиз», что я уже работал в «Копе» и в «Сэндз», что я — театральная знаменитость. После этого парнишка, обращаясь ко мне, без конца именовал меня «мистером Манном».

В Лос-Анджелесе, в Голливуде, была такая странная штука: в отличие от остальной Америки, вконец запутавшейся в расовом вопросе (где-то цветных притесняли, где-то их превозносили, пытаясь загладить либеральное чувство вины), единственный цвет, который замечали в Голливуде, был зеленый: ты зарабатываешь для кого-то деньги, приносишь прибыль и получаешь дивиденд, значит, тебя любят все поголовно, и никому не важно, кто ты такой. Парень за гостиничной стойкой явно надеялся, что я его с кем-нибудь познакомлю, «введу» его в какое-нибудь местечко, где собираются всякие шишки, — и потому был со мной сама вежливость.

Тот же теплый прием оказывал мне и прочий персонал. Чистильщик Гектор; метрдотель Рик; горничная Дори Уайт, милая чернокожая девушка с постоянной улыбкой на лице — точно такой

же, какие бросали в мою сторону звездульки-стажерки, прохаживавшиеся вокруг бассейна почти в чем мать родила. Впрочем, их улыбки были дешевой показухой. Уж я-то знал, что настоящий товар они приберегают для киномагнатов и режиссеров, для знаменитых актеров, которые могли бы что-то сделать для их карьеры. Все, на что мог надеяться тип вроде меня, — это белозубые улыбки на расстоянии. Я не обижался. В Голливуде, если ты не в состоянии предложить что-нибудь, то ты — ничто; а люди, ожидающие чего-то от других людей, — это просто бизнес. Другое дело, что один вид этих околобассейных девиц — женщин, которые в любом другом городе слонялись бы по перекресткам, подзывая свистом проезжающие мимо машины, — заставил меня возблагодарить небо за то, что у меня есть такая девушка, как Томми.

В отличие от других клубов, где я работал раньше на разогреве, готовя публику к выступлению главного номера — какой-нибудь знаменитости, — «Слапси-Максиз» представлял собой как бы демонстрационный зал: тут всю ночь напролет выступали разные исполнители, один за другим. Отличное место для агентов, искателей талантов, представителей студий: тут всех можно

было увидеть на сцене живьем. Сделки заключались прямо в баре, за выпивкой: кого-то звали на ТВ, кого-то в кино, кого-то в студию звукозаписи. Твоя карьера, твоя жизнь; требовалось лишь одно блестящее выступление, чтобы изменить их раз и навсегда. Это читалось в глазах актеров, которые будто рентгеном просвечивали толпу студийных соглядатаев, отчаянно пытаясь разглядеть того единственного, который вознесет их на высоту, с которой уже и до бессмертия рукой подать.

Я три раза блестяще выступил. В первые три вечера в «Максиз» у меня был бешеный успех. Публика чуть не лопалась со смеху.

Никто мне ничего не предложил, никуда не позвал.

Ни телевидение, ни кино не были готовы к очередной чернокожей сенсации. Они явно не знали, что им делать с теми цветными, которые у них уже имелись. Я сидел в баре один-одинешенек. Сговорчивая девица поджидает охмурялу, но тот так и не появляется. Именно в такой роли я и оказался. Я бы легко дал себя уломать, сказал бы что угодно, сделал бы что угодно, чтобы потрафить какому-нибудь типу со связями. Но никто не желал уламывать меня.

В четвертый вечер, после четвертого удачного

выступления, в четвертый раз понаблюдав, как менее значительные исполнители сидят за столиками и беседуют с вербовщиками со студий, я решил, что мне нужно что-то с собой делать. Но только не возвращаться обратно в «Колониал», не глазеть на свое отражение в десятке фальшивых улыбок.

Прочь отсюда! Я вскочил в свою арендованную машину, махнул на бульвар Сансет — дразнящую полосу сверкающих огнями ночных заведений, где можно пить, танцевать или просто выступать на сцене. Я оказался около ночного клуба «Сайрос». Это недалеко от гостиницы «Колониал», к тому же не найти «Сайрос» было просто невозможно. Нужно лишь отыскать взглядом длинную очередь. На Западном побережье всегда выстраивались очереди, когда лучшие исполнители должны были выступать в лучших ночных клубах. В ту ночь очередь растянулась на целый квартал. Эта толпа пришла посмотреть на Сэмми Дэвиса-младшего.

Официальная надпись на афише гласила: ТРИО УИЛЛА МАСТИНА ВО ГЛАВЕ С СЭММИ ДЭВИСОМ-МЛАДШИМ — два других участника были его отец и дядя. С таким же успехом афиша могла бы гласить: СЭММИ ДЭВИС-МЛАДШИЙ И ЕЩЕ

ПАРОЧКА НЕГРОВ. Сэмми был артист-универсал. Он умел петь, танцевать, изображать, травить байки, играть на инструментах, показывать фокусы с пистолетом… Умел — и проделывал все это. Проделывал это, и снова проделывал, и еще немного проделывал, а потом на бис еще час развлекал вас на всю катушку. Шоу заканчивалось не потому, что Сэмми утомлялся, а потому, что ты так уставал на все это смотреть, что просто не мог больше развлекаться.

Мистер Развлечение — так его называли. Как и его бродвейское шоу, его называли Мистер Чудо. И это было правдой. Но вообще-то следовало бы называть Мистер Можешь-Встать-в-Очередь-Чтобы-Его-Увидеть-и-Прождать-Несколько-Часов-но-Это-Не-Означает-Что-Сможешь-Достать-Билет. Он собирал такие толпы, что даже публика, приходившая на Синатру, казалась не настолько многочисленной, чтобы не уместиться в одном хобокенском виски-баре. Если бы по соседству должен был выступать Сэмми, Иисусу не удалось бы провернуть свой фокус с водой и вином. Все, на что я мог надеяться, — это, может быть, *может быть*, проникнуть по ту сторону входной двери. Но мне так хотелось отведать хоть немного Голливуда. Хотелось попытать счастья. Еще

около двухсот человек, тоже решивших попытать счастья, переминались с ноги на ногу на улице. Я направился к входу в клуб, прошел мимо нескольких узнаваемых лиц. Звезды. В основном телеперсонажи. Не то чтобы слишком крупная рыба, но по меньшей мере раза в три крупней меня. Раз уж они не могут пройти…

В дверях, за бархатной веревкой, стоял хмурого вида молодой парень в костюме, скрестив руки на груди. Все равно что кирпичная стена.

Я сказал:

— Я — Джеки Манн. Я пришел посмотреть шоу.

— Все остальные — тоже, — ответил парень, кивком показав на толпу людей у меня за спиной — на случай, если я их не заметил.

— Мне сказали, тут для меня будет оставлен билет.

— Ага. Билет. У нас тут пропасть билетов для таких вот шутников, которые являются в последнюю минуту. Один билет или сразу полсотни? — Парень неплохо язвил. Наверно, сказывалась ежедневная тренировка.

— А можно как-нибудь…

— Можно. Нужно только встать в очередь вместе со всеми остальными и подождать, не останется ли у нас свободных мест.

Я бросил взгляд на «всех остальных». Еще бы человек десять — и можно было бы подавать петицию о создании отдельного штата.

Я отошел от парня за бархатной веревкой. Мое место немедленно занял мужчина постарше в сопровождении полногрудой женщины с рыжими волосами. Вид у этого типа был такой, как будто он точно знал, что добьется милостей от своей подружки лишь в том случае, если сумеет переправить ее через этот бархатный рубеж.

Хорошо еще, что «Сайрос» не так далеко от «Сансет-Колониал». Сейчас быстро доберусь до гостиницы, поднимусь к себе в номер, может, почитаю. Может, телевизор посмотрю. Может, просто посижу и понаблюдаю за тем, как ночь превращается в день. Во времени я не стеснен.

— Мистер Манн!

Я обернулся. Это был караульщик бархатной веревки. Только он уже не стоял за бархатной веревкой. Он бежал в мою сторону, поблескивая каплями пота, которые вряд ли выступили у него из-за той пары ярдов, что ему пришлось преодолеть, чтобы меня настигнуть.

Затарахтел:

— Мистер Манн, извините меня. Я не… Я был в отпуске на прошлой неделе, и мне никто не ска-

зал, что… У нас заказан для вас столик, сэр, и если вы согласитесь пройти со мной… Пожалуйста.

Вот что я вам скажу: это его «пожалуйста» звучало не как просьба — как мольба. Мальчишка готов был разрыдаться, он уже готов был оплакивать свое место, с которого его, без сомнения, прогонят, если ему не удастся вернуть меня в клуб. Я-то не хотел, я даже не знал, нужно ли мне было сразу ссылаться на Фрэнка. Но было совершенно очевидно, что страху на парня нагнал не я сам, а одна только тень Синатры.

Упираться я не стал.

— Конечно, малыш, — небрежно бросил я тоном человека из мира шоу-бизнеса. — Показывай дорогу.

И он повел меня, ступая быстрыми шагами и слегка трясясь всем телом, мимо очереди, бросавшей на нас возмущенные взгляды, и впустил внутрь. Он продолжал оправдываться:

— Простите меня. Я не… Я и понятия не имел…

— Не переживай так, старина. Все мы ошибаемся. Будешь расторопнее — глядишь, еще и чаевые заработаешь.

Парнишка подвел меня к другому малому, постарше, в черном галстуке. Тот, похоже, нервничал ненамного меньше. Он представился:

— Герман Хоувер. Простите нас, Джеки, тут произошло недоразумение. Если бы вы сразу сказали Максу, что вы — гость мистера Синатры…

— Не люблю бросаться именами, — правдиво, но несколько горделиво ответил я.

Герман оказался приятным на вид парнем — с круглым, мясистым лицом. Между тонкими бровями и линией густых волос красовался лоб, похожий на рекламный щит. Фрак, отлично сшитый, сидел на нем не совсем так: казалось, ему куда удобнее было бы в шортах-бермудах и открытой рубахе поджаривать на лужайке за домом гамбургеры на гриле. Словом, он ничуть не был похож на человека, который владеет одним из самых модных заведений на бульваре Сансет.

Шагнув в сторону, Герман широким жестом пригласил меня в свой клуб.

И что за клуб!

Сказать, что он был роскошен, значило бы не сказать ничего. Сказать, что он был великолепен, значило бы сказать недостаточно. Шелковые скатерти, меню на французском, метрдотели в черных галстуках. Один только бар — атласные сиденья, спиртное высшего класса — был сущим раем для пьяницы. Все вместе производило такое впечатление, что по сравнению с этим «Копа» в

Нью-Йорке казалась каким-то карточным столиком с парой раскладных стульев.

И последний штрих: девушки. Девушки клуба «Сайрос». Гардеробщицы с прическами Авы Гарднер, продавщицы сигарет в коротеньких юбках поверх ажурных чулок. Как и обещала надпись при входе, это были «самые красивые девушки в мире», и уже ради них одних стоило потратиться на входной билет.

Если ты покупал входной билет.

Но если ты был знаком с такими парнями, как Фрэнк Синатра, то тебя проводили сюда бесплатно и оказывали теплый прием.

Заведение имело приличные размеры. Основной зал вмещал около пятисот человек, а еще около ста пятидесяти могло расположиться в банкетном зале, откуда также открывался вид на сцену. В этот вечер, похоже, сюда натолкалось, втиснулось, набилось под завязку раз этак в шесть больше народу. Казалось, все они — сплошь звезды. Рок Хадсон, Анита Экберг, Боб Митчум, Кирк Дуглас со своей миссис, Джимми Стюарт со своей миссис, Лилия Дэви с целой оравой поклонников, набивающихся к ней в любовники. Они кружили вокруг нее, не в силах противиться той силе притяжения, какой обла-

дала ее сексуальная привлекательность. В целом это зрелище смотрелось как собрание на горе Олимп. Все, как на подбор, — боги и богини. И все они просто сидели, болтали и пили, не обращая ни малейшего внимания на зевак по краям зала — рядовых зрителей, обычных лопухов с улицы, которым непостижимо повезло достать билеты на шоу и которые перешептывались теперь между собой и показывали пальцами на Голливуд во всей его красе.

Герман повел меня к столику. Я прикинул, что, раз тут такая давка, цветному вроде меня следует рассчитывать на место где-нибудь в тылах, вроде как мой номер в «Колониал». Вопреки моим предположениям, мы забирались в зал все глубже, глубже, пока не очутились в самом центре, впереди, и не подошли чуть ли не вплотную к сценической площадке. Там стоял столик, а на нем табличка: «ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО». Герман убрал табличку, а тот парнишка, Макс, выдвинул для меня стул.

Герман сказал:

— В будущем, мистер Манн, — вы только не подумайте, я не в порядке жалоб, — но, для общего удобства… Если бы вы только дали нам знать заранее, что придете… Мы держали этот столик

для вас каждый вечер, хотя — опять-таки, не в порядке жалоб, — хотя, разумеется, могли бы использовать это место.

— В будущем? Да я никак не поверю, что все это в настоящем происходит.

Не знаю, понял меня Герман или нет, но он рассмеялся так, словно понял. Макс, чтобы не оставаться в стороне, последовал его примеру.

Герман, а за ним и Макс, осведомились, как положено, не нужно ли мне чего, а потом удалились, и им на смену мгновенно появилась целая орава официантов. Один принялся накрывать на стол, другой перевернул стакан для воды, еще один стал наполнять его, тогда как его товарищ застилал мне салфеткой колени. Вожак этой стаи — темноволосый, темнокожий человек, наверное мексиканец, — порекомендовал мне кое-какие ночные деликатесы, которыми приятно будет полакомиться во время шоу. Я согласился, и он ушел, уведя за собой свое лакейское племя.

Я остался один.

Посреди примерно восьмисот улыбающихся, манящих друг друга пальчиком — «привет, дорогуша» — звезд, я, никому не известный негр, восседал в центре зала за столиком, накрытым на одного. Я не мог бы бросаться в глаза больше, если

бы на мне горели волосы. И мне тут же захотелось оказаться вместо этого в каком-нибудь клубе «с ограниченным доступом», прижатым к стенке. Не потому, что я заслуживал того, а потому что, сколько бы я ни притворялся, по сравнению со всеми присутствовавшими здесь, я был никем, я был чужаком.

Кто-то побарабанил по моему плечу. Я оглянулся. Мне стоило огромного труда не выпалить «Чак Хестон!» и вести себя так, будто в порядке вещей, совсем как солнце в полдень, то, что звезды барабанят меня по плечу, чтобы привлечь мое внимание.

Он сказал:

— Добрый вечер.

— …Добрый вечер.

— Как дела?

— Да вот, в городе. Выступаю в «Слапси-Максиз».

— Кроме шуток?

— Ну да.

— Обязательно приду как-нибудь посмотреть, лишь только появится между съемками свободное время.

— Я оставлю ваше имя на входе.

— Приятно было увидеться, — сказал он мне, а

сам краем глаза уже заметил кого-то из знакомых и заулыбался им.

— Приятно… — ответил было я, но осекся: Хестон уже отошел в сторону. Я-то прекрасно понимал, что он понятия не имеет, кто я такой. Но он видел, как Герман Хоувер сам проводил меня к столику и усадил рядом со сценой, и это в вечер аншлагового выступления Сэмми Дэвиса-младшего. Да, меня он не знал, но я понравился ему из-за своих знакомств. Для Хестона этого было вполне достаточно.

Раз уж этого не произошло раньше, то в тот момент я горячо влюбился в Голливуд.

Очень скоро погасли огни. Никакого разогрева не полагалось. Публика, которая пришла на это шоу, была уже разогрета, разгорячена и полностью готова. Прозвучало вступительное слово:

— Дамы и господа! Ночной клуб «Сайрос» с гордостью приглашает на свою сцену…

И тут этот бестелесный голос потонул в шквале аплодисментов и приветственного свиста. На сцену выскочили Сэмми Дэвис-старший и Уилл Мастин, и выскочили прытко, с гиканьем, в своей старой молниеносной танцевальной манере, и принялись лихо отбивать степ. Они отплясывали так около минуты — а лишь минуту, не более, по

правде говоря, толпа и желала их видеть, — потом засеменили назад.

Вновь заговорил конферансье:

— Во главе с Сэмми…

И тут его снова заглушили, на сей раз еще энергичнее, чем раньше. Звезды — крупнейшие голливудские звезды — повскакивали с мест и захлопали, завизжали, в точности как глупые девчонки-фанатки, когда на сцену неторопливо вышел Сэмми Дэвис-младший. Вышел так, будто у него имелось сколько угодно времени в этом вечнолюбящем мире. Вышел так, будто заявлял: «Мне все равно, кто вы, мне все равно, какими вы там себя считаете *крутыми* знаменитостями. Мое шоу — мои правила». И пусть эта публика сама сверкала блеском шоу-бизнеса, все они оказались в этот миг прихожанами в церкви Сэмми.

Первым его номером была «Черная магия». Он начал — и люди снова захлопали, а потом утихомирились, стали слушать и смотреть. Сэмми без остановок спел пару-тройку песен, станцевал. Все это время его папаша и Уилл Мастин просто неподвижно стояли на сцене. Ни дать ни взять парочка индейцев за стойкой сигарной лавки. Насколько же отчаянно нужно тянуться к миру шоу-бизнеса, чтобы соглашаться на роль деко-

рации?

Сэмми исполнил несколько номеров, снял урожай аплодисментов, потом чуть сбавил скорость.

Он подошел к краю сцены и произнес:

— Спасибо. Я очень, очень вам благодарен. От имени моего отца и Уилла Мастина позвольте мне сказать, что нам несказанно приятно снова выступать, во-первых, здесь, в этом великолепном ночном клубе «Сайрос», и, во-вторых, перед такой замечательной публикой — перед вами.

Чистая, правильная речь. В Сэмми была эта изюминка. Он выходил, устраивал представление — тут и водевиль, и негритянские песни, — сверкал этакой черной молнией, а потом вдруг ошеломлял вас речью, которая звучала так, будто пару часов назад он беседовал с королевой Англии, посвятившей его в рыцари.

— Будьте добры, окажите мне снисхождение всего на минуту. Сегодня вечером в зале очень много моих дорогих, дорогих друзей, но есть среди них несколько, о чьем присутствии не упомянуть было бы очень жаль. Разрешите представить вам человека, который не просто талантливый актер, не просто друг. Это человек, которого я считаю своим братом, — мистер Джеф Чандлер.

Аплодисменты. Луч прожектора. За столиком — парень с лицом, будто высеченным из камня, с густой копной черных траченных сединой, волос. Он полупривстал со стула, с ленцой махнул рукой — жест, полный скромности: «Да ладно вам, ребята. Я такой же среднестатистический труженик Голливуда, такая же звезда, как и все вы». Махнул он и Сэмми. Потом сел.

— А если и есть *настоящая* голливудская пара, так это — вот эти двое. Мои дорогие-дорогие друзья…

Были ли у него не дорогие-дорогие друзья?

— Мистер Тони Кертис и вечно обаятельная, вечно талантливая Джанет Ли.

Тони вскочил на ноги, играя роль не для прочих своих собратьев по экрану, а для горсточки рядовых посетителей, которые сразу заулюлюкали, как бы отказываясь верить, что оказались в *такой* близости к легенде шоу-бизнеса. Джанет с грехом пополам приподнялась со стула, разыграла удивление — «Как, это мне хлопают?» — словно до сей поры и не подозревала о своем статусе знаменитости.

Сэмми дождался, когда аплодисменты стихнут и в зале наступит настоящая тишина.

— Как вам известно, один из моих самых доро-

гих друзей в этом безумном мире шоу-бизнеса, человек, не будь которого, я бы, безусловно, не стоял сегодня перед вами… Это мистер Фрэнсис Альберт Синатра…

Я огляделся. Все стали оглядываться. Общий шепот:

— Синатра? Здесь?

Прежде чем этот шепот вышел из-под контроля, Сэмми оборвал его:

— Так вот, вам известно, что всякий друг Фрэнка — это и мой друг.

Мое сердце стало биться чаще.

— Он здесь, в этом городе, и выступает в «Слапси-Максиз»…

Речь шла обо мне. Этого не могло быть. Но…

— И если вы еще не побывали на его представлении, я вам настоятельно рекомендую это сделать, пока вы не окажетесь последним человеком на планете, кто этого не сделал, потому что этот молодой человек — безусловная сенсация. Он далеко пойдет — говорю вам это кроме шуток. Дамы и господа…

Боже… Господи… Он же объявляет…

— Мистер Джеки Манн!

Тут же меня ослепил сноп света, оглушил грохот двенадцати сотен рук, хлопающих в мою

честь. Хлопки. Свист. Все это — мне.

А я сижу и сижу себе сиднем. Это после всех-то представлений, которые я дал, после всех тех долгих минут, часов, что я провел на сцене, — выходит, лучшее, что я могу изобразить, — это сидеть, таращась на все это звездное скопление, ничем не отличаясь от какого-нибудь паренька, только что приехавшего из Айовы?

Ну нет. Конечно нет. Полжизни я на все лады мечтал, фантазировал о подобном миге. Пусть это никогда больше не повторится, но уж теперь-то я не упущу такого случая. И вот я изобразил Джефа Чандлера: чуть привстал, слегка махнул рукой — отчасти толпе, отчасти в сторону Сэмми, поглядев с понимающим видом и улыбкой и как бы шутливо-укоризненно покачав пальцем: мол, ты-то знаешь, Сэмми, не стоит из-за меня поднимать такую шумиху.

Я снова уселся и сквозь затихающие аплодисменты расслышал, как Чарлтон Хестон говорит кому-то:

— Да, в «Максиз». Этот парень чертовски классно выступает.

Чак. Несусветное трепло!

Сэмми вернулся к своей программе, снова принялся петь, танцевать, изображать и играть на

инструментах, и так далее и тому подобное…

Все это прошло мимо меня: как зритель я перестал существовать — настолько меня ошеломил тот краткий миг, когда я, подобно ему, и благодаря его словам, стал звездой. Я мысленно повторял, заново проигрывал, пытался удержать, навсегда запечатлеть в памяти этот момент, уже скользящий в прошлое, и поэтому пропустил два оставшихся часа представления. И лишь финал «Рождения блюза» оказался у Сэмми настолько сногсшибательным, что заставил меня забыть фантазии на тему моей собственной персоны, вознесшейся в заоблачные выси.

Зрители аплодировали стоя, а Сэмми, истекая потом после безостановочного выступления, перед уходом помахал им на прощанье. Двое других из этого трио тоже ушли, умаявшись от усилий, которые потребовались от них, чтобы отстоять на сцене все то время, что Сэмми трудился без устали.

Зажегся свет, и все сразу зашумели, заговорили о Сэмми и о том, какое он чудо и что нет на свете большего чуда, чем Сэмми.

По пути к выходу Джеф Чандлер, махнув мне рукой, спросил:

— Увидимся в «Кингз»?

Сделав вид, будто в моем светском календаре множество иных важных пунктов, я задумчиво нахмурил лоб и неопределенно кивнул.

— Вероятно, увидимся, — сказал я, даже не зная, что это за *место* и где оно находится.

Я попытался подозвать официанта, заплатить по счету.

Подошел знакомый мексиканец, сказал:

— Обо всем уже позаботились, мистер Манн. — Он сказал это так взволнованно, будто моя попытка самому расплатиться за угощение грозила безнадежно испортить ему эту ночь.

Я спросил его про «Кингз».

— Да-да, сэр. Вы пойдете туда?

— …А что это такое?

— Ресторан «Кингз». Открыт до утра. — Он окинул взглядом толпу тянувшихся к выходу людей. — Ведь если ты — трудолюбивый кумир киноэкрана, то тебе нельзя ложиться спать, пока не взойдет солнце. — Это было произнесено с известной долей язвительности.

— Хорошее место?

— Конечно, амиго. Я сам там часто бываю. После того, как сыграем в гольф с Айком. Не могу сказать, что там очень любят моих собратьев. Не знаю, как там относятся к вашим.

То ли сказался предутренний час, то ли целая ночь хлопотливого снования от столика к столику, прислуживания всем этим городским знаменитостям, но официант явно был настроен на искренность.

Он прибавил:

— Вам нужно туда пойти.

— Но вы же только что говорили…

— Там будет мистер Дэвис. Раз он там, никто не посмеет вас потревожить. А для нас это будет полезно.

Я не понял этого «для нас».

Он пояснил:

— Да, черт возьми, они начнут пускать к себе мексиканцев только после того, как привыкнут к цветным. Если вы пойдете туда сегодня, то, надо думать, когда-нибудь мои внуки смогут поесть в этом ресторане, если он еще не закроется к тому времени.

Кресент-Хайтс и Санта-Моника. Ресторан «Кингз». Я поручил мою машину служащему и направился к двери. На меня глазели, но никто ничего не говорил. Как и «Сайрос», «Кингз» ослеплял звездным блеском. Здесь повсюду слонялись знаменитости, расточая улыбки, предаваясь болтовне. Ничего особенного они не делали — просто

красовались друг перед другом своей славой.

Я заметил какую-то толчею в конце зала. Приглядевшись как следует, можно было различить, что в центре этого муравейника находился Сэмми Дэвис. Я тоже решил было подойти, попробовать поздороваться, но тотчас прикинул, что только на то, чтобы пробраться к нему, уйдет не меньше получаса, а едва пробравшись, тут же отлетишь в сторону, как какой-нибудь восторженный поклонник.

Там было несколько незанятых столиков, но мне не хотелось снова сидеть за столиком на одного. Кое-где сидели группки людей, рядом с которыми оставались свободные места, однако никто не проявлял желания пригласить меня. Никто даже особенно не смотрел в мою сторону. Все жужжали от одного столика к другому, опыляя друг друга поцелуями в щечку. Они не переставали улыбаться друг другу, щебетать, но одновременно их глаза постоянно блуждали по залу, выискивая очередную дичь — очередную звезду, или режиссера, или какую-нибудь иную личность покрупнее, чем та звезда, тот режиссер или тот человек, которому они еще продолжают улыбаться. А выискав новую жертву, они с жужжанием улетали дальше.

Никто не жужжал в мою сторону.

Все двигались здесь по лестнице вверх, никто не желал спускаться вниз. Не важно, что ко мне привлек внимание Сэмми, — я по-прежнему оставался комиком, выступающим в клубах. Чернокожим комиком, выступающим в клубах. Я стоял здесь, рядом со всеми этими людьми, с кем так хотел составлять одно целое, но мое присутствие оставалось незамеченным, ничем не отличалось, скажем, от стула или стола — предмета мебели, который нужно было обойти. От осознания собственного ничтожества в глазах этой толпы — причем почти сразу же после того, как та же толпа свистела и рукоплескала мне, а теперь даже не игнорировала, но попросту в упор меня не видела, — внутри у меня тупо заныло. Подступила острая тоска.

Я направился к выходу, решив поскорее убраться отсюда. Я больше ни минуты не мог оставаться в этом заведении.

Произнесли мое имя и фамилию. Им пришлось прозвучать дважды, прежде чем до меня дошло, что кто-то в этом ресторане мог обращаться — и действительно обращался — ко мне.

— Джеки Манн? — На меня двигался гладко выбритый мужчина в элегантном костюме,

простирая руку вперед. Если он и был известен кому-то, то уж точно не мне. Да и держался он не как знаменитость. Ухватки у него были не звездные, что ни на есть земные. — Джеки Манн? Я — Чет Розен, агентство «Уильям Моррис». Видел ваше выступление в «Максиз».

Ну конечно, — подумал я. — *Наверно, за одним столиком со стариной Чаком Хестоном сидел.* Но тут он похвалил парочку моих номеров, кое-что процитировал.

Значит, в самом деле видел.

Он продолжал:

— У вас здорово получается. Сэмми правильно сказал: настоящая сенсация. На сцене видно, что у вас — свое лицо.

— …Спасибо. — Тоска потихоньку начала униматься.

— Вы с кем?

— Я пришел один.

Улыбка.

— Вы не так поняли. Кто ваш агент?

— Сид Киндлер.

Чет слегка кивнул головой.

— Из какого он агентства?

— Он сам по себе.

Чет вытащил из кармана металлический

футляр, поблескивавший золотом, а из него — визитную карточку. На ней выпуклые буквы, обозначавшие его имя и название агентства «Уильям Моррис», отливали тем же золотым блеском, что и футляр, откуда была извлечена карточка.

Вручая мне карточку, он сказал:

— Когда надоест, позвоните мне. Приятно было познакомиться, Джеки.

Похлопав меня по плечу, он разделался со мной.

Странно.

Очень странно! «Когда надоест…»

Впрочем, эта встреча влила в меня некоторую энергию, и я решил повременить с уходом. Немного постоял возле бара. Через некоторое время подошла Джанет Ли, представилась, сказала, что пока не видела моего выступления, но надеется побывать на нем.

Приятная женщина. От меня потребовались титанические усилия, чтобы не опускать взгляд ниже ее шеи.

Я поблагодарил ее и сказал, что, если она придет в «Максиз», я сделаю все возможное, чтобы о ней позаботились. Как будто ей было из-за чего волноваться!

Мисс Ли вернулась к своему столику, не сделав каких-либо встречных приглашений.

Часы показывали уже половину четвертого утра. Все по-прежнему развлекались — улыбались, целовали друг друга в щечки.

Кроме меня.

Я вернулся в гостиницу.

Там в этот поздний, вернее, ранний час — ведь было уже почти утро — работала Дори. Она спросила, где я был всю ночь, и я обрисовал ей, как сидел рядом со сценой в «Сайрос», как мне рукоплескали голливудские знаменитости, как я почти до утра кучковался и тусовался со всеми звездами местного небосклона; нарисовал эту картину куда более сочными мазками и яркими красками, чем те, на которые расщедрилась скучноватая действительность.

Дори сияла и расплывалась в улыбке, — возможно, она была единственной во всем Лос-Анджелесе, кто делал это искренне. Она поздравила меня, спросила, каково это — выступать, стоять на сцене перед толпой зрителей.

Я ответил заученными фразами:

— Сущая ерунда, куколка. Когда ты — звезда, когда шоу-бизнес — твоя жизнь, выступать на сцене перед публикой — сущая ерунда.

Дори сказала, что ей еще нужно закончить уборку, но скоро она освободится и с удовольствием еще послушает мои впечатления о сегодняшней ночи.

Я сослался на усталость, сказал, что поделюсь впечатлениями как-нибудь в другой раз, и отправился спать.

* * *

Мне следовало бы остаться в Лос-Анджелесе, еще понежиться на солнышке, еще покупаться в звездном свете. Или вернуться в Нью-Йорк, поработать в клубах, зашибить деньжат. Следовало бы — потому что, сделай я то или другое, сделай я еще что-нибудь, а не отправься в Сан-Франциско, я бы продолжил жить в неведении. Порой неведение так упрощает нам жизнь! Ты никогда не ощущаешь себя дураком оттого, что каких-то вещей вообще не знаешь, и не чувствуешь себя ущемленным из-за недостатка образования, когда обнаруживаешь, насколько ты ошибался в прошлом.

Я получил образование.

Я получил такое образование, которое дважды наполнило смыслом слова двух женщин. В первый раз это случилось там, в Сан-Франциско. А

во второй раз произошло годы спустя, когда все закончилось там же, где и начиналось.

Я не планировал никаких выступлений в Сан-Франциско, даже не думал туда ехать. Но земля полнится слухами. После того, как в «Сайрос» Сэмми прославил меня, в кругах, имевших отношение к ночным клубам, я сделался предметом разговоров. Может, для голливудских звезд я и оставался безымянным лицом, но среди владельцев клубов приобрел себе имя. Мне поступило приглашение от Кейта Рокуэлла, которому принадлежал клуб «Красная Луковица». Он получил отказ от одного из исполнителей, и ему нужно было заполнить образовавшуюся брешь, причем заполнить быстро.

У меня как раз оказалось несколько свободных дней, а от возможности заработать лишние деньги я никогда не отказывался. Я проделал путь из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Проделал его на поезде, хотя мог бы подняться вдоль побережья и на плоту — мне было все равно, настолько разбухла у меня голова, готовясь вместить мое новое «я». Когда я прибыл в этот город, меня снова стали потчевать обхождением в стиле «мистер Манн», к которому я уже начал привыкать, а также сопутствующими услугами и усладами. Гостиница

— «Сент-Реджис»; рестораны, поставлявшие еду клубам, все были исключительно высшего разряда. Что бы мне ни требовалось — добраться туда или сюда, познакомиться с достопримечательностями, купить то или это, — все исполнялось по первому моему слову. Я переставал быть просто Джеки Манном. Я становился Джеки Манном из Лос-Анджелеса. Джеки Манном, сенсацией Южной Калифорнии, приятелем знаменитостей.

Выступления в «Луковице» проходили удачно. Публика в Заливе Сан-Франциско была смышленая, вдумчивая. Такой фешенебельный вариант нью-йоркского Гринвич-Виллиджа: эти люди приходили скорее послушать, чем только поразвлечься.

Я легко отработал неделю, и, поскольку все в Сан-Франциско шло как по маслу, мой эгоизм удержал меня там еще на какое-то время: мне хотелось потешить свое самолюбие, помариноваться в тамошних хлебосольных краях. Еще денек-другой поупиваться благодарностями за то, что я пришел и украсил чей-то день, как это умеет один только Джеки Манн.

То, на что я налетел, было почти неизбежно. Я настолько зарвался и обнаглел, что просто-напросто навязывался на пощечину.

Тот клуб назывался «У Энн, 440» и больше смахивал на кафе. Кафе с развлекательной программой. Я отправился туда не выступать — смотреть. А если говорить начистоту, то я пошел туда затем, чтобы сполна насладиться своей ролью: артист, работающий в фешенебельной части города, явился поглядеть, как развлекается прочая публика. Я попросил Кейта позвонить туда, заказать для нас столик. Он все обставил с большой помпой, дал понять, что придет сам Джеки Манн. Когда мы туда пришли, меня ожидал очень теплый прием: «Здравствуйте, мистер Манн» и «Вот ваш столик, мистер Манн». И, как будто всего этого было еще недостаточно, там должен был выступать один комик, с которым я пару раз работал в Нью-Йорке. Парень, который когда-то и вниманием меня не удостаивал. А теперь, услышав, что я в зрительном зале, он перед началом представления подошел ко мне, расплывшись в улыбке и заготовив широкие объятия, сказал, что он очень рад за меня, за мой успех. Это было неправдой. Он лебезил передо мной в надежде, что, если мне понравится его выступление, я замолвлю за него словечко кому-то, кто сможет протолкнуть его вверх по лестнице. То, что он мне завидует — а я это знал, — и вместе

с тем вынуждает себя с горечью скрывать свою зависть, заискивая передо мной, и мысль, что я вообще гожусь на то, чтобы кто-то передо мной заискивал, — это был коктейль, от которого я захмелел еще больше.

Представление началось. Выступали комики, парочка певиц. Мой знакомый лез из кожи вон, стараясь произвести на меня впечатление.

Потом вышел Ленни Брюс.

Когда его объявили, я ни о чем таком не подумал. Я никогда о нем раньше не слышал, ничего не ожидал. Может, потому он так сильно меня хлестнул.

Он вышел на сцену.

Подошел к микрофону.

И начал говорить.

Он не просто стоял, отпуская остроты: он говорил — говорил о религии, политике, обществе и расовом вопросе, обо всем безумии, которое, казалось, на каждом углу рвалось наружу. Он легко и раскованно держался на сцене, давал себе как следует выговориться, а не перебегал от шутки к шутке. Но, выбрав какую-нибудь тему, он бросался на нее с акульей злостью, не опасаясь, что кто-то может обидеться, а скорее радуясь этому.

Он говорил.

О сексе. Он много чего говорил о сексе — о том, кто с кем, почему и как спит. Он не скупился на подробности. Он без стеснения сквернословил, употребляя непотребные слова, каких обычно даже в кафе не услышишь. Такие слова звучат разве что в прокуренных комнатах, в переулках и подворотнях. Тошнилово. Его юмор называли тошнотным. Но он не отступал от своего ни на шаг — ни назад, ни в сторону. Он был уверен, что говорит правильные вещи и имеет на это право. Он был предельно точен, его цель была совершенно ясна: это не тот случай, когда ругаются, чтобы ругаться, ругаются, чтобы шокировать. Его случай был совершенно иной: он орудовал шельмовскими словами целой новой науки. Он не старался гладко выговаривать свой текст, напротив, бормотал и частил без разбору, как бы показывая, что репетировать — ниже его достоинства. Его рутина не была рутиной: он растягивал последнее слово каждой фра-а-а-а-азы. И оно как бы зависа-а-а-а-ло. Заставляло тебя слушать, корешо-о-к! Заставляло тебя думать. А потом он вдруг-швырял-в-тебя-что-нибудь-меткое. Что-нибудь поострее ножа. И реагировать нужно было быстро — иначе порежешься.

Он говорил.

И все, что он говорил, было взято из жизни. Никаких там шуточек про тещу, про свою толстую тетушку Этель. Если это не происходило в мире, если это не касалось какого-то события, чувства или происшествия, если это не царапалось и не кусалось, если это не заставляло тебя навострить уши и напрячь внимание, то у него не было на это времени. Он не желал об этом даже думать.

А кроме того, он говорил смешно. То, что говорил этот кудесник с бачками, прилизанными волосами и печальными глазами, этот шут дьявола, было смешно. Метко и смешно. Хлестко и смешно. Необузданно, провокационно, резко и…

После того, как он ушел со сцены, выступила певица, еще один комик, еще комик…

В конце концов я отлепился от своего сиденья, извинился перед Кейтом — сказал, что мне нужно вернуться в «Сент-Реджис». Я ушел, но у меня было такое чувство, что я пытаюсь улизнуть, испугавшись, что меня раскусят как мошенника, которым я себя внезапно ощутил.

Чем же я занимался? Все это время, пока я выбирался из дешевых забегаловок с развлекательной программой в кафе, из ночных клубов в клубы-рестораны, а потом наконец завертелся там, куда и мечтал попасть, — чем я занимался

все это время? Байки, которые я травил, — по сравнению с Ленни, по сравнению с тем, что он выкладывал, — были старьем, изношенным и затасканным. Они были банальны, ничем не примечательны. Неотличимы от прочего трепа, на какой способен кто угодно другой. Кто угодно. Всякий, у кого было бы чуть-чуть сноровки, какой-нибудь опыт, мог взять мои номера, выскочить на сцену и исполнить мою программу. Я облапошил публику — видно, подкупил своим обаянием. Я одурачил ее, внушив, будто могу ей что-то предложить, потому что у меня есть собственное лицо, потому что я — «хороший» негр, которого ей незачем бояться. А в остальном уникальности во мне было не больше, чем в батоне хлеба.

Что отличало Ленни, так это наличие у него собственной точки зрения. У него была своя позиция.

У него был голос.

О чем бы он ни говорил, он говорил это так, словно ставил личную печать на каждую шутку, делая ее неповторимой. Он был абсолютно самобытен.

Вот что Томми пыталась вдолбить мне столько раз и что я только что наконец понял. Хочешь

быть знаменитым? Отлично. Хочешь жить красивой жизнью? Кто же этого не хочет? Но если ты на самом деле хочешь оставить след — глубокий, вечный и неизгладимый, — тогда ты должен быть уникальным. Должен быть необыкновенным.

Итак, я обретался в своем гостиничном номере после всех теплых встреч, какие у меня были в городе. Я обретался там наедине с самим собой и с реальностью: то ли я — парень, который травит байки и будет продолжать травить их до тех пор, пока люди не устанут от моего затертого трепа, то ли я все же — как когда-то любила нашептывать мне мать — необыкновенный.

Не знаю, в котором часу я возвратился из клуба, сколько я просидел, но солнце уже стало пробиваться сквозь занавешенные окна, когда я наконец вышел из своего онемения. Я взял ручку, листки бумаги с шапкой «Сент-Реджис» и принялся писать.

* * *

Передача Фрэн вышла в эфир. Получасовое эстрадное шоу. Среди ее гостей была Джуди Холлидей и молодой и очень энергичный Бобби Дарин. Сид сообщил мне, что Фрэн хотела пригласить меня для комедийного номера. Си-би-эс

отмела эту идею. Си-би-эс требовалось имя. Си-би-эс требовался кто-то, ради кого люди будут включать телевизор. Си-би-эс выбрала Луиса Ная. Пожалуй, это было имя. В те годы.

Фрэн спела три песни, в том числе свою последнюю — «Это не то, что ты делаешь». Спела отлично. Фрэн со всем отлично справилась. Программа получилась отличной, и рейтинги подтвердили это.

Вскоре Си-би-эс объявила, что с осени на их канале будет регулярно выходить *«Шоу Фрэн Кларк».*

Фрэн зажглась самой новой звездочкой на небосводе.

* * *

Вышибала, эта горилла в костюме, не знал, что делать. У него не было охоты стоять там, посреди игрового зала казино, где все на него пялятся, и извиняться, точно маленькая девочка, которая запачкала платьице. Не было у него охоты и не извиняться, поскольку, если бы разошелся слух, что он невежливо обошелся с Сэмми Дэвисом-младшим, то ему влетело бы по первое число. Поэтому вышибала, глядя мимо меня — на меня-то ему начхать было, — сказал:

— Не заметил вас, мистер Дэвис. — Прозвучало это скорее как утверждение, чем извинение.

— Не заметил единственного цветного еврея в зале? Ну, малыш, а я-то думал, это у *меня* проблемы со зрением, — мгновенно отбрил его Сэмми, обратив счет в свою пользу: стало ясно, что громила для него — всего лишь предмет насмешек, не больше. Не убирая руки с моего плеча и еще не договорив своей остроты, Сэмми уже уводил меня в сторону.

Я ничего не сказал. Да мне и нечего было сказать-то. От той спеси, с какой я вышел из «Копы» и пересек зал, где располагались игровые столы для ограниченного круга лиц, не осталось и следа. После того страха, что нагнал на меня вышибала, и неожиданной помощи со стороны Сэмми я почти лишился дара речи. Но подумал, что лучше вести себя как ни в чем не бывало, будто звезды такой величины то и дело приходят мне на выручку.

— Спасибо, Сэмми.

— Сэмми? Ах, так мы уже запанибрата? Знаешь, ты меня очень огорчил. Я приветствую тебя со сцены в «Сайрос», а ты даже не удосуживаешься подойти ко мне в «Кингз».

— Вы видели меня там?

— Дружок, хоть у меня и всего один здоровый

глаз, я о-о-ох как много им вижу, — царственным тоном пошутил он.

Мы подошли к столу с рулеткой. Люди потеснились. И не потому, что им не хотелось очутиться рядом с парочкой чернокожих: скорее, их заставляло посторониться звездное могущество Сэмми, они посторонились, чтобы мы могли там поместиться.

Я оценил это.

Я поставил сотню на черное.

Сэмми вытащил пятьсот долларов наличными.

— Ставки сделаны, — раздался голос крупье. Он крутанул рулетку.

— Сэмми… мистер Дэвис…

— Зови меня просто корешом.

Я чувствовал на себе множество взглядов, ощущал напор плотно обступившей нас толпы, жужжавшей, как неукротимый рой растревоженных пчел.

— Я не хотел вчера показаться невежливым, но там вокруг вас собралось столько людей, и все рвались пообщаться с вами — все эти знаменитости, ну, мне и показалось, что я только…

Шар остановился.

Крупье выкликнул:

— Двадцать два. На черном.

Толпа завороженно ойкнула.

Начали выплачивать по ставкам, и я потянулся за своим выигрышем.

Сэмми и бровью не повел. Закуривая «сигарету», он подковырнул меня:

— Ну, раз ты собрался мелочиться…

Его тысяча легла рядом с моими двумя сотнями. Тихонько, как бы невзначай, я отвел свою руку от стола.

Крупье запустил рулетку.

Люди торопились ставить на черное, не думая ни о выигрыше, ни о проигрыше, просто, чтобы, вернувшись домой, в свои родные зерновые или там помешанные на Библии штаты, можно было рассказать всей округе о том, как они делали ставки вместе с Сэмми Дэвисом-младшим. Делали это потому, что хотели походить на Сэмми Дэвиса-младшего — тоже сорить «зелеными», будто деньги ничего не стоят. Я поглядел на все эти кучи купюр, чуть ли не валившихся со стола. И, похоже, догадался, почему для этого единственного чернокожего здесь сделано исключение.

— Послушай, корешок, может, я чуточку перегнул палку тогда в «Сайрос» — я ведь до сих

пор не слышал, как ты выступаешь. Но про тебя широко ходят слухи, что ты — сенсация. И тебе, и мне известно, что, не будь ты цветным, ты бы сейчас уже добился вдвое большего.

Шар упал в лунку.

Крупье выкликнул:

— Тридцать один. На черном.

Толпа, наэлектризованная ожиданием, взорвалась восторженными выкриками.

Сэмми потянулся за выигрышем, я тоже.

Разносчица коктейлей, только что не голая, как и все разносчицы коктейлей, медленно проплывала мимо.

— Милая, для кого вот это пойло? — кивнул Сэмми на один из бокалов у нее на подносе.

— Это для господина вон за…

Не слушая, Сэмми подхватил облюбованный бокал.

— Скажи ему, что он только что угостил Сэмми Дэвиса-младшего. — Бросил стодолларовую купюру на поднос. — Это, чтобы тебе на недостающую одежку хватило. — Еще одну бумажку вдогонку. — А это — чтобы ты ее не покупала.

Девица чуть не выпрыгнула из лифчика.

Отойдя от столика, я держался рядом с Сэмми. Люди вокруг хлопали, аплодировали этому соль-

ному представлению. Он направился из казино в сторону номеров для гостей. Я, как собачонка, потащился за ним — за отсутствием каких-либо иных указаний.

Все неотрывно наблюдали за тем, как мы пересекаем зал, и атмосфера была пропитана скорее завистью, чем негодованием.

— Ну, мистер Дэвис… Такое хладнокровие — невероятно!

Он повел плечами.

— Выигрываешь, проигрываешь — какая разница! Насколько мне известно, деньги существуют для того, чтобы их тратить. И знаешь что, Джеки? Хватит строить из себя простачка с невинно распахнутыми глазами. Ты же сам теперь — звезда.

Услышав это от Сэмми, я почувствовал себя польщенным.

Но теперь, сраженный выступлением Ленни, я честно сказал:

— Да я обычный комик.

— Перестань скромничать. Ты — комик из «Копы». Комик из «Сэндз». А уж это кое-что значит! Вдобавок, ты — член клуба «ДФ». — Он сообразил, что я не врубаюсь, и пояснил: — «Друзья Фрэнка». Самый эксклюзивный клуб в мире, малыш! И это членство многого стоит.

— Синатра — это черт знает что за тип!

— И не говори! Никогда не знаешь — поцелует он тебя вот-вот или прибьет.

Я вспомнил свою первую встречу с Фрэнком — как он тогда дырявил какого-то бедолагу, до слез его доводил, а потом повернулся ко мне и тут же разыграл святого Франциска.

— Ага, — поддакнул я.

— Ты слышал о той вечеринке?

О вечеринке?

— Нет.

— Так вот. Вечеринка в Палм-Спрингс. Приглашена куча знаменитостей, и все такое. Среди гостей — Фрэнк. Он забалтывает какую-то девицу. Вовсю угощает ее выпивкой — надеется, что она наградит его маленькими радостями. Однако сверкающие глазки и короткая юбочка не собираются никого награждать никакими такими радостями. Во всяком случае — Фрэнка. Ну, большинство мужиков в лепешку бы расшиблись, но постарались уйти с синицей в руке. А звезде такой величины, как Фрэнк, надо было просто перейти к ближайшей бабе — вроде того, как выбираешь куски мяса с блюда… Наш герой ни того, ни другого не сделал.

Сэмми выдержал паузу.

Я замер, как делал ребенком, когда смотрел кино и пробовал угадать, что случится в следующей серии.

— И…

— Он засунул ее в форточку.

— Боже! Вы шутите!

— И не думаю, деточка. Начался сумасшедший переполох. Сверкающие глазки — на полу, вся в крови. Джуди Гарланд хлопается в обморок. Рок Хадсон верещит, как девчонка… А Фрэнк? Он смешивает себе очередной коктейль.

— Ну и…

— Ну и сукин сын. Да. Вот на что он способен. Самое странное — то, что он и на страшные гадости способен, и на добрые дела. Когда со мной случилась эта маленькая… — Сэмми показал рукой на левую часть своего лица. — Ну, ты знаешь.

Я знал, что левый глаз у него искусственный.

— Фрэнк бросил все свои дела и помчался в Сан-Бернардиногдетотамск, чтобы просто посидеть со мной в больнице. А потом, когда я совсем было нюни распустил, он вовремя дал мне пинок под зад, чтобы я снова вскочил в седло шоу-бизнеса. И вот что я тебе скажу: нет на свете чувака более терпимого к расовому вопросу, чем Фрэнк. Пусть только какой-нибудь бедолага к тебе прицепится

— и увидишь, как он его отделает. Сколько дверей он пооткрывал для этого вот цветного еврея!

Мы дошли до номера Сэмми. Возле двери стояла девушка — юная, в облегающем комбинезоне и майке. Косметика — яркая, разноцветная, густо наложенная на щеки и глаза, говорила о том, что это — свежеиспеченная певичка.

Белая певичка.

Можно было догадаться, что она уже давно припарковалась здесь, но ожидание нисколько не утомило ее. Улыбка ее равнялась первому и второму томам предвкушения. Похоже, ей не терпелось лично поставить автограф на заключительном томе.

— И еще, детка, — добавил Сэмми на прощанье, хотя казалось, будто он обращается к девушке, — когда эти двери открываются, они распахиваются настежь.

Сэмми отворил дверь в комнату, отступил на шаг в сторону и сделал широкий жест рукой, пропуская девушку вперед, как истинный джентльмен, хотя он явно собирался предаться с ней совсем не джентльменскому занятию.

Взяв в спутницы науку, преподанную мне Сэмми, я отправился обратно в «Копу» через казино. В мою сторону глазели многие, но никто не ска-

зал ни слова.

* * *

Канзас-Сити. Канзас-Сити, штат Миссури. Была середина дня, я отдыхал. Накануне я поздно лег спать, заглянул в джазовый клуб после представления. Только что поел. Барбекю. Если вам по вкусу такая еда, мясо, политое разными острыми соусами, то в Канзас-Сити подают лучшие на свете барбекю. Я валялся на кровати в гостиничном номере, ни о чем особенно не думая. Моя жизнь достигла такой точки предсказуемости и легкости, что от меня почти не требовалось никаких глубоких раздумий. Сид договаривался о моих представлениях — я их отрабатывал. Отрабатывал их хорошо и получал соответственную плату. Я выступал в Нью-Йорке. Выступал в Лос-Анджелесе. Выступал в Лас-Вегасе. В каждом городе я выступал в лучших клубах. Единственным изображением на экране моего мысленного радара было телевидение. Как бы хорошо я ни был устроен, я понимал, что мне необходимо добрать национальной известности, если я хочу устроиться еще лучше.

Сид по-прежнему убеждал меня не волноваться: со временем я заполучу и телевидение.

В одиночестве, в тишине гостиничного номера, я честно признался себе: мне уже порядочно надоело это слышать.

Зазвонил телефон. Я лениво потянулся к тумбочке, поднял трубку.

— Алло?

— Джеки Манн? — Голос был нерешительный. С акцентом. Вероятно, южным. Миссури — пограничный штат. Тут гуляло множество акцентов.

— Да.

— Джеки, я… э… Ну, я вчера видел ваше выступление, и все ужас как смешно было. Я просто… мы с женой, мы оба…

— Спасибо за добрые слова. И спасибо за звонок. — Последнюю фразу я проговорил в том смысле, что теперь пора бы повесить трубку. Но человек на другом конце провода не уловил моего намека.

— Так я думал, что, ну… моя жена хотела вам лично сказать, как ей понравилось ваше представление.

Я был не против поклонников. Готов был примириться даже с тем, что поклонники звонят мне прямо в номер. Но почему это мне должны звонить поклонники, что называется, самого низшего пошиба?

Я сказал:

— Сейчас мне не…

— Это займет всего минутку. Моя жена, я же сказал, она… Ну, знаете, ей так приятно будет. Она от вас прямо тащится.

Тщеславие. Меня раздирало тщеславие. Несмотря на усталость, я согласился:

— Ладно, раз всего минутку…

— Вот и молодец, Джеки. Увидимся внизу, в баре.

Пять минут спустя. Бар почти пустовал. Всего несколько человек. Одна пара. В глубине зала, за столиком — какой-то мужчина. Он помахал мне стаканом. Один, без жены. Может, это он мне звонил. А может, тут целый клуб поклонников Джеки Манна. Я подошел к нему.

— А-га-а-а, Джеки Манн, — протянул он. — Садитесь, Джеки Манн.

Я огляделся.

— А где же ваша жена?

— А, она сейчас подойдет, с минуты на минуту. Да вы пока садитесь, вот стул.

Что-то в нем… Что-то в нем было такое, что меня сразу неприятно зацепило. То ли его выговор. Мне никогда не нравились эти южные звуки. То ли его запах: изо рта у него несло спиртным, а

одежда пропахла куревом. Одежда! Его мятый костюм вышел из моды еще несколько лет назад — по широким лацканам можно было сосчитать годы, как по кольцам на пне, — но южанин носил его в гордом неведении, даже не подозревая, что смотрится шутом гороховым в этом гостиничном баре, где туристы щеголяют в «Лакосте», а на бизнесменах — одежда из самых шикарных тканей.

Стало быть, это белый бедолага с Юга. Ну так и что? Он же — поклонник. Вот, значит, какого успеха я добился: даже нищие южане от меня в восторге. Я сел.

Он сказал:

— Я не надеялся, что вы правда сюда спуститесь. Артисты, они… Ну, ведь как про них там, в журналах со сплетнями разными, пишут. Гордые все такие. Куда им — на лифте проехаться, чтобы с каким-то там поклонником встретиться. А вот вы, Джеки, другое дело. Вы не…

— Простите, но, боюсь, я не…

— Мы с моей миссис — мы не здешние, понимаете? Мы тут вроде как в отпуске. Подкопить деньжат пришлось. Нынче все так дорого. Все-все. А мы не богачи.

Я ничего не ответил — не хотел смущать горемыку, соглашаясь с тем, что и так было на нем

написано.

— И вот мы сюда приезжаем, и жена хочет посмотреть представление. Ну, денег-то у меня немного, но, раз женщина чего-то хочет, тут уж сами знаете, Джеки. Кстати, выпить не желаете?

— Рановато еще.

Как бы решив показать, что я неправ, парень отхлебнул из своего стакана.

Я бросил нарочито долгий взгляд на свои часы. Минута, которую, как он обещал, должна была продлиться наша встреча, явно грозила растянуться на целые десять.

— Я не хочу показаться невежливым, но мне в самом деле нужно…

— Дайтон.

— Простите? Я не…

— Вы спросили, как меня зовут, так ведь? Дайтон Спунер.

Я вытащил ручку, потянулся к салфетке для коктейля:

— Мистер Спунер, давайте я вам просто дам автограф, и вы потом…

— Но оно вам ничего не говорит, мое имя. Мне ваше тоже ничего не говорило. Жена захотела пойти на шоу, и я вижу — в клубе выступает Джеки Манн. Я веду ее на шоу и ни о чем таком

не думаю.

Я привстал.

— Передайте своей жене, что мне очень жаль, но я…

— Мы тут в отпуске, я же сказал. Я же сказал, мы не здешние. Знаете, откуда я, Джеки? Я из Флориды.

Я пристально посмотрел на этого парня и вдруг понял, почему мне сразу стало не по себе, как я его увидел: ухо — его ухо было обезображено, будто кто-то кончик отгрыз. Крыса? Или собрат по разуму? Я снова сел. Ноги у меня внезапно так ослабли, что мне ничего больше не оставалось делать.

— Ну? Теперь начинаешь что-нибудь припоминать, парень?

Я припомнил. Последний раз, когда я видел это зажеванное ухо, я сидел во тьме флоридской ночи в машине с тремя южанами, которые везли меня неизвестно куда, чтобы как следует отколошматить.

— Ну да, твое имя ничего мне не говорило, но, как только ты вышел на сцену, я сразу тебя вспомнил. Я сказал: «Черт, это же тот самый черномазый, который тогда удрал от нас». Значит, ты и вправду артист, как ты тогда и говорил.

Он присосался к своему стакану. Я почти физически ощутил, как он постепенно наливается спиртным, как делается все мрачней и угрюмей.

Злобно сузив глазки, он продолжал:

— Да, ты настоящая звезда, и все такое. Все тебе хлопают, смеются… Настоящая черномазая звезда.

Тогда ночью, в темноте, когда я был один, а с ним были еще двое, этот тип наводил на меня смертный ужас. Сейчас, при свете дня, я видел его таким, каков он есть, — дешевый алкаш, и он меня нисколько не пугал. Бояться пьяниц меня отучил отец.

Ко мне уже начало возвращаться самообладание.

— Ты тут поосторожней. Здесь тебе не флоридская глухомань.

— Это тебе надо быть поосторожней, черномазый.

На ум мне пришла одна мысль. Нехорошая мысль. Я быстро осмотрелся по сторонам, нет ли поблизости кого-то еще из той троицы белых мерзавцев: может, они приехали сюда довершить то, что им не удалось тогда сделать.

Дайтон улыбнулся: мой страх добавил очко в его пользу.

— Не трусь, парень. Со мной никого нет. Только жена, я же сказал, но она сейчас в мотеле. — Он внимательно огляделся по сторонам. — Ну, мы-то не можем в таких местах останавливаться.

Он подал знак официанту, чтоб тот принес ему еще выпивки.

И продолжил:

— Да. Только я и моя жена. С Джессом я уже не корешусь. Помнишь Джесса? Рыжего Джесса. После той ночи он вроде как немного свихнулся. Призраки ему всё мерещились. — Дайтон ухмыльнулся. — И с Эрлом больше не корешусь. Кончено! Эрла больше нет. Эрл умер, и это ты его убил.

Я ничего не ответил. От волнения у меня на лице заплясали мышцы.

— Ты убил Эрла.

— Я…

— Ну да, а ты как думал? Взял стальную трубу, долбанул человека по башке. И что — думал, он не умрет?

В одно мгновенье прошлое будто ожило. Тот красношеий, тощий толстяк, двигался на меня, поблескивая кастетом, готовый приняться за дело. Я замахнулся трубой и ощутил столкновение металла с костью: вибрация через ствол трубы

передалась моему телу. Но, пусть воспоминания были вполне отчетливыми, я все же запротестовал:

— Я не уби…

Подошел официант и поставил перед Дайтоном новую порцию спиртного.

Когда он удалился, я повторил, понизив голос:

— Я его не убивал.

Дайтон отхлебнул из своего стакана, посмаковал глоток, а заодно посмаковал и это мгновенье. Потом полез в карман, вытащил газетную вырезку — рваную, пожелтевшую, — явно ровесницу того пиджака, из которого он ее выудил. Широким жестом — бездарный актеришка, играющий перед грошовыми зрителями, — он протянул вырезку мне.

Я пальцем не шевельнул, тем самым выражая свой протест, — но это длилось лишь секунду. Затем я взял вырезку, развернул. Газетный текст гласил:

МЕСТНЫЙ
ЖИТЕЛЬ ПОГИБ ОТ НАПАДЕНИЯ

Местный житель погиб вчера поздней ночью. По свидетельствам очевидцев, на него напал цветной бродяга.

Эрл Колмбз из Кендалла был убит в Северном Майами, как заявляет полиция, от одного удара по голове тупым предметом.

Свидетели — Джесс Рэнд и Дайтон Спунер, оба также жители Кендалла, — рассказали, что ехали вместе с жертвой в машине. По пути они увидели цветного мужчину, который куда-то шел в одиночестве и, похоже, чем-то был расстроен. Они остановились и спросили у цветного, не нужна ли ему помощь. Тогда бродяга замахнулся металлической трубой, ударил Колмбза по голове и убил его. Затем цветной скрылся с места преступления. Рэнд и Спунер, пытаясь оказать помощь пострадавшему Колмбзу, не стали догонять подозреваемого.

Заметка продолжалась. В ней сухо излагались подробности, переданные свидетелями, говорилось о том, что полиция разыскивает подозреваемого цветного, упомянуты наследники Колмбза. Но там ни слова не было ни про медный кастет Эрла, ни про ту их доску с гвоздями. Заметка умолчала о том, что жертва — несчастный

скончавшийся Эрл Колмбз — вместе с дружками собирался в ту ночь линчевать негра.

Однако…

Однако получается, я убил человека. Нечаянно, в ходе самообороны, но все же — я убил человека. Не знаю, что я ощутил — омерзение, чувство вины или печаль, невзирая на истинные обстоятельства той ночи, — но все это вместе вызвало у меня тошноту, которая собралась комком в животе, а оттуда разлилась по всему телу. И вскоре я уже целиком, с головы до ног, чувствовал на себе скверну смертоубийства.

Каковы бы ни были мои чувства — Дайтону их было не понять. Похоже, ему даже на своего покойного дружка было наплевать: он только радовался, что привел меня в такое состояние.

Превозмогая новое болезненное ощущение, я отбросил заметку.

— Все было не так.

— Так написано в газетах. А газеты не врут.

— Это была самозащита. Это вы трое…

— У тебя есть свидетели?

Человек в машине — тот, что спас меня… Но разве теперь найдешь его!

Дайтон положил конец моему ходу мыслей:

— Даже если ты расскажешь, как оно все было,

догадайся, как судьи во Флориде решат дело? Что такое слово черномазого против слова чистого, добропорядочного белого, а?

Я задумался. А потом прикинул, что, будь этот южанин уверен, что закон — на его стороне, он не сидел бы сейчас тут со мной за столом и не бухал. На меня копы уже надевали бы наручники.

— Что — хочешь рискнуть? — сблефовал я.

— А ты? Вообще-то, я считаю, не важно, что скажут судьи, но, наверно, для такого знаменитого черномазого нехорошо выйдет, если вокруг него такое дерьмо плавать будет. Понимаешь, о чем я?

Снова ухмылка. Эта чертова ухмылка!

Я понял, куда он клонит.

Все вокруг куда-то плыло. Мне стало трудно дышать, и мысли не складывались, если у меня вообще были мысли. Нервы мои сдали, и я действовал без оглядки на ум — от него все равно не было толку. Как тогда, во Флориде, я повиновался инстинкту.

Инстинкт велел мне рубить сплеча:

— Сколько?

— Ну-у-у, я, вообще-то не жадный…

— Сколько — чтоб ты отсюда убрался и больше не появлялся?

— Я только хотел сказать, парень…

— И не называй меня…

— Парень, я хотел сказать, что я вообще-то не жадный, но это не значит, что я не люблю деньги. Еще как люблю. Как насчет пяти тысяч долларов?

Этот тип оказался настоящей деревенщиной. Для большинства простых работяг пять кусков было целым состоянием. Я не был простым работягой. Обычно я загребал больше семисот долларов в неделю. Пять тысяч долларов — эта сумма, конечно, и для меня не была пустяковой, но она была вполне мне по зубам — особенно если речь шла о том, чтобы не загреметь в тюрьму и не попасть в газетные заголовки. Только ему не надо было об этом знать!

Я запротестовал:

— Пять?

— Черт, да я же видел, что там за публика приходит на твои шоу. Читал все эти голливудские журналы. Я знаю, как артисты живут. Пять тысяч — это ерунда!

— Ну, с такими суммами обычно не разгуливают.

— А-а, понимаю. — Дайтон знаком показал официанту, чтобы тот принес счет. — Мы с женой тут

еще несколько дней пробудем. Я тебе позвоню прямо перед отъездом.

Официант принес счет.

Дайтон полез было за деньгами, но вдруг остановился и поглядел на меня. И снова ухмыльнулся:

— Черт, да что это я?

Оставив мне свой счет и газетную вырезку, он бросил:

— Сохрани как сувенир. У меня их полно.

Я позвонил Сиду, сочинил ему историю про то, что мне тут приглянулись кое-какие вещицы и понадобилось срочно приобрести их, а потом ошарашил его, заявив, что мне нужны пять тысяч. Купился ли Сид на мою выдумку или что-то заподозрил, я не понял. Он достаточно долго проработал с артистами, подчас капризными, и внезапное требование зачем-то понадобившихся денег не должно было вывести его из себя. Он переслал мне деньги через компанию «Вестерн-Юнион».

Потом я стал ждать вестей от моего призрака из прошлого. Я ждал целый день, включая вечер перед представлением, трясясь от страха и тревоги; это было то же самое, что пытаться жить нормальной жизнью, когда по тебе ползают

нестерпимо жалящие муравьи, — они постоянно при тебе и безостановочно терзают тебя. Так было и во второй день, во второй вечер с представлением. На третий день деревенщина все еще не позвонил. Это нисколько не уняло мою тревогу, хотя и появился слабый проблеск надежды, что, может, он все-таки уехал. Может, он сам чего-то испугался, перетрусил или передумал — решил, что если будет давить на меня, то это ему больше неприятностей доставит, чем…

Зазвонил телефон. Это был Спунер.

Мы снова договорились встретиться в гостиничном баре. В этот раз он пришел не один. В этот раз он пришел с женщиной — долговязой, тощей, как грабля. Она была совершенно прямая, ни дать ни взять палка, от шеи до лодыжек, — ни выпуклостей, ни округлостей. Судя по одежде из «секонд-хэнда» — блузка фирмы «Монтгомери Уорд» трехлетней давности, скорее всего готовая прослужить еще пару лет, — видно, она и была миссис Спунер. Сам факт, что она вообще оказалась рядом с этим человеком, явно говорил о том, что их связывали священные узы брака.

Я подождал, пока Дайтон меня заметит, помахал ему. Он помахал в ответ. Ситуация была в его пользу. Я подошел.

— Джеки! — Он изобразил радость при моем приближении. — Вот наконец и ты. — Женщине: — Я же тебе говорил, что знаком с Джеки. Помнишь, я тебе говорил, что знаком с ним? Джеки, поздоровайся с моей половиной.

— Добрый день… — Вот и все, что мне удалось из себя выдавить. Мне ничего не было известно об этой женщине кроме того, что она — со Спунером. Этого было вполне достаточно, чтобы отнестись к ней с презрением.

Миссис Спунер тоже со мной поздоровалась. Потом стала говорить о том, как ей понравилось мое шоу, призналась, что давно уже так не хохотала. Своим приятным южным говорком она прострекотала, что отпуск у них удался на славу и что эта поездка наверняка хорошо запомнится потому, что они посмотрели мое выступление.

Я собирался возненавидеть эту женщину, но она была так вежлива, так скромна, так непохожа на человека, за которого вышла замуж, что я при всем желании не мог испытывать к ней ничего, кроме жалости.

Спунер — ему, видимо, совсем невмоготу было слушать комплименты, которые она мне расточала, — поднялся и отвел меня в сторону.

Когда мы отошли подальше от столика, от по-

сторонних взглядов, я передал ему конверт со своими погибшими деньгами. По тому хищному взгляду, который Спунер бросил на деньги, я догадался, что он собирается на них поразвратничать.

Прервав его мечты, я наклонился и со злостью прошипел ему на ухо:

— Теперь мы с тобой в расчете, ясно? Шантаж — это преступление. Заявишься снова — загремишь в тюрьму, пусть даже мне придется туда загреметь вместе с тобой.

— Хочешь сказать, я поверю, что ты…

— Да, я это сделаю, — отрезал я. Тверже могла отрезать только новенькая бритва.

Мы вперились друг в друга. Каждый буравил другого взглядом. Тут было не до шуток: мне грозил тюремный срок за убийство, ему — за вымогательство. Спунер не выдержал первым, отвел глаза, облизнул растрескавшиеся губы. Ему явно хотелось выпить. Я это видел. Но так же ясно я видел и то, что он точно так же хочет поскорее убраться от меня, как того хочу и я.

Он помахал передо мной конвертом с деньгами:

— Это — все, чего я хотел. И пошел ты к черту! — Так он со мной распрощался. Вернулся к

столику и забрал жену.

Я наблюдал, как они выходят из бара. У женщины возле левого глаза было какое-то бледное пятно, похожее на синяк.

Я сел.

Вытянул перед собой руки. Они тряслись. Я подождал, пока дрожь уляжется, потом подозвал официанта. Он подошел, я попросил его принести какую-нибудь выпивку. Какую именно — мне было безразлично, лишь бы в голову ударяла.

Я закрыл глаза.

Сделал два глубоких вдоха.

Отмазался.

Я отмазался!

Пять тысяч долларов.

Спунер мог бы и гораздо больше вытянуть из меня. Он мог бы отнять у меня мою карьеру — но я отмазался. Я пошел на блеф и прогнал его. Мне дважды удалось уйти от него.

И все-таки…

Мысли у меня разбегались, я перебирал в уме всяческие возможности, представлял себе разные гадкие картины: вот я в тюрьме, вот мое имя в газетных заголовках, моя карьера пошла прахом — вот что рисовалось мне на все лады.

Вернулся официант, принес выпивку. Мне по-

надобились обе руки, чтобы донести стакан до рта. Вначале спиртное обожгло мне глотку, лавой пробежалось по телу, ослабив все нервные окончания, оглушив все чувства. Когда я ополовинил второй стакан, то уже успокоился, пришел в хорошее расположение духа, а ближе ко дну третьего — почти улыбался. Разве все так уж плохо? Разве? Случилась неприятность, но я с ней справился. Джеки Манн поднялся на такую высоту, где, если попадешь в беду, всегда выручат деньги. И разве не тем же самым занимаются все звезды в Голливуде? Если что-то выходит не так — ну, не на той женился, или не ту девчонку обрюхатил, или застукали, что не те сигареты куришь, — разве все не швыряют тогда деньги в нужную сторону и не улаживают таким образом свои дела? Ну, если так на это взглянуть, тогда я даже в большей степени звезда, чем предполагал.

Да, вот что я вам скажу: алкоголь вправил мне мозги.

Я заказал еще одну порцию и вдруг понял, почему Сид прибегал к этому способу, когда хотел заглушить боль после смерти жены. Я наконец-то понял, почему мой отец всю жизнь отдал этой отраве.

* * *

Деньги выручили меня из беды. Деньги помогли мне похоронить воспоминания о беде.

Вернувшись в Нью-Йорк, я остро ощущал, что после своего нового почти смертельного опыта остался жив и свободен. И я прибег к деньгам как к зеленому болеутоляющему.

Я прошелся по Пятой авеню, между тем как в мозгу у меня зрело решение испепелить содержимое кошелька так, как Шерман испепелил Атланту[42].

Костюмы. Они не очень-то мне были нужны, но я решил обзавестись ими. Я решил сшить их на заказ. В ателье «Сай Мартинз». Они вышли превосходными. Они и не могли оказаться другими. Такие костюмы носил Сэмми.

Часы. Лишние часы — вещь еще менее необходимая, чем костюмы. Но меньше всего мне требовались часы марки «Вашерон Константэн» стоимостью 1150 долларов, приглянувшиеся мне. Я купил двое часов. И заодно купил одни

---

[42] Примечания: 42

Шерман Уильям Текумсе (1820–1891 гг.) — американский генерал. В процессе Гражданской войны 1861–1865 гг. сжег г. Атланту (15 ноября 1864 г.).

марки «Патек Филипп» за 900 долларов. Все, что блестело, было мое. Я просто покупал и потом не задавался никакими вопросами.

«Насколько мне известно, деньги существуют для того, чтобы их тратить», — так мне сказал Сэмми. Лишь теперь его слова дошли до моего сознания. А еще он сказал мне, что я теперь — настоящая звезда. Но нельзя же быть звездой и не перенять звездного отношения к жизни и звездных повадок. Я собирался усвоить и то, и другое.

Ладно — пусть будет двое часов марки «Патек Филипп».

* * *

Я крикнул водителю, чтобы он отъехал к тротуару и остановился. Он сделал, как я сказал. Не столько потому, что я попросил его об этом, сколько потому, что я заорал как сумасшедший, и он решил, что со мной лучше не связываться.

Я снова заорал:

— Сделай звук громче!

— Да что за…

— Включи радио погромче!

Таксист пробормотал все свои бруклинские молитвы на мою голову, но сделал-таки радио погромче.

Я этого ждал. Не в эту самую минуту, нет, но я знал, что у Томми уже вышла пластинка. Знал, что ее будут передавать по радио. Знал, что ее уже играли, так что это был лишь вопрос времени — когда мне случится услышать ее голос.

У меня тряслись кулаки. Кулаки — потому что я так волновался из-за Томми, что пальцы сами сжались и впились мне в ладонь.

Томми. Моя Томми. Даже неважное качество звука, лившегося из приемника — ведь вокруг нас торчали, создавая помехи, все эти манхэттенские башни, — неспособно было повредить ее сладостному голосу. Я так отчаянно пытался сосредоточиться на самом ее голосе, что песня оказалась уже наполовину спета, покуда я сумел наконец расслабиться, чтобы насладиться пением.

Я не обращал внимания на шофера, который что-то гавкал про то, что ему плевать, сколько я тут буду сидеть, он не собирается выключать счетчик, — и слушал.

А потом песня кончилась.

А потом я снова стал страшно волноваться: вот сейчас диск-жокей объявит ее имя, имя Томми, имя моей девушки, по радиоволнам, так что это услышит весь Нью-Йорк. И он объявил.

Как бы.

Он объявил название песни, сказал, что это — новинка из Детройта, что певица — свежеиспеченная сенсация. А потом произнес имя, незнакомое мне.

Диджей ошибся. Точно ошибся. Уж я-то узнал бы голос своей девушки где угодно, но вот имя…

Я расплатился с таксистом, напрочь забыл, куда направлялся, и пустился на поиски музыкального магазина. Ноги двигались в такт моим мыслям: диджей ошибся, точно ошибся.

Пластинка Томми была такой новой, что мне пришлось обойти три магазина, прежде чем я нашел ее.

Диджей ошибся. Точно оши…

Я сверился с обложкой. Диджей не ошибся. Да, я правильно узнал голос, но имя было другое. Томми стала Тамми. Да, кажется, она говорила об этом. Я смутно припомнил, как Томми говорила, что возьмет себе имя Тамми. Тамми, через «а». Но это маленькое изменение было только так, на затравку. Что меня действительно подкосило — так это то, что она не только имя, она еще и фамилию свою поменяла. Томми, моя Томми Монтгомери превратилась в Тамми Террелл.

* * *

Я позвонил Томми. Тамми. Ее не было дома.

Я позвонил ей в «Мотаун». Женщина, которая взяла трубку, сказала мне, что Томми сейчас в студии звукозаписи и не может подойти к телефону. Спросила, не хочу ли я что-нибудь передать. Я повесил трубку.

Я вышел из детройтского аэропорта — прошло всего восемнадцать часов с того момента, как я услышал песню по радио, — подозвал такси и велел водителю отвезти меня в «Мотаун». На этот раз сюрприз для Томми, для Тамми, приготовил я.

Таксист отвез меня, куда я просил. Не знаю уж, чего я ожидал, но ожидал явно большего, чем то, что увидел: коричневое каменное здание — маленькое, простое, — которое выглядело так, будто еще пара задержанных выплат — и его покинут навсегда. В окне торчала табличка с надписью от руки: «Хитсвилл, США» — можно было подумать, ее сделал какой-нибудь школьник. Иначе говоря, я вообще не понял, туда ли попал. Пока не зашел внутрь. Чернокожие. Одни чернокожие. Чернокожие певцы и сочинители песен, музыканты, инженеры. Чернокожие управляющие и бухгал-

теры, чернокожие секретарши. Такое зрелище нечасто доводилось увидеть в те дьявольски белые дни: чтобы столько чернокожих одновременно работало в одном месте. Вот насколько редким было это зрелище: даже сам будучи черным, при виде такого количества людей твоего цвета кожи ты испытывал шок. Вот насколько мы были забиты.

— Джеки!

Я оглянулся, посмотрел по сторонам. Ко мне спешил Ламонт Перл.

— Эй, Джеки, какими судьбами? Давно ты тут? — Он взял меня за руку, сжал мне предплечье, будто надеялся, что из меня золото посыплется.

— Я… Да я только что зашел.

— У тебя выступления тут будут на неделе?

— Нет, я… у меня несколько свободных дней. Вот и решил слетать сюда.

— Слетать? — То ли это действительно произвело на него впечатление, то ли он просто притворился. — У тебя хорошо дела идут. — Словно у него самого дела шли плохо. Если Ламонт что-то и умел — а он много чего умел, — так это находить верный подход к людям. — Поглядите только на этот костюм. Что же это такое, неуже-

ли это…

— Сай Мартин.

— Да, чудесно. Просто чудесно. А знаешь, такие носит Сэмми. Да что же это я — конечно знаешь. Я читал в «Курьере», что вы с Сэмми…

— Томми здесь? — прервал я его, сделав особый упор на ее старом имени. Я спросил о том, ради чего приехал сюда, попытавшись показать Ламонту, что у него, может, и есть время на пустую болтовню, а у меня — нет. Но моя попытка имела совершенно противоположный эффект. Ламонт лишь улыбнулся мне так, как обычно улыбаются ребенку, играющему в солдатики. Большой палец его руки пробежался по кончикам остальных пальцев. Туда-сюда, туда-сюда.

— Конечно, Джеки. Пойдем отыщем твою девушку.

Ламонт повел меня вдоль череды маленьких студий. Крошечные застекленные вселенные. Проходя мимо окон, можно было видеть разных мужчин и женщин, и поодиночке, и группами — молодые, незнакомые лица, жаждущие славы, — которые что-то записывали, репетировали, прослушивали записанное, но все это — в гробовой тишине, за звуконепроницаемыми стенами. У меня возникло ощущение, будто я — какое-

то божество, взирающее с высоты на людские празднества.

Я подумал — какие чувства возникают у здешнего теневого босса, Берри Горди, когда он проходит по коридорам своего маленького города, своего Мотауна, своего Хитсвилла.

Томми-Тамми находилась в одной из студий, вместе с долговязым черным парнем — чисто выбритым, с тугой опрятной прической из мелких завитков. Почти как у кавказца, лицо у него было узкое, угловатое, и смотрелся он в своих свежевыстиранных штанах и рубашке, пожалуй, чересчур деланно. Чересчур добропорядочно. Чересчур самонадеянно — как парень, который слишком уверен в себе и думает, что может заполучить любую девчонку, какая ему приглянется. Они оба смеялись. Над чем — не знаю. Над чем-нибудь смешным, что сказал он или она. Над какой-нибудь неудачной записью. Не важно. Что бы там ни было — мне не понравилось уже то, что они смеются вдвоем.

Ламонт побарабанил по стеклу. Томми обернулась, рассеянно поглядела. Прошла секунда, другая, прежде чем до нее дошло, что это я.

И вот уже Томми обнимала, целовала меня. Я делал то же самое и одновременно бросал такие

взгляды на Выглаженные Штаны и Накрахмаленную Рубашку, которые ясно говорили: «Да, она моя».

Между поцелуями Томми спросила:

— Что ты здесь делаешь? Почему не сообщил мне, что приезжаешь?

— Сюрприз, малышка. Ты же любишь сюрпризы.

— Люблю, если они касаются тебя.

Мы уже и без того крепко обнимали друг друга, но Томми пыталась еще сильнее, еще глубже вжаться в меня. Забыв о Ламонте и о том мальчишке-щеголе из кабинки, забыв обо всех остальных людях, находившихся в этом здании, мы с Томми не торопясь заново изучали друг друга. Жизнь порознь, вдалеке друг от друга, месяцы разлуки сделали свое, но, несмотря на все перемены, чувства остались неизменными и столь же горячими. Мы снова были вместе, пусть это длилось всего минуту. Этого оказалось достаточно, чтобы вновь пробудить мои давние надежды, что однажды, когда и я, и Томми преодолеем то, через что нам предстояло пройти, однажды мы с ней вместе начнем новую, общую жизнь.

Ламонт разрушил чары, встряв с вопросом:

— Тамми, почему бы тебе не отдохнуть немнож-

ко? Пусть Джеки отведет тебя куда-нибудь пообедать, а?

Нельзя сказать, чтобы это было не к месту. Нет. Если не учитывать того, что он назвал ее «Тамми» почти с такой же нарочитостью, как я раньше назвал ее «Томми», то он как бы делал мне милость, позволяя увести ее куда-нибудь среди бела дня. Но что-то в его предложении поддело меня.

С насмешкой я заметил:

— Неужели, Ламонт? В самом деле? В самом деле, *мне* можно повести *мою* девушку пообедать?

Все, чего я дождался от Ламонта, — это была все та же улыбка, как бы говорящая: «Ах ты, мальчишка».

Томми бросила на меня недовольный взгляд.

* * *

Мы вышли из «Мотауна», нашли за углом какое-то заведение, вроде столовой, где все подавалось жаренным на гриле. Музыкальным фоном служило непрерывное шкворчание готовящейся еды. Мы выбрали столик, расположились за ним, и я немедленно взялся за меню.

— Тут все выглядит неплохо. Ты уже решила, что будешь есть, детка?

Томми не собиралась пускать дело на самотек.

— Почему ты так себя ведешь?

Я сделал вид, что не понимаю:

— Так — это как?

— Почему ты так разговариваешь с Ламонтом?

— Потому что он все время крутится около тебя, все время так себя держит, будто ты принадлежишь ему.

— Он руководит моей карьерой.

— Но Сид же вокруг меня не вертится дни и ночи напролет.

— Если бы он это делал, я бы не имела ничего против.

— Это потому, что Сид не пытается... — Тут я осекся, прежде чем у меня сорвалось с языка нечто такое, о чем тотчас пришлось бы пожалеть. Но остановился слишком поздно, так что Томми без труда догадалась, куда я клоню.

— Вот, значит, о чем ты думаешь? Думаешь, Ламонт просто хочет затащить меня в постель?

— Я не сказал этого.

— Но был готов сказать. Да если бы даже он и хотел этого, неужели ты думаешь, что я позволила бы ему — ради того только, чтобы выпустить пластинку? — Томми медленно покачала головой из стороны в сторону, провела рукой по лбу. — Ты побиваешь собственные рекорды. Мы и мину-

ты не поговорили, а у меня уже раскалывается голова.

Я попытался загладить свою грубость.

— Я рвусь тебя увидеть, мчусь сюда — и застаю тебя с каким-то типом, вы с ним улыбаетесь и хохочете, а тут еще Ламонт на ушко про тебя нашептывает, — конечно, я вскипаю. Кое-кто называет это любовью.

— Ревность — вот как это называется.

— Так считают только те, кто не знает, что такое страсть.

Эта ремарка выудила у нее 5/8 усмешки.

Появилась официантка. Мы сделали заказ. Официантка ушла.

Я сказал:

— Ты хорошо выглядишь, Томми… Или Там… даже не знаю, как теперь тебя называть.

— Называй меня просто «деткой», ладно?

— Хорошо выглядишь, детка.

Тут на удочку попались остатки улыбки.

— Ты тоже.

— А что ты сделала со своими…

— Зубными пластинками? Просто сняла их.

— А волосы?..

— Да это парик. Когда постоянно в разъездах, то… ну, сам знаешь…

— Я слышал твою запись.

— Правда?

— Правда. И услышал ее в Нью-Йорке.

— Ну и?

— Это было… Пришлось рявкнуть таксисту, чтоб остановился, — так мне захотелось тебя послушать.

— Я собиралась дать тебе послушать.

— Я просто ехал куда-то и вдруг слышу… прямо затрясся весь. Я так волновался, я…

— Я хотела дать тебе послушать. Хотела позвонить тебе и… Я так нервничала, места себе не находила. И тут вдруг узнаю, что пластинка уже вышла, что ее уже запустили и…

— Ты не сказала мне, что сменила имя.

— Ты не сказал мне, что твой отец умер.

Тут нам пришлось резко затормозить. Пришла официантка, принесла нашу еду — это позволило растянуть передышку. Я сидел, как боксер, отдыхающий между раундами, и представлял себе, как буду драться после звонка.

Официантка ушла.

Раунд второй.

Не успел я раскрыть рот, как Томми сказала:

— Мне жаль, что твой отец умер. Я знаю, ты с ним не всегда ладил, вернее, совсем не ладил. Но

все равно…

Уткнувшись в тарелку, не желая говорить об этом, я буркнул:

— Выглядит аппетитно. Надеюсь, ты голодна.

— Нет, не голодна. Все равно, это была для тебя утрата, и мне жаль.

— Так почему ты сменила имя?

Томми-Тамми не понравился мой тон. Секунду она, похоже, колебалась: встать из-за стола и уйти или схватить ножик для масла и пырнуть им меня. Потом успокоилась и сказала:

— Это псевдоним, сценическое имя. Я же говорила тебе, что собираюсь поменять имя.

— Как-то упоминала. Сказала — может быть, поменяешь. «Может быть» — вот что ты сказала…

— Я говорила тебе: «Томми» — это слишком… А вот «Тамми» — звучит что надо.

— Тамми. «Тамми» через «а». Тамми Террелл.

— Да. Это так…

— Террелл. Тамми… Но почему Террелл? Ты же могла придумать какую угодно фамилию. Почему ты выбрала «Террелл», почему?

Томми-Тамми — ни гу-гу в ответ.

— Почему «Террелл»?

— Это фамилия одной моей подруги, Джин. Это фамилия ее брата. Это их фамилия — Террелл, и

он посоветовал мне взять ее. Он сказал, что она подходит к имени Тамми, хорошо звучит. Я тоже так думаю.

— А что еще тебе от него перепало, кроме фамилии?

Не успел я закрыть рот, как она уже вскочила с места и устремилась к выходу. Я ухватил ее за запястье, но она отбросила мою руку, как какую-нибудь тряпку. Я снова бросился к ней, но уже не для того, чтобы схватить, — я не удержал бы ее, если бы даже захотел, — а для того, чтобы прикосновением сказать то, чего я, болван, не мог сказать словами: «Прости. Не уходи. Я погибаю, и, пожалуйста, не бросай меня одного. Пожалуйста, не оставляй меня».

Она стояла на месте, стояла там, откуда уже приготовилась уйти, приготовилась вернуться к той жизни, которую вела без меня.

Она стояла…

Она села. Долгую, долгую минуту мы оставались неподвижны друг напротив друга, по разные стороны стола, точь-в-точь как два самых чужих человека на всей планете.

Наконец Томми-Тамми или Тамми-Томми овладела собой и произнесла:

— Ты очень, очень обидел меня, Джеки.

— Прости. Я ревную, честно признаюсь. Я… Я услышал твою запись, услышал, как диск-жокей назвал тебя Тамми Террелл, и подумал — ну, знаешь, — подумал, что, может, ты замуж вышла, а мне ничего не сказала. Я мчусь сюда во весь опор — и тут вижу тебя с этими… с этими парнями, с этими музыкантами. *Музыканты.* Ты же знаешь, какие они. Будь в них побольше пороху, они бы все друг с другом спали, а может, они так и делают.

Тамми-Томми бросила на меня такой равнодушный взгляд, что стало ясно: я попусту растрачивал слова, ее эта тема совершенно не волнует.

— Да я не о том… Меня обидело другое. Когда у тебя умер отец, а ты решил скрыть это от меня…

— Да я же не… Как я могу скрыть смерть отца? Я не рассказывал тебе потому, что я его не любил.

— Но дело не в нем — дело в тебе. В тебе и во мне. Любил ты его, ненавидел ли, — все равно ты что-то должен был чувствовать, когда он умер. И, что бы ты там ни чувствовал, ты хотел скрыть это от меня.

— Да, хотел. Я хотел скрыть свои чувства от тебя. У тебя столько работы, ты пытаешься записать пластинку, а тут я на тебя наваливаюсь, да

еще папашу своего наваливаю?

— Я хотела помочь тебе, что бы там у тебя ни творилось в душе. Я хотела — *хотела* быть частью твоей жизни, а ты попросту оттолкнул меня. Ты хоть понимаешь, что это такое? Когда любишь кого-то, думаешь, что тебя тоже любят…

— Я тебя на самом деле люблю.

— И чтобы доказать это, обращаешься со мной как с чужим человеком?

У нее на глазах показались слезы — одна, другая, потом целый поток. Кажется, я никогда прежде не видел, как она плачет. Точно, не видел. Иначе я бы запомнил. Видеть, как она страдает, и понимать, что все это из-за меня, мне было больнее всего на свете. Это было такое горькое зрелище, что мне никогда этого не забыть. Я как мог попытался утешить ее.

— Да пойми же ты, пойми: я сделал так ради тебя.

— Что за… Что за глупая вы…

— Если б я позвонил тебе, когда отец умер, ты бы прилетела ко мне?

— Сам знаешь, что да.

— Ага. Знаю. Ты бы ко мне прилетела, ты бы держала меня за руку, поцелуями унимала мою боль. Хорошо, а как бы ты одновременно могла

записывать пластинку?

— Да хватит! Заладил про мою пластинку! — Она снова схватилась за голову. — Пластинка — ерунда! Ничего она не значит!

— Да это же ты всегда твердила, что я просто хочу прославиться, а мне нужно понять, что мы делаем нечто особенное. Да, то, что мы делаем, — действительно особенное. Твое пение, во всяком случае. И я не собираюсь мешать твоему пению, не собираюсь мешать тебе становиться самой яркой звездой, которой ты обязательно станешь.

Она хотела было что-то возразить.

— Чтобы тебя все могли услышать, чтобы все поняли, какая ты особенная, — я-то давно это знаю. Я не противодействую тебе, я… Я вперед тебя подталкиваю. У нас еще есть время.

В ответ Тамми-Томми рассмеялась, и смех этот был совсем не радостный.

Я взял ее за руку. Перегнувшись через стол, поцеловал ее слезы. И снова повторил:

— У нас еще есть время.

Она тоже подалась вперед, потерлась щекой о мою щеку. Могло ли быть в мире что-нибудь нежнее ее кожи?

Очень скоро Тамми-Томми — Тамми, теперь она была Тамми, — очень скоро она успокоилась,

перестала плакать, и тогда мы с ней начали усиленно изображать парня с девушкой, которые вместе обедают. Пару раз, когда мы переставали изображать, когда на минутку расслаблялись — она смеялась над какими-то моими словами или я растворялся в ее улыбке, — тогда все становилось как прежде, как бывало за несколько лет перед тем, когда я был еще комиком, вкалывавшим по ночам, а она — всего лишь певичкой, выступавшей по разным кафе. Но такие минутки наступали и проходили очень быстро. Становилось очевидно: как бы дороги друг другу мы ни были, если мы и впредь будем жить порознь, нам будет все труднее и труднее удерживать любовь.

Мы немного поболтали. Поделились новостями. Тамми поинтересовалась, так ли я близок с Сэмми Дэвисом-младшим, как она пару раз читала о том в негритянских газетах. Вместо ответа я потащил ее к телефону-автомату, бросил монетки, набрал номер Сэмми в Лос-Анджелесе. Его не было дома. Домработница сообщила, что он в Чикаго, где у него выступления в «Сент-Клэр». Тамми сказала: ладно, она верит, что я знаю Сэмми, но сказала это так, будто не очень-то поверила. Я разузнал телефон чикагской гостиницы, где остановился Сэмми. Скормил телефону еще

несколько монеток. Набрал номер. Меня соединили с его комнатой. После бурных приветствий, какими обычно обмениваются закадычные приятели, мы с Сэмми пару минут потрепались о том о сем и ни о чем. Потом я передал трубку Тамми. Сэмми и Тамми потрепались минутку о том, какой я классный парень и какой у меня талант. Он выразил надежду, что «ребятки», то есть мы, в ближайшем будущем должны далеко пойти. Потом Сэмми попрощался с «деткой» и повесил трубку.

Думаю, тут я впервые по-настоящему вырос в глазах Тамми.

Мы покончили с едой и еще немного посидели, пока не стало ясно, что время, нужное для того, чтобы поговорить друг с другом, намного превышает те минуты, что мы с ней провели за разговором. Она задала последний вопрос: долго ли я пробуду в Детройте? Я сказал, что мне нужно возвращаться в Нью-Йорк, а потом отправляться на гастроли.

Больше говорить было не о чем.

Я расплатился.

Мы вышли на улицу.

Я проводил Тамми до «Мотауна», провел внутрь, а потом поцеловал ее на прощанье — долгим,

крепким и страстным поцелуем, — так, чтобы все видели.

И ушел.

Я прошагал некоторое расстояние пешком, потом подозвал такси, залез в него, уселся. Вернее, почти рухнул, и не упал только потому, что вцепился в дверь.

Я сунул руку в карман пиджака, нащупал коробочку, которую привез с собой из Нью-Йорка, решив, что теперь-то уж пора, что теперь я извлеку оттуда кольцо, надену его на палец Тамми и попрошу ее стать моей женой.

Но, сидя напротив нее в ресторане, я понял, что это кольцо — только удавка, которая будет медленно, день за днем, душить ее голос, пока он не стихнет. А я не хотел этого — я так ей и сказал. Я искренне верил в это. Как всегда, я делал это ради нее самой.

Я рассмеялся — так же, как раньше рассмеялась Тамми. Да, я делал это ради нее самой. И, делая «все ради нее», я вычеркивал ее из своей жизни.

— Куда едем, приятель? — поинтересовался таксист.

* * *

По пути из Детройта в Нью-Йорк у меня была остановка в Чикаго — я пересаживался на другой самолет. Я купил себе кофе и сандвич. Пережидал. Пока я ждал, по радио передавали, как Сэмми выступал в шоу Джека Айгена — популярного в городе радиоведущего, — рекламируя свои гастроли в «Сент-Клэр». Звуки доносились из приемника рядом с выходом к самолету. Джек и Сэмми чесали языками, перемалывая одну и ту же избитую тему: какое Сэмми чудо и каково это — быть таким чудом. Немножко сплетен о том о сем, правда ли то-то и то-то?

Я слушал, не слушая.

Я думал о Тамми Террелл с ее новыми зубами и новыми волосами в придачу к новому имени. Она мало-помалу становилась для меня незнакомкой. Я задумался — а может, и я становлюсь для нее незнакомцем: пусть у меня прежнее имя, зато более модная одежда, дорогие часы, растущая жажда славы. А еще я подумал: если взять двух людей, которые любят друг друга, если взять их и разлучить, так чтобы они жили порознь, то неизбежно ли, что со временем их пути окончательно разойдутся?

И тут радиопередача, к которой я не прислушивался, привлекла мой слух.

Сэмми: Я люблю Фрэнка, и он был добрее всех ко мне, когда я лишился глаза и хотел покончить с собой. Но многим его поступкам просто нет извинения.

Джек: Да, я слышал разные истории, все мы наслышаны о его выходках — как он избивал журналистов, как он «ошибался дверью» и устраивал дебоши, — но я пытаюсь поставить себя на его место. С его талантом…

Сэмми: Талант — не извинение для непристойного поведения. Даже если ты — самый талантливый человек в мире. Это не дает тебе права топтать людей, обращаться с ними как с быдлом. А именно это он время от времени и делает.

Джек: Да, это верно. Ну, вот ты говоришь о самых талантливых людях в мире. А можно я задам тебе вопрос: кто, по-твоему, сейчас — лучший певец у нас в стране?

Сэмми: Отвечу скромно, но безо всяких сомнений: по-моему, я.

Джек: Серьезно? Ты лучше Синатры?

Сэмми. Конечно.

Ну и ну… Что же это такое? Как он мог до такого договориться? Да, все это правда. Я знал, что это правда — все, что он сказал о Фрэнке и о припадках самодурства, которые периодически случаются у него. И про лучшего артиста — тоже; всякий, кто видел Сэмми на сцене, понимал, что никто его не переплюнет. Но как же так — точнее, *зачем* ? Этого я понять не мог. Зачем болтать об этом по радио и бросать камень во Фрэнка, прекрасно зная, что Фрэнк обязательно подберет этот камень и прибьет им тебя?

Ладно, в конце концов, это не мое дело. Пусть Сэмми сам разбирается.

Я снова стал думать о Тамми, но тут объявили мой рейс. Мне пришлось прервать свои мысли о ней, пока не взмою в небо, чтобы лететь в Нью-Йорк.

* * *

Дело было в Цинциннати. Место не хуже других. Лучше большинства других. Вполне подходящее место для того, что я сделал. Нельзя сказать, что я приехал туда уже с готовой идеей в голове, с каким-то важным замыслом. Нет, я не думал, что, дескать, там, в Цинциннати, я это и сделаю. Может, то, что случилось, случилось потому,

что я повидался с Тамми и она напомнила мне о вещах, которые для нее важны. Может, то, что случилось, случилось из-за самого ангажемента. Я выступал в «Уайлдвуде». Главным номером. Сид приехал вместе со мной, что теперь случалось все реже и реже. Я ведь уже давно встал на ноги. Теперь если он выезжал со мной на гастроли, то в основном для того, чтобы сменить обстановку, отдохнуть от сумасшедшего бега с препятствиями, которым он занимался вместе с Фрэн: несмотря на высокие рейтинги ее передачи, Си-би-эс еженедельно заставляла проделывать все новые сложные трюки.

Может, это случилось потому, что Цинциннати не принес ничего. Нет, я не хочу плохо говорить об этом городе. Я имею в виду только свои шоу — это они не принесли ничего. Ничего особенного. Ничего исключительного. Если рассматривать мой постголливудский отрезок жизни, то эти шоу были совершенно бесцветными. Выходил разогревщик, исполнял свои номера, потом его сменял я и еще в течение часа занимал публику. И так каждый день — совсем как солнце, выходящее вслед за луной. Первые три вечера я имел бешеный успех. Бешеный успех стал легким делом — не труднее, чем поверхностное дыхание

или сон под шум послеполуденного дождя. А может, просто все вместе сложилось — скучная рутина представлений, пустяковый характер самих шоу, присутствие Сида, — тогда я и получил необходимый толчок.

Может быть.

Как бы там ни было, на четвертый по счету вечер, сидя за сценой и слушая, как разогревщик исполняет свой номер — точь-в-точь, как он это делал вчера, позавчера и позапозавчера, — я вытащил из кармана пиджака мятые странички — листки почтовой бумаги с маркой гостиницы «Сент-Реджис». Это было излишне. Я назубок знал все, что там было написано. Я перечитывал это множество раз с тех пор, как покинул Сан-Франциско. Скорее, сверяясь с этими листками, я как бы спрашивал себя: «А ты уверен?»

Разогревщик приступил к последнему номеру.

Я сложил страницы и сунул их обратно в карман.

И вот я уже стоял на сцене, слушая, как затихают аплодисменты. Я дал им умолкнуть и вновь очутился на краю той знакомой пропасти безмолвия, которая отделяет аплодисменты зрителей от моей первой шутки.

Я выдержал секундную паузу.

Нет. Это была не пауза. Это было колебание. Я нервничал. Давно уже со мной такого не было.

Я поколебался еще немного, а потом произнес:

— Большое спасибо. Меня зовут Джеки Манн, и я — негр.

Смешки.

— Я сообщаю вам об этом, потому что я не всегда был негром. Раньше я был цветным. Насколько я понимаю, скоро мы начнем называть себя чернокожими. Мы постоянно меняем самоназвание. Наверно, надеемся, что белые окончательно запутаются — и тогда наконец нас полюбят: «Ненавижу этих…» — «Кого?» — «Да этих, ну как их… цве… не… че… Ладно, не важно!» Да, с этой интеграцией все так накаляется. Там, в Алабаме, губернатор Уоллес говорит, что интегрироваться — пожалуйста, но только через его труп. Что ж, губернатор, раз вы настаиваете… Вы только поймите меня правильно, друзья мои. Я не против белых, я просто за негров. Я так стою за негров, что даже клочка ваты из пузырька с таблетками аспирина не вытащу. Я протяну его аптекарю и заявлю: «Ты этот хлопок сажал, ты его и собирай!»

Люди глядели на меня с недоумением, некоторые явно никак не могли взять в толк, что это я там несу. Некоторым хотелось знать, какого черта

я несу всю эту ерунду о расовых делах, — они-то за шутки платили. Они просто таращились на меня, но не смеялись.

Некоторые.

Зато другие смеялись. Эти другие так смеялись, что остановиться не могли. И это был не тот привычный, запрограммированный хохот, который я слышал уже многие годы. На этот раз я услышал нервный смех, возбужденный смех. Я услышал смех, который как бы вопрошал: «Неужели он действительно так сказал?» Каждой фразой я подводил этих людей к краю обрыва, а потом, в последнюю секунду, подхватывал их, выбрасывая ударную шутку. Это держало их за глотку и не отпускало. Это заставляло их плясать под мою дудку. Ну, пару раз я, пожалуй, споткнулся о тишину, но ведь для меня этот номер был таким же свежим, как и для слушавшей меня толпы, и уже один этот факт будоражил, все во мне переворачивал. Мое шоу стало американскими горками, дикими и бурными, и нас всех вместе трясло и мотало из стороны в сторону.

И эта тряска была восхитительна.

Оли Хок плевался слюной, будто пулями. И эти пули, казалось, летели во все стороны со скоростью звука, попадая мне в лицо на долю секунды

раньше, чем голос врезался в мои уши.

— Что за хрен… какого, мать твою… — Разъяренный до белого каления, он начисто растерял способность выражать мысли.

Оли был владельцем «Уайлдвуда» и вожаком всех тех зрителей, которые не смеялись в процессе моего выступления. Ему не понравилось то, что он увидел и услышал. Совсем не понравилось. И, как бы ему ни было трудно выражать свои мысли, он все равно, как мог, попытался донести до меня свое неудовольствие.

— …Я плачу тебе хрен знает какие деньги, а ты там стоишь и… несешь какую-то агитаторскую лажу про расовые дела!

Мы сидели в кабинете Оли, в подвале клуба. И, надо сказать, я в любую минуту ожидал, что начнут звонить жители местного округа и жаловаться на обман.

— Он хорошо выступил. — Это Сид решил вмешаться. Он хотел убедить Оли, что все не так плохо, а заодно поддержать меня. Я догадывался, что Сид по-своему рад, что ему как организатору наконец подвернулся случай что-то сделать. Что-то — помимо решения очередных «сложностей» с шоу Фрэн, которые вечно измышляли сотрудники телеканала, видимо, чтобы как-то

оправдать собственное существование. Для него такая схватка один на один с владельцем клуба означала возврат в старые времена. — Я видел только то, что люди смеются.

— А знаешь, что я видел? — Оли забрызгал своими пулями в сторону Сида. — Я видел, что половина из них смеется. Может, меньше половины. Остальные же, я видел это, сидели с каменными лицами. А знаешь, что я слышал? Слышал, как они вставали с мест и уходили или подходили ко мне и требовали назад свои деньги, которые я вычту из твоего — это было уже опять в мою сторону, — из твоего гонорара!

Сид открыл было рот, но Оли не дал ему ничего сказать:

— Если он хочет болтать эту свою чушь про расизм — пусть делает это на собраниях Эн-дабл-эй-си-пи[43]. А завтра вечером пусть травит байки. *Смешные* байки.

Когда, покончив с руганью, Оли выставил нас, мы с Сидом зашли в какую-то забегаловку и взяли по сандвичу. К своему я взял еще и кружку «пабста».

Сид — видимо, стремясь поскорее заглушить

---

[43] Примечания: 43

NAACP — Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.

голос Оли, еще звучавший у меня в ушах, — затараторил:

— Да он сам не знает, что мелет. Лично я не помню, чтобы ты так отлично выступал.

Время — пусть его прошло совсем немного — ослабило остроту того кайфа, который я испытал на сцене. А выпивка еще больше притупила его.

— Не знаю…

— Джеки, сколько раз я видел тебя на сцене? Ты всегда хорошо, смешно выступаешь, но сегодня… — На секунду Сид замолчал, как бы заново проживая мое шоу. — Ты был резок, остроумен, бил в цель без промаха. Кстати, когда ты все это сочинил?

— В Сан-Франциско. С тех пор вынашивал. Может, нужно было еще чуть-чуть повынашивать. Еще годика два.

— Мир меняется, Джеки. Комики, то, о чем они говорят и как говорят, — всё это тоже меняется. Сегодня ты оказался именно там, где тебе место.

— Оли прав. Половине зрителей понравилось то, что я говорил, а половине — совсем не понравилось. — Я заметил, что взгляд Сида упал на мое пиво. Не надо было бы прикладываться к пиву у него на глазах. Не надо было бы, но я сделал еще глоток.

— Это сейчас. А в следующий раз, может быть, тех, кому это понравится, окажется вдвое больше.

— А может, вдвое больше окажется тех, кто встанет и уйдет. Сид, я же всегда… Я всегда умел нравиться публике. — Из меня вдруг полезли высказывания в духе Чета Розена. — И это было мне на руку.

— А может, то, что ты сделал сегодня, сработает еще лучше. Ну, давай, Джеки. Погляди мне в глаза и скажи, неужели этот смех пришелся тебе не по вкусу?

Да, он пришелся мне по вкусу. Мало того: он оказался обжигающе вкусным, он попадал мне прямиком в кровь, и я уже начал опасаться, что он не менее ядовит, чем сладок. Я представил себе Ленни Брюса, язвительного и резкого. Язвительного и резкого — для горстки длинноволосых, собравшихся в крошечном подвальном кафе. А потом я подумал о себе — о комике, который умеет нравиться публике. Который умеет просто нравиться, но умеет нравиться в лучших ночных клубах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса. Конечно, я не был лучшим из комиков, до этого мне было далеко, зато я сумел выкроить для себя собственную нишу, добился этого, несмотря ни

на какие трудности, за сравнительно короткий срок, и мне еще было куда подниматься. Неужели от всего этого стоит разом отмахнуться, чтобы просто заявить, что я тоже умею быть резким?

Я сказал то, что думал:

— Я и сам не знаю.

— Да забудь ты про Оли, забудь про… Ну да, тебе будет влетать за такие представления, но ведь ты же…

— Да, я про то и говорю: сначала мне будет влетать, а потом меня вообще перестанут приглашать.

— Сегодня у тебя появился голос. Помнишь, мы говорили об этом, — о том, что нужно иметь свой собственный голос.

Я допил пиво, как будто, влив себе в глотку еще немного спиртного, можно было что-то для себя прояснить.

Официантка принесла нам счет. Я бросил ей двадцатку и сказал, что сдачи не надо.

Это мне нравилось. Мне нравилось, что я могу швыряться деньгами, не задумываясь.

Я сказал:

— Да, у меня появился голос, но пока еще нельзя сказать, хороший ли это голос.

* * *

Снова Лос-Анджелес.

Снова «Сайрос», но на этот раз все по-другому. Теперь я не сидел среди публики, а выступал на сцене, вместе с Луисом Примой и Кили Смит. Да, я выступал у них на разогреве, но на разогреве в «Сайрос». А выступать на разогреве в «Сайрос» было лучше, чем выступать главным номером в большинстве заведений. Конечно, зал не ломился от публики, как это было в тот вечер, когда тут выступал Сэмми, но все же народу было прилично. Зал не был сплошь набит знаменитостями, но кое-какие звезды все-таки светились. Голливуду нравилась ночная жизнь. Голливуду нравилось, чтобы им любовались.

Представления имели бешеный успех. Луис больше горланил, чем пел, а Кили, видимо, была единственной женщиной, чьи легкие могли поспеть за ним и за оркестром — мощным, грохочущим и фальшивящим. Первый вечер больше напоминал вечеринку, чем работу, к тому же мне отвели столик рядом с эстрадой. И вот я сидел там, смотрел и слушал, и мне пришло в голову, что я правильный выбор сделал тогда, после Цинциннати, решив просто продолжать делать

то, что лучше всего у меня получается: выходить на сцену и нравиться публике, а потом сидеть и упиваться нектаром богов. К чему разрушать все это? Ведь я трудился изо всех сил. Я заработал себе право на невероятно хорошую жизнь.

В самое ближайшее время она должна была стать еще лучше.

— С вами хочет поговорить Лилия Дэви.

У меня челюсть чуть не отвисла до пола. И не только в фигуральном смысле. Я и впрямь так широко разинул свою варежку, что моя нижняя челюсть не грохнулась на кафельную плитку лишь потому, что ее удерживали лицевые мышцы.

Второй вечер в «Сайрос». После представления. Я сидел в своей гримерке, и тут из-за двери показывается Герман Хоувер и наносит мне такой удар под дых.

Я брякнул первое, что пришло в голову:

— Лилия Дэви? Точно?

— Вы что, шутите?

— Ну… — Что — «ну»? В это трудно было поверить, ко мне хотела заглянуть Лилия Дэви. О чем тут можно было думать? — Ну хорошо, пускай заходит.

Герман повернулся, чтобы уходить, остановил-

ся, повернулся и одарил меня улыбкой, которую способны понять только мужчины.

Лилия Дэви, европейская актриса. Да, та самая европейская актриса, хотя на ее картины зрители — особенно мужчины — валили отнюдь не из-за ее актерского дарования. Фильм, принесший ей славу, был какой-то заумью, которой никто не понял. Лилия превратила его в мировую сенсацию тем, что просто стояла перед камерой и дышала. Ровно то же самое она делала и в голливудской целлулоидной дешевке, в которую ее засунули, как только заманили в Штаты. Но… хорошее кино, дрянное кино — какая разница? Положите брильянт в грязь — и даже слепой его заметит.

Пока я мысленно проглядывал досье Лилии, она показалась на пороге. Казалось, само воплощение секса вошло в комнату. В ней было пять футов семь дюймов[44] извивов и поцелуев, а в довершение — чистый грех улыбки. Темные волосы, темные глаза, кожа, с которой не сходил загар. На ней было красивое черное вечернее платье. Кажется, из тафты. От Диора, а может, от Живанши. Без бретелек. По-видимому, на ее теле оно держалось благодаря той же сексуальной

---

[44] Примечания: 44
1 м 80 см.

гравитации, которая притягивала к ней всё без исключения, что попадало в ее силовое поле. И на десерт — разрез, рассекавший платье от пола до бедра и заставлявший воображение буквально закипать.

— Мистер Манн? — Ее голос, звучавший с легким акцентом, выводил слова, как флейта выводит мелодию. Она простерла руку (затянутую в перчатку по локоть), как это обычно делают королевские особы: запястье выгнуто, большой палец смотрит в пол, а тыльная сторона ладони кверху.

Из кино я знал, как здороваются с пташками такого полета.

— Мисс Дэви. — Я взял ее руку и поцеловал, изо всех сил разыгрывая Кэри Гранта. — Мне очень приятно вас видеть.

— А мне — вас.

Я подождал, когда она отнимет у меня руку.

Она ее не отнимала.

Я сказал:

— Видел вашу последнюю картину. Вы там просто сказочны.

— А некоторые говорят, что я не умею играть.

На этой удочке была приманка. Если бы передо мной была любая другая пустышка из киномира, я бы заговорил ей зубы блестящими похвалами.

Но я был твердо уверен, что уж эта-то рыбачка хочет понять: стану я ей курить фимиам или скажу правду.

— Не уверен, что это и есть игра, но то, что вы делаете на экране, у вас получается лучше всего на свете.

Ее губы шевельнулись — и слегка разжались. Они выгнулись чуть кверху — не знаю уж, как это называется.

Она сказала:

— Я с удовольствием на вас смотрела сегодня вечером. Вы были просто так *очаровательны.*

— Правда?

— То, что я понимала, мне показалось забавным. — Коротенькая пауза. — Но я действительно смотрела на вас с огромным удовольствием.

Я почувствовал, как у меня на лбу образуются бусинки пота, и приказал им остановиться. Я не знал в точности, но, думаю, был прав, полагая, что для ослепительных звезд потные комики — не самое приятное зрелище.

— Вы еще долго пробудете в Лос-Анджелесе? — поинтересовалась она.

— Всю эту неделю, пока у меня выступления.

— А-а…

Пауза.

Лилия сказала:

— Не буду вас задерживать. Вы, наверное, очень заняты. Я только хотела вам сказать, что вы мне очень понравились.

Не помню, как Лилия отняла у меня свою руку, но помню, что еще никогда моя рука не ощущала такой абсолютной пустоты, как в ту секунду, когда ее рука высвободилась.

— Я вас еще увижу, — сказала она и поплыла к двери. Эта фраза была столь же загадочна, как и сопровождавший ее взмах ресниц.

А потом она исчезла.

Я налил себе стакан воды и залпом выпил. Затем выпил еще один стакан.

Из «Сайрос» я рассеянно возвратился к себе в «Сансет-Колониал». Я чувствовал себя усталым и неустанно прокручивал в голове недавнюю сцену моей встречи с Лилией. Смутно припоминаю, что поговорил о чем-то с Дори, которая занималась уборкой: кажется, она что-то спросила меня про представление, а я что-то ей ответил, но на самом деле почти не обратил на нее внимания. Потом поднялся к себе и улегся в постель. Мне отчаянно хотелось заснуть, но никак не удавалось это сделать. Мысли о Лилии гнали от меня сон.

Нет, конечно, я не бредил ею. Мне даже и на

секунду не пришло в голову, что я могу для нее что-то значить — разве что приятно проведенный вечер. Скорее, я думал о том, как невероятно было вообще познакомиться с такой женщиной. Ведь еще совсем недавно я сиживал в кино и смотрел фильмы с ее участием или останавливался возле киоска, если замечал распушенный в лохмотья журнал с ее фотографией на обложке, — точно так же, как это делали все остальные мужчины в Америке. И вот теперь — в отличие от большинства мужчин в Америке — я вблизи взглянул ей в глаза, я держал ее руку, мы с ней обменялись несколькими фразами. Я мысленно приколол к своей груди медаль, подумав: а вот с Ленни Брюсом такого, держу пари, не бывало.

Зазвонил телефон. Я даже не знаю, пробудил ли меня этот звонок от настоящего сна или от мечтаний. Я вскочил от нетерпения — не от изумления. За долю секунды, в каком-то помрачении рассудка, я решил, что мне звонит Лилия.

— Джеки… Боже мой, да где же ты…

Это был самый жалобный голос, какой я когда-либо слышал; в нем звучало такое отчаяние, что я почти не узнал его.

— Сэмми?

— Почему ты мне не звонил?

— Не звонил? А я не знал…

— Я оставлял сообщения. Значит, тебе не передали…

— У меня было выступление. Потом я вернулся сюда, прямо к себе…

— Ты должен ко мне приехать. Ты ведь приедешь? Пожалуйста!

— А который теперь час?

— Джеки, пожалуйста. — Всхлипывания, потом: — Мне надо с тобой поговорить. Мне нужна твоя помощь.

Моя помощь? Ему нужна моя помощь? Сама эта мысль уже казалась безумием, но как тут было отказаться? Я записал адрес, положил трубку. Поглядел на часы. Пять сорок три.

Через двадцать минут я сидел в своей арендованной машине и направлялся к дому Сэмми Дэвиса-младшего.

* * *

Сэмми жил на Холмах. На Голливудских Холмах. На Голливудских Холмах, прежде заселенных сплошь белыми. Либеральный Тинселтаун сколько угодно чесал языками, выдумывал идеальный мир на экране, но, точно так же, как большинство анклавов, состоящих из людей одного цвета

кожи, там отнюдь не были готовы выполнять стойку на руках и играть на тубе по случаю того, что по соседству поселился чернокожий парень. Но затем объявился мистер Развлечение. А когда Сэмми Дэвис-младший решает поселиться в твоем районе, то его уже ничто не остановит. Настолько он был всесилен.

Я подкатил поближе к дому и направился к двери, но не успел позвонить или постучать, как дверь распахнулась. На пороге показался Сэмми — обработанные химией волосы всклокочены, на подбородке щетина. Вид у него был такой, будто он неделю не спал.

Сэмми не проронил ни слова. Он просто открыл дверь, потом побрел обратно в дом, как зомби. Я пошел следом за ним в гостиную (размером примерно со всю мою нью-йоркскую квартиру), где он рухнул на кушетку.

Я не знал, что и сказать, с чего начать.

— Как ты… Всё в поря…

— Он пытается меня убить.

Я быстро огляделся по сторонам, слегка втянув голову в плечи. Стоило ли вылезать из постели и мчаться сюда, в Холмы, только для того, чтобы закончить тут жизнь.

Сэмми повторил:

— Он пытается меня убить. — Потом пояснил: — Фрэнк пытается меня убить.

— Фрэнк Костелло?

— Синатра. Фрэнсис шкуру с меня хочет содрать.

— Но почему? Что ты такого…

— Ничего я не сделал. Ничего… Несколько месяцев назад я выступал по радио в Чикаго…

— В шоу Джека Айгена? Да, я слышал эту передачу. О чем ты тогда думал?

Сэмми мои слова подкосили как пуля. Он весь сжался в комок:

— И ты тоже? Ну, детка, мне конец.

— Да нет, все было не так уж плохо, — соврал я. — Мне так не показалось.

— А Фрэнку показалось. Он прослышал обо всем и кликнул свою шайку. Он всюду разослал приказ: «Чтоб никто не давал Смоки работу». И вот мне отовсюду приходят отказы, отменяются приглашения. Он выкинул меня из кино. У меня был контракт, Джеки, а он заставил их выкинуть меня!

— Не хочешь выпить? — спросил я. Я не знал, какое еще средство предложить, но вспомнил, как хорошо действовало на меня спиртное, когда мне бывало плохо. — Как насчет выпивки?

— О Боже. Что мне делать? — Сэмми продолжал корчиться, зарылся лицом в подушку.

Мне пришлось сесть. Положение требовало серьезного подхода, а я еще никогда в жизни не слышал, не видел и не делал ничего такого, что могло бы меня как-то подготовить к общению со звездами на грани срыва.

— Послушай, Сэмми, ты — один из лучших артистов в мире. Да, Фрэнк может наделать тебе неприятностей, но он же не сможет забрать у тебя все.

Подняв голову с подушки, Сэмми сказал:

— Малыш, если ты думаешь так, значит, ты не знаешь этого человека. Мир этот принадлежит Фрэнку. А мы только живем в нем. — Голова Сэмми снова рухнула на подушку.

Я предложил очевидное:

— Почему бы тебе не поговорить с ним?

— Я пытался. Он не отвечает на мои звонки, не хочет меня видеть. Он выступал в «Фонтенбло», когда я был в «Иден-Роке». Я зашел туда — так он даже на сцену не выходил, пока я не покинул гостиницу. — И снова отчеканил: — Он — даже — на сцену — не — выходил.

— Я не… Конечно, он немножко расстроился, но он же не станет…

— Он делает фильм…

— Он…

— Он делает фильм, и там все снимаются.

— Что значит — все?

— Дайно, Джоуи, Энджи, Питер…

— Лофорд? Но он же…

— Он терпеть не может Лофорда, но тот тоже там играет. Там все играют, а меня там не будет, если все не утрясется.

— Ну хорошо, а может, кто-то за тебя поговорит с Фрэнком? Может, Дин…

— Дин не станет подставлять под удар свою задницу. Энджи смелее, чем Лофорд, но Фрэнк никогда женщин не слушает. Джоуи же рад уже тому, что его взяли…

И вдруг до меня дошло, зачем он вызвал меня в такую рань сюда, на Голливудские Холмы.

— Сэмми…

Сэмми приподнялся, но был все еще не в состоянии встать и потому взмолился сидя:

— Пожалуйста, Джеки… Кроме тебя, некому.

— Меня? Что же, мне отправиться к Синатре и… Я же не…

— Он хорошо тебя примет. Ты ему нравишься.

— Да, но я же… я… — Как бы мне ни было неприятно в том сознаваться, но такова была правда:

— Я же никто.

— Джеки… — В душе у Сэмми клокотало множество чувств. Загнанный в угол отчаянием, он готов был слезно молить и упрашивать. В нем клокотали боль и нужда и угадывался страх человека, который окидывал взглядом все, что он успел выстроить, все, что было ему дорого… Это был страх человека, который ожидал, что вот-вот увидит, как рушится его жизнь, как все разлетится на мелкие кусочки всего-навсего из-за его минутной оплошности. И все это он заключил в одно-единственное слово: — Пожалуйста!

Мне вспомнился тот день в Чикаго. Вспомнилось, как я сидел в аэропорту, слушая по радио голос Сэмми и думая: ну что же. Это его дело, не мое. Если бы я знал тогда то, что знаю теперь… Я сказал:

— Ладно.

* * *

Синатра находился в Палм-Спрингз. У него там был дом. Сэмми дал мне номер его телефона, и чуть позже, набравшись храбрости, я позвонил. К телефону подошел Джилли, и я в душе обрадовался. Сказал ему, что хотел бы поговорить с Фрэнком, — надеясь, что того не будет поблизо-

сти. Тогда я смогу сказать Сэмми, что я звонил, пытался, но Фрэнка не бы…

Джилли попросил меня подождать у телефона, куда-то отошел, потом вернулся и сказал:

— Фрэнк говорит: конечно, заезжай.

— Но я…

Джилли начал объяснять мне, как добраться до места.

Я вовсе не напрашивался на встречу с глазу на глаз. Но я прекрасно понимал, что если получаешь приглашение от Главного, то отклонить его немыслимо. Я записал объяснения Джилли, сел в машину и покатил в пустыню.

Почти три часа я ехал до дома Фрэнка, который оказался не домом. Это было огромное владение, огороженная территория, ранчо посреди нескольких акров земли на Уандер-Палмз-Роуд, неподалеку от клуба «Тамариск-Кантри». Теннисный корт, бассейн, парочка хижин для гостей, вокруг которых были высажены кактусы, мексиканские сосны и опунции. Все это походило на аванпост живущей полной жизнью миссии в пустыне.

Я припарковался, направился к двери, которая показалась мне главной. Гостя приветствовал коврик с надписью: «ПОДИ ПРОЧЬ!»

Очень мило.

Я нажал на дверной звонок.

Пустыня дышала горячим воздухом, который, будто наждак, все терся и терся о тебя.

После второго звонка наконец показался Джилли.

— Привет, Джеки, — поздоровался он, но поздоровался сухо. Он не был рад меня видеть, просто мирился с моим присутствием, как мирятся обычно с парой зимних месяцев. Единственное занятие, которое имелось у Джилли в жизни, — это быть другом Фрэнка. У меня создалось впечатление, что ему не очень нравилось, когда посторонние люди мешали ему выполнять эту работу. — Ступай поздоровайся с Фрэнком.

Джилли пошел в дом, я последовал за ним. Внутри дом был украшен собранием памятных предметов. Плакатами с кадрами из фильмов, где снимался Фрэнк. Золотыми пластинками Фрэнка, фотографиями Фрэнка в компании с различными знаменитостями. По сути, неизменным мотивом являлся сам Фрэнк. Если для большинства людей дом — это крепость, то жилище Фрэнка было его храмом самому себе. Именно таким храмом, причем оранжевым храмом. Фрэнк обожал оранжевый цвет.

— Оранжевый — самый счастливый цвет, — заявил он, приглашая меня в свою гостиную. — Мне он никогда не надоедает.

В этом можно было не сомневаться. На нем была оранжевая спортивная рубашка и коричневые штаны. Пожалуй, сочетались они неплохо. Вроде как.

— Что будешь пить? — спросил Фрэнк.

Я отказался:

— Рановато для меня.

Отказ не принят:

— Никогда не рано начинать. Джилли, приготовь для кореша что-нибудь со льдом.

Джилли отправился выполнять поручение.

Я подошел к окнам, простиравшимся от пола до потолка, полюбовался бассейном, перевел взгляд на пустыню, расстилавшуюся вдаль до горизонта.

— Какое красивое место вы выбрали!

— Я безумно люблю пустыню! Сухая, раскаленная, солнце жарит день-деньской… Земля тут такая крепкая. Все, кто тут живут, тоже крепкие. Знаешь, кто живет в пустыне?

— Кто живет в пустыне?

— Твари, которые не умирают.

Мы все трое задумались над этой мыслью.

Джилли вручил мне стакан.

Фрэнк поинтересовался:

— Как проходят шоу?

— Хорошо. Пока хорошо. На самом деле я сюда совсем ненадолго заскочил. Сегодня вечером у меня представление.

— Что ж, рад, что ты нашел время заехать ко мне. Этот дом открыт для моих друзей. Теперь ты мой друг. Друзьям я всегда рад. Правда, Джилли?

Джилли издал какой-то неопределенный звук.

— Я ценю это. Я ценю ваше время, то, что вы меня принимаете… — Как я влип во все это? Теперь надо было как-то выбираться на ровную поверхность. Я просто начал говорить, надеясь, что наткнусь на правильные слова, как наткнулся на саму эту историю. — Дружба — это очень, очень важная вещь. Я знаю, что вам это известно. Ваш друг — это друг навсегда. А к чему я все это говорю… Я виделся с… Я говорил с Сэмми…

Одно слово. Одно это слово слетело у меня с губ, как Фрэнк сделался настолько же красным, насколько стены были оранжевыми.

— Этот паршивый сукин сын! Эта вошь! Какого черта! Что он о себе возомнил, поносить меня вздумал!

Я раскрыл было рот, но ничего не сказал, решив

не становиться на пути у потока лавы. Припомнив историю с вечеринкой, я отошел подальше от форточки.

— Достаточно того, что он поносит меня на радио — так он еще делает это в Чикаго. В Чикаго!

— У тебя в Чикаго друзья, — вставил Джилли, подливая масла в огонь.

— У меня в Чикаго куча друзей, а он выходит в эфир и позорит меня? И это после всего, чем он мне обязан. Нож в спину мне всадил — вот что сделал этот грязный ниггер! — Последние слова Фрэнк выплюнул, не обращая внимания на меня.

Мне и в голову не пришло, конечно, что Фрэнк вдруг стал расистом. Это слово в тот момент относилось исключительно к Сэмми. Просто Фрэнк хотел оскорбить его и решил применить самое сильное оружие.

— Думает, что он такой крутой? Думает, он круче меня? Да я его раздавлю. — Он посмотрел на меня в упор. — Я раздавлю любое ничтожество, которое попрет против меня.

Джилли улыбнулся.

Вулкан затихал. Если я собирался что-то сказать, то не было лучшего момента.

— Он сам на это напрашивался.

Это была маленькая увертка, которой Фрэнк явно от меня не ожидал:

— Ты так думаешь?

— Даже если он сам верил в эту чушь, — я сделал особый нажим на слово «чушь», — насчет того, что он поет лучше вас, — а я-то понимаю, что в душе он в это не верит, — конечно, нечего было приходить на радио и всем об этом трубить.

— Конечно. Конечно нечего. Теперь я вижу, ты все понимаешь, Джеки. — К Джилли: — Видишь, Джеки все понял?

Джилли издал какой-то неопределенный звук.

— Этот неотесанный еврей напакостил мне, и теперь я его проучу.

Медленно, как бы теряясь в сомнениях, я произнес:

— Вот именно…

То, что я сказал и как я это сказал, заинтересовало Фрэнка.

— Что ты хочешь сказать этим «Вот именно»?

— Ну да, я с вами согласен. Вы можете растоптать Сэмми. И я знаю, и он знает, что вы на это способны. Все это знают. Просто нехорошо будет, если вы всем им боеприпасы вручите.

Фрэнк перевел взгляд с меня на Джилли, потом снова посмотрел на меня.

— Боеприпасы? О чем ты толкуешь, черт возьми? И кто такие эти *все они?*

Насколько я понимал, ни уговорами, ни спорами Фрэнка невозможно было пронять; тут не помогли бы доводы ни логики, ни разума. Единственный способ добиться прощения для Сэмми от звезды такого масштаба — это задеть за его живое самолюбие.

— Ну, они. Пресса, журналисты, собиратели сплетен. Луэлла и Дороти[45].

Видимо, это его проняло.

— Килгаллен[46]? Это чертово чудо без подбородка!

— Ну, о том-то я и толкую. День и ночь они точат на вас перья. Уж они-то не станут писать про Сэмми, что Сэмми получил то, на что сам нарывался. У них будут такие заголовки: «Синатра ради забавы растоптал приятеля». Про это я и сказал, вы сами снабдите их боеприпасами.

— А что же ему делать? — поинтересовался

---

[45] Примечания: 45

Луэлла — Луэлла Парсон (1893–1972), кинокритик, журналистка, автор влиятельной колонки (с начала 30-х гг.) примерно в 400 газетах страны. Была широко известна просто как Луэлла. Дороти — Дороти Дэй (1897–1980), прогрессивная журналистка, работала в газетах Нью-Йорка, Чикаго, Нового Орлеана.

[46] Примечания: 46

Килгаллен, тоже Дороти, как и Д. Дэй, — автор газетной колонки, известная журналистка.

Джилли.

— Ну… — Я выдержал паузу, сделал вид, что мысль, к которой я подбирался, только что пришла мне в голову. — Вы могли бы сделать нечто такое, чего от вас никто не ожидает. Вы могли бы простить Сэмми. Ну, понимаете, после того, что он натворил, вы его прощаете, — и что людям остается говорить? «Ой, да Фрэнк, как он великодушен. Какое у него доброе сердце!» Вы сделаете правильно, и о вас все хорошо будут думать. И только пускай это чудо без подбородка попробует тогда написать о вас какую-нибудь гадость!

Фрэнк не тратил времени на раздумья:

— Да ты меня просто дуришь, малыш.

Он видел меня насквозь. Может, его эгоизм и был под стать его звездному статусу, зато явно не ослеплял его. А может быть, я просто говорил слишком банальные вещи.

У меня появилось чувство, что сейчас упадет топор и покатится из-под него голова не только Сэмми.

Я собрал силы для последнего броска:

— Что ж, тогда хотите знать, почему вам нужно его простить? Потому что он — ваш друг. Потому что, независимо от его болтовни, он все равно — тот самый парень, ради которого вы все бро-

сили и помчались сидеть у его койки, когда он разбился и потерял глаз. Вам нужно простить его потому, что он любит вас и поклоняется вам. Да-да, *поклоняется.* Он знает, что всем обязан вам. Он знает, что, если бы не вы, он оставался бы никем — очередным негритянским пареньком, который танцует, чтобы заработать себе на обед. Он — один из самых талантливых ребят на планете, и он всегда — *всегда* — будет существовать в вашей тени. А теперь на секунду представьте себя в его шкуре: если бы на вас давил такой непомерный вес, вам не кажется, что однажды вы бы сорвались и в приступе безумия наговорили бы глупостей?

Боже!

Боже праведный! Если бы Сэмми знал, что я тут несу, он бы, наверное, предпочел смертный приговор от Фрэнка той картине, которую я тут нарисовал: бездарный бедолага, который зарабатывает себе на жизнь только потому, что однажды над ним кто-то сжалился. Но речь уже не шла о том, чтобы спасать шкуру Сэмми. Фрэнк посадил нас обоих в одну лодку, а я не хотел тонуть вместе с Сэмми.

После моего маленького спича ничего не произошло. Фрэнк вообще никак на него не от-

реагировал. Просто стоял на месте, смотрел на пустыню, то и дело потягивал из стакана.

Наконец он произнес:

— Желаю тебе сегодня удачного шоу, Джеки.

Аудиенция была окончена. Я поставил свой стакан с нетронутым виски и направился к двери. Джилли даже не шевельнулся, чтобы проводить меня.

Я сел в машину и почти три часа спустя снова оказался в Лос-Анджелесе. Я успел только принять душ и побриться — пора было спешить в «Сайрос». Луи с Кили пели бесподобно, но, в отличие от предыдущих представлений, я уже не чувствовал, что нахожусь на вечеринке.

* * *

Неделей позже я неожиданно понял, что постоянно думаю о Лилии Дэви. Я явно думал о ней гораздо чаще, чем обычно это делало большинство мужчин. Началось с того, что я снова и снова разыгрывал в воображении нашу встречу, а под конец просто места себе не находил. Я начал разбивать эту сцену на мельчайшие крупицы, анализировать произошедшее так, как сыщики в дешевых детективах выжимают все, что можно, из сцены преступления: она сама пришла, чтобы

со мной увидеться. Она хотела со мной увидеться. *Хотела* — так сказал Герман. Она пришла ко мне одна, ее не сопровождал ни один другой мужчина. Ее рука лежала в моей руке. Она задержала свою руку в моей. Ее слова: «Я с удовольствием на вас смотрела». Не «с удовольствием смотрела ваше шоу», а «с удовольствием на вас смотрела».

С удовольствием.

С удовольствием смотрела на *меня.*

Она спросила, сколько я еще пробуду в Лос-Анджелесе. Может, она хотела это знать, потому что… Может, она хотела знать… «Я вас еще увижу», — сказала она мне на прощанье, а не…

Две минуты. Всего две минуты продолжался наш с ней разговор у меня в гримерке. Даже меньше. Но не было ни одного мгновения из этих двух минут, которое я не лелеял бы в уме, одно за другим, вначале убеждая себя в чем-то, а потом говоря самому себе, что я сошел с ума, если допускаю подобные мысли. Я не знал, какие выводы мне нужно сделать из всех этих догадок, атаковавших мою черепную коробку. И не знал, что делать потом. Но какой бы стороной ни ложились монетки, которые я мысленно подбрасывал, истина заключалась в том, что иные возможности предоставляются раз в жизни. Либо ты с ними

что-то делаешь, либо просто наблюдаешь, как они растворяются в тумане и уходят в прошлое.

— Да? — Голос Лилии чем-то напоминал голос Лорен Бэколл, и я готов поклясться, что даже по телефону ощущаю теплоту ее дыхания.

— …Мисс Дэви, это Джеки Манн.

Снова:

— Да. — На сей раз — уже утвердительно, не вопросительно.

— Простите, что я… Надеюсь, вы не против, что я звоню вам, но я все думал — и взял ваш номер телефона, кстати, у Германа. У Германа Хоувера.

Она ничего на это не ответила.

— Он сказал, что, наверное… Что, наверное, я могу вам позвонить. Я хотел спросить — гм, понимаю, вы очень заняты, но, может быть, вы бы согласились пообедать как-ни…

— Во сколько?

— Сегодня вечером?

— Во сколько?

Я об этом мечтал. Конечно. Столько времени профантазировал. Но я никогда по-настоящему не верил, что Лилия в самом деле согласится, поэтому я никаких серьезных планов не строил, просто думал: она откажется и положит трубку. Я выбрал время.

— В семь часов? Надеюсь, это не слишком рано, но позже я буду выступать…

— Где?

Я назвал первое модное заведение, какое мне вспомнилось:

— «Чейзенз».

— Увидимся там, Джеки.

Она повесила трубку. Никакой болтовни, ничего лишнего. Только готовое согласие на мое предложение о свидании.

Я дал отбой, когда она попрощалась, когда она произнесла мое имя. Из-за акцента Лилии оно прозвучало как «Жаке».

И только секунд двадцать спустя я положил телефонную трубку на место.

* * *

«Чейзенз». Семь сорок три. Мы с Лилией за столиком. Все на нас глазеют. Вернее, все глазеют на нее, а заодно и на меня тоже. Половина зевак гадает: «Кто этот везучий тип, что сидит рядом с Лилией Дэви?» Другая половина любопытствует: «Почему это Лилия Дэви ужинает с негром?»

На ней было платье, другое платье — белое с блестками и ниспадающим воротником, состоявшее на две трети из шелка и на одну — из разрезов.

Показавшись в ресторане, она легко перетекла по залу, как перетекает вино из бутылки, и каждое ее движение было легко и естественно. Во всем, что бы она ни делала — в жестах, в мимике, — не ощущалось ничего лишнего. Она показывала вам очень мало, так что вам все время хотелось от нее большего. Она воплощала собой стиль, грацию и светскость. Она была воплощенный шарм. Она являла олицетворение сексуальности. Эта женщина настолько приближалась к совершенству, что порой казалась почти ненастоящей. Будто она не родилась, а вышла из мастерской художника. Но при всем том, что могло в Лилии показаться искусственным, вела она себя как более чем живой человек. Когда я с ней разговаривал, она смотрела прямо на меня — не поверх, не вбок, не мимо, не пытаясь пересекаться взглядом с многочисленной голливудской ордой, что сидела вокруг нас и поглощала свои ужины. Она умела слушать, и у меня создавалось ощущение, что меня действительно слушают. Когда я был с ней, она давала мне почувствовать, что именно с ней мне и нужно быть, а не то чтобы мне просто случайно повезло оказаться рядом с ней.

За едой мы разговаривали. Она рассказывала мне о фильме, в котором снимается на студии

«Коламбиа Пикчерс», о своем режиссере, о звезде, которая играет с ней в паре, потом о том, как Гарри Кон устроил скандал из-за какой-то ерунды — скорее для того, чтобы привлечь внимание, чем для того, чтобы добиться чего хотел. По голосу Лилии можно было догадаться, как ей все это надоело, как надоел этот мир шоу-бизнеса, похожий на глупую детскую игру, в которую она играет только потому, что больше нечем заняться.

— Ну хорошо. — Она помахала рукой, словно прогоняя надоевшую голливудскую тему. — А теперь расскажите мне, чего хотите вы, *Жаке.*

Должно быть, я пялился на нее, поэтому не совсем понял, почему она решила задать мне такой вопрос.

— От вас? — спросил я, заставив себя оторваться от ее пламени.

— От жизни.

— Не знаю.

— Все ведь чего-то хотят.

— А чего хотите вы?

Она слегка покачала головой.

— Это вопрос, а не ответ. Но я вам скажу. Я хочу быть счастливой.

— И всё?

— Разве этого мало? Я все время хочу быть

счастливой. Если что-то делает меня несчастной, я просто убираю это «что-то» из своей жизни. — Тыльной стороной ладони она отодвинула от себя тарелку со стынущей едой, демонстрируя, как легка в применении ее философия. — Это же так просто. — Поставив локти на стол, она переплела пальцы, сделав из них мостик, и оперлась на него подбородком. — А вы, *Жаке?* Чего хотите вы?

Я решил сформулировать свою цель так же просто, как она — свою.

— Я хочу быть знаменитым.

— А что это значит — быть знаменитым? Что это значит для вас?

— Это значит — добиться успеха. Значит, прославиться, стать звездой.

— А почему вы этого хотите?

Я рассмеялся.

— Вы — мировая знаменитость, и вы еще спрашиваете?

Лилия не нашла в этом ничего смешного.

— Мы не говорим обо мне. Что значит слава для вас?

— Это значит… это значит, что можно не просто хотеть чего-то. Можно добиваться того, чего хочешь.

— А сейчас вы не можете добиться того, чего

хотите?

— Вы шутите? Когда ты — негр?

— Я не знаю. Я же не негритянка.

— Тогда я вам скажу: если ты негр, то все, на что можно надеяться, — это тычок в ребра и пинок под зад.

Лилия оторвала голову от своих сплетенных пальцев. Наклонила ее чуть набок, чтобы удобнее было всматриваться в меня.

Потом сказала:

— Но вы же хотели пообедать со мной. И вам это удалось.

— Честно говоря, это для меня неожиданность. И не важно, что я негр. Я уверен, с вами мечтает встретиться множество мужчин.

— Да, многие, многие мужчины хотят быть со мной.

Это несколько остудило меня.

— …Ну вот, и я не знаю… Я хочу сказать, я очень благодарен вам, но я не понимаю, зачем вам тратить время на какого-то…

— Но вы ведь мне позвонили, *Жаке.* Да, многие мужчины хотят быть со мной. Но в большинстве своем боятся даже попытать счастья. — Тут она резко переменила тему: — Известность, слава — это же невозможно потрогать. Это — неосязаемо.

Это все видимость. А то, что не существует, неспособно осчастливить вас, *Жаке.* Так что, по-моему, вы не из-за того тревожитесь, а это значит, что вам вовсе не из-за чего тревожиться.

Сперва мне показалось, что она надо мной издевается. Но затем Лилия улыбнулась. Великолепной, роскошной улыбкой, от которой поневоле и у меня губы расплылись. Эта женщина! Эта женщина была атомной бомбой в женском обличье: сила, сопротивляться которой невозможно. Я почувствовал, что наш обед превращается в нечто большее, чем невероятный эпизод из тех, какие потом пересказывают «ребятам» в гримерках, наподобие рыбацких историй. У меня появилось такое чувство, будто я оказался в стремительно несущемся поезде, с которого уже не смогу спрыгнуть. Больше того. Мне и не приходило это в голову.

Приближалось время моего шоу, и я втайне проклинал его за то, что оно испортит мне вечер. Но, пока мы ждали возле гардероба, Лилия спросила, не возражаю ли я, если она вместе со мной отправится в «Сайрос».

Не возражаю ли я?

Я моментально согласился. Она велела гардеробщику оставить ее машину, сказала, что

заберет ее позже.

Я усадил Лилию на пассажирское сиденье своего арендованного автомобиля, радуясь в душе, что раскошелился на «кадди», потом сам сел за баранку. Когда я заводил мотор, она обвила руками мою руку. В том, как она это сделала, не было ничего сексуального, но в то же время в ее прикосновении не было и намека на невинность. Ее действия мгновенно сменялись одно другим. Ты видел то, что хотел видеть. Ощущал то, что хотел ощущать.

Я ощутил желание.

После шоу. Лилия сидела за сценой, в моей гримерке, между тем как несколько знаменитостей зашли поздравить меня. Может, они в самом деле хотели сделать мне приятно. А может, прослышали, что тут Лилия Дэви, и им захотелось на нее поглазеть.

Все постепенно стихло. В клубе остался только персонал. Мы немного посидели в баре, потом Герман стал закрывать. Наконец Лилия сказала, что устала, и я истолковал ее слова в том смысле, что вечер окончен. Мы сели в мою машину, и я направился было к «Чейзенз». Лилия сказала, что не стоит беспокоиться. Все равно ресторан уже закрылся. Утром она кого-нибудь пошлет за

своей машиной. Следуя ее подсказкам, я поехал по бульварам Беверли и Уилтшир. Потом в Санта-Монику. Там она и жила.

Ее дом стоял недалеко от берега. Приятный, не очень большой. Ничто в нем не кричало о том, что здесь живет кинодива. Зато все говорило, негромко говорило: вот женщина, которой нравится жить вблизи воды, подальше от Голливуда, и любоваться закатом.

Я подрулил к дому.

Лилия сказала:

— Спасибо за компанию.

— Вы шутите? Это я должен вас благодарить. Я рад был провести с вами время.

— У вас есть девушка? — спросила она так просто, как будто интересовалась, имеется ли у меня золотая рыбка.

Я тоже ответил как нельзя проще:

— Она в Детройте. Хочет стать певицей. — Потом поправился: — Она певица.

— И вы уже давно не виделись?

— Да. Мы оба… мы много работаем.

— Но вы ее любите?

— Да.

Все теми же точными движениями, к которым я уже привык за вечер. Лилия достала из кошель-

ка платиновый портсигар. Из портсигара она вынула сигарету.

— Дайте огня.

— …У меня нет спичек.

Вдруг у нее в руке оказалась зажигалка — платиновая, как и портсигар. А потом зажигалка перекочевала в мою руку.

Я высек огонь, поднес Лилии, и она затянулась. Выпустила дым. А потом наклонилась ко мне. И поцеловала долгим поцелуем, влажность которого засочилась сквозь мои губы, побежала по моему телу, как алкоголь. Опьяняющий эффект был не менее сильным.

Она выскользнула из машины и направилась к дому.

Зажигалка осталась у меня в руке, и я окликнул Лилию:

— Мисс Дэви…

Не оборачиваясь, она вошла в дом.

Я взглянул на зажигалку. Но это была не зажигалка. Это было приглашение. Это был ключ от той двери, за которой только что скрылась Лилия Дэви. Мне оставалось лишь воспользоваться им.

Я посмотрел на часы. Была половина третьего. Значит, в Детройте уже половина шестого. Тамми конечно же спит.

Я развернул свой «кадди» на восток, направляясь в «Сансет-Колониал».

По дороге я сказал самому себе, как горжусь собой, потому что не предал Тамми. Я поздравил себя с тем, какой я честный, ведь это чувство (даже если Тамми никогда не узнает о преодоленном мною искушении) способно принести куда большее удовлетворение, чем пара часов, которые я провел бы с другой женщиной. Пусть даже эта женщина была одной из самых потрясающих среди женщин, живущих на земле. И все то время, пока я говорил себе это, я сжимал зажигалку Лилии так крепко, что металл оставил четкий след у меня на ладони.

Я почти добрался до Западного Лос-Анджелеса, как вдруг развернулся и покатил обратно в Санта-Монику.

Когда я снова доехал до дома Лилии, то даже не успел нажать на дверной звонок: она сама открыла мне дверь. Она все еще была в том же самом платье. Прическа, косметика — все выглядело безупречным, как будто и утром, и в полдень, и ночью она оставалась при своем полном блеске и как будто то, что сейчас происходило, было неизбежно. Я упрекнул ее в этом — в том, что она сознает могущество своей привлекательности.

Но не пошел в упреках настолько далеко, чтобы остановиться и перестать приближаться к ней. Подойдя к Лилии ближе, я остановился. Я хотел объяснить, разумно обосновать свое возвращение — не столько для нее, сколько для самого себя.

Но не успел я даже рта раскрыть, как она сказала:

— То, что между нами сейчас происходит, не имеет никакого отношения к любви. Это имеет отношение к мужчине и женщине, ко всему тому, что случается между мужчиной и женщиной, когда они остаются наедине.

Лилия обладала почти фантастической способностью сводить всё к простейшим элементам. Ей невозможно было противиться. Ей немыслимо было отказать. Да я и не думал пытаться.

— Вы способны кого угодно обмануть своей внешностью, — сказал я. — Оказывается, вы — мыслитель.

— И это делает меня опасной?

— Очень.

Она улыбнулась.

— Секс без опасности — всего лишь секс, а опасность без секса опасна — и только.

Я ничего не понял из ее слов.

— Что?

Лилия взяла меня за руку и повела внутрь дома. Она все мне объяснила.

А потом объяснила все заново.

* * *

Позвонил Сэмми. Сказал, что звонил Джилли и велел ему связаться с Фрэнком, тогда он позвонил Фрэнку, и они поговорили. Поговорили о том о сем, обо всякой ерунде, о какой обычно говорят звезды. О чем они не говорили — так это о шоу Джека Айгена и о чудовищном отлучении Сэмми от церкви Синатры. Но Сэмми понимал: уже сам факт, что они поговорили, ни словом не упомянув всего случившегося, означал на языке Фрэнка, что все произошедшее осталось в прошлом и предано забвению.

Сэмми поблагодарил меня за то, что я сделал, чтобы уладить его беду.

За все, что я сделал.

А что я сделал? Я сохранил хорошие отношения с величайшей знаменитостью на планете. И все, что при этом потребовалось, — предать Сэмми.

Часть VI

Дейла Бьюиса и Честера Овнанда убили.

Когда люди погибают, когда их жизнь насильственно прерывается, это печально и трагично. Но сколь бы печально, сколь бы трагично это ни было, реальность такова, что в мире, полном людей, смерть двух человек на самом дело мало что значит.

Чаще всего.

Но Дейл Бьюис и Честер Овнанд были американцами. И Дейл Бьюис с Честером Овнандом служили в армии. Они были военными советниками. К тому же майора Дейла Бьюиса и сержанта Честера Овнанда убили коммунисты — партизаны из Бьенхоа.

Бьенхоа находился во Вьетнаме.

Президенту совсем не понравилось, что убивают американских военных советников, и он послал туда новых советников и так же поступил следующий президент, который посылал туда советников и солдат, и следующий за ним президент тоже посылал все новых солдат, и корабли, и самолеты, и танки после того, что,

может быть, случилось, а может быть, и нет, в Тонкинском заливе, и следующий президент посылал новых солдат, и новые корабли, и новые самолеты, и новые танки, и разослал их в пару других стран, пока очередной президент не сказал: «Всё, хватит. Довольно. Конец».

А между тем американская публика вначале старалась не думать о том, что происходит где-то там, потом поддерживала то, что происходит где-то там, потом не одобряла то, что происходит где-то там, и наконец публично осуждала то, что происходит где-то там. И то, что происходило где-то там — Вьетнамская война, — вначале захлестнуло газеты, потом перекинулось в гостиные и наконец выплеснулось на улицы Америки. И пока где-то там шла война, здесь из-за ее смысла и значения шла битва между молодыми и старыми, черными и белыми, истеблишментом и контркультурой, зычными диссидентами и молчаливым большинством. Этой стране предстояло расколоться надвое. Вьетнаму предстояло обрести целостность. Потери среди северных вьетнамцев составили около 600 000 человек. Мы потеряли 57 939 человек.

И самих себя.

Февраль 1960 — декабрь 1961

В начале 1960 года Эйзенхауэр, Хрущев и де Голль собрались на встречу в Париже. В самый разгар холодной войны, после инцидента с «У-2», это совещание на высшем уровне возымело огромное значение. Все вокруг только об этом и говорили, это было главной новостью.

Фрэнк Синатра не любил, чтобы новости трубили не о нем, пусть даже новость, оттеснившая его на задний план, имела отношение к такому малозначительному делу, как мир на планете. И Фрэнк решил устроить собственный саммит — конференцию пофигистов. Посланники: Мартин, Лофорд, Бишоп и восстановленный в прежнем статусе Сэмми Дэвис.

Иногда непосвященные называли их то «Крысиной стаей», то «Кланом». Фрэнку не нравились оба названия — «Крысиная стая» не нравилась потому, что у Хамфри Богарта имелась кучка друзей, которые носили такую кличку. Фрэнк любил Богарта. Но Фрэнк не собирался подражать Богарту. А «Клан» не нравился терпимому в расовом отношении Синатре по очевидным причинам. В глазах Фрэнка эта группа, как и объединившее их

событие, должна была называться «Саммитом», подобно вершине горы, на которую лишь немногим удается взобраться.

И вот Фрэнк собрал своих друзей-приятелей, несколько особ женского пола и помчался в Лас-Вегас снимать кино — «Одиннадцать в океане». Но съемки фильма просто заполняли их дневной досуг. А «Саммит» проходил по вечерам, в зале «Копа» отеля «Сэндз», когда все пятеро появлялись на сцене. Это даже было не шоу — скорее, хэппенинг. Бишоп и Лофорд, взятые в компанию из жалости, Фрэнк, Сэмми и Дин, крупнейшие артисты своей эпохи в своей родной стихии — в городе джина и греха, — были способны устроить аншлаг не только в «Копе»: благодаря им аншлаг случился во всем городе. Свободных мест не было нигде. Все казино были битком набиты людьми, втуне надеявшимися, мечтавшими, молившими о том, чтобы им повезло увидеть воочию Королей Пофигизма. Гораздо больше шансов было у них позаседать вместе с Эйзенхауэром, Хрущевым и де Голлем.

Очередь вырастала за завсегдатаями, игравшими по-крупному, которые стремились к игровым столам, но даже те находились в арьергарде у «особых гостей» — шишек шоу-бизнеса и мафиоз-

ных главарей, которые прилетали на специально зафрахтованных на целый день самолетах. Билет на «Саммит», стоивший всего $5.95, был самым бесценным входным билетом во всем городе. Никто не желал пропустить такое зрелище.

Я видел его от начала до конца.

В течение трех недель, пока длился «Саммит», я предварял его своим выступлением, и за все годы, за все время, что я потратил на паршивые мелкие клубы, это был мой самый крутой ангажемент. Я был не столько комиком, сколько тактикой промедления. Я выходил на сцену и пытался травить байки, пока зрители продолжали подтягиваться в зал, а распорядители «Копы» в очередной раз охотились за новым стулом, чтобы усадить на него нового гостя. Я убивал время, как только мог, до тех пор пока ребята, которые днем работали (если можно назвать работой единственную пробу какой-нибудь одной-единственной сцены), а вечером выпивали, не расшевеливались настолько, чтобы наконец осчастливить поклонников своим присутствием.

И наконец они выходили. Можно сказать, осчастливливали. Сами по себе шоу были плохими. Качеством исполнения они недотягивали даже до выступлений любительского театра стар-

шеклассников. В общих чертах представление заключалось в том, что Фрэнк и его команда — все усталые, с похмелья — смешивали себе коктейли у передвижного столика с напитками, обменивались шутками, которых никто, кроме них, не понимал, болтали о бабах, дамах и куколках и насмерть растаптывали любую попытку кого бы то ни было из компании исполнить целиком какой-нибудь серьезный номер… А публике все это нравилось. Звезды, головорезы, избранное меньшинство — все они были счастливы выложить деньги за то, чтобы просто сидеть, выпивать и наблюдать, как эти идолы получают кайф от смеси спиртного, славы и женской любви. Кому бы не хотелось пригубить такой коктейль? В меняющемся мире, в то самое время, когда по Америке начали сеять хаос ускоряющаяся борьба за гражданские права, Вьетнамская война и молодежное движение, какое-нибудь утешение приносил уже один вид этих мужчин средних лет, разыгрывавших парнишек-братков, распивающих мартини и восславляющих ценности салонной музыки, столь дорогие сердцу среднего американского обывателя. «Саммит» был как бы контркультурой. Это была последняя вечеринка, прощальный концерт целого поколения и вдобавок хорошее

развлечение для всех, кто там присутствовал.

Почти для всех.

Сэмми Дэвис-младший приехал в Лас-Вегас работать. Он любил поразвлечься не меньше, чем остальные (даже больше), но, находясь на сцене, он вел себя как мистер Развлечение. То, что все остальные просто ржали, его не смущало, но ему-то хотелось что-нибудь исполнять — петь, танцевать или пародировать. Ему хотелось что-то — что угодно — делать, так чтобы ни одна душа из остальной команды не прервала его номер какой-нибудь жеребятиной. Всяческие передергивания были не более чем присказкой. Сказкой — то есть откровенным оскорблением — были шутки. Шутки типа «Улыбнись-ка, Сэмми, чтобы мы тебя увидели». Или: «В чем дело, у тебя что — арбуз во рту?» И главная шутка, которая прерывала шоу: Дайно клал руку на плечо Сэмми и объявлял: «Я хочу поблагодарить за этот подарок Эн-дабл-эй-си-пи». Боже, что за вопли после этого поднялись. И так ночь за ночью, все те же реплики, которые должны были считаться смешными, потому что ребята, произносившие их, считались «прогрессивными». И ночь за ночью Сэмми улыбался, смеялся и топал ногами, как будто он и впрямь готов был лопнуть от веселья, слушая расистские

оскорбления в таком отличном исполнении.

На сцене.

Но когда кто-нибудь другой из их компании пытался — не слишком настойчиво, но пытался, — что-нибудь исполнить соло, Сэмми удалялся за сцену и валился на одинокий складной стул. Вдали от света юпитеров, не под обстрелом людских взглядов, он сутулился и горбился, и весь напор, вся жизненная энергия, которую он изливал на публику, будто разом покидали его. Я наблюдал за тем, как он сидел, просто сидел, изможденный, измочаленный настолько, что на восстановление сил должна была бы потребоваться целая жизнь. Целая жизнь уходит на то, чтобы потрафлять и ублажать, живя в тени легенды, на то, чтобы день за днем, год за годом карабкаться в гору и взбираться на вершину — и внезапно обнаружить там, что, сколько бы *они* ни платили, чтобы посмотреть на тебя, как бы громко *они* тебе ни хлопали, все равно *они* интересуются, и в шутку, и всерьез: «А если я тебя обниму, от меня потом грязь отлипнет?»

Он был крупной звездой. Он обладал всем, чего только может пожелать человек. Так какая разница, что *они* о нем думают? А для него это было важно. Для него это было важнее всего на свете

— важнее денег, важнее славы, важнее любовных связей с женщинами любых цветов кожи.

Глядя на Сэмми, я поклялся себе, что когда достигну его уровня, то перестану заботиться о том, чтобы меня любили. Мне это будет безразлично.

Между тем раздавалась какая-нибудь реплика, и Сэмми вдруг срывался с места, заведенный неутолимым желанием снова быть перед толпой, и мчался обратно на сцену. И я слышал из-за занавеса гром аплодисментов, благодаривших его за какой-нибудь очередной из тысячи способов развлекать публику, которыми он владел.

Потом шоу перерастало в частную вечеринку, которая проходила в одном из просторных номеров «Сэндз», вход куда был строго заказан всем, кто не являлся членом Клуба друзей Фрэнка Синатры или не состоял, по крайней мере, на шестьдесят процентов из ног и на сорок — из груди. Помещение было заполнено дымом и праздными улыбками. Звезды сидели там вперемежку с мафиози и политиками, там же покупались и оплачивались выборы. Миллионом — буквально — в мешке. Там собравшихся развлекали не профессиональные развлекатели, а старлетки или куколки, мечтавшие стать старлетками, и девицы из хора, которым хотелось,

чтобы их заметили, и просто старые проститутки, проспиртованные и всегда готовые к маленьким услугам.

Я бы солгал, если бы сказал, что ни разу не участвовал во всем этом. Изредка участвовал. Но чаще всего — нет. Не то чтобы я был совсем против развлечений такого рода, но у меня уже была девушка. Вдобавок у меня была привязанность на стороне. У меня была Лилия.

Когда я в первый раз позвонил ей и пригласил на «Саммит», она была непредсказуема как обычно. Может, она придет. Может, нет. Если захочет, то да. А может, придет, даже если не захочет.

В первый день шоу я себя ненавидел: я только и делал, что тревожился — придет она или не придет, я боялся отлучиться из комнаты, чтобы не пропустить ее звонок из холла, но никакого звонка так и не последовало. Я ненавидел себя за то, что вообразил, будто меня с ней могло связывать нечто большее, чем одноразовая интрижка. Я презирал себя за то, что вообще позволил Лилии позариться на меня — ведь я так сильно и так преданно любил Тамми.

А потом, уже со сцены, когда в зал все еще продолжало ломиться и проталкиваться людское стадо, я заметил ее в первом ряду — и момен-

тально все мои прежние мысли и чувства смел мощный порыв желания.

Между съемками у Лилии бывало свободное время, и она — несмотря на свою переменчивую натуру — решила проводить его со мной. Причем почти все свободное время. В ту первую неделю представлений она каждую ночь сидела в центре первого ряда, и ее лицо было первым, что я видел по утрам. В промежутках Лилия знакомила меня с игрой за столами, и никаких возражений со стороны расистов, которые раньше с готовностью выпроводили бы меня за дверь, не звучало. Пока продолжался «Саммит», обо всех выпадах против цветных в Лас-Вегасе забыли — пускай на время. Слишком много чернокожих дарований приехало в город, чтобы побывать на шоу, — Нэт Кинг Коул, Лина Хорн, Гарри Белафонте, — так что администрации не к лицу было придираться, кто им деньги подкидывает. А поскольку тут за всем стоял Фрэнк, никто не рисковал быть пойманным с поличным на какой-нибудь расистской чепухе. Я проходил в казино открыто и свободно, как всегда и мечтал, и это было гораздо лучше, чем когда-то рисовалось в мечтах. Я входил в казино с Лилией Дэви, обвивавшей мою руку.

Первое, что я освоил, первое, чему она меня

научила, была последняя и единственная игра, в которую я когда-либо играл: рулетка.

— Простейшая из игр, — заявила Лилия, пока я глазел на тридцать шесть цифр, на зеро и двойное зеро, окруженные кольцом ставок. — Просто ставишь на боевые цифры.

— Это какие же?

— С десятки до пятнашки и тридцать три. Они на равном расстоянии лежат.

— А какая разница? Я хочу сказать, рискуешь-то всегда одинаково?

Вместо ответа на мой вопрос Лилия выложила две сотни баксов на стол.

— Черные, — сказала она, и крупье обменял ее деньги на пару стодолларовых фишек. Их Лилия поставила на двадцать три, красные.

— Черные внутри! — объявил крупье.

— А как же боевые цифры? — спросил я.

Лилия достала сигарету.

— Дай-ка огня.

Я вынул ее зажигалку, которая по-прежнему оставалась у меня, и выполнил ее просьбу.

Крупье запустил рулетку.

Кто-то побарабанил по моему плечу. Я обернулся. Джек Энтрэттер.

— Джеки! — Он приобнял меня за плечо, будто

старого друга после долгой разлуки. — Как дела, малыш?

— Хорошо. Очень хо…

Шар остановился.

Крупье выкликнул:

— Семнадцать, черные.

Фишки сгребли. Кое-кто получил выигрыш по ставкам.

Лилия положила на стол еще пару сотен.

Джек, глядя на меня, едва заметно наклонил голову в ее сторону.

— Лилия, познакомься, пожалуйста, с Джеком Энтрэттером. Он управляет этим заведением.

Лилия улыбнулась, кивнула:

— Добрый вечер. — И ее внимание вновь переключилось на ставку.

— Черные внутри!

— Ладно, Джеки, если тебе что-нибудь понадобится, все равно что, ты только дай мне знать, — сказал Джек, обращаясь ко мне, но стараясь, чтобы услышала Лилия. — Я лично обо всем позабочусь.

Если Лилия его и слышала, то никак не показала этого.

— Ну, гм, ну, желаю хорошо провести время. — Уязвленный в лучших чувствах, Джек скользнул

обратно в толпу людей, которые шныряли по залу, сжимая в руках деньги и высматривая, где бы получше их просадить.

Я снова взглянул на стол как раз в тот момент, когда шар остановился.

— Двойное зеро, зеленое.

Фишки сгребли. Кое-кто получил выигрыш по ставкам.

— В европейских казино на рулетке зеро в единственном варианте, — вздохнула Лилия. — Что правильно. Зеро — это нуль, это число. Все начинается с нуля, да? У него нет ни плюса, ни минуса, это не добро и не зло. Просто он существует… В Лас-Вегасе все по-другому, *Жаке.* В Лас-Вегасе — двойное зеро. Почему так? Двойное зеро — это уже не число. Что такое дважды нуль? Снова нуль. Нуля не может быть больше или меньше. Быть зеро, быть нулем — дальше некуда.

Лилия была в редкостной форме — неизменно непостижимая, как обычно.

Поспешив выручить Даму Лас-Вегаса, я ответил первое, что мне успело прийти в голову:

— Двойное зеро — это просто… это просто изюминка такая. Ну, понимаешь, в любом заведении должна быть своя изюминка. Такая, чтобы они лишний раз могли выиграть, а ты — проиграть.

Лилия обвела взглядом казино, всех этих людей, снующих от стола к столу, все те крупные суммы, что ложились на стол и потом сгребались, а изредка кому-то выплачивались, с тем лишь чтобы их снова выложили на стол и сгребли в кучу.

Она сказала:

— Зеро — дыра, на которой выстроен этот город.

— Похоже на то, — кивнул я.

— И населен он племенем двойных нулей. А какой еще человек захочет поселиться в этом аду, кроме дважды дураков, если простых дураков везде хватает?

Она поднесла ко рту новую сигарету.

Я щелкнул зажигалкой.

И вот что я вам скажу: когда женщина говорила так, как сейчас говорила Лилия, глубоко и мудро, независимо от того, был ли смысл в ее словах или нет, имелось в ее речи нечто такое, что хотелось немедленно затащить ее в постель.

Откуда-то из глубины казино выкликнули:

— Деньги играют!

* * *

Я был у себя в комнате, у телефона. На другом конце провода — и страны — была Тамми.

— Эти ребята совсем с ума сошли, — рассказывал я. — Стоят себе на сцене, бухают, травят друг другу анекдоты. Ничего вообще не делают — а у шоу колоссальный успех. Ты бы видела!

— Хотелось бы.

— Ну… это же спектакль, понимаешь. Не думаю, что тебе слишком бы понравилось.

— Я не из-за шоу хотела бы приехать.

— Понимаю. Понимаю, но, знаешь, сейчас не очень-то подходящее время. Фрэнк — он такой… Он любит мальчишеские выходки. Ему уже сорок с лишним, а он все еще как ребенок. И он… когда он что-то велит делать, нужно быть на месте.

— Так когда же я тебя увижу?

Телефон начал плавиться у меня в руке.

— Я еще неделю побуду здесь, в Лас-Вегасе, а потом… я думаю ненадолго вернуться в Лос-Анджелес.

— Тебе начинает нравиться Лос-Анджелес.

— …Я там кое-какие связи налаживаю. Но ты не думай, если что, я могу что-нибудь и отменить, — предложил я с легкой неохотой в голосе.

— Не надо. Тебе нужно быть там. Я могу с тобой потом в Нью-Йорке увидеться.

— Договорились, детка!

Тамми вздохнула:

— Я скучаю по тебе, Джеки. Я скучаю по тебе и люблю тебя.

— Я тебя еще больше люблю.

Мы оба повесили трубки.

— Ты очень хорошо сделал, — сказала Лилия.

Я повернулся к ней — она, нагая, лежала под простыней.

— Что я хорошо сделал? Что солгал своей девушке…

— Ты сделал это ради нее. Ты сделал все, чтобы ей не было больно, сказал, что скучаешь, что любишь ее.

— Это правда.

— Тогда ты не лгал. Это еще лучше.

— Еще лучше было бы, если б я ее не обманывал.

— Да, конечно, но это же невозможно.

Лилия вытянула руки, обнажив темнеющие ареолы и соски величиной с большие пальцы. Нет, отказаться от этого было немыслимо.

— Поэтому, — подытожила она, — лучшее, что можно придумать, — это ложь. И это правильно. Ты ведь любишь ее. Не меня.

— Это не значит, что я…

— Очень мило, конечно, что ты заботишься о моих чувствах, но ты сам сказал, что ее любишь.

— …Да. И собираюсь на ней жениться. У меня даже кольцо есть.

— Почему же ты ей его не подарил?

— Потому что это было бы несправедливо. Ты бы слышала, как она поет. У нее такой голос… Я бы на это не пошел, если честно. Не хочу лишать ее публики…

— Это неправильно.

— Что?.. Лгать ей — это хорошо, а позволять ей петь — плохо? — выпалил я.

Широко зевнув, Лилия ясно дала понять, как ей скучна моя ярость.

— Ты не женишься на своей девушке совсем не ради нее. Ты не делаешь этого ради себя самого, ради собственной свободы. Ты просто хочешь делать то, что тебе нравится, жить так, как тебе нравится…

— Ты неправа.

— Я всегда права.

— Это эгоизм в тебе говорит.

— Нет, не эгоизм. Я все знаю о мужчинах, о том, что ими движет. У женщины, если она красивая, есть выбор: или быть глупой, или все понимать. Глупая женщина счастлива, если верит, что мужчина любит ее не только за торчащие соски и что с ней хорошо обходятся не только в надежде на

секс. И такая женщина очень, очень довольна тем, во что верит… Но я не из таких женщин. Я все понимаю. Я знаю, что от одиночества меня отделяет только то время, в течение которого состарится моя кожа. — Лилия провела пальцем по щеке. — Один чудовищный шрам — и я останусь одинокой. Я это знаю. Я все это знаю, и иногда из-за того, что я знаю, мне… мне делается…

— Ты ко мне пришла, — напомнил я. — В «Сайрос», в мою гримерку. Не я же приударял за тобой. Мне никогда в жизни, живи я хоть миллион лет, не пришло бы такое в голову. Ты сама ко мне пришла.

— Да. Это я к тебе пришла. И у тебя есть любимая женщина. Ну так скажи, ты бы вообще был со мной, если бы не это? — Ее руки скользнули к грудям. — Или это? — Ее руки сползли еще ниже.

— Это еще не…

— Я тебе вообще интересна как человек, Жаке, или я для тебя — просто… предмет секса?

Была ли она мне интересна как человек? Кроме беглых реплик, которыми мы обменивались до и после минут близости, — что я знал о Лилии? Откуда она, кто были ее родители, о чем она мечтала в детстве или чем бы она занималась в жизни, если бы не занималась тем, чем занималась?

Полное незнание.

Лишь тогда я вдруг понял, что в той невозмутимости, в том хладнокровии, которые я давно подметил в Лилии, можно было прочесть не только отстраненность богини. В них читалась и печаль человека, ясно осознающего собственную участь.

Лилия действительно все понимала.

Она все понимала, и это причиняло ей боль. И в тот момент мне захотелось обхватить ее, обнимать и целовать ее — и впервые при этом мною двигало не просто вожделение. Поняв это, я сам себя устыдился.

Лилия выбралась из кровати, накинула одежду на свое нагое тело. Я попросил ее не уходить.

— Не беспокойся, — ответила она. Голос у нее был ровным и умиротворяющим. — Я еще вернусь. У нас с тобой еще не все кончилось.

Она нежно поцеловала меня и ушла.

Я немного посидел.

А потом, не зная, чем еще заняться, отправился в казино и позволил Лас-Вегасу оторвать от меня еще кусочек.

* * *

— Мы выбили тебе телевидение! — выпалил Сид одним духом.

— У Салливана?

С таким же успехом можно было пнуть Сида в живот: он сразу будто задохнулся.

— …

— В шоу Фрэн.

Услышав это, я испытал смешанные чувства. Часть меня ликовала: давно пора. Я не винил Фрэн, ведь понятно было, что Си-би-эс отнюдь не жаждала приглашать сравнительно безвестного черного комика в свою свежезапущенную программу. Другим чувством было огромное разочарование. Я-то мечтал о Салливане. Я-то рассчитывал, что после «Копы», после «Сэндз», после «Сайрос» я заслужил-таки Салливана! Да, выступить в шоу Фрэн было бы хорошей рекламой, но, в конце-то концов, значение для меня имело только шоу Салливана.

— Это прекрасная возможность, Джеки.

— Понимаю.

— Шоу Фрэн пользуется успехом, да и телепередача — любая телепередача — означает прорыв.

— Понимаю, Сид.

— Да, но я-то знаю, что ты разочарован…

— С какой стати разочаровываться оттого, что буду выступать в шоу своего лучшего друга? — солгал я. И чудо, если Сид проглотил наживку. Уж он-то знал меня как облупленного. Даже по телефону он по голосу угадывал мои истинные чувства.

— Запланировано, что ты выступишь через три недели, — сухо сообщил он. — Я устрою тебе кое-какие встречи в городе, чтобы ты из привычного графика не выбивался. Тебе надо выступить на твердую пятерку.

— Конечно. Здорово. — Я употребил все свои силы на то, чтобы мой голос прозвучал искренне. — И оставь вечер свободным для ужина.

— По крайней мере, один.

Сид повесил трубку.

Я повесил трубку.

* * *

— Организация. Вот что главное. Индивидуальная активность — это по-своему правильно. Она демонстрирует белым, что то, что происходит в черной общине, — гражданское неспокойствие, — не ограничивается каким-то одним районом, одной областью. Но ограниченная

индивидуальная активность приносит лишь ограниченные результаты. Главное — это организация.

Говорил Андре. Андре был весь черный — не только цветом кожи. На нем был черный кожаный пиджак, черные штаны, темные очки, хотя мы сидели в помещении. Мрачной была и его речь, интонации. Я никогда не встречал этого человека раньше. Его привел в мою нью-йоркскую квартиру Моррис, бывший Малыш Мо, который сидел теперь как-то боком чуть поодаль и чудаковато меня разглядывал, как будто это он, а не Андре, не был со мной знаком раньше. Моррис изменился. Он не просто стал отстраненным и суровым, он изменился физически. И не только годы были в этом виноваты. Его лицо покрывали шрамы, а самым заметным дефектом была вмятина на виске возле левого глаза, по-видимому оставленная на память полицейской дубинкой.

Андре продолжал:

— Сидячие демонстрации, которые мы в этом году провели по всей Америке, оказались успешными. Магазинам «Вулвортс» пришлось открыть для нас свои прилавки. Теперь черные американцы везде могут сесть и поесть, как и белые люди. Вот в чем сила организации. Ты не взываешь к

их сердцам — ты нападаешь на их кошелек. Они начинают терять деньги — и тогда, можно не сомневаться, они откроют свои двери. А в мае начнутся Маршруты Свободы…

— Что? — переспросил я.

— Десегрегированные поездки в автобусах, — подал голос из своего угла Моррис. Он произнес это очень тихо, как бы не желая отрываться от вдумчивого разглядывания меня.

— Черные будут ездить вместе с белыми, — пояснил Андре. — Мы начнем в столице и проедем до Бирмингема. Будем сидеть, где пожелаем, со всеми удобствами, с какими пожелаем: ведь закон же говорит, что все это мы имеем право делать. Но все это требует организации, Джеки. Вот о чем я твержу: организация.

— А что же… Я хочу сказать, почему вы ко мне пришли с этим?

— Мы пришли к вам за поддержкой. Мы пришли к вам за тем, чтобы вы одолжили нам свое имя. Понимаете, мы устраиваем протест или марш, а про нас пишут: «Черные агитаторы чинят беспорядки». А если мы привлечем в свои ряды кого-то вроде вас, тогда все будет истолковано иначе: «Джеки Манн возглавляет демонстрацию, чтобы положить конец сегрегации».

— Вы так говорите, будто я — звезда.

— А разве нет? Куда бы я ни повернулся — везде натыкаюсь на ваше имя.

— Ну не настолько же я… Меня недостаточно знают. — Говоря это, я испытывал неловкость.

Андре поглядел на Морриса, как бы ища подтверждения тому, что мои увертки, которым он был свидетель, ему не померещились.

Моррис поджал губы.

Андре продолжал:

— Вас знают гораздо больше, чем кого-нибудь из нас.

— Но это же не… Я же не Гарри Белафонте. Я просто комик.

— Как и Грегори Дик! — набросился на меня Моррис.

— Но это же его конек. Понимаешь? Он же скорее… Ну да, конечно, он комик, но скорее он активист.

— А ты тогда кто? Анти-активист? — Язвительная реплика Морриса будто кнутом щелкнула меня.

Андре попытался выступить посредником:

— Мы же не просим вас маршировать в первых рядах. Мы просто ищем помощи, хоть какой-нибудь поддержки. Вы показываетесь, а толпа

делает свое дело. — Пауза. — Ну, так вы согласны или нет?

Согласиться на *это?* Связаться с политической группировкой, с чьей политикой я только что познакомился? Согласиться-то можно. Если не считать того, что я очень долго не мог попасть в шоу Фрэн, своего друга, лишь потому, что я чернокожий. Сколько же времени должно пройти, чтобы попасть в шоу Салливана, если агитируешь за расовое равноправие?

Я помедлил с ответом на вопрос Андре. Всего какую-то секунду. Но эта секунда оказалась чересчур долгой для Морриса.

— Черт с тобой! — Он вскочил со стула, брезгливым жестом отмахнулся от меня и сказал Андре: — Я же говорил, к нему бесполезно было приходить.

— Что значит беспо…

Подступив ко мне вплотную:

— Да все, о чем он заботится, — это легкая жизнь. Он не захочет расстраивать своего хозяина.

— Ты появляешься откуда-то раз в два года, обвиняешь меня в том, что я бросил свой народ, а потом хочешь, чтобы по одному твоему слову я растоптал свою карьеру, да?

— Карьеру ручного ниггера?

— Да, пусть я ручной ниггер. А знаешь, почему я — ручной ниггер? Потому что я как следует поломал спину, чтобы обзавестись таким домом, где можно быть ручным ниггером. Да, я ручной ниггер, у которого есть большой «кадиллак», я ниггер, который щеголяет в дорогих часах и отличной одежде. И единственное, что хуже всего этого, — быть ниггером, у которого ни хрена нет и который заявляется ко мне за милостями.

Я говорил смешные вещи, но надеялся, что их больно будет слышать. Судя по взгляду Морриса, брошенному на меня («Плеваться от тебя хочется»), я понял, что мой расчет оправдался.

Тут он сказал:

— Если я и ниггер, у которого ни хрена нет, так это благодаря таким братьям, как ты. Вместо того, чтобы включиться в наше движение, ты слишком занят продвижением по своей карьерной лестнице. Тебе некогда: ты все время живешь в своих отелях для белых, обедаешь в своих белых ресторанах — и даже не знаешь, какое время на дворе.

— Но ведь это и зовется интеграцией. Я же делаю как раз то, за что вы боретесь: живу, где хочу, обедаю, где мне нравится.

Моррис спросил:

— А много ли ты видишь в этих своих отелях и ресторанах других чернокожих — кроме тех, кто убирает со столов? Когда туда пускают тебя одного, это не интеграция: это — предательство. Если бы ты хоть раз узнал, каково это — быть чернокожим, — тут он потер вмятину на виске, — тогда бы понял, в чем разница. — Он сказал Андре: — Мы тут только время зря теряем, — и ушел.

Андре помялся, тоже приготовившись уходить, но, не желая вылетать пулей, а, быть может, надеясь, что за то время, пока он дойдет до двери, я еще передумаю.

Я лишь предложил сделать пожертвование, выписать чек. Выписал. Андре взял его и ушел.

Черт с ним! С ним и с Моррисом! Особенно с Моррисом, с его упертой башкой — приходит тут, ведет себя так, как будто я только и знаю, что в роскоши купаюсь. Как будто мне самому не известно, что это такое — быть чернокожим.

И тут я вспылил. Меня охватил такой гнев, какого я уже давно не испытывал. Мне вспомнилось, как я одиноко шагал по темному шоссе во Флориде. Вспомнилось, как я глядел в глаза смерти. Когда ты один, ночью, в южном штате, и напротив тебя стоят трое расистов, дыша

на тебя утроенной ненавистью… вот тогда ты постигаешь, что значит быть чернокожим. Но все мое негодование растрачивалось впустую. Я находился в квартире один и, как всегда, выбрал неподходящее время для того, чтобы пылать праведным гневом.

Ну и что? У меня другие заботы. Я не позволю Моррису утянуть меня вниз, когда столь многое тащит меня вверх.

* * *

Я опаздывал. Такси, ехавшее по Бродвею, нисколько не приближало меня к цели: мы застряли в пробке. Я сказал водителю, чтобы он притормозил, бросил ему деньги и, не дожидаясь сдачи, отправился дальше пешком. Я наполовину шел, наполовину бежал, отчаянно стремясь добраться туда, куда спешил, и при этом не вспотеть. Мне нельзя было потеть. Я опаздывал на свидание со своей девушкой. Тамми была в городе.

Угол Бродвея и Пятидесятой улицы. Вот и «Линдиз». Я быстро прошел внутрь, пошарил глазами по сторонам. Высмотрел Тамми, пронесся мимо метрдотеля. Я ринулся к ней, растянув рот до ушей. Подошел ее поцеловать — она вывернула голову, так что я лишь слегка коснулся ее

щеки. Она глядела куда-то вниз. Я проследил за направлением ее взгляда. На столе лежали «Амстердамские новости», негритянская газета. Она была раскрыта на статье с заголовком: «СЛИШКОМ ЗНАМЕНИТЫ, ЧТОБ БЫТЬ НЕГРАМИ?» Там было написано следующее:

Для немногочисленных счастливчиков, которые смогли достать билеты на недавний концерт знаменитостей в Лас-Вегасе, одной из изюминок шоу стала возможность увидеть сразу и Сэмми Дэвиса-младшего, и комика Джеки Манна. Их выступление вместе с такими светилами, как Фрэнк Синатра и Дин Мартин, перед зрителями, в числе которых находился человек, претендующий, по мнению большинства, на то, чтобы стать следующим президентом, — безусловно, предмет гордости нашей общины. На сцене. Однако вне сцены их шалости оставляют желать лучшего. Пока мы радуемся за успех и Дэвиса, и Манна, достигается таковой, по всей видимости, за счет того, что они отворачиваются от своей расы. Вместо того чтобы проводить время в негритянской общине, оба прочно обосновались в роскошных «белых» казино Стрипа, где негров пониже статусом даже не пустят на порог. И если слухи об участии Дэвиса и Манна в ночных белых

оргиях — всего лишь слухи, то можно не сомневаться, что роман Дэвиса со шведской актрисой Май Бритт повлиял на более молодого Манна и толкнул его на тот же путь. Мы с сожалением вынуждены напоминать Дэвису и Манну об их обязанностях перед негритянской общиной, но еще большее сожаление вызывает сама необходимость это делать.

Заметка не была сплошной ложью, скорее это была полуправда. Да, я не ошивался в Вест-Сайде, но и другие чернокожие не ошивались бы там (никто бы не ошивался в Вест-Сайде), если бы их к тому не принуждали. А что до нескольких разнузданных вечеринок… ну да, даже не нескольких, — так газету, похоже, нимало не смущало то, что в них участвовали белые артисты, никто не писал, будто они позорят белую расу.

Но было в этом рассказе и нечто, более близкое к правде, чем к лжи. Там говорилось, что я пошел по стопам Сэмми, волочащегося за белыми девицами. В статье только вскользь упоминалось об этом, но, чтобы не показаться голословными, газетчики поместили рядом два снимка. На одном был Сэмми со своей новой подружкой Май Бритт. На другом — я с Лилией. Наверное, какой-нибудь охочий до скандалов фотограф щелкнул нас,

когда мы обедали.

Я быстренько заглянул в конец. Автором публикации была женщина. Все ясно. Нет на свете ведьмы страшнее, чем негритянка, застукавшая чернокожего мужчину с блондинкой.

Значит, вот эта фотография, где я с другой девушкой — не важно, с белой или нет, просто с другой девушкой, — отвернула от меня голову Тамми, когда я приблизился к ней. Мне предстояло серьезное объяснение по поводу этого снимка.

Настала пора расплачиваться за ложь.

Я начал с ходу:

— Ну, детка, неужели ты веришь всему этому? — Я сел, расстелил у себя на коленях салфетку и уставился в меню, как будто эта статья не стоила того, чтобы тратить на нее время. — Нельзя же верить всему, что читаешь.

— Да я же не просто читаю. Я смотрю. Я смотрю на фотографию, Джеки. Ты и эта… эта… — Голос Тамми менялся при каждом слове. Он был то обвиняющим, то оскорбленным. Она отчаянно пыталась нащупать истину в том, что я ей говорил.

— Да, фотография, где я и та актриса… — Не Лилия. *Та актриса.* Отнимая у нее имя, я надеялся

превратить ее из женщины-угрозы в вещь. — И еще человек пять. — По счастью, на снимке, опубликованном газетчиками, были видны и другие люди, окружавшие нас с Лилией. Если посмотреть на фотографию без предубеждения, можно было бы почти поверить, что мы с ней всего лишь часть более многолюдной компании. — Ты же сама видишь, тут даже имен никаких нет. Никто даже не утверждает, что у меня роман с этой женщиной. — С этой женщиной.

— Но тогда…

— А не делают этого потому, что между мной и нею ничего нет. Ничего!

— Тогда зачем напечатали эту фотографию рядом с этой статьей?

— Ну, просто… Во-первых, это вообще не статья. Вот в чем дело. Это не статья, это мнени…

— Зачем напечатали фотографию?

Да. Зачем?

— Ну надо же им что-то печатать.

— У них была фотография Сэмми и его подружки. Зачем им понадобилась еще и твоя?

Сколько лет я провел на сцене, сколько лет оттачивал свое комическое мастерство, — и вот мне понадобились адские усилия, чтобы быстро придумать правдоподобное объяснение. К тому

же всю силу воли мне пришлось употребить на то, чтобы не покрыться испариной лжеца, — а это усложняло мою задачу.

— Ну, понимаешь, ведь не так-то легко напасть на такого типа, как Сэмми Дэвис. Им не нравится, что он встречается — что он женится, да, я слышал, они собираются пожениться, — газетчикам не нравится, что он встречается с этой женщиной. Но он же звезда такой величины — под него так просто не подкопаешься. И вот они пишут о том о сем, разбрасывают вскользь свои намеки, и создается такое впечатление, будто они готовы напасть на любого чернокожего, который приблизится к белой женщине ближе чем на десять шагов. И что мне теперь делать?

— Держаться от белых женщин на расстоянии десяти шагов.

Тамми немного смягчилась.

Я возразил:

— А ты у себя в Детройте можешь держаться на расстоянии десяти шагов от всех, кто набивается к тебе в ухажеры?

Пауза.

— Да, пожалуй, во мне говорила ревность. — Она сказала это ровным, легким тоном; похоже, смертельная тяжесть, давившая на нее целый

день или даже дольше, упала у нее с плеч.

Значит, с помощью убаюкивающих речей я выбрался из угла, куда загнала меня моя похоть.

Тамми:

— Но ведь ты сам говорил, что только те люди, кто не знает страсти, зовут это ревностью.

— Наверно, говорил, и, наверно, я тебя прощу. На этот раз. — Я сказал это таким тоном, чтобы стало понятно: это шутка, но тем не менее мне пришлось прибегнуть ко всему своему мастерству, чтобы сказать ей такое. — Ну теперь-то ты меня поцелуешь как следует, или мне уйти и взаправду подыскать себе европейскую старлетку?

И Тамми поцеловала меня — настоящим, долгим, «соскучившимся» поцелуем, которого она лишила меня вначале, когда я подошел к ее столику.

Потом, у меня дома, мы похоронили всю мою ложь, предавшись сексу. Мы похоронили все дни нашей разлуки и всю нашу непохожесть, потратив долгие часы на то, чтобы заново изучить друг друга. И вот что мы обнаружили: время и расстояние не смогли погасить нашу любовь.

Позже, лежа в постели в темноте, крепко сжимая в объятиях Тамми, пока самого меня сжимало чувство вины, я нашел опору в словах Лилии:

в том, что я не женюсь на Тамми, нет ничего неправильного. Но та ложь, которой я жил, была очень хороша.

* * *

Все было почти как прежде, четырьмя годами раньше. Я снова оказался на клубной сцене в Виллидже, только на этот раз я выступал с номерами, подготовленными для появления в шоу Фрэн. Спертый воздух, прокуренный тесный зал, плотная и потная людская толпа. Публика — на расстоянии вытянутой руки от меня. До моих ушей долетает смех Тамми: он слышнее всех. Мои номера: компактные и смешные. Отличная программа — и не я один такого мнения.

— Отличная программа, Джеки. — Ко мне приближался какой-то мужчина с широкой улыбкой и вытянутой рукой. — Чет Розен, — напомнил он мне свое имя. — «Уильям Моррис». Я слышал, вы тут выступаете, вот и решил зайти.

Я поздоровался с ним, сказал, что приятно снова увидеться, и представил его Тамми.

— Тамми Террелл. Конечно. Вы из «Мотауна». Хорошее местечко! Этот Берри Горди — шустрый малый. Он далеко пойдет.

Он знал Тамми. Я был поражен.

Мне:

— Слышал, вы выступаете в «Шоу Фрэн Кларк».

— На следующей неделе.

— Она ваш старый друг, да?

— Ну да. Да.

— У вас с ней один и тот же агент? Сид…

— Киндлер.

Чет изобразил недоумение:

— Не понимаю, почему понадобилось столько времени? — Он как бы не обращался ко мне лично, а просто говорил вслух. — У вас один и тот же агент, тогда я не понимаю, почему столько времени понадобилось, чтобы пробить вам это шоу? По-моему, тут кто-то зазевался за рулем…

Прежде чем я успел придумать, что на это ответить, Чет уже несся дальше:

— Да, я слышал, вы сногсшибательно выступали в Лас-Вегасе.

— Сногсшибательно? Большинство зрителей даже внимания на меня не обратили, а многие вообще не знали, кто я такой. Я все равно что вице-президентом побывал.

— Вам выказали больше уважения, чем обычно выказывают большинству комиков. То же и здесь. — Он указал большим пальцем на сцену за

нами. — Перед вами открываются хорошие возможности, Джеки. Надеюсь, вы воспользуетесь ими к своей выгоде. А что вам раздобыл Сид?

— …Я выступлю в шоу Фрэн.

— А еще?

Еще…

Певица на сцене пела что-то из Коула Портера[47], а я так и молчал, не зная, что сказать.

— Ну хорошо, Джеки, желаю вам удачно выступить в шоу. Уверен, все пройдет на ура. Мисс Террелл.

Уже собравшись уходить, Чет вдруг остановился:

— Надеюсь, вы не обидитесь на меня, если я скажу, что вы вдвоем прекрасно смотритесь. — И он ушел.

— Вот человек, — заметила Тамми, — который умеет находить правильные слова.

Это было правдой. К тому же он умел произносить слова так, что они прочно заседали в памяти.

---

[47] Примечания: 47

Портер Коул Альберт (1893–1964) — композитор и автор текстов мюзиклов, ставших классикой бродвейского театра, а также сотен популярных песенок.

* * *

— В шоу Фрэн хорошо то, что там все время руководство вертится. Ребята с Си-би-эс. Выступишь классно — об этом заговорят. Потом тебе это обязательно зачтется.

Сид врал мне. Я зашел к нему для ободряющей беседы перед шоу Фрэн; и вот я сидел и слушал его вранье. Нет, Сид врал мне не словами. Да, конечно, на передаче будет присутствовать руководство Си-би-эс, и, конечно, если я успешно выступлю перед ними, это только поможет мне приблизиться к Салливану. Все это было правдой. Сид обманывал меня в другом: у него изо рта пахло мятными пастилками, которые должны были замаскировать запах от принятого спиртного, а за нарочитой точностью и аккуратностью движений скрывалась лишь неуверенность и неуклюжесть. Он тщательно рассчитывал каждое свое действие, а потом медленно выполнял его: например, с очень сосредоточенным видом поднимал ручку со стола, так, чтобы не сшибить при этом лампу. Словом, он изо всех сил старался выглядеть трезвым: в этом-то и состояло его вранье. Кого он надеялся одурачить: это меня-то, столько лет из первых рядов наблюдавшего пья-

ные представления папаши, хоть тот никогда и не щадил моих чувств и не пытался скрыть, что нализался.

— Я не вешаю тебе лапшу на уши, нет, я просто хочу, чтобы ты знал… это не Салливан, но мы к нему подбираемся.

Сид говорил, упершись взглядом в стол. Не глядя на меня, он не мог прочесть в моих глазах отражение своего обмана. Иначе нам пришлось бы вдвоем исполнять этот жалкий трюк: он притворялся бы трезвым, а я притворялся бы, будто не вижу, что он набрался.

Господи, как я ненавидел пьяных.

Нет.

Сида я не ненавидел. Я ненавидел бессилие пьяниц, я ненавидел то, что они вынуждают тебя становиться сообщником их греха: «Я понимаю, что ты понимаешь, что я делаю, но, пожалуйста, не запрещай мне пить или купи мне спиртного, если я сам не могу его купить, не обращай внимания на мои буйные выходки, когда я пьян, и на мои затуманенные глаза, когда я наклюкался с утра пораньше. Пожалуйста, посочувствуй моей боли или беде, а если не хочешь, то не надо. Просто ничего не говори; продолжай вести себя как ни в чем не бывало, даже если я слишком громко

смеюсь над чем-нибудь совершенно не смешным, вырубаюсь на полу-фразе или спотыкаюсь и падаю на ровном месте. А когда дела совсем плохи, просто намекни туманно на чье-нибудь „положеньице“, чтобы я вместе с тобой поцокал, но мы оба втайне будем понимать, о ком ты на самом деле толкуешь. Тогда я возьму и завяжу. Просохну. Немножко. Пару неделек. Может, месяц. Или остаток дня. А потом снова будем притворяться».

Сид… Как же он мог так поступить со мной? Он же знал, как я к этому отношусь, через что я прошел, так как же он… Да еще накануне моего эфира!

В том-то и дело: меня не заботило, *почему* и *что* вдруг заставило Сида сорваться с тормозов. Меня заботило только одно: *почему со мной.* Мне это было не нужно, особенно после того, как Чет пытался очернить передо мной Сида.

— Ты отлично выступишь, вот что я хочу сказать. Это… это будет здорово. — Сид очень медленно поднес руку ко лбу, смахнул капельки пота.

— Да. Отлично, — поддакнул я и многозначительным тоном добавил: — Жаль, отец не дожил, чтоб на это посмотреть.

* * *

Это было нереально. Причем сразу в двух смыслах слова. Нереально — сверхъестественно — было это ощущение: неужели все — взаправду? Неужели в самом деле, наконец… И в то же время это было нереально — ирреально: я смотрел на сценическую площадку не сквозь «молоко» на экране «Зенита», а вблизи, и она казалась тем, чем и была: раскрашенной фанерой и расписным муслином. Во все концы зигзагами тянулись осветительные кабели — неподвижно свернувшимися гигантскими черными змеями. Повсюду были ребята из профсоюза, поражавшие объемом как своих телес, так и источаемых ими пота и смрада, — притом что большинство из них, видимо, получали зарплату только за то, что стояли и следили, чтобы все остальные что-нибудь делали. Но даже их будничное, прозаичное присутствие не в состоянии было лишить этот миг торжественного блеска. Для меня он все равно оставался чуть-чуть волшебным. Этот миг по-прежнему казался нереальным. Сверхъесте-

ственным. Это была страна Оз. Или Шангри-Ла[48]. Это была телестудия, где снималось шоу Фрэн, и сейчас это было именно то место, где мне больше всего на свете хотелось находиться.

Свет, камеры — большие четырехглазые чудища «Американской радиокорпорации», — суматоха, орущие друг на друга люди: то сделать, это поменять, или вдруг что-то в самый последний момент выясняется, черт побери, и все они носятся туда-сюда, как муравьи в горящем муравейнике. Неразбериха порождает еще больший кавардак. И все это — еще за сутки до передачи. Подобное безумие оказалось заразным. Мое сердце превратилось в метроном, отстукивавший в такт организованному хаосу, царившему вокруг меня.

Фрэн была на сцене. Конечно, я видел Фрэнсис по телевизору, но вживе я видел Фрэнсис в последний раз на похоронах моего отца. Она изменилась. Вернее, ее изменили. Она чуть похудела, осветлила и завила волосы. На ней была не одежда — на ней были произведения высокой моды от кутюрье, которые с удовольствием предоставляли ей свои лучшие изделия в надежде, что

[48] Примечания: 48

Шангри-Ла — царство вечной молодости в романе Дж. Хилтона «Потерянный горизонт».

она будет щеголять ими в телеэфире. Словом, Фрэнсис уже совсем не была похожа на прежнюю девчонку из Уильямсбурга. Ее превратили в белую барышню типа Дорис Дэй[49], вот-вот готовую помчаться на собрание родительского комитета школы.

Она говорила, как ей предстояло говорить сутки спустя:

— Следующего джентльмена, который выйдет на сцену, мне особенно приятно представить вам, и не только потому, что он мой давний друг, но еще и потому, что он самый сногсшибательный молодой комик наших дней. Итак — дебют на телевидении! Джеки Манн — добро пожаловать на сцену!

Из-за кулис я прошествовал на сцену, на каждом шагу напутствуемый подсказками администратора.

— Здесь идите правее, Джеки, — направлял он меня. — Теперь продолжайте идти прямо к Фрэн…

Я делал, как было велено. Фрэн взяла меня за руки, крепко пожала их, поцеловала в щеку,

---

[49] Примечания: 49

Дорис Дэй (наст. имя — Дорис фон Каппелхофф; р. 1924) — актриса и певица в основном мюзиклов; изображала также добропорядочных домохозяек.

пожелав удачи. Если не считать того, что мы находились в телестудии, напичканной оборудованием для освещения и съемки, что за репетицией наблюдали десятки телемехаников и агентов, следивших, чтобы все шло как по маслу, — то у меня появилось вдруг чувство, будто мы с Фрэн снова оказались на Четырнадцатой улице.

Администратор:

— О'кей, теперь Фрэн делает шаг в сторону…

Она сделала шаг в сторону.

— А вы, Джеки, выходите на свое место. — Он указал на звезду, нарисованную на полу. — Потом смотрите прямо в камеру и смешите двадцать два миллиона американцев.

— Только не надо давить на меня, ладно?

— Ну где же тот самоуверенный Джеки, которого я помню? — Фрэн ободряюще положила руку мне на плечо, успокоила теплым взглядом.

Я поправил ее:

— А я помню другое. Помню, как мы обычно стояли на перекрестке, и я боялся даже думать о завтрашнем дне, а ты уверяла меня, что все будет здорово.

— Как далеко мы ушли от того перекрестка, Джеки.

Я кивнул. Мы обменялись улыбками.

Фрэн дружески стиснула мне руку, чтобы я ничего не боялся.

— Фрэнсис. — Это двое парней в костюмах окликнули Фрэн.

Лицо у нее сразу скисло. Она пару раз быстро тряхнула головой, а глаза умоляюще повращались.

— Сейчас вернусь. — Она направилась к тем парням.

— Я совсем не хотел вас пугать, — заговорил администратор сцены. — Фрэн много добрых слов вам наговорила. Я уверен: вы отлично выступите.

— Можно задать вам один вопрос? Двадцать два миллиона — неужели столько людей будет смотреть эту передачу?

— Ну, в прямом эфире — чуть больше половины. А оставшаяся часть страны увидит ее в записи для Западного побережья.

Мое сердце будто переключили на другую скорость — оно так заколотилось, что даже ладони вспотели. Меня охватила страшная нервная дрожь, и я понимал, что завтра повторится то же самое, если не станет хуже.

Я подошел к столу с угощениями для персонала,

попытался налить себе чашку чаю, но меня так трясло, что я ошпарил руку, пока донес чашку до рта. О еде не могло быть и речи. Мой желудок — который давно приноровился к сцене, но оставался новичком для телевидения, — реагировал на поднос с деликатесами посреди стола примерно так же, как на вид колючей проволоки вокруг ржаного поля.

И вновь мне подумалось: а может, Сид был прав? Может, я и в самом деле еще не созрел для Салливана. Сида мне очень здесь не хватало. Он не пришел — сказал, что ему нездоровится. Ну да. Я понял его в том смысле, что ему нужно опохмелиться.

Я попытался как-то унять свои нервы, попытался сосредоточиться на словах, которые сказал мне Сэмми, когда я впервые встретился с ним в Лас-Вегасе: что теперь я настоящая звезда. А звезды не нервничают. Я решил отхлебнуть чая. И почти все пролил на рубашку.

— Джеки?

Сзади меня оказался вдруг какой-то человек. Я и не слышал, как он подошел, даже краем глаза не заметил его. Просто сзади меня оказался какой-то человек, словно из-под земли вырос. У него было детское лицо. Хороший маникюр.

Аккуратно постриженный. Весь такой аккуратненький. Вид у него был такой, словно он и через коровье пастбище запросто проскочил бы, даже не помяв одежды, и все так же сладко благоухал бы. А еще он улыбался. У него на лице была истертая широкая ухмылка, нацепленная неизвестно зачем, — разве только если ему за эту улыбку платили. Он показался мне одним из тех парней, с которыми пару минут назад разговаривала Фрэн.

— Джеки Манн? Лес Эльснер. — Он взял мою руку, пожал ее, даже не подождав, пока я сам ее протяну. — Сигареты «Фатима». Мы спонсируем передачу. Послушайте, Джеки, я тут хотел с вами кое о чем потолковать.

— Да вы просто с ума сошли, вы сами-то понимаете? Оба, вы оба с ума… вы просто… — Фрэн разгорячилась и раскраснелась. Разгорячилась от гнева, а раскраснелась оттого, что кровь яростно текла по жилам и приливала к светлой коже. — Вы просто с ума сошли!

Нас было в кабинете четверо. Фрэн, я, Лес (его широкая ухмылка успела сузиться до снисходительной усмешки) и, рядом с ним, какой-то парень из Си-би-эс. С ним Фрэн тоже недавно разговаривала. Он был почти такой же аккурат-

ненький, как Лес, только более дешевого разлива. И он совсем не улыбался.

Парень из Си-би-эс сказал:

— Фрэн, это же только поцелуй.

— Правильно. Это только поцелуй. Тогда скажите мне, почему я не могу поцеловать моего друга…

— Фрэнсис, — перебил ее Лес.

— *Моего* друга в *моем* телешоу?

— Фрэнсис, мне понятны ваши чу…

— Это же *«Шоу Фрэн Кларк»*. И если я хо…

— Это «Шоу Фрэн Кларк», которое спонсируют сигареты «Фатима». — Теперь Лес перешел в наступление: — И все дело в том, что некоторым людям может не понравиться это зрелище — как вы целуете цветного.

— «Цветного»! — передразнила его Фрэн. — Вы что, в сорок восьмом году живете? Нужно говорить «негр».

На самом деле, если верить Мо и его воинствующим товарищам, правильнее было говорить «чернокожий». Но я сидел и помалкивал, тихонько надеясь на то, что все как-нибудь уладится.

— Как бы вы его ни называли…

— Я называю его Джеки. — Фрэн отвернулась от Леса, как будто с ним больше не имело смысла

разговаривать, и обратилась к телевизионщику: — Я столько времени потратила на то, чтобы вы *разрешили* мне позвать Джеки в мое шоу, и вот теперь вы заявляете, что мне нельзя его целовать?

Телевизионщик только и нашелся, что сказать:

— Фрэнсис…

— Я всегда его целую. — В доказательство Фрэн встала с места, подошла ко мне, наклонилась и поцеловала. На сей раз не в щеку. В губы. Очень крепко. Очень сильно. И долго. Со страстью, равнявшейся ее гневу. Я никогда не думал, что Фрэн умеет так хорошо целоваться. Оторвавшись от меня, крикнула в другой конец комнаты: — Ну как? Нравится вам?

— Довольно соблазнительно, — сказал Лес. — То, чем вы здесь, в этом кабинете, занимаетесь, — ваше дело. Мое дело — продавать сигареты «Фатима», а продавать сигареты «Фатима» станет очень трудно во многих частях страны, если наше имя будет отождествляться с расовой мешаниной.

Фрэн рявкнула в ответ:

— Ладно, что ж, давайте: я напялю белый колпак и сделаю вам парочку рекламных объявлений. Может, это поможет продать несколько пачек?

Улыбка не покинула лица Леса.

Парень из Си-би-эс ужом снова втиснулся в разговор:

— Фрэнсис…

— Хватит повторять мое имя!

— Помнишь, как Сэмми Дэвис-младший выступал в шоу Эдди Кантора? Он пожал ему руку. Эдди только пожал Сэмми руку. И знаешь, как это потом ударило по продажам «Колгейт»?

— А сколько лет назад это было? Сейчас на дворе шестьдесят первый год. Мир меняется. Мир уже изменился.

— Недостаточно, — возразил телевизионщик. — И никогда не изменится *настолько*. Фрэ… — Он хотел было продолжить убеждать ее, но потом передумал. И подытожил: — В общем, целуй Джеки, плоди детишек с Джеки… Мне все равно, что ты будешь делать с Джеки, — но только не во вторник в восемь тридцать вечера по стандартному восточному времени на телеканале компании «Коламбиа».

Лес обратил свою улыбку на меня.

— Кстати, говоря о Джеки, мы даже не спросили у него самого, что он думает по этому поводу. В конце концов, это и его касается.

Он поступил коварно, втянув в это дело меня.

До той минуты я не вмешивался в спор, и Лес понимал почему. Он вел себя как шулер, который, бросая кость со свинцовой начинкой, прекрасно знает, какой стороной она выпадет. А когда я замешкался с ответом, Фрэнсис тоже это поняла.

Сид. Если бы здесь был Сид, уж он-то сумел бы выпутаться, сумел бы отстоять меня.

После паузы, после душераздирающей паузы Фрэн взмолилась:

— Джеки… Джеки, не надо. Неужели это так важно для тебя? — Ее голос был полон боли. Ей было горько уже из-за того, что приходится задавать мне такой вопрос. — Неужели появиться на телевидении для тебя важнее, чем… — Она снова пересекла комнату, взяла мои руки в свои и стиснула их очень крепко, до кости, как если бы одним прикосновением хотела передать мне часть своей внутренней энергии. Тоном отчаянной мольбы она произнесла: — Постой за себя! Хоть раз, хоть один раз, пожалуйста, постой за себя!

Неужели это мне она такое говорила? Неужели она в самом деле?..

Ведь я уже бывал в похожей ситуации!

Я сумел постоять за себя много лет назад, когда Сид заявил, что ему нужен комик, но не нужна

певица. И я постоял за себя и заявил Сиду, что, если он не возьмет Фрэнсис Клигман, то не возьмет и меня. И тогда он взял Фрэнсис. Сид устроил Фрэн запись, благодаря которой она попала на прослушивание в Си-би-эс, после чего получила на Си-би-эс пилотный выпуск, теперь у нее было свое шоу. А я, постояв за себя, что я получил? Приобрел билет на место у окна, чтобы наблюдать за чужим карьерным взлетом в небеса. Оказался зажат между двух огней — между парочкой хмырей и Фрэн Кларк, которая теперь говорила мне, чтобы я постоял за себя. Постоял за себя — хоть раз в жизни.

— Фрэн, это же… это только поцелуй… — Я глядел в сторону, когда выговаривал это.

Лучше бы я ничего не говорил.

Лучше бы я раскрыл ладонь пошире, замахнулся как следует и изо всей силы ударил милую Фрэнсис по лицу. Эффект был бы точно такой же. Может, боль от такого удара была бы меньше.

Фрэн попятилась. Она остановилась в середине комнаты и уставилась на меня, словно пытаясь — безуспешно — опознать человека, которого знала когда-то. Ее лицо выражало полное смятение. Рассматривай она меня хоть тысячу лет — и тогда, наверное, не смогла бы понять, в какое

странное существо я превратился.

Господи, Сид, почему же ты не… Ты бы мог спасти дело. Ты бы мог…

Фрэн повернулась к тем двум типам.

Фрэн заявила:

— Это мое шоу, и, если захочу, я его поцелую.

«Его», сказала она. «Его» — как будто у меня больше не было имени. Как будто я был уже не человеком, а неким символическим предметом, единственное предназначение которого — позволить Фрэн отстаивать свои убеждения.

Начался новый виток споров. Я вышел из комнаты, не замеченный остальными, чтобы щепки летели уже без меня. Я вышел из комнаты, чувствуя себя змеей, которая прокладывает себе путь сквозь гущу сорняков.

Я так и не появился в том шоу. Позднее, уже поправив здоровье, Сид сказал мне, что пытался говорить с Фрэн, пытался придумать какой-нибудь компромисс, но ни она, ни спонсор не желали идти на уступки. И хотя парень из «Фатимы» и хмырь с Си-би-эс были уверены, что я им подыграю, они догадывались, что Фрэн им назло поцелует меня, а поскольку шоу выходило в прямом эфире, то добрая половина страны увидела бы, что на экране в режиме реального

времени происходит братание рас. Потому я и не появился в шоу.

Это был всего-навсего поцелуй. Я понимал, что для Фрэнсис это знак дружбы, а дружба — нечто такое, чего не растопчешь лишь потому, что кто-то боится на следующей неделе не впарить покупателям столько же курева, сколько впарил на прошлой. Но для меня это был только поцелуй, только контакт губ со щекой, стоявший на пути между мной и двадцатидвухмиллионной аудиторией. Это я и попытался сказать Фрэн, попытался объяснить свою мысль: это только поцелуй.

Она не отвечала на мои звонки.

Я написал ей письмо.

Сид лично вручил его ей.

Он рассказал, что Фрэнсис порвала письмо, не читая. Порвала, а потом разрыдалась.

Когда-то Фрэн была моим лучшим другом, а я дважды сделал ей больно. Мою зависть — когда я позавидовал ее успеху, тому, что она попала к Салливану, а я — нет, — она смогла простить. Мое предательство — не смогла.

В том кабинете, когда она, стиснув руки, просила меня постоять за себя, я в последний раз виделся с Фрэнсис.

* * *

Чикаго. Две недели в Сент-Луисе. Кливленд…

Я снова ездил по гастролям. Получал хорошие деньги. Все шло хорошо.

Я по-прежнему был всего лишь клубным комиком.

Пожалуй, чуть более известным, чем некоторые другие. Пожалуй, публика у меня была получше. Но все равно — я был всего лишь клубным комиком.

Бостон, Филадельфия, Балтимор…

Лос-Анджелес.

После Балтимора у меня образовалось окно в расписании, и я устремился обратно на Запад. На самолете. Поезд был дешевле, но и медленнее. А я туда спешил.

— Здравствуй, *Жаке.*

Лилия ждала меня в аэропорту. Она была скромно одета, чтобы не привлекать к себе внимания. Эта скромная, в ее понимании, одежда, повергла бы в смущение королевских особ. Мне казалось, я должен был давным-давно наскучить такой женщине, как Лилия. Однако этого не происходило. Она подошла ко мне, я поздоровался с ней. Мы поцеловались, горячо и крепко; тело Лилии

оставалось безмятежным, хотя ее губы искали мои. И тут я понял, что тот разлад, что составлял суть нашей связи, остался прежним.

Оказавшись снова вместе, мы с Лилией принялись мотаться по всем голливудским злачным местам. Шоу в «Пантейджес». Обед в «Мокамбо» или «Крещендо». С завидной скоростью, не замедляя ритма, я вновь заскакал на старом пони, как будто никогда и не падал. Только на этот раз я вел себя осторожнее. Мы с Лилией таились, скрывались, насколько это вообще возможно, бывая на публике. Ходили слухи и толки, но мы как могли сторонились камер, избегали возможного компромата, не поверить которому никакая девушка уже не смогла бы, сколько бы ни врал ей любимый.

Неизбежно возникает вопрос: как я мог? Как я мог, при такой девушке, как Тамми, — да и как я мог говорить, что люблю такую девушку, как Тамми, — разводить шашни на стороне?

Справедливый вопрос.

Ответ же состоит в том, что я оказался в западне между двумя враждующими страстями — любовью и желанием. Если бы я сидел в самолете, который вот-вот потерпит крушение, и знал, что через секунду меня не станет, то моя последняя

мысль — моя единственная мысль — была бы о Тамми.

Я любил Тамми.

Но я не сидел в самолете, который вот-вот потерпит крушение. Я не думал о самом важном — я думал о сиюминутном. А в сиюминутной жизни любовь иногда вынуждена уступать желанию.

Я страстно желал Лилию.

* * *

Агентство «Уильям Моррис» было самым могущественным в мире агентством по поиску талантов. Если вы и не подозревали об этом, входя в его двери, то портреты клиентов, которыми были увешаны стены его представительства в Беверли-Хиллз, сразу давали вам это понять. Суперзвезды. Звездные фамилии: Берл, Монро, Пресли, Томас, Синатра, Дэвис, Мак-Куин.

Я сидел за большим столом — дубовым монолитом, положенным на бок, вокруг которого, кажется, и была выстроена сама комната. Рядом со мной сидели Чет Розен, которого я уже знал, еще двое агентов, с которыми меня только что познакомили, и Эйб Ластфогель, которого я раньше не встречал, но о котором много слышал. Эйб возглавлял агентство «Уильям Моррис», а по-

скольку он был главой *этого* агентства, именно звонок из его кабинета сделал то, чего до сих пор не удавалось сделать Чету, а именно — сломить мою лояльность настолько, чтобы я согласился хотя бы прийти на ознакомительную встречу в «Уильям Моррис».

Похожий на четырехглазого бульдога с волнистыми волосами, этакий Дж. Эдгар Гувер в синем костюме, Эйб был на добрую пару десятков лет старше других агентов, также отличавшихся друг от друга возрастом, мастью и величиной. Что их еще объединяло, кроме синих костюмов, которые, по-видимому, являлись своего рода спецодеждой, так это определенно мошеннические ухватки, что, впрочем, не сразу бросалось в глаза. Неуловимые, замаскированные, эти черты составляли тем не менее неотъемлемую часть их поведения. *Будто неброская мозоль развилась в каждом из них в ходе настольных игр, при этом острые края ее со временем пообтесались и стерлись.* Люди эти, агенты, были такие гладкие-прегладкие. Точнее сказать — скользкие.

Встреча началась с трепа о том о сем: агенты болтали как бы между собой, но на самом деле в расчете на меня:

— Видели, какой успех был вчера у Берла с его

спецвыпуском?

— Да, было отлично. Просто отлично.

— Надо будет повторить по госканалам.

— Знаешь, что я думаю: тот новый комик, с которым мы договор подписали…

— Воткнуть его в шоу Дэнни?

— Отличный шанс. Могла бы получиться целая серия.

— Я подниму этот вопрос на планерке.

Когда они покончили со своим агентским трепом, Чет приступил к делу:

— Я очень рад, Джеки, что вы нашли время и заглянули к нам. Мы все — ваши большие поклонники, и нам просто очень хотелось с вами поговорить.

Один из двух других агентов — кажется, его звали Хауи, — вставил не резким, но чуточку колким тоном:

— Обычно нам не приходится так уламывать людей, чтобы они согласились с нами встретиться.

— Ну, у Джеки же есть агент. Хороший агент, — вступил в разговор Эйб. — И я не хочу, чтобы вы хоть на секунду подумали, будто мы пытаемся вас переманить, Джеки. Мы не отбираем клиентов у мелких агентов.

Он пытался показать мне, какой он порядочный, однако то, как он произнес «мелких агентов», навело меня на противоположные мысли.

— А кстати, что случилось с *«Шоу Фрэн Кларк»?* — поинтересовался Чет. — Разве вы не должны были месяц назад в нем выступить?

— Не получилось… Там возникли сложности.

— Вас перенесли на другую дату?

— Не думаю… — Мне совсем не хотелось объяснять им, что произошло, но я повторил: — Возникли сложности, — понадеявшись, что эту тему оставят в покое.

Чет, похоже, не понял меня.

— Сложности? А что сделал Сид, чтобы их уладить?

— Все, что мог. Так он мне сказал.

— Да, но все-таки, — встрял Эйб, — что именно он сделал в ваших интересах?

— Я не… Все, что мог.

В комнате воцарилась тишина. Как будто где-то рядом посыпались одна за другой жалобы, и никто точно не знал, как же положить им конец.

— Джеки, мы вовсе не просим вас плохо отзываться о вашем агенте, но, мне кажется, ради вашего же блага, нам нужно кое-что обсудить. — Эйб говорил таким мрачным тоном, каким обыч-

но говорят врачи о предстоящей операции, когда речь идет о почти обреченном пациенте. — Если брать комический жанр, то вы — один из самых популярных клубных комиков, работающих в настоящее время. Но вы — только *клубный* комик, и, говоря по совести, отчасти в этом виноват Сид.

Я было запротестовал.

Эйб не дал мне произнести ни слова:

— Да, я знаю, это он помог вам подняться на ту высоту, на которой вы находитесь, и я вовсе не хочу сказать, что сейчас он активно тянет вас назад. Я просто не думаю, что он обладает связями, необходимыми для того, чтобы продвинуть вас дальше. Дело в том, что в случае с артистами-неграми требуется особый подход к делу.

Другой агент — четвертый из находившихся в комнате — кивнул и поддакнул.

— Думаю, тут такой вопрос нужно задать: вас устраивает, что вы — только клубный комик? — Этот задал этот вопрос и замолчал.

— Нет.

— Тогда о какой карьере вы мечтаете? — спросил Чет. — Чего вы хотите?

Чего я хочу? Что ж. Того же, чего хотел всегда. Денег, славы. Уважения. А если кто-то помешает мне получить все это? Тогда я хотел, как Синатра,

давить всех, кто встанет на моем пути.

Как это все заполучить?

— Салливана, — ответил я. — Я хочу выступить в шоу Салливана.

И вот что я вам скажу: если я думал, что тут небеса разверзнутся и эти четверо разразятся насмешками, услышав о моих великих планах, то я ошибся. Они просто сидели как сидели и лишь кивнули — так, будто я попросил пластинку «Риглиз».

Чет поинтересовался:

— А еще?

Я только моргнул.

— Ну, я имею в виду — еще какие-нибудь телепередачи, может быть, собственное шоу, роли в кино…

— Не знаю. Я никогда не…

— Вы никогда не обсуждали это с Сидом? — спросил Хауи. — Никогда не разрабатывали вместе долгосрочные планы?

— Я полагал… Я думал — ну, если только я попаду к Салливану…

Снова тишина. Будто немые жалобы опять пронеслись по комнате. И молчание агентов как бы говорило: «Ах, Джеки, бедный ты, глупый мальчишка».

Эйб:

— *«Шоу Эда Салливана»* — вещь хорошая. Очень хорошая. Говоря начистоту, для такого артиста, как вы, шоу Салливана — это как раз то, что надо. Но вам следует смотреть на эту передачу не как на самоцель и предел мечтаний, а лишь как на начало своего дальнейшего восхождения.

И опять четвертый агент закивал и задакал. Единодушная поддержка, как на баптистском собрании.

Чет:

— А можно полюбопытствовать: почему вы еще не выступали у Салливана? Прослушивания неудачно проходили?

— Меня не прослушивали.

— Даже не прослушивали? — переспросил Чет с выражением шока и недоверия.

— Сид хотел убедиться, что я готов к этому. Он говорил: я должен быть готов перед тем, как меня будут прослушивать.

— Ну куда уж там дальше готовиться — вы же выступали на разогреве у «Крысиной Стаи»?

Я нервно прыснул:

— На самом деле Фрэнк не любит это назва…

— У «Крысиной Стаи» в «Сэндз», — внес поправку Хауи.

Как я сразу и догадался, эти парни оказались скользкими.

Говорили, что не собираются очернять Сида. Свое слово они сдержали. Зато так повели разговор, что я сам каждой своей фразой очернял его.

Эйб — Чету:

— Ты разве не знаешь Боба Пречта?

Эйб — мне:

— Боб — это продюсер Салливана.

Чет:

— Знаю, конечно. Я его почти каждую неделю вижу в «Сарди». Кажется, он мне кое-чем обязан.

Эйб поглядел на меня, поднял руки ладонями кверху, как бы говоря: дескать, вот оно, на блюдечке.

Да. На блюдечке. Салливан. Салливан — и все, что за ним должно было последовать. Салливан сидел и поджидал меня. Мне нужно было лишь руку за ним протянуть.

Что мне и оставалось сделать.

Но я не мог.

Каждое слово, которое произносили эти люди, взывало напрямую к тем амбициям, что управляли мною последние лет пять. Картина, которую они мне нарисовали, представлялась ясной и сверкающей на солнце, как гладь озера Минне-

сота. К тому, что они предлагали — дать мне как раз то, чего я больше всего хотел, — оставалось лишь протянуть руку. Но как раз этого я и не мог позволить себе. На моем пути стоял Сид. Я не мог вот так взять и предать забвению все то, что он для меня сделал, ради каких-то парней, которые умели ловко ворочать языками.

Но всей моей верности Сиду хватало только на то, чтобы выговорить:

— Что ж, мне нужно подумать.

— Не торопитесь, — согласился Эйб. Согласился, как будто ему и в самом деле было безразлично, какое решение я приму. — Мы лишь хотим, чтобы вы в любом случае комфортно себя чувствовали.

Не это я надеялся услышать. Мне-то хотелось, чтобы меня еще попытались уломать, уговорить и убедить, чтобы мне помогли преодолеть ту преграду, что стояла между преданностью и нетерпением. Но вместо этого я услышал «спасибо», «всего наилучшего» и «будем держать связь». Я побрел к лифту, спустился в вестибюль и вышел на улицу, навстречу калифорнийскому солнечному свету, и вернулся к той жизни, какую знал.

* * *

— Что случилось, Джеки?

Я только услышал голос Тамми, пусть по телефону, — и все безумие моей жизни тотчас показалось менее безумным. Ее голос словно обладал материальностью, само прикосновение которой способно было меня успокоить.

Она снова спросила:

— Что случилось?

— Да я сегодня тут с агентами встречался. С ребятами из «Уильяма Морриса».

— Ты уходишь от Сида? — Она не обвиняла меня. Не осуждала. Просто спросила.

— Нет. Нет, я не могу так поступить. Он столько для меня сделал, всегда был со мной рядом, — нет, я не могу просто взять и порвать с ним. Наверно, я никогда не смогу этого сделать. — Я помедлил. — Но иногда я гляжу, куда меня завела жизнь: вот я хорошо выступил в таком-то клубе, вот меня познакомили с таким-то типом, который представляет меня такой-то звезде, которая пристраивает меня туда-то… Насколько все это — заслуга Сида, а насколько — просто удача? Если же я завишу только от удачи, то что случится, когда удача от меня отвернется?

— Тогда, может быть, тебе лучше оставить Сида и подписать договор с ребятами из «Морриса».

Я не ожидал услышать такое. Во всяком случае, не от Тамми.

— Или так — или ты будешь всю оставшуюся жизнь держать зуб на Сида, считая, что он тебе не дает развернуться, — а это тоже нехорошо.

— Да я никогда… Да что я…

— Просто скажи ему правду. Пусть ему будет больно, но такой человек, как Сид, никогда не возненавидит тебя за правду.

Она была как скала. В моем мире, где все смешалось, спуталось, как какой-то несуразный клубок, Тамми была как… Я рухнул на кровать. Поглядел затуманенными от слез глазами на тумбочку: коробка. Коробка с колечком, которое должно было красоваться на пальце у Тамми. Я всегда брал его с собой. Почему же…

Потому что.

Потому что однажды я преодолею себя, сяду на самолет или на поезд, а если надо, и пешком пойду, но доберусь до Тамми. Я надену ей на палец это кольцо. И назову своей навеки.

Тамми, по телефону:

— Так легче, Джеки. Говорить правду всегда легче.

Правду. Мне захотелось сказать Тамми правду. Прямо сейчас, по телефону, мне захотелось сказать: «Я был с другой женщиной. С очень красивой, очаровательной женщиной. Я был с ней, спал с ней, она мне нравилась, но то, что я чувствую к ней, — это совсем не то, что я чувствую к тебе. Понимаешь, Тамми? То, что я чувствую к ней, не имеет ничего общего с тем, что я чувствую к тебе».

А она скажет: «Да, понимаю». А может, повесит трубку, чтобы позвонить снова через год, а может, через день или через десять лет. Но она снова позвонит мне, и мы начнем долгую, медленную работу — будем заново выстраивать наши отношения. А может, она швырнет трубку и никогда больше не захочет разговаривать со мной. Как бы то ни было, вранье закончится. Я уничтожу тот грех, который сотворил сам.

Но такая правда лишь очистит мою совесть, сказал я себе. А вранье не давало мне причинить боль Тамми.

Я поглядел на часы. Мне пора было собираться на представление в «Максиз».

Мы с Тамми попрощались.

* * *

Ранним утром — звонок. Я сонной рукой снял трубку.

— Джеки Манн?

— Да.

— Вам звонят из приемной Гарри Кона, — сказала женщина на другом конце провода. — Мистер Кон хотел бы встретиться с вами.

— Со… — Боже! Еще не продрав глаза ото сна, не отойдя от шока, я пытался мысленно разглядеть свое расписание. — Я мог бы встретиться завтра по…

— Сегодня. Если можно, он бы хотел встретиться с вами сегодня. — Женщина говорила быстро, как будто ее торопили.

— Хорошо. Сегодня можно…

— В шесть часов. Мы пришлем за вами машину. Вы живете в «Сансет-Колониал», верно?

— Да.

— Машина приедет за вами в пять тридцать. Увидимся вечером.

Она положила трубку.

Я стиснул телефон. Схватился за него, как за якорь, чтобы не сорваться и не уплыть в дальний конец безумия. Гарри Кон. Директор студий

«Коламбиа», где снимались Рита Хейуорт, Фрэнк Капра, Гарри Купер, Монтгомери Клифт, Ава Гарднер и, наконец, моя Лилия.

Гарри Кон — и он пришлет за мной машину.

Снова: Господи!

Я в возбуждении принялся крутить телефонный диск. Пытался дозвониться до Лилии, сообщить ей новость. Ее не было. Позвонил Сиду. Не застал и Сида. Счет ноль — два, что ж! Я немного успокоился, остыл. Уговорил себя не устраивать переполоха из-за того, что мне позвонил Гарри. Не надо понапрасну с ума сходить. Не надо заранее фантазировать о кинопробах, о съемках и прочем. Не надо…

Господи!

День то тянулся слишком медленно, то мчался слишком быстро, и вот часы показали пять. Выбирая одежду, я волновался, как перед первым свиданием, наконец облюбовал какой-то костюм, а в пять двадцать спустился в вестибюль гостиницы. Длиннющий «линкольн» уже ждал возле подъезда. Раскрылась задняя дверь, и ко мне направился какой-то человек. Это был не человек, а бритва — таким острым во всех смыслах он казался. Отточенные ногти, тонкий вкус в одежде. Колючий взгляд. Можно было бы счесть

его несколько фатоватым, если бы его внешний вид не говорил, что если не с той стороны к нему подойдешь, то рискуешь порезаться. Зато улыбка — совсем наоборот — была очень, очень приятная.

— Джеки, — не столько спросил, сколько констатировал он, очевидно зная, кто я такой. — Нили Мордден. Очень приятно познакомиться. — Рукопожатие оказалось крепким. — Готовы?

Я сказал, что да, он отступил на шаг, пропуская меня в машину.

Когда мы уселись и машина тронулась с места, он спросил:

— Не хотите чего-нибудь выпить?

— Нет, спасибо, мистер Мордден.

— Нили. Кстати, познакомьтесь, это Дом.

О-о-очень далеко впереди шофер, сидевший за баранкой, развернулся в мою сторону настолько, насколько это позволяла ему сделать толщина туловища.

— Как поживаете? — У него был чистейший бруклинский акцент.

— До Галча недалеко, — заметил Нили.

— А что это?

— Гоуэр-Галч. Студии «Коламбиа». Прямо через бульвар Сансет в Гоуэр. Совсем недалеко. — Нили

откинулся на спинку своего сиденья, и глубокое кожаное кресло с мягким скрипом поглотило его.

Я по-прежнему сидел на краешке своего сиденья.

— Нервничаете?

— Пожалуй. — Какие уж тут сомнения! — Да. Я со многими встречался, но тут вдруг мне звонит директор студии… А что он за человек?

— Гарри? Он сукин сын. — Нили произнес это с той же приятной улыбкой на лице, с какой здоровался со мной. — А если вы расскажете кому-нибудь, что я так говорил, я буду это отрицать до самой смерти. Но все-таки это правда: Гарри — сукин сын.

— Я слышал еще, что он скуп.

— Да? От кого?

От Лилии — но черта с два я стал бы произносить ее имя.

— Да так, — ответил я.

— Правильно, — похвалил Нили мою скрытность. — Но от кого бы вы это ни слышали, это тоже правда. Гарри — сукин сын, причем скупой сукин сын. Если он может выудить из вас пенни, то постарается выудить и два. Но как бы то ни было, я неплохо у него получаю.

— А что вы, э-э… ну, то есть…

— Я — технический помощник мистера Кона. Во всяком случае, так называется моя должность. А делаю я всё, что понадобится мистеру Кону.

— М-м, очень любопытно.

— Обычная работа, никакого показного блеска, но Голливуд же не весь из звездной пыли и сказок состоит. Некоторые люди позируют перед камерами. Другие трудятся. — Он похлопал меня по коленке. — Расслабьтесь, Джеки. Ехать нам недолго, но постарайтесь получить удовольствие от этой поездки.

Я откинулся назад, и «линкольн» принял меня в свои кожаные объятия.

Как и обещал Нили, поездка оказалась короткой. Мы подъехали к воротам «Коламбии», и охранник, стоявший с таким видом, будто оберегал военное укрепление, впустил нас, взмахнув рукой. Студия показалась мне маленькой, хотя я раньше и не бывал на студиях. Но там не было никаких съемочных площадок на открытом воздухе — никаких просторных территорий, застроенных фальшивыми фасадами городов Дальнего Запада или нью-йоркских улиц. И в отличие от студий, какими их изображали в кино, тут нигде не расхаживали участники массовок в костюмах ковбоев,

рыцарей в латах или гангстеров, будто им нечего больше делать, как день-деньской разгуливать в костюмах. Я заметил только кучку звукооператоров да еще кучку дремлющих водил.

И все же это была первая киностудия, куда мне довелось попасть. И мне она казалась сделанной из чистого золота.

Мы подъехали к административному зданию. После того как Дом остановил машину, Нили вышел, придержав для меня дверь.

Он сказал:

— Поднимитесь на лифте на верхний этаж. Там вам кто-нибудь покажет, куда идти дальше. Когда вы спуститесь, мы будем здесь. — Снова эта его улыбка.

Я вошел внутрь, поднялся на лифте. Миновал длинный коридор, по дороге старательно отгоняя мысли о предложениях кинопроб, о той или другой роли. Подошел к секретарше, сидевшей прямо перед огромной двустворчатой дверью.

— Джеки Манн? Минутку, пожалуйста. Я сейчас узнаю, готов ли мистер Кон принять вас. — Это была та самая девица, сыпавшая слова скороговоркой, которая звонила мне утром. Она нажала на кнопку на какой-то черной коробке, сказала туда: — Мистер Кон, к вам пришел Джеки Манн.

Коробка что-то ответила, но я не разобрал, что именно.

Секретарша указала рукой в направлении дверей, как девица из игрового шоу с раздачей призов. Повинуясь потайному механическому устройству, створки двери раскрылись передо мной. Едва я вошел в кабинет, как они начали за мной закрываться. Я заметил: никаких дверных ручек. Войти или выйти можно было только с помощью этого скрытого волшебства.

Чудно.

Чудно было и скопление лампочек на потолке — ярких лампочек, — которые били в глаза, слепили тебя, когда ты входил в комнату. Создавалось ощущение, будто входишь в полицейский участок. Похоже, этот Кон хотел пару секунд поизучать тебя перед тем, как ты сможешь на него посмотреть.

Когда же я смог посмотреть на него, выяснилось, что смотреть было особенно не на что. Гарри Кон совершенно не производил впечатления всесильного владыки. Круглая голова. Лысая макушка. Большие уши и нос, буквально стекающий с лица. Воск, подтаявший на солнце и теряющий форму. Кружка пива, а не человек. Строптивец. Сидел он за огромным столом. Наверно, думал,

что такой стол придаст ему важности. На самом деле стол превращал его почти в карлика.

Он поднял глаза. И сказал мне:

— Хватит трахать мою звезду! — Никаких преамбул, никаких экивоков. Сразу к делу.

Услышав такое приветствие, я понял, зачем он меня звал. Речь шла не о том, чтобы заманить меня на съемки в Голливуд. А о том, чтобы я оставил в покое Лилию Дэви. У Май Бритт уже возникло множество неприятностей с карьерой в «Фокс» из-за Сэмми. По-видимому, Лилии грозила та же опасность в «Коламбии» из-за меня.

Вероятно, студия была в ярости из-за нашего романа, так что в конце концов тут не выдержали и решили вызвать меня на ковер. Но сам Гарри Кон, этот лилипут за великанским столом, не способен был вселить в меня панику; к тому же, с ходу потребовав: «Хватит трахать мою звезду», он ясно дал мне понять, что никакая работа у него мне не светит. Поэтому в ответ на требование Гарри я переспросил:

— О какой именно звезде речь?

От моей шутки Гарри стал из белого красным, как столбик термометра.

— Ты хотя бы понимаешь, что делаешь! — Откуда ни возьмись появилось кнутовище, и

коротышка грохнул им по столу. Очевидно, он этим кнутом ни одну лошадь, кроме собственного стола, не хлестал. Чистый Голливуд: фиглярство в исполнении повелителя фигляров. — Ты хоть чуточку понимаешь, что делаешь!

— От Лилии я ни разу не слышал жалоб.

Он только покраснел еще больше. Так покраснел, что я уж подумал: сейчас у него пар из ушей повалит, как в номере у группы «Три марионетки». Но, похоже, сообразив, что криками и воплями от меня ничего не добьешься, Гарри заставил себя успокоиться, а потом продолжил:

— Джеки, я не хочу, чтобы ты принимал меня за… за расиста какого-нибудь. Ничего подобного. — Теперь Гарри вел себя со мной как любимый дядюшка, который пытается отвоевать лишний кусок индейки за праздничным столом в День благодарения. — У меня, как и у всех тут, прогрессивные взгляды. Если бы вы с Лилией были другими людьми, я бы не имел ничего против вашего… вашего романа. Но вы же не другие. Лилия — звезда, а публика не потерпит, чтобы у звезды была связь с *чернома…* с негром.

Я заметил, что полка позади стола Гарри забита флакончиками духов и нейлоновыми чулками. Гарри не хуже солдата, расквартированного в

измученной войной Европе, экипировался для постельных побед на кастинговом поле.

— У меня такое ощущение, что Лилии безразлично мнение публики.

— Зато мне оно не безразлично! — Гарри снова раскалился. — Эта женщина является значительным вложением времени и денег.

— Эта женщина — личность. — Я, раньше всегда воспринимавший Лилию просто как ходящий-говорящий секс, вдруг виновато бросился на защиту ее человеческого достоинства. — Нельзя сводить живого человека к долларам и центам.

— Черта с два! — Гарри схватил со своего стола листок бумаги и швырнул его мне. Листок закружился, полетел и упал на пол.

Я не собирался поднимать эту бумажку, но разглядел на расстоянии, что там был отпечатан целый перечень разных статей расходов: затраты на съемки, прически, косметику, рекламу, разъезды… Гарри удалось-таки досконально расписать Лилию до последнего пенни.

— Вот во что мне обошлась эта сучка! Вот сколько она стоит! Ты мне все это вернешь после того, как ее погубишь?

— …Нет.

— Тогда оставь ее в покое. Вот здесь, прямо

сейчас — чтоб между тобой и этой женщиной все было кончено!

— Это всё?

— А разве этого мало?

Тут я решил, что с меня достаточно оскорблений, что Гарри Грозного пора послать на хрен.

И я сказал:

— Пошел на хрен.

Гарри снова покраснел как помидор. Его кнутовище чуть ли не искры высекло из стола.

— Ах ты чертов черномазый ублюдок! Да я тебя…

— Ты меня — что? Что ты мне сделаешь? Перестанешь давать мне роли в кино, которых никогда не предлагал? Поройся в какой-нибудь другой главе своей книги угроз. Эта мне не годится. И я точно знаю, что Лилии ты тоже ничего не сделаешь. Так что ты останешься просто злобным коротышкой, каким и был всю свою жизнь. До встречи, Гарри. Не вставай. Или ты уже стоишь?

Я направился к двери — к нераскрывающейся двери. Постоял секунду, выжидательно поглядел на Гарри.

Он нажал на кнопку у себя на столе.

Створки двери раскрылись.

Я вышел вон, а Гарри сыпал мне вдогонку

громогласные проклятия, вылаивал грубые ругательства и колоритные замечания.

Быстрая на язычок секретарша лишилась дара речи.

— Кажется, ваш босс никак не может из своего детского стульчика выбраться, — бросил я ей.

Я прошел через длинный коридор. Спустился на лифте. Нили и Дом ждали меня внизу.

— Всё? — спросил Нили.

— Всё, — ответил я.

Мы сели в машину, и Дом быстро повез нас прочь от Галча.

— Ну как вам показался Гарри?

— Да, вы были абсолютно правы. Он сукин сын, и это мягко сказано. Вы ведь знали, зачем он меня позвал, да?

— Знал.

— И даже не удосужились предупредить?

— Это не входило в мои обязанности. А чем все закончилось, могу я вас спросить?

— Закончилось тем, что он пропел мне множество дифирамбов с вариациями на тему *чернокожий*, а я, выходя за дверь, пару раз послал его на хрен.

— Я же говорил: он — сукин сын. Вы хорошо перенесли удар.

Нет. Я совсем не хорошо его перенес. Я чувствовал себя оскорбленным. И не столько из-за того, что этот коротышка вызвал меня к себе и попытался силой отвадить от Лилии. Такое можно было ожидать. Раз уж Голливуду не по вкусу пришлась связь Сэмми с Май, то что говорить обо мне и Лилии? Меня же разозлило то, что Гарри хотел, чтобы я бросил Лилию, но при этом не предложил мне ничего взамен — ни роли в кино, ни прослушивания. Ни хотя бы просто денег. Неужели я был таким ничтожеством, что даже возмещения не заслуживал? Разумеется, я ничего этого не принял бы взамен Лилии — просто мне важно было знать, что я подобающе котируюсь.

Я знал, что ничего этого не принял бы, повторял я себе. И пока я это себе повторял, внутри у меня делалось как-то нехорошо.

— Не относитесь к случившемуся всерьез, — сказал Нили. — Таков уж этот город. Вам нужно понять, что Голливуд… это… У вас есть минутка? Я хочу вам кое-что показать.

Я пробормотал что-то в знак согласия.

— Дом, давай обратно в Бичвуд, потом на вершину холма.

Дом поехал куда было сказано. Мы проехали по Голливудскому бульвару, потом помчались

на восток.

За окном машины проносился Голливуд. Именно та часть Лос-Анджелеса, которая на карте именовалась Голливудом. Китайский театр. Аллея славы. Здание «Капитэл-рекордз». И люди. Множество людей, приехавших в Голливуд затем, чтобы стать звездами. Только они не были звездами, потому что либо не знали, как становятся звездами, либо были лишены таланта, нужного, чтобы стать звездами, либо отказались переспать с продюсером, который сделал бы их звездами, — и вот теперь они бесцельно слонялись по улицам Голливуда, пытаясь найти хоть какое-то оправдание своей жизни, одновременно строя новые планы на будущее. А тем временем… они сами служили декорациями. Тинселтаунскими статистами, которых то ли используют, то ли нет, поставят туда или сюда, а может быть, просто забракуют и выбросят по прихоти каких-нибудь самодуров, которым хочется сознавать собственную важность. Каких-нибудь типов вроде Гарри Кона. Крошечного, злосчастного, всемогущего Гарри Кона.

Внезапно меня просто затошнило от Голливуда.

Затошнило от этих декораций и пустых телес-

ных оболочек, которые занимали пространство, не заполняя его. Я устал от их лживых улыбок, от их воздушных поцелуев, от их воркующих голосков, говоривших тебе: «Да-ра-гой, ну я так рада тебя видеть», тогда как заботило их только одно: чтобы видели их самих. Все здесь было фальшивкой! Такой же фальшивкой, как крашеные блондинки, по чужим постелям прокладывавшие себе путь к ролям добродетельных матерей или волевых женщин. Такой же подделкой, как те актеры, идолы женщин, что проводили ночи, шляясь по гей-клубам, которыми, как дурной сыпью, был усеян бульвар Санта-Моника.

Я бесился на Голливуд.

Я ревновал Голливуд.

Но больше всего я был зол на Голливуд за то, что он отказывается поделиться со мной всем, чем может.

Я находился под надписью «Голливуд». Туда привез нас Дом — на плато величиной, вероятно, с футбольное поле, лежащее южнее этих букв высотой тридцать футов. Ближе некуда — дальше можно было уже только карабкаться в гору.

Эта надпись. Блестящий манок, который я еще подростком искал взглядом и который завлекал меня почти всю жизнь. На таком близком рас-

стоянии этот блеск оказался дешевым листовым металлом и крашеным деревом.

Дом и Нили вышли из машины, я тоже. Отсюда, сверху, открывался вид на лос-анджелесский бассейн, простиравшийся до горизонта, и огни города мерцали и гасли вдалеке.

Нили не столько глядел на все это, сколько любовался.

— Вам нужно понять, — заговорил он, — людей вроде Гарри, людей вроде Луиса Майера, Дэвида Сельзника[50], Голдвина[51], Занука, братьев Уорнер; вам нужно понять их. Маленькие, уродливые людишки, сыновья иммигрантов, у которых не было за душой ничего, кроме грязи на собственной коже. Их все ненавидели. Ненавидели или из-за страны, из которой они приехали, или из-за их ломаного языка. Ненавидели из-за веры, которую они исповедовали. Просто и откровенно ненавидели. И вдруг, в один прекрасный день, этим людям приходит в голову идея отправиться на Запад — в Калифорнию, Лос-Анджелес, город коров, где коров днем с огнем не сыщешь. Но они,

---

[50] Примечания: 50

Сельзник Дэвид Оливер (1902–1965) — кинопродюсер.

[51] Примечания: 51

Голдвин Сэмюэл (1882–1974) — кинопродюсер, основал компанию, вошедшую в объединение «Метро-Голдвин Майер».

эти самые парни, приехали сюда и кое-что здесь создали. Создали киноиндустрию. Понастроили свои киностудии. «Эм-джи-эм», «Парамаунт», «Фокс» и «Уорнер». Они понаделали звезд, стали рассказывать сказки, начали с ложечки кормить весь мир своими фантазиями.

Нили настолько увлекся, что стал похож на проповедника.

Дом закурил.

Нили продолжал:

— А когда им все это удалось, они голыми руками сотворили оазис на этой бесплодной земле. Они выстроили город. Они воплотили мечту в реальность. Они подарили нам Голливуд.

Голливуд. С тех дней, когда я занимался рубкой деревьев, я кое-что помнил.

— Голливуд! Да здесь падуб[52] никогда не рос и вообще не может вырасти! Почва не та, — ответил я, оставшись равнодушным к проповеди Нили. — Даже название этого места — такой же собачий бред, как то, что тут производят для пичканья людских душ.

Я глубоко втянул воздух, выпачкав нос и рот в грязи от земли, на которую я упал. Она перемеша-

---

[52] Примечания: 52
Hollywood по-английски значит «падуб».

лась с желудочным соком, который жег кислотой мою глотку и собирался в зеленоватую лужу прямо перед моим лицом. Мое тело скрутил легкий спазм. Я поднял затуманенные слезами глаза и увидел Нили со все еще сжатыми кулаками после того удара в живот, который он только что мне нанес. На лице у него по-прежнему была улыбка.

Нили сказал Дому:

— Подними его.

Дом протянул ко мне свои огромные, как говяжьи мослы, ручищи и оторвал меня от земли, схватив за рубашку и за кожу.

Я услышал, как Нили говорит: «Туда», но не понял, что он имел в виду. От страха я решил, что он говорит о крае плато.

— О Боже, — пролепетал я. — Господи, нет!

Моя спина хлопнулась о капот «линкольна», ударившись об украшение капота. Из меня хлынул еще один фонтанчик желудочного сока. Он стек у меня по подбородку и забрызгал грудь.

— Сдерни с него брюки, — сказал Нили.

— Боже, о Боже…

Дом не столько стащил с меня штаны, сколько сорвал их.

Сквозь собственный скулеж я расслышал звук металла о металл. Раскрывали нож. Прикосно-

вение лезвия к паху я почувствовал сразу всем телом — острие ножа казалось одновременно холодным и горячим.

Я перенесся во Флориду. Ощутил тамошний влажный воздух. Почувствовал, как шершавая деревянная стена заправочной станции до крови расцарапывает мне кожу.

— Я даю тебе выбор. Джеки! Джеки, ты меня слушаешь? — Пара пощечин — чтобы добиться от меня внимания. — У тебя есть выбор. Или я отрежу твои маленькие черные яйца…

Кончик лезвия скользнул по моим яичкам.

— Или отрублю твой большой черномазый член. Если отрежу яйца — значит, ты последний ниггер в своем роду, но ты все-таки трахаться сможешь. Если отсеку тебе член…

— Пожалуйста…

— Если отрежу тебе член — значит, ты больше не сможешь шляться по бабам, зато когда-нибудь, если захочешь иметь ребенка, из тебя там капельку семени сумеют выдавить. Выбирай сам, Джеки.

— Пожалуйста, не надо. Не де…

— Ну, так что ты выбрал?

— Я все сделаю.

Мое хныканье только разозлило его:

— Член или яйца? Член — или — яйца? — Лезвие перемещалось с одного на другое.

Я не мог думать. Не мог заставить себя даже представить, чем один вариант лучше другого. Я сник, как тряпка, и только рыдал:

— Я… мо-мо-мои…

— Ну?

— Не надо…

— Член или…

— Пожалуйста, не надо!

— Ну?

— Я…

— Ну?

Меня стошнило.

— Ну, выбрал?

— Мо…

— Выбирай скорее, черт возьми, или, клянусь небом, отрежу тебе и то, и другое!

— Яйца! Хрен с ними, яйца, — жалко прорыдал я, — отрежь яйца… отрежь их…

Я приготовился, если такое вообще возможно, к насилию, до которого оставался всего миг.

Но этот миг так и не наступил.

Я почувствовал, что нож, вместо того чтобы вонзиться в меня, отодвигается от моей плоти.

Дом выпустил меня.

Больше меня ничто не держало, и я рухнул на землю.

— Ты меня слышишь, Джеки? — Нили. Совсем близко. Шепот прямо мне в ухо.

Я прохныкал, что слышу.

— Даю тебе время до утра, о'кей? Мне плевать, кто она, мне плевать, где ты ее подберешь, но я даю тебе время до утра, чтобы найти себе в жены какую-нибудь черную мартышку, иначе я отрежу тебе и член, и яйца, и это — только на закуску.

Нили говорил без малейшей злобы или ненависти в голосе. Он говорил очень спокойно, очень ровно, как нечто вполне естественное, и от этого мне сделалось еще страшнее.

Он поднялся, но я все так же отчетливо расслышал его слова:

— Джеки, этот город принадлежит Гарри. Это он его построил. А в городе Гарри ниггеры не трахают белых женщин. Тем более белых женщин, принадлежащих Гарри.

Дом хотел было подобрать меня, но Нили остановил его:

— Оставь его. Обратно дойдет сам. Может, по дороге встретит какую-нибудь чернушку, возьмет себе в женушки.

Лежа на земле, я сквозь слезы наблюдал, как

Нили и Дом, косая сажень в плечах, забираются в «линкольн», как «линкольн» уезжает.

Лежа на земле, я сквозь слезы посмотрел вверх. Надпись гласила: «ГОЛЛИВУД».

* * *

Я валялся на земле, в грязи, со спущенными к лодыжкам брюками, зато с головы до ног обряженный в позор. Меня обесчестили. Мое мужское естество осталось при мне, нетронутым, но его у меня вырвали. Я представлял собой жалкое зрелище. Я корчился от стыда и плакал.

Когда слезы иссякли, я поднялся, натянул на себя брюки и поплелся прочь от этого холма. Я горбился, будто мое тело все еще не оправилось от удара Нили.

Минут за сорок я добрался до Франклина в Лос-Фелис. Никто не обращал на меня внимания — ни машины, ни пешеходы. В разорванной одежде, забрызганный грязью, я был для них попрошайкой.

Хуже того.

Я был черным попрошайкой, а раз так, то я решил, что мне необходимо выпить, чтобы преодолеть следующий отрезок пути. В последний раз, когда мне угрожали, спиртное мне сильно

помогло. Похоже, пришла пора дать ему шанс снова помочь мне.

Я нашел винную лавку. Пока хозяин продавал мне выпивку, на лице у него было ясно написано омерзение, которое я ему внушал. Алкоголь только еще больше взбудоражил меня и нисколько не помог успокоиться. Видимо, слишком мешал страх. Фантомную боль в паху никак не удавалось утопить в спиртном. Не помогли ни первая бутылка, ни вторая.

Я отправился дальше. Пьяное пошатывание вдоль Голливудского бульвара, потом к югу, до бульвара Сансет.

Ну и видок у меня был, наверное, когда я наконец каким-то образом доплелся до «Колониал». Отвратительный, пропитанный по́том, пьяный, зловонный, я, должно быть, напоминал недостающее звено эволюции. Подобие человека, но еще не самого человека. Мне хотелось только одного — забиться поскорее в свой номер и дожидаться нового дня, спрятавшись ото всех. Я запустил руку в карман… Ключа там не было. Потерялся — вероятно, выпал там, под знаком «Голливуд». Можно было бы просто спуститься вниз, к конторке портье, попросить новый ключ.

Можно было бы.

Но я, накачанный спиртным и избитый, предпочел вместо этого устроить истерику. Я нашел какой-то стул в дальнем конце вестибюля и вернулся к своему новому времяпрепровождению — стал реветь, как девчонка. Я сидел там в собственных нечистотах, в собственной мерзости, в темном углу, куда загнали меня эгоизм и похоть: женись или умри. Я оказался в клетке, и это ощущение, что я попал в ловушку и стены вокруг меня смыкаются, заставляло меня рыдать все яростнее.

Руки.

Чьи-то руки на мне. Нежные, любящие черные руки — ласкают меня, держат меня. И голос — такой же милый и добрый, как эти прикосновения.

Дори. Дорогая, прекрасная Дори. Добрая, красивая Дори. Никогда раньше я не замечал, какая она красивая. Эти всепрощающие глаза. Эта шелковистая кожа. Этот рот, который так и хочется поцеловать… Дори — вечно участливая, в какой бы поздний час я ни пришел, сколько бы раз я от нее ни отмахивался. Дори. Я никогда не подозревал… Никогда… Я полюбил Дори. И во мне говорил не только хмель. В ее прикосновении, в ее объятиях чувствовалась такая приязнь, такое влечение — одиночество девушки, которая тру-

дилась бок о бок с чужим успехом, богатством, славой, любовью масс, но всегда отказывала в любви самой себе, — что одинокий мальчишка, по-прежнему живший во мне, не смог против всего этого устоять.

Я обнял Дори, притянул ее к себе и сказал:

— Дори, я люблю тебя.

Она отвернулась, но я не дал ей возразить. Я тихо поцеловал ее, повторил несколько раз, что она нужна мне, что я должен быть с ней. Повторил, что люблю ее.

Наверное, она говорила, что я не в себе, что я пьян. Мне удалось ее разуверить. Удалось убедить ее в главном: что мы предназначены друг для друга. Мы должны быть вместе.

Вероятно, это Дори привезла нас в Лас-Вегас. Я был в таком состоянии, что живыми мы бы не выехали из Лос-Анджелеса, окажись за рулем я.

Конечно, того, что произошло, не должно было произойти, но я продолжал оставаться достаточно пьяным, чтобы купить пятидолларовую лицензию и десятидолларовую церемонию.

Наверное, я все еще был пьян, и можно сказать, что не страх перед угрозами толкнул меня на эту женитьбу. Брак был ошибкой, да, но эту ошибку я совершил не под угрозой ножа, приставленного к

моей мошонке. Мне необходимо было верить, что я по-прежнему сам себе господин. Во всяком случае, мое эго нуждалось в подтверждении этого. Как бы то ни было, дело было сделано. Мисс Дори Уайт стала миссис Дори Манн. И вот в чем фишка: когда все осталось позади, я все-таки женился на БЕЛОЙ[53] девушке.

* * *

Я позвонил Тамми. К тому времени, когда я собрался с мыслями и решил все ей рассказать, вести о моей женитьбе уже широко разнеслись: головорезы Гарри, видимо, позаботились о том, чтобы всем стало известно: слухи о его звездочке и Джеки Манне — не более чем слухи.

Тамми, видимо, предполагая, что я буду звонить, не подходила к телефону. Ни на пятый, ни на пятнадцатый, ни на двадцать восьмой раз. Тогда я позвонил в «Мотаун», попросил подозвать ее. Подошел Ламонт Перл.

— Дай мне поговорить с Тамми, — рявкнул я ему.

— Не думаю…

— Плевать мне, что ты думаешь. Она рядом?

---

[53] Примечания: 53
Фамилия Уайт означает «белая».

— Это не…

— Рядом она или нет!

— Да, она ря…

— Позови ее к телефону!

— Зачем? Зачем, Джеки? Что ты ей скажешь, а? Что, черт возьми, ты можешь ей теперь сказать? — Голос Ламонта отрезвил меня, успокоил. Готов поклясться, я даже по телефону чувствовал, как его большой палец скользит по кончикам остальных четырех пальцев.

Я тихо проговорил:

— Правду.

— Правду, отъявленную ложь — какая разница? Разве теперь существует какая-то разница? Ведь ты женился. Ты женился на горничной, повинуясь минутному капризу, и столько лет отталкивал от себя Тамми. Невозможно смягчить такой удар после того, как уже нанес его.

Да. Да, конечно, невозможно. Да и была ли бы правда более утешительна: мне пришлось жениться на Дори, потому что меня собирались прирезать из-за связи с Лилией?

— Оставь Тамми в покое, — сказал мне Ламонт. — Если ты когда-нибудь любил эту девушку, лучше оставь ее в покое.

Только тогда до меня по-настоящему дошло, что

я теряю Тамми. Тамми для меня потеряна. Я даже не знал, чем мы были друг для друга. Да, парень и девушка, это понятно, но я не знал, что мы, такие разные, давали друг другу. Противоположности притягиваются. Но противоположности борются, бранятся, не умеют разглядеть друг друга вблизи, не могут сойтись даже в том, какая погода на дворе — умеренно облачная или почти ясная. Так что я даже не знал толком, что мы приносили друг другу, понимал только, что теперь, когда я терял Тамми, она отнимала у меня неизмеримо многое: смысл жизни, ощущение цели. Уходя из моей жизни, она забирала с собой все и оставляла во мне пустоту — огромную, болезненную, бессмысленную дыру, неизлечимую рану, которую я сам себе нанес и которая никогда больше не могла заполниться ничем другим.

Я попросил Ламонта:

— А можно… Ты не передашь ей… Не передашь ей, что…

— Нет.

Я никогда больше не пытался звонить Лилии. Я боялся. Не того, что она огорчится. Меня ужасало то, что ей, при отсутствии у нее всякого любопытства, будет совершенно безразлично, что я женился. Она захочет со мной увидеться, я не

сумею ей отказать, и вот тогда-то я поплачусь за свою похоть кастрацией на холме. Чтобы не искушать судьбу, я просто решил без всяких объяснений исчезнуть с ее горизонта.

Вероятнее всего, она вряд ли даже заметила мое исчезновение.

И еще была Дори. Дори, которой, пожалуй, пришлось даже тяжелее, чем Тамми или Лилии. Дори привязалась ко мне. Мы немного прожили вместе, месяцев восемь или около того, но было ясно, что долго наш брак не продержится. По-моему, Дори с той самой ночи, когда мы поженились, понимала, что я ее не люблю. По-видимому, я был ей так дорог, что она решила рискнуть, понадеялась, что со временем я ее полюблю. И что же вышло? Я каждую неделю отправлялся на гастроли, чтобы каждую неделю избегать ее: ведь Дори олицетворяла теперь в моем сознании все то, что разлучило меня с Тамми. Я никогда не обращался с ней плохо — если не считать, конечно, равнодушных взглядов и отстраненного молчания. И я никогда не просил у нее развода. Нет, милый паренек Джеки Манн никогда бы такого не сделал. Я просто довел ее до того, что она сама попросила у меня развод.

Я дал ей денег.

Она взяла меньше, чем я предложил.

Думаю, если ей чего-то по-настоящему хотелось, если она надеялась на что-то, на какой-то результат всей этой брачной пантомимы, — так это родить ребенка. Своего собственного ребенка. Который был бы знаком любви в этой в остальном безлюбой и поверхностной связи. Но я не дал ей этого — и, насколько мне известно, потом она уже ни за кого не выходила замуж.

Джек Женоубивец — вот как меня следовало прозвать. Трех — одним махом!

Как-то раз я ужинал с Сидом. Мы заказали макароны. Подошел официант, спросил, чего я хочу — пармезана или молотого перца.

Я попросил перца.

Официант, не расслышав меня, посыпал мою еду сыром.

Я ничего на это не сказал, просто смотрел, как он сыплет сыр в мою тарелку и уходит.

Сид рассмеялся:

— Что же ты? Почему ты ничего не сказал? Ты не получил того, что хотел, а получил то, чего не просил.

Да.

Часть VII

Не бывает так, чтобы под воздействием чего-то одного изменилось все остальное. Ни один человек, ни одно событие само по себе не способно перевернуть мир. Чернокожие получили гражданские права не только потому, что был убит Эмметт Тилл, не только из-за сидячих демонстраций или из-за детишек-школьников в Литл-Роке. Мы ушли из Вьетнама не только из-за того, что был убит один наш солдат, что одна операция прошла неудачно для нашей стороны.

Вещи меняются потому, что сами исподволь готовятся к перемене, потому что ускорение событий уводит их туда, откуда уже нет пути назад. Перемена происходит без эмоций и сентиментальности. Ей нет дела до того, что у вас, может быть, имелись совершенно иные планы. Она следует собственному расписанию.

Так бывает в истории.

Так бывает и с людьми.

Хочешь избавиться от вредных привычек? Твоя новогодняя решимость, может, и продлится пару недель, но полная перемена произойдет тогда,

когда по-настоящему созреет внутри тебя.

Оттуда, где я нахожусь сейчас, я не могу взглянуть ни на одно из событий своей жизни — ни на смерть матери, ни на побои отца, ни на Фрэн, Тамми или Лилию; ни на людей, которые были мне близки — Фрэнка и Сэмми, этих гигантов в моей жизни, — я не могу взглянуть ни на одно из этих влияний и сказать: да, вот почему я делал то, что делал.

Я делал то, что делал, благодаря каждому мгновению каждого прожитого мной дня. Я делал то, что делал, потому что так складывалась моя жизнь.

Январь 1962 — июнь 1963

Филадельфия, Канзас-Сити, Чикаго — туда будет хорошо съездить на две недельки. Потом в Милуоки, снова в Канзас-Сити, штат Канзас…

Мы сидели у Сида в кабинете. Разрабатывали расписание моих гастролей.

Сент-Луис, Сиэтл, Сан-Диего…

— Господи, Сид!

— Что? Не хочешь?.. В Сан-Диего будет хорошо. Это же курорт…

— Да не Сан-Диего. Вообще все это!

Секунду Сид ничего не говорил, не совсем понимая, чем я недоволен. В порядке проверки, как бы бредя на ощупь в темноте, он осторожно проговорил:

— Ты выступаешь почти во всех клубах главным номером. И за большие деньги. Тебе предоставляют проживание в гостинице, еду… машину.

— Да, знаю. Все это так, главный номер во всех клубах, кормежка во всех клубах… Я до сих пор работаю в клубах.

Сид издал смешок, видимо надеясь разрядить обстановку.

— В лучших клубах страны.

— В клубах, Сид, — в прокуренных ресторанных залах, где я пытаюсь вызвать смешки между салатом и бифштексом.

— И при этом получаешь почти по тысяче за выступление! — Сид пошел в атаку. Потом взял себя в руки, снова издал смешок и изобразил улыбку. — Ты всю неделю работаешь в «Копе». А ведь когда-то жил на свете один паренек, который готов был пойти на все ради тысячи в таком заведении.

— А еще когда-то, слишком даже давно, я выступал на разогреве перед «Саммитом» в Лас-Вегасе. Я *опять* работаю по клубам, Сид. Я не иду вперед — я пячусь назад.

Улыбка исчезла с лица Сида. И на этот раз уже не возвращалась.

— Чего ты хочешь, Джеки?

— Салливана. Ты сам знаешь, что я хочу Салливана.

— А тебе не кажется, что я над этим работаю? Ты же тем временем нисколько себя не утруждаешь, чтобы становиться все лучше и лучше как исполнитель. Когда ты будешь готов…

— Я же выступал с Фрэнком, Сэмми, Дайно, Тони, Мелом, Бадди Джи… Ну куда уж еще лучше, а? — И снова голос звучал мой, но разговор вел

как будто Чет Розен.

— Я делаю все, что могу. Это не так легко, как тебе кажется.

— Ты же пробил телевидение для Фрэн. И пробил очень давно.

— С ней другое дело. Не сравнивай себя с Фрэн.

— Почему? Потому что она — белая, а я — негр?

Это смутило Сида — то, что я затронул расовый вопрос, не важно, прав я был или нет. Он несколько сбавил тон:

— Это нисколько не упрощает дело. Да и ты не обрел поклонников на Си-би-эс — вспомни, что случилось с шоу Фрэн.

С шоу Фрэн? Очень гадкие слова уже готовы были слететь у меня с языка. Слова о том, что пьяный Сид лежал в стельку, тогда как ему следовало быть трезвым и чистеньким, как стеклышко, и бороться за меня. Но такие слова больно хлестнули бы его; а причинить боль Сиду?.. Даже в сердцах я не мог выговорить таких слов. И я пересилил себя, проглотил их. И вместо тех слов сказал:

— Значит, это я во всем виноват? Я один, да?

— Нет, Джеки, это я виноват. Как всегда. Что бы я ни устраивал, все оказывается слишком мелким. Что бы я ни устраивал, все недостаточно

хорошо. Мне точно так же надоело слышать то, что… — Тут Сид оборвал себя. Он словно приблизился к самому краю обрыва, но успел вовремя остановиться.

Уличные звуки, звуки города, людей, транспорта — все эти шумы как-то сразу стихли, почти потонули в звуках нашего двойного гневного, затрудненного дыхания.

Сид опустил голову, уставился на свои руки. Они вцепились в край стола. Он смотрел… смотрел на них… Потом поднял взгляд, полный недоверия: неужели мы и вправду дожили до того, чтобы перебрасываться злобными словами.

Он сказал с запинкой, как бы пытаясь нащупать словесную почву под ногами:

— Наверное, мне нужно пытаться настойчивее.

Во мне очень быстро родилось и пропало чувство, которое продлилось ровно столько, чтобы я мог его определить и назвать: разочарование. В течение одного яркого момента я хотел, чтобы Сид бросил мне мои же слова в лицо, а потом — чтобы он вышвырнул нас обоих за дверь.

Мне был нужен Салливан, а я понимал, что Сид — не тот человек, который раздобудет его мне. Но точно так же, как это было и с Дори, мне не

хотелось самому вышвыривать Сида из своей жизни. Все, что я мог сделать, — вынудить его сделать этот шаг за меня. Я был силен в этом слабом маневре. Однако с Сидом этот номер не прошел, я не сумел его подтолкнуть к разрыву. Он был мне слишком преданным другом, а я был слишком труслив, поэтому только и смог ответить ему:

— Значит, ты думаешь, в Сан-Диего все будет хорошо?

* * *

Дом временного задержания в Бронксе. Дом! Странно называть это домом. Тюрьма — вот что это было такое. Кутузка для людей, ожидающих суда. Ничего домашнего в этом заведении и в помине не было, но… Дом временного задержания в Бронксе. Этому зданию было примерно столько же лет, сколько мне, но на нем отпечатался каждый год, истекший со дня его возведения. Там, где краска не полностью обвалилась, она выцвела. Трещины гонялись одна за другой по оштукатуренным стенам. Мебель в зале ожидания была деревянной, дешевой, и стулья скрипели от малейшего движения сидевших на них людей. Кафель был разбит, вода подтекала, и везде ощущалась затхлость — из-за закупоренных окон и

от скопления заключенных, которые потели и источали смрад одновременно. Заведение было запущенно. Что разумелось само собой. Четыреста девяносто шесть человек, арестованных за ту или иную провинность. Кто о них заботился? Разве что такая вот горсточка людей, что сидели сейчас рядом со мной, дожидаясь кто мужа, кто отца, кто брата или любовника, чтобы их отпустили на пару недель на свободу перед судом или выпустили на несколько месяцев до тех пор, пока их опять не заметут и снова не затолкают за решетку.

На тяжелую стальную дверь набросили замок, и она, скрипнув, повернулась на петлях. Из нее шагнул Малыш Мо, Моррис. Его выпускали из тюрьмы.

— Черт! — Похоже, он был недоволен. Он посмотрел на меня и скорчил страшно сердитую физиономию. — Черт!

— Мо…

— Это ты сделал! — обвинил он меня.

— Моррис…

— Это ты со мной сделал!

— Взял тебя на поруки? Да, это я сделал.

— А кто тебя просил?

— Как это — кто про…

— Уж я-то точно не просил тебя приходить сюда и совать свой нос в мои дела.

— Да никто… Я прочитал о том протесте, или марше, или что это там было, в «Таймс», увидел твое имя, узнал, что тебя арестовали. Я освобождаю тебя из тюрьмы, — выразительно сказал я, пытаясь внушить ему то, чего он, похоже, в упор не видел: что я делаю для него доброе дело.

— А я не хочу выходить из тюрьмы. — Моррис повернулся к стальной двери, стукнул по ней ладонью. — Эй! — крикнул он кому-то туда, по другую сторону. — Эй!

— Перестань.

— Откройте! — Рука уже сжалась в кулак и забарабанила. — Откройте дверь, впустите меня обратно!

— Моррис! — Я подошел к нему, схватил его, оттащил от двери. Он обернулся; наши глаза встретились и вступили в немой поединок. Я первым не выдержал, отвел глаза. Мой взгляд упал на его пиджак, за который я схватился: он был разорван на плече. Рукав тоже разорван. Рубашка под ним тоже разорвана. Под ней виднелись незалеченные царапины и порезы — просто засохшие и покрывшиеся естественной коркой.

Я спросил:

— Это с тобой там сделали? — и кивнул в направлении стальной двери.

— Нет. — Мо заговорил спокойнее; наверное, он устал бороться со мной. — Это случилось, когда меня арестовывали. А еще вот здесь. — Мо приподнял рубашку. Рубцы и синяки. Сплошняком. Да такие страшные, что даже на фоне черной кожи отчетливо выделялись.

Что на это скажешь? Не знаю. Я ничего и не стал говорить.

Мо опустил рубашку. Занавес, закрывающий сцену ужасов.

— Я не хотел тебе сделать неприятно, просто хотел вытащить отсюда. Прочел, что тебя арестовали. Прочел — ну, и подумал… Я решил…

— Решил, что если выпишешь чек и возьмешь меня на поруки, то примажешься к нашей борьбе.

— Я решил, что лучше тебе быть на свободе, чем за решеткой, вот и пришел за тобой.

— В том-то и дело, что лучше быть за решеткой! В том-то и дело — мы протестуем затем, чтобы нас арестовывали, и остаемся в тюрьме, чтобы напоминать людям о том, что власть белых несправедливо обходится с так называемыми неграми, что у нас неравноправие!

— Я же не журналист, так что прекрати читать мне лекцию. Я с тобой говорить пытаюсь, а ты митингуешь.

— Я просто объясняю тебе, что к чему. Нужно продемонстрировать всем наши страдания, как доктор Кинг демонстрирует свои страдания, оставаясь в…

— Нужно напрашиваться на побои и валяться по тюрьмам, чтобы ощущать себя супернегром…

— Надо говорить «чернокожий», Джеки. Когда ты научишься…

— Чтобы смотреть свысока на всякого, кто не пытается интегрироваться тем же способом, что и ты.

— Какой же ты тупица… Значит, ты думаешь, я нарочно подставляюсь под удары? Значит, ты думаешь, когда меня колошматят дубинками, я радуюсь и чувствую себя классным ниггером?

— Нужно же говорить «чернокожим»!

— А может, Джеки, нам попробовать интегрироваться по твоему методу? Может, нам сунуться переночевать в «Плазу» или потребовать номер «люкс» в «Ритце»? А может, просто попытаться подыскать себе белых девчонок, когда захочется потрахаться?

Ну, вот что я вам скажу: это была последняя

капля.

— Заткнись! — Я снова вцепился в пиджак Мо, не обращая внимания на дыры и прорехи. — Заткнись, черт возьми! Меня тошнит от твоих нотаций! — Я уже сжал пальцы в кулак, занес руку, приготовившись ударить Мо наугад в любую точку, куда придется. В висок. В челюсть. В губы… Губы. Его губы вдруг слегка заулыбались: правый уголок рта чуть-чуть приподнялся, совсем чуть-чуть.

Мо сказал:

— Ну что, Джеки? Я так и знал, что в тебе еще остался прежний огонь.

Я глуповато обвел глазами помещение. После того, как я наорал на Мо, уже занес над ним готовую ударить руку, я думал, люди будут таращиться на меня. Ничего подобного. У них, видно, головы были совсем другим заняты. Они думали о своих мужьях, отцах, братьях или любимых, которые все еще находились по ту сторону этой стальной двери. Я отпустил Мо.

Мо пересек комнату, сел на один из свободных стульев, который тут же заскрипел под весом его тела. Примерно полминуты спустя я сел на соседний стул.

Спросил:

— А знаешь, что я лучше всего помню про нас с тобой?

— Старуху.

Я кивнул. Он знал.

— У меня до сих пор стоит перед глазами картинка — как эта серая старая калоша плещется в пруду. Я потом долго на женщин вообще глядеть не мог!

Мы поулыбались, каждый сам по себе.

Прошло еще, наверно, полминуты.

Я сказал:

— Мы дружили с тобой, Мо. Как же так вышло, что мы стали такими разными?

— Не знаю.

— Должна же быть причина. Ты меня не любишь, — значит, должна быть какая-то причина.

— Да нет, Джеки, я тебя люблю.

Тут я рассмеялся.

— Странный у тебя способ выказывать свою любовь: появляешься раз эдак года в два, читаешь мне нотации, твердишь, что я позорю негри… чернокожую расу.

— Я читаю тебе нотации потому, что хочу до тебя достучаться!

— Что значит достучаться? Объяснить мне, что я лишен той гордости, которая есть у тебя?

— А знаешь, что еще я помню про нас с тобой? Я помню, что над тобой смеялись — и дети в школе, и потом, в лагере лесорубов. Я помню, как ты вечно выкручивался, отшучивался. Заставлял людей тебя слушать. Ты ловко орудуешь словами, Джеки. Ты ловко молотишь языком. Ты всегда знаешь, как привлечь к себе внимание. И все, что ты сделал, — это превратился в комика, в ночного Чего-Изволите-с?.. Я-то от тебя ожидал большего.

— А ты сам разве не видишь, в чем твоя ошибка? Ты ожидал чего-то большего от меня, от моей жизни. От *моей жизни,* Мо! А тебе никогда не приходило в голову: может, то, что я делаю, — это и есть то, чего я хочу?

Моррис кивнул.

— Я, видно, не так выразился.

— А это не значит, что *тебе* просто не по вкусу *мой* выбор?

— Это значит, что на самом деле ты, по-моему, лучше, чем то, кем ты в итоге стал.

Еще тридцать секунд сидения; стулья вели между собой разговор за нас, пока мы оба вертелись, безуспешно пытаясь найти удобное положение тела.

Вскоре я сказал:

— Прости, что вытащил тебя из тюрьмы.

— Ну, ты же только хотел сделать как лучше.

Я понимал, что Мо пытается хоть на шаг приблизиться к искренности, но даже эта его фраза прозвучала снисходительно.

Мы вышли из арестантского дома, другие люди продолжали ждать своих.

Мы немного прошлись вместе.

— Можно у тебя кое-что спросить? Вот ты выходишь на сцену, стоишь перед людьми. Там только ты… ты — и пустота. Это же, наверно, чертовски страшно?

— Да нет, ты знаешь… — Я пустился было в обычные отнекивания, но потом осекся. Вопрос, который задал мне Мо, я сам задавал себе сотни раз. И сотни раз ответ на него был один и тот же. Но на этот раз, поскольку я разговаривал с парнем, которого знал всю жизнь, и по тому, как мы с ним разошлись, понимал, что, вероятно, это последний наш разговор, я всерьез задумался над его вопросом. Я подумал и сказал: — Есть один момент, один коротенький миг, который всегда остается после того, как стихнут аплодисменты, и перед тем, как ты расскажешь свою первую байку. И вот, когда ты там стоишь, когда ты проживаешь этот момент, это как… Представь себе, что ты стоишь на краю глубокой, темной пропа-

сти и не знаешь, что там, внизу, но тебе все равно нужно туда прыгнуть. Да. Это чертовски страшно. Но потом ты совершаешь прыжок — рассказываешь первую байку и слышишь первый смех. А потом, когда уже завоевал публику, когда ты уже знаешь, что она — твоя… Моррис, вот что я тебе скажу: это слаще всего на свете.

Мо кивнул. Может, он понял, о чем я толкую. Может, и не понял, а кивнул, просто чтобы кивнуть. А потом сказал:

— Мне кажется, я бы не смог совершить такого прыжка.

Что он имел в виду, чего он раньше никогда мне не говорил: он меня уважал.

Я спросил у Мо, куда он теперь идет, может, нам по пути? Он ответил, что сам пока не знает, но что, наверное, попытается сделать так, чтобы его поскорее снова арестовали.

Я пожелал ему удачи, постаравшись, чтобы это не прозвучало насмешкой, потом поймал такси до Мидтауна.

Мо пошел дальше.

* * *

Я возвращался домой после выступления в «Копе». Шел пешком, вдыхая ночной воздух,

проветривая голову. Выступления в «Копе» уже давно превратились из предмета заветных мечтаний в *обыденные* выступления в «Копе»: просто иду трудиться, выполняю работу. Только и всего. Ничего особенного.

Когда я уже подошел к дому, меня кто-то окликнул:

— Джеки!

Я встал как вкопанный, похолодел. Этот голос — как страшный шрам — ни с каким другим не перепутаешь. Акцент — южный.

Мы сидели в баре и пили. Вернее, Дайтон пил, а я просто наблюдал, как он насасывается спиртным.

— Проклятая шлюха, Джеки. Все они одинаковые… Хотела меня бросить — могла бы просто уйти. Плевать мне… Кругом много других шлюх. Зачем же из меня придурка делать. — Он был в жалком, плаксивом настроении — белая копия моего отца, — и с каждым стаканом делался все более жалким и плаксивым. Крикнул официантке: — Милая, протри глаза, у меня в стакане пусто! — Потом мне: — Знает ведь, что я выпить хочу, а сама даже не… Видишь, какие они все шлюхи, а?

— Почему бы тебе не пойти домой?

— Не учи меня, что мне делать! — Стоило мне раскрыть рот, как Дайтон из нытика моментально превратился в психа. Этот маятник приводился в движение алкоголем; чем дальше, тем сильнее и безумнее он раскачивался. — Еще будет меня учить какой-то черный пацан… — Тут маятник быстро качнулся в обратную сторону. — Боже мой! С директором! Она убежала с директором школы. — Он говорил о своей жене. Я припомнил ее. Добрая. Приятная. Синяк под глазом. Я бы не осудил ее ни за какие провинности перед этим типом. — Теперь обо мне весь город языки чешет, я — посмешище. Вот я и говорю, Джеки, что все бабы — шлюхи. А знаешь что? По-моему, она и с тобой хотела переспать. Тогда, в Канзас-Сити, где мы на твое шоу ходили, как она на тебя пялилась, на сцене — наверное, она… — Тут Дайтон пристально в меня всмотрелся, как бы рентгеном просвечивая мне душу и пытаясь разглядеть там правду или ложь. И поставил диагноз: — Не-ет, ты бы не поступил так со мной — не стал бы блудить с моей женой, а? Ну да ладно… Удрала с директором школы и прихватила мои последние денежки. Все деньги мои забрала, Джеки! Что мне еще оставалось — только сюда ехать. Я же знал — ты в Нью-Йорке живешь. Адски большой город.

Я думал, не найду тебя тут, но ты же в «Копакабане» выступаешь. Черт — если в таком модном месте выступаешь, об этом все газеты кричат!

Вот оно, мое счастье!

Я понял, куда клонится дело, это было ясно, и решил рубануть сплеча:

— Давай я тебе дам немного денег, и потом ты отвалишь отсюда. А дальше делай что хочешь.

На секунду Дайтону, похоже, стало стыдно. То есть, пусть в его намерениях в любом случае не могло быть ничего хорошего, он будто понял, до какого позора докатился: полстраны проехал для того, чтобы потрясти ниггера и на его денежки кое-как перебиться.

Но это сознание своей неудачи он замаскировал под яростью.

— Я же тебе сказал: не учи меня, что мне делать! — Дайтон принялся за новую порцию выпивки, которую ему принесли, и хмыкнул вслед официантке. Но потом спиртное, по-видимому, успокоило его. — Я… Никуда я не пойду. Теперь я от тебя никуда не денусь, Джеки. Ты — это все, что у меня осталось. Ты мне нужен, и я тебе нужен.

— Как это…

— Просто нужен, и все! Просто ну… — Он сделал еще глоток, надеясь, что алкоголь поможет ему

смазать мысли. — Мы с тобой теперь связаны. И странно ведь, а? Всего одна дикая ночь — и вот теперь мы с тобой как братья по крови, белый и ниггер. Братишки по пролитой крови.

Мне вдруг стало очень плохо, меня зазнобило.

— Нет, — продолжал Дайтон. — Думаю, я отсюда больше никуда не двинусь. Я никуда больше не собираюсь переезжать — разве что в гостиницу получше. Вот тут «Уолдорф» есть неподалеку — место что надо. Да, я теперь хочу поближе к тебе быть. Я же сказал — мы с тобой братья по крови, белый и ниггер.

Тут я все понял. Я всегда в глубине души боялся, что, сумев разыскать меня, он не успокоится на одноразовом шантаже. Но то, о чем он толковал теперь, означало некие постоянные отношения: значит, я буду зарабатывать денежки и регулярно отстегивать ему, как будто он у меня сидит на жалованье, и надо будет вечно от него откупаться, а если я откажусь… Статья, происшествие, полиция, скандал.

Может быть.

Может быть, так. А может, и нет. Может, он упечет меня в тюрьму, погубит мою карьеру, а может, и уковыляет прочь — просто немощный алкаш, который сам слишком трусит. Как зале-

жавшийся динамит, он мог оказаться безвреден, а мог сделаться и смертельно опасен.

Пот приклеил мою одежду к коже. Я чувствовал себя спеленутым, мне было тяжело и тревожно, будто тело вдруг стало для меня тюрьмой. Возникло такое чувство, словно меня заживо хоронят.

Дайтон, хоть и пьяный в стельку, заметил, как я побелел от страха.

— А что тебя так расстроило, Джеки?

Меня воротило от того, что он обращается ко мне по имени. Лучше бы он обзывал меня «ниггером», чем так фамильярничал.

— Ты же не наделаешь никаких глупостей. — Отхлебнув еще своего пойла, Дайтон осклабился, обнажив черно-желтые зубы. — Попробуй только.

Глупостей?

Глупостью было думать, что чернокожий в 1950-е годы смог бы пройти ночью один от Майами-Бич до Майами и не встретить на своем пути какого-нибудь безумия, которое будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Глупостью было думать, что, однажды почувствовав вкус дармовых денег, этот тип способен его забыть.

Я не собирался и далее оставаться глупцом. Начиная с той минуты, все мои действия были

точно взвешены и продуманы.

* * *

На следующий вечер в «Копе» я поговорил с Жюлем, попросил его об одолжении. Сказал, что мне необходимо поговорить с Фрэнком. С Фрэнком К.

Он спросил, о чем поговорить.

Я ответил, что об одном частном деле.

Жюль больше ничего не спрашивал, только сказал: «Попробую помочь».

На следующий день. Из телефонной трубки мне в ухо полился шелестящий голос, который я давно уже не слышал:

— Джеки, как дела?

— Здравствуйте, мистер Костелло.

— Фрэнк. Ты же знаешь, что для тебя я просто Фрэнк.

— У вас все хорошо, Фрэнк?

— Ну, знаешь… Теперь у меня побольше свободного времени. Жене нравится, что я все время рядом. С ума меня тут сводит. Я слышал, ты женился.

— …Мы разошлись недавно.

— Жалко. Нехорошо, когда браки расстраиваются.

Я задумался над тем, как в такую философию вписывается, например, целый стол блондинок, за которым я и увидел его впервые, но можно было не сомневаться, что как-то да вписывается. Так или иначе, у меня не было охоты отвечать на его замечание, даже и словом упоминая о своей скоморошной свадьбе, мне хотелось сразу перевести разговор на трепещущую тему.

Фрэнк сам перешел к делу:

— Жюль мне передал, ты хочешь о чем-то поговорить.

— Да.

— Ну так, может, нам встретиться.

— Да.

Фрэнк дал мне адрес своего дома в Порт-Вашингтоне. Я сказал ему, что заеду днем. Мы попрощались, положили трубки.

Я добрался лонг-айлендским поездом до острова, торопясь увидеть Фрэнка. Большинству людей не доводилось ни разу в жизни перемолвиться словом с воротилой его уровня. Фрэнк всегда чем мог помогал мне. Он всегда был порядочным человеком. Особенно если учесть, что речь идет о главаре мафии.

И именно из-за своей порядочности он был теперь экс-главарем мафии.

Когда другие главы нью-йоркской большой пятерки захотели расширить свою торговлю, включив туда тяжелые наркотики, Фрэнк запротестовал. Не то чтобы он был головорезом с золотым сердцем. Он лишь понимал, что наркотики доставляют неприятности не только тем, кто их принимает, но и тем, кто ими торгует. Копы могут закрывать глаза на проституцию, на азартные игры — тут, они, может, и сами не последние клиенты, — но, стоит подмешать в эту смесь щепотку героина, и тогда все подмазанные ладони в городе не смогут больше отмазать тебя от правосудия.

Другим главарям было наплевать. Другие главари решили, что Фрэнк просто стареет, что ему пора на покой, — и дали ему это понять на мафиозный манер: пустили пулю в затылок. Только Фрэнку повезло. Пуля слегка задела кожу, искалечила фетровую шляпу, в остальном же не причинила особого вреда. Но Фрэнку не пришлось объяснять все заново. Он и так все понял и вышел на «пенсию», уединившись на Лонг-Айленде. У него был приятный дом. Приятная тихая жизнь — но, я надеялся, не настолько тихая, чтобы он не смог помочь мне в моем маленьком деле.

Сорок минут езды из города — и вот вы уже вне

города. На смену бетону и небоскребам приходят деревья, трава, сады… чистенькие пригороды, белые жители, которые пялятся на приблудного чернокожего, вторгшегося на их территорию.

Очень скоро я добрался до Фрэнка.

— Джеки! — Мои руки утонули в руках Фрэнка, который вышел меня поприветствовать. Держа за плечо, он подвел меня к своей жене, Бобби, познакомил нас и попросил ее принести нам лимонада, а потом быстро провел меня по своему владению. Это был традиционный кирпичный дом со ставнями на окнах и водоемом для птиц в саду. И конечно, он был огромным — сразу все не осмотришь. Фрэнк спросил меня, как дела, как там в «Копе».

— Хорошо, — ответил я. — Но не так, как прежде.

— Прежде! Тебя послушать — так можно подумать, ты еще помнишь времена немого кино.

— Понимаете, там сейчас все не так, как еще несколько лет назад. Зал уже не бывает набит битком. Люди не лезут друг другу на головы, чтобы попасть в зал.

— Телевидение, — посетовал Фрэнк. — Телевидение когда-нибудь погубит клубы. Сидишь себе дома, просто переключаешь каналы — и

смотришь все, что твоей душе угодно. За этим ящиком — будущее, — пророчил он.

Поскольку в моей личной истории телевидение еще не сыграло никакой роли и вряд ли мне это вообще светило, я вздрогнул от одной этой мысли.

— Но ты же не ехал в такую даль только ради того, чтобы поболтать о «Копе».

Нет, конечно.

— Мистер Ко… Фрэнк, вы всегда были добры ко мне. Вы мне в свое время очень здорово помогли пробиться. Просто потому, что я вам показался смешным. Я это очень ценю… Мне сейчас снова нужна ваша помощь. — Я старался говорить как можно прямее. — И мне нужна такая помощь, которую, как мне кажется, только вы можете мне оказать.

Фрэнк кивнул. Он понял, о чем я.

Мы подошли к стульям, стоявшим во внутреннем дворике.

Сели. Я начал:

— Несколько лет назад, когда я был во Флориде…

Фрэнк сделал отстраняющий жест:

— Без подробностей. Они мне не нужны.

— Один человек доставляет мне неприятности.

Он может доставить мне…

Тут пришла Бобби с лимонадом. Я поблагодарил ее, мы обменялись любезностями.

Когда она ушла, я продолжил:

— Он может доставить мне еще больше неприятностей…

— И ты хочешь?..

— Я бы хотел… Я хочу, чтобы он перестал доставлять мне неприятности. — Я сказал это совсем не драматичным тоном. Моя просьба не прозвучала ни жутко, ни отчаянно, ни плаксиво. Я говорил об одолжении. Как если бы занимал стакан сахару. Или просил вынимать мои газеты, пока меня не будет в городе. Хлопотал о том, чтобы шантажировали типа, который пытается меня шантажировать.

Фрэнк именно так к этому и отнесся: просто один человек просит другого об одолжении. Он небрежно повел рукой:

— Ты пойми, Джеки, я вроде как отошел от той жизни.

— Знаю.

— То, о чем ты просишь…

— О чем я прошу…

— Ты хочешь, чтобы этому парню все объяснили. Объяснили так, чтобы не нужно было потом

заново объяснять.

— Я хочу, чтобы он отстал от меня.

Тут какая-то птица издала легкий свист. Я услышал, как где-то наверху играют детишки. Завелась чья-то машина. На какую-то долю секунды я сделался сверхчувствителен ко всем звукам мира. Ничто от меня не ускользнуло.

Фрэнк спросил:

— Этот тип — ты знаешь, где его найти?

Я сообщил Фрэнку, как зовут Дайтона и где его найти: он остановился в «Уолдорфе», за мой счет.

Фрэнк никак не продолжил тему — не сказал, поможет мне или нет. Мы еще немного поговорили, но уже совсем о другом, и ни о чем в особенности. Кино. Фрэнк С. Какой кретин этот Кеннеди, что сделал главным прокурором такое ничтожество — своего братца, вечно мелькающего на первых полосах.

Наконец Фрэнк сказал:

— Молодец, что заехал, Джеки. — Сказал это, ни на дюйм не сдвинувшись с места. К выходу мне предстояло направиться самостоятельно.

Я поблагодарил Фрэнка за то, что он уделил мне время, и попросил его попрощаться за меня с женой. Я уже двинулся уходить. Тут он меня окликнул:

— Джеки…

Я обернулся.

— Ты плохо выглядишь. Возьми отпуск, побудь недельку за городом.

— Я выступаю в «Копе». Я не могу…

— Ты должен уехать из города на неделю.

Может быть, Фрэнк и полностью отошел от «той жизни», но свои намеки он бросал так, что они звучали как приказы. А ведь и правда, могу же я устроить себе передышку. Дела подождут. Клубы никуда не денутся. У меня было чувство, что и Дайтон никуда не денется. Сам-то я уж точно никуда не денусь.

По дороге обратно, в поезде, я стал думать — куда мне поехать отдыхать.

* * *

Я решил отправиться на Гавайи. Я никогда там не бывал, и поэтому у меня не было никаких воспоминаний, связанных с этим штатом, в отличие от большинства остальных.

Первое, на что я обратил внимание, делая пересадку в Гонолулу, — это воздух. Еще никогда в жизни я не вдыхал ничего более чистого. Даже в отдаленных городках вроде Миннеаполиса или Линкольна воздух был хорошим, но совершенно

не похожим на этот. Гавайский воздух оказался сладким и душистым: в нем ощущалась смесь ароматов тропических цветов, запахов океана, дождя и солнца. Это было как бы послание, обращенное ко всем человеческим чувствам: «Забудь о прочем мире. Здесь все по-другому».

Я сел на самолет до Мауи, где собирался провести пять дней.

Мауи мне понравился. Помимо всяческих красот и чудесных запахов, Мауи мне понравился еще и своей нетронутостью, тишиной и малолюдностью. Те люди, что там обитали, — местные, *камаайны*, как они друг друга называли, были все поголовно дружелюбны и милы. Как двоюродные братья, о существовании которых ты раньше не подозревал. Им было все равно, кто ты. Им было все равно, какого цвета у тебя кожа. Если ты был с ними приветлив, то и они были приветливы с тобой.

Забудь о прочем мире. Здесь все по-другому.

На второй день я уже превратился в какого-то местного лодыря, все делал без суеты: расхаживал босиком, отдыхал. Никуда не спешил. Ни о чем не тревожился. Да и о чем тут тревожиться, когда солнышко высоко в небе, когда дует свежий ветерок с моря? Какие тут заботы, когда единственная

твоя забота — это вопрос: где лучше устроиться — в тени или на пляже?

На пляже.

Я сидел однажды вечером на пляже, сидел и любовался закатом — без всякой цели, просто потому, что мне этого хотелось, и тут заметил, как кто-то идет в мою сторону от береговой линии. Идет, прогуливается. Неторопливо. У незнакомца были азиатские черты лица, но очень темная кожа. Очень загорелый человек, как будто последние несколько лет он только тем и занимался, что гулял вдоль берега моря. Он приблизился, немного постоял, глядя на океан, потом уселся на песок. Не то чтобы совсем рядом, но достаточно близко, чтобы показать, что хочет со мной пообщаться.

Он обратился ко мне:

— Как жизнь?

— Хорошо, — ответил я.

Он продолжал глядеть на воду, на заходящий солнечный диск, балансирующий на тихоокеанском горизонте. Очень тихо, словно не желая мешать этой работе, которую совершает природа, он произнес:

— Красота, братец, правда? — У него был типично местный акцент. Англо-туземный.

— Красота, — согласился я. — Я бы целый день

любовался. Такое чувство возникает… Ну, вроде как начинаешь ощущать, что не все в мире так уж плохо.

Этот человек спросил меня, откуда я. Я ответил, что из Нью-Йорка, но много путешествовал. Он поинтересовался, бывал ли я в Калифорнии, я сказал, что бывал.

Тогда он рассказал мне, что когда-то жил в Калифорнии. В Лос-Анджелесе. Он перебрался туда с семьей несколько десятилетий назад, открыл небольшое дело — антикварный магазинчик, — и затея оказалась довольно успешной. По его словам, по-настоящему разбогатеть на этом не удалось бы, но и голод им тоже не грозил.

А потом разразилась война.

Его и его семью вместе с остальными американцами японского происхождения согнали с места, его бизнес продали за гроши. Их переправили в лагерь для интернированных — военный релокационный центр, так его иносказательно называли, — в Мансанаре. Их интернировали — «релоцировали» — хотя, строго говоря, его предки не были японцами. Они были из Окинавы. Правительство не знало, в чем разница. Не знало и знать не желало. И двое сыновей этого человека — одного звали Джефф, другого Тони, — несмотря

на то, что их родное правительство сделало из них заключенных, записались добровольцами в армию, чтобы доказать всем япононенавистникам, что японо-американцы — хорошие американцы. Они сражались в 442-м пехотном полку в Европе — в бригаде, состоявшей из граждан США японского происхождения.

В конце 1944 года, рассказал мне этот мужчина, ему в Мансанар пришла телеграмма, где говорилось, что Тони погиб в сражении. Не прошло и недели, как он получил вторую телеграмму. О гибели Джеффа.

Когда война закончилась, мужчине разрешили вернуться в Лос-Анджелес. Но там у него ничего больше не осталось, а денег, чтобы начинать все сначала, не было. Он перебивался случайными заработками, скопил небольшую сумму и с остатками семьи перебрался жить на Гавайи. Теперь он работал мастеровым. Он сказал, что никогда не сможет разбогатеть, занимаясь этим, но — добавил — и с голоду тоже не помрет.

Солнечный шар на горизонте сел в воду.

Мужчина поднялся с песка.

— Всего тебе хорошего, братец. — И пошел дальше по берегу.

Я пробыл на Гавайях еще три дня. Нельзя ска-

зать, чтобы мне там очень понравилось.

* * *

Я вернулся в Нью-Йорк. Все осталось таким же, каким и было до моего отъезда, только теперь город окутывала дымка неизвестности. Я не знал, когда ко мне заявится — если заявится — Дайтон с новым требованием денег. Я не знал, позвонил ли Фрэнк кому надо, сумел ли договориться с кем-нибудь, кто потолкует с моим мучителем-деревенщиной. Потолкует с ним разок-другой, пока тот не унесет свою бледную задницу восвояси, за линию Мейсона — Диксона[54], и никогда больше не явится по мою душу, выцыганивать мои бабки.

И вот, ничего ни о чем не зная, я попытался продолжать жить обычной жизнью Джеки Манна, что мне удавалось довольно скверно. Я никак не мог отделаться от призрака того красношеего ублюдка, вскочившего мне на спину. Я не раз тянулся к телефону, чтобы позвонить Дайтону, выяснить, приходили ли к нему, говорили

[54] Примечания: 54
Линия Мейсона — Диксона — граница штатов Мэриленд и Пенсильвания, разделявшая Север и Юг, свободные и рабовладельческие части страны.

ли с ним, но всякий раз одергивал себя. Если он все еще в городе, какой толк ему звонить, напоминать, что Джеки Манн, человек-банк, здесь, рядом, и в любое время готов выдать ему наличные? Меня будто парализовало. Я не мог двинуться с места и даже не понимал, в какую сторону следует двигаться. Все, что оставалось, — это сидеть, ждать и надеяться, что каждый новый день, не приносивший никаких вестей от Дайтона, приближал меня к тому времени, когда я совсем позабуду о нем.

Вот так я и жил, от минуты к минуте.

И вот наступило утро, обыкновенное, ничем не примечательное утро: я поднялся ни свет ни заря после плохого ночного сна. Попытался посочинять новые номера — но не пошло. Попытался посмотреть телевизор — но с души воротило. Свежий экземпляр газеты «Таймс», заблудившийся у моей двери, был единственным, что как-то выбивалось из монотонной картины начавшегося дня.

Мне нужно было куда-то выбраться. Отправиться в город, послоняться. Походить по магазинам, что-нибудь купить, потратить деньги на всякие блестящие побрякушки, чтобы на время отвлечься от гложущих меня тревожных мыслей.

Бесполезно.

Все, что я ни делал, похоже, было бесполезно, не удавалось мне…

Что-то тут было не так. Помимо всего того, что давно уже разладилось, еще что-то терзало мой мозг, медленно и тупо, но настойчиво требуя к себе внимания. Что-то…

«Таймс» у меня под дверью. Откуда взялась газета у меня под дверью? Я не подписывался на нее. Так почему же газета… Нет! Это была не целая газета!..

Я завертел головой, ища глазами киоск. Увидел. Подошел. Схватил «Таймс», не обращая внимания на крики газетчика, рывком раскрыл ее, высматривая… высматривая…

У меня под дверью лежала не целая газета, а только…

Я швырнул газетчику несколько купюр — целую пачку, чтобы он заткнулся.

Раздел «Метро»: транспортники подумывают о повышении тарифов. Крысы напали на человека в парке. Самоубийство в Мидтауне. Председатель района обещает выделить специальную уличную бригаду для ликвидации выбоин. Серия грабежей нагнала страху на фешенебельную Парк-авеню. Открывается библиотека…

Газета хрустнула и помялась. Мои руки непроизвольно дернулись — до меня с запозданием дошло… Я снова развернул газету, уже предчувствуя панику, готовую обрушиться на меня, вот-вот. Самоубийство в Мидтауне. Мой взгляд запрыгал по всей статье, не в силах читать ее по порядку: «Уолдорф-Астория». Турист. Выпрыгнул. Житель Майами. Дайтон Спунер.

Газета опять смялась в гармошку; я судорожно прижал ее к своему телу, схватившись за живот, чтобы сдержать тошноту, которая прожигала меня изнутри.

Теперь газетчик уже не орал на меня. Теперь он спрашивал, все ли со мной в порядке. Люди трогали, теребили меня: «Вам нехорошо, мистер?», «Мистер, вам помочь?» Тысяча резких голосов — словно ледорубами по голове. Я вывернулся, огрызнулся на них. Пробился через обступивших меня людей, через их бормотанье. Как сумасшедший, бросился продираться через толпу пешеходов на авеню.

Телефонная будка.

Я ввалился в телефонную будку. Закрыл дверь. Закрылся от них. От улицы. Я будто разучился дышать. Разучился… Мне пришлось успокаивать себя, уговаривать, что, может быть… что, веро-

ятно, это и вправду было самоубийство. Ну вот, этот тип, Дайтон, типичный чурбан из Глухоманска, которого бросила его женушка, попадает в огромный город, и тут денег ему взять абсолютно неоткуда, кроме как из моего кармана. Добавьте ко всему этому капельку алкоголя — и вот вам рецепт быстрой прогулки от подоконника до тротуара.

Похоже на правду?

Похоже. Я уверял себя, что похоже.

Три минуты я просидел на полу телефонной будки, убеждая себя, что очень даже похоже.

Но не убедил.

Просидел так еще минуту.

Рывком поднялся на ноги, вытащил из кармана монету, опустил в щель.

Набрал номер.

Ответила Бобби. Я бегло поздоровался, поинтересовался из вежливости, как дела, как дом, а потом сразу же спросил, дома ли Фрэнк. Она сказала, что дома, и пошла его звать.

Мне показалось, что он шел к телефону целый год.

— Фрэнк…

— Джеки, как де…

— Вы его убили?

— Что?

— Вы что, кого-то послали туда и…

— Ты совсем с ума спятил, мать твою? — Его хрип прогремел, как кузнечные мехи. — Ты совсем рехнулся, что ли?

Я — рехнулся? Да, наверное, если говорю с таким человеком, как Фрэнк, — с человеком, чью линию, скорее всего, прослушивают в полиции или в ФБР, — о таких вещах, как убийство.

Я сказал — для посторонних ушей, если таковые нас в тот момент слушали:

— Я… ну конечно, я шучу, Фрэнк. Я же комик. Я просто… я просто шутник.

— У тебя была неприятность.

— Что зна…

— У тебя была неприятность, так?

— Да, бы… было такое.

— Ну вот. Теперь у тебя ее нет. Ты сам этого хотел, тупоумный ублюдок. Ты получил, чего хотел. И не смей мне больше звонить, мать твою! Никогда, слышишь! Проклятый…

Я не расслышал конца его бурной тирады, потому что трубка Фрэнка хлопнула мне на прощанье прямо в ухо.

Телефонная трубка выпала у меня из руки. В голове все еще звучали слова Фрэнка: «Ты сам

этого хотел».

Я не этого хотел. Я хотел, чтобы Фрэнк подослал к Дайтону парочку своих головорезов, хотел, чтобы они взяли его за шкирку, вмазали ему хорошенько — вмазали так, чтобы он все понял. Внушили бы ему, твердо внушили бы, что, если он когда-нибудь раскроет рот о том, что случилось когда-то на темной дороге во Флориде, то его будет ждать большая беда, но я же не хотел… Я не хотел…

Я хотел этого.

Да, хотел. Я мог утверждать обратное — мог звонить Фрэнку и кричать о своей невиновности, — но где-то там, в глубине души, на дне темного нутра, которое во мне таилось, я видел правду. Я же знал, что за человек Фрэнк. Я знал, что одним телефонным звонком он способен нажать на кнопку, которая приведет в движение спусковой крючок. Когда я обратился к нему со своими туманными объяснениями — хочу, чтобы вы с ним поговорили, хочу, чтобы вы ему все объяснили, — это было не что иное, как обтекаемое описание грубого дела. Скользкого задания. Не называя вещей своими именами, я попросил Фрэнка: «Убейте его, пожалуйста».

А почему меня должно это удивлять? Да и

впрямь, если хорошенько подумать, к чему мне так ужасаться тому, что я натворил? Много лет назад я убил человека. Нечаянно. Я не собирался его убивать. Но я ударил его трубой по голове. Я убил его, защищая свою жизнь. А какая разница? Заявляется какой-то тип из моего прошлого, требует от меня денег, а чтобы получить требуемое, он готов разрушить все то, что я строил годами. Все, все до основания. Во что я тогда превратился бы? В нищего чернокожего, выброшенного на безжалостные улицы Гарлема, — без будущего, без надежды на просвет? Тогда какая разница между тем, что я сделал сейчас, и тем, что я сделал тогда? Ведь и на этот раз я просто защищал свою жизнь, разве не так?

Так.

И в этот момент я по-настоящему познал самого себя: оказывается, ради своего спасения, если до этого дойдет дело, если надо… если надо, то я способен и убивать.

В этом не было ничего странного. Если начистоту: оказавшись прижатым к стенке, с ножом к горлу, кто не пойдет на убийство ради спасения собственной жизни?

Странным было другое: меня утешила эта мысль. У меня восстановилось нормальное ды-

хание. Сердце перестало колотиться. Заглянув на дно своей души, я не испугался. У меня перестало болеть нутро, я больше себя не боялся. Поняв, на что же я способен, я почувствовал освобождение.

* * *

«Лонгчэмпс» был настоящим храмом еды. Отличной еды. Бифштекс по-домашнему с картофелем, высокой горкой наваленным вам на тарелку. «Лонгчэмпс» — ресторан на углу Мэдисон и 59-й авеню, куда ходила набивать желудки только фешенебельная публика. В «Лонгчэмпс» я пригласил пообедать Сида. Я ел лангет по-нью-йоркски, а Сид потчевался грудинкой. Я предложил ему заказывать все, чего душа пожелает, — я угощал. Он выбрал свинину на ребрышках. За салатом мы поболтали о фильме, который оба недавно видели, затем о том, полетим ли мы когда-нибудь на Луну, и о том, как мы терпеть не можем босанову. Мы оба говорили очень много, отчаянно пытаясь заполнить звуками тишину, которая — мы это ощущали — в противном случае рисковала превратиться в неестественно гробовое молчание.

Покончив с салатом, Сид отодвинул тарелку в сторону. Обведя глазами зал, заметил:

— Отличный ресторан, вкусная еда. Ты за все

платишь. По какому случаю? Чем я все это заслужил?

— Ты много для меня сделал, Сид. Ты сам это знаешь. Если бы не ты, я до сих пор выступал бы с пятиминутными номерами между стриптизершами.

Он пожал плечами:

— Сомневаюсь, но благодарю.

Сид взял вилку со своей тарелки, повертел ее, хорошенько оглядел, потом положил на место.

— Приговоренному к казни устраивают пир.

— Сид…

— Я большой мальчик, Джеки. Я много лет играю в эту игру. Конечно, я все это ценю, но тебе не надо ходить вокруг да около.

Ладно. Раз хочет прямоты — буду говорить прямо, мне же легче.

— Ты знаешь Чета Розена?

Сид кивнул и сказал:

— Я думал, они тебя гораздо раньше сманят.

— Я хочу, чтобы ты знал, если…

— Да. Я знаю: если бы не я… Ты всегда будешь мне благодарен за все, что я сделал… Но это же бизнес, правильно? Рано или поздно это бы случилось.

Мне послышалась насмешка в его голосе. Мне

не понравилось, как прозвучала эта насмешка. Я решил выложить все:

— Он может устроить мне Салливана.

— Опять двадцать пять. Выступишь в шоу Салливана — и больше никаких забот у тебя не будет. Все двери распахнутся, и ты станешь повелителем Голливуда.

— Я же обращался к тебе, Сид. Я обращался к тебе с этим, а ты не пожелал этим заниматься.

— Да нет! Дело не в том, что я не…

— Я вначале обращался к тебе, а ты не захотел этим заниматься.

— Ты не готов.

— Боже, пожалуйста, только давай не будем опять.

Сид перегнулся через стол, крепко схватил меня за запястье, заставил меня поглядеть ему в глаза.

— Ты все еще растешь как исполнитель, Джеки. Да, хочешь верь, хочешь нет, сколько бы ты лет ни выступал, ты все еще продолжаешь расти. Ты хороший артист, а со временем станешь еще лучше. Лучше, увереннее… Та программа, та, которую ты написал в Сан-Франциско…

Я вырвал у него свою руку:

— Мне осточертело ждать. Всякий раз, как мне кажется, у меня что-то хорошо получается, я ви-

жу, как оно тает… Всякий раз, как мне кажется, что я достиг успеха, все разваливается на куски. Хватит. Этого шанса я не упущу. Я не… Господи, у Фрэн уже свое шоу!

— Может, оставишь в покое Фрэн? Хватит сравнивать себя с…

— Когда, по-твоему, я буду готов? А? Я был готов уже в ту пору, как впервые встал на четвереньки вычищать чужую грязь за грошовую плату. Я был готов уже тогда, когда кто-то впервые ударил меня так, что я упал на пол. Я был готов уже в тот день, когда услышал: «Ниггер, ступай», и «Ниггер, принеси», и «Ниггер, почему бы тебе не шутить посмешнее, а, ниггер?» Я всю жизнь был готов. Готов выйти на улицу, отправиться в путь, уступить место…

— Готов на все, любой ценой.

Моему воображению живо представилась такая картина: Дайтон Спунер лежит, распластанный на тротуаре, и струйки крови паутиной растекаются вокруг его тела.

— Да. Да. Чтобы меня уважали. Чтобы со мной обращались как с человеком. Я же никогда этого не видел, Сид. Ни от отца, ни от так называемых друзей…

— А Тамми? Фрэн? А я? Разве все эти годы я не

был рядом с тобой?

И тут из меня посыпались все те слова, которые я давно удерживал внутри:

— А когда я отправился на репетицию шоу Фрэн, когда Си-би-эс насело на нее из-за того поцелуя, — где ты был тогда, Сид? Шатался по кабакам, потому что не мог переломить себя и побыть трезвым. И это ты называешь — быть рядом со мной?

Мои слова, словно сорвавшаяся с цепи свора, лаяли и кусались. И я ожидал, что, как только они будут сказаны, не важно, что мы находились на людях, Сид тоже взорвется в ответ. Но ничего подобного не произошло — он остался совершенно спокоен.

— Ты прав, Джеки. — Сид говорил ровным тоном. Даже мягким. Мы с ним оба всегда знали правду. Не было смысла отрицать ее теперь, спорить. Пожалуй, Сид был даже доволен, что наш обоюдный секрет, о котором раньше мы оба умалчивали, наконец раскрылся. — Мне следовало тогда быть там, с тобой, и… Вместо этого я отпустил все тормоза. Мне жаль, что так вышло, и, наверное, не важно даже, что это бы… или что я потом завязал. Я никогда не притворялся беспорочным человеком, так что, если все дело

в этом…

— Дело в том, что ты забыл о своих обязанностях. Пьяный, трезвый ли, ты не… понимаешь? Так что не сиди тут и не веди себя, как… как не знаю кто!

Вот так. Как не знаю кто.

Сид кивнул. Слегка. Взял салфетку, вытер руки. Не то чтобы они были в чем-то выпачканы, — просто он хотел показать этим, что покончил с обедом.

Потянулся к бумажнику:

— Пожалуй, я заплачу за обед. А то у тебя ничего не останется.

— Не надо… я плачу.

— Ты не обязан платить за мой обед, чтобы загладить чувство вины.

— Это бизнес, Сид. Я не испытываю чувства вины.

Он хорошенько оглядел меня:

— Да, похоже, не испытываешь.

Сид поднялся из-за стола, направился к выходу. Остановился, обернулся и сказал:

— Если не получится с «Уильямом Моррисом», тогда…

Это были его прощальные слова.

Сид ушел.

Официант принес мой заказ. Я управился с бифштексом, потом заел его большим ломтем слоеного фруктового торта. Когда я покончил с едой, я не ощущал ничего кроме сытости.

Забавно, как раскрепощает убийство.

* * *

Передо мной лежали бумаги. Бумаги. Так их называли. Это были контракты, которые связывали меня с агентством «Уильям Моррис» на два года. В этом не было ничего странного. Абсолютно. Я пробыл с Сидом дольше, и по той же ставке — десять процентов. Только с Сидом мы не подписывали никаких бумаг. Никаких контрактов. Мы просто пожали друг другу руки, и все. Одно рукопожатие — и он сделался моим агентом, а я — его…

— Что-то не так, Джеки?

— Что вы сказали?

Чет оторвал меня от моих мыслей. Он был здесь, в конференц-зале нью-йоркского филиала «Даблю-эм-эй». Здесь был Чет, женщина, исполнявшая обязанности не то секретаря, не то ассистента, или еще чего-нибудь в этом роде, и тот другой агент, которого я уже видел в Лос-Анджелесе и который никогда ничего от себя лично не говорил.

Чет сказал:

— Внизу восьмой страницы, вот там, вам нужно подписаться. На всех экземплярах.

Я приподнял со стола стопку бумаг, опять опустил.

— Толстенные!

— Юридический документ. — Это сказала женщина.

Второй агент:

— Абсолютно стандартный.

— Для вашей же защиты, — добавил Чет.

Я перелистнул документы до восьмой страницы. Внизу меня ждала пустая строка, оставалось только черкнуть — Джеки Манн.

Оставалось только черкнуть.

Чет снова спросил у меня:

— Что-то не так?

— Да нет, ничего… Просто я никогда не подписывал ничего подобного.

Женщина повторила:

— Обычный юридический документ.

— К тому же совершенно стандартный, — снова поддакнул безымянный агент.

— Если вы хотите, чтобы бумаги просмотрел юрист…

— Я понимаю, все это совершенно обычный и стандартный документ, это во всех агентствах

принято. Но мне никогда не приходилось подписывать…

— И вы немного нервничаете? — спросил Чет.

— У вас такое большое агентство. Столько клиентов…

— Вы боитесь, что про вас забудут в суматохе? Законное беспокойство. Законное… для любого другого артиста, но вы же уникальны: комик-негр, пользующийся успехом у белой публики. Вы подумайте, мало ли… то есть нет, много ли существует негритянских дарований, которые добиваются успеха среди белых. Их можно по пальцам пересчитать. Дэвис, Белафонте, Коул, Пуатье. Это клуб для избранных. Скажу напрямик: нам не будет от вас никакого прока, если мы вас туда не пристроим. Мы все здесь для вас будем стараться, Джеки. От меня до самого Эйба. Так что если боитесь, что про вас забудут, то зря. Не забудут. Слишком вы выделяетесь из толпы.

Остальные заулыбались над двусмысленной фразой Чета.

Болтовня Чета несколько улучшила мне настроение, убедила меня в том, что он правильно рассуждает. И все же я продолжал сидеть и ничего не делал.

— Как хотите, Джеки. Я, мы не собираемся вам

ничего навязывать, если вы на сто процентов не уверены…

— У меня нет ручки.

После секундной тишины все рассмеялись. У Джеки нет ручки. Ну не обхохочешься ли тут?

Чет пошарил у себя в кармане, вытащил ручку, протянул мне.

Пустую строчку заполнило имя Джеки Манна. Дело сделано.

Потом были рукопожатия и пожелания удачи. Мы немного поболтали, а когда разговор иссяк, я извинился, сказал, что им пора возвращаться к работе. Конечно. Ведь теперь они работали на меня. Я пожал руку секретарше, безымянному агенту, и Чет проводил меня к лифтам.

Чет сказал, что вскоре они свяжутся со мной, что в данный момент он разрабатывает для меня план выступлений и хочет, чтобы я скорее приступил к работе.

Раздался звонок лифта, и я прошел в кабину.

— Джеки?

Я обернулся.

— Моя ручка!

* * *

Филадельфия, Кливленд, две недели в Рено, Тахо…

Моя жизнь закрутилась по прежнему кругу. Моя жизнь проходила в клубах, концертных залах и театрах-ресторанах. Я был там же, где бывал всегда, то есть не на телевидении. Не в шоу Салливана. Я и не ожидал — не позволял себе надеяться, — что сразу же попаду на шоу, пусть даже ребята из «Дабл-ю-эм-эй» изо всех сил проталкивали бы меня. Я догадывался, что на это уйдет время. И угадал. Не угадал лишь, сколько именно времени на это уйдет. Два месяца превратились в четыре. Тысяча девятьсот шестьдесят второй год превратился в шестьдесят третий. Я по-прежнему оставался заурядным разъездным комиком. Может, я чуть больше зарабатывал на каждом выступлении — лишних семьдесят пять в том клубе, лишних сто — сто пятьдесят в другом, — но в целом…

Сан-Франциско, Лос-Анджелес, неделя в Лас-Вегасе…

И мало-помалу, месяц за месяцем, я замечал, что толпы становятся меньше. Пустых мест в клубах — все больше. Люди все чаще оставались

дома. Пророчество Фрэнка К. сбывалось: будущее — за телевидением.

Артисты, не выступающие на телевидении, превращались в динозавров, которые уже вымирают как вид.

Я говорил об этом с Четом — обо мне и Салливане, о том, что я до сих пор не попал к Салливану. Он отвечал, что все улаживает, что дело на мази, что вот-вот устроит мне прослушивание. Нужно лишь чуть-чуть подождать.

Время ползло. И покуда оно ползло, постепенно, пристойно, я обнаруживал, что все реже и реже говорю с Четом. С каждым разом все труднее было просто застать его у телефона — это превращалось в задачку не из простых. А Эйба? Да какое там. О делах я все чаще говорил с Марти — тем самым вторым, некогда безымянным, агентом. Марти постепенно трансформировался в моего повседневного партнера: он занимался моими гастролями и выступлениями, следил за тем, чтобы все было в порядке на моих шоу. Следил за тем, чтобы у меня все было в порядке, сам при этом находясь в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. Он ни разу не следил, чтобы у меня все было в порядке, находясь там, где действительно проходили мои представления.

От меня отмахивались. Меня передавали из рук в руки, точь-в-точь как палочку в эстафетной гонке, только, похоже, вместо того, чтобы бежать вперед, эти ребята все время топтались на месте. Если не пятились назад. Я уже опасался, что скоро меня вообще перепоручат той девушке-секретарше.

Марти уговаривал меня не беспокоиться. Марти говорил, будто бы со слов Чета, что он уже совсем скоро устроит мне то самое прослушивание. Совсем скоро. Вот-вот. Еще чуть-чуть, всего ничего, и я снимусь у Салливана. А пока…

Сент-Луис, Миннеаполис, Милуоки, Чи…

Чикаго. Неделю я выступал в Чикаго. Там же выступала Тамми. Ее гастроли совпадали с окончанием моих. Рано или поздно должно было случиться, что мы будем выступать в одном городе в одно и то же время. Да, я догадывался, что это должно будет когда-нибудь произойти, но вовсе не представлял, *что именно* произойдет. Я-то всегда надеялся, что она, может быть, позвонит мне. Может быть, узнает, что я тоже в городе, и позвонит мне — хотя бы для того, чтобы дать мне понять, что она не ненавидит меня всеми фибрами души, которыми только можно ненавидеть.

Но она не звонила. Дни шли. Мой ангажемент

заканчивался. Мне предстояло вскоре уезжать, а она так и не звонила. Мне самому позвонить ей? На это у меня не хватало смелости.

Все, что мне оставалось, — это пойти на ее представление. Я пошел. Пошел, чтобы увидеть *ее.* Я подошел к клубу, но остановился у входа в клуб, не в силах перешагнуть порог, сесть и взглянуть на сцену.

Но это было единственное, что я мог сделать.

Я купил билет, занял место в зале и стал ждать начала представления. Я задыхался, у меня бешено колотилось сердце, я ощущал себя человеком, дожидающимся собственной казни. Именно так. Я знал, что, если увижу Тамми, это убьет меня. Я готовился к предстоящей пытке, к самоистязанию. Я хотел, чтобы мне было больно *ради* нее, потому что испытывал потребность быть наказанным за боль, которую причинил *ей.*

Огни погасли. Представление началось. Она вышла на сцену. Не важно, сколько лет прошло. Я посмотрел на Тамми — и снова увидел ее впервые в том тусклом, насквозь прокуренном подвальном клубе в Виллидже, который она наполняла светом и красотой, и этот миг был столь же свеж и ярок, но уже тронут сознанием… сознанием того, что я все испоганил. Иначе никак и не скажешь.

Да, такова была истина, такова была вульгарная реальность. Я все испоганил.

Я смотрел на Тамми, слушал ее всего шестьдесят секунд, а потом не выдержал. Пулей вылетел из клуба, сел в такси и вернулся в гостиницу.

И вот я в гостинице.

Я не то чтобы совсем загрустил. У меня не было особого желания завыть от горя. Я просто лежал на кровати, час за часом, уставясь в потолок, и чувствовал всего лишь ту рану, которая осталась у меня в душе с тех пор, как Тамми оставила меня в первый раз. По радио — группа «Руби и Романтики». «Наш день придет». Комната, четыре стены. И одиночество, которое мне не с кем было разделить.

Стук в дверь.

Я продолжал лежать. В чью дверь стучали? Это где-то в коридоре? И стук ли это был…

Снова стук. Стук в *мою* дверь.

Я встал, подошел к двери, не решаясь открыть. Я был напуган. Я был один и испугался — я боялся, не привидение ли пришло ко мне. Я застыл, и дверная ручка сделалась скользкой под моей вспотевшей ладонью.

Я открыл дверь.

Боже милостивый…

Тамми. Это была… это была моя Томазина.

Я бросился к ней. Я бросился к ней и тут же всем телом осел на пол. Я стоял перед ней на коленях и заливался слезами. Рыдал. И не мог остановиться.

Она взяла мою голову, прижала ее к своему животу. Надо мной послышался шепот:

— Все в порядке, Джеки. Я теперь здесь. Я здесь, и я люблю тебя. Я всегда буду тебя любить. Все остальное не важно.

Ее любовь — любовь, которой мне так недоставало всю жизнь, — полилась на меня ливнем. Она заменяла мне отсутствие всего остального, необходимого для жизни. Все, что мне нужно было, чтобы жить дальше, чтобы существовать, — это Томазина.

Она была рядом. Она была рядом, здесь, со мной, *ради* меня, но почему? Почему она должна одарять меня своим благословенным присутствием, если единственное, что я сделал, — это исполосовал ей сердце своим обманом? Почему же?..

— Почему я?

Ее руки приподняли мое лицо. Из-за слез она явилась мне как сквозь туман.

Она сказала:

— Ты — необыкновенный, Джеки Манн. И не

слушай тех, кто…

Я вскочил, разом стряхнув с себя сон. Нащупал простыни. Лицо у меня было все в поту.

Я был один.

Звонил телефон.

Я поглядел на часы. Ночь прошла — было уже без двадцати десять утра.

Я взял трубку.

— Алло?

— Джеки?

— Чет?

— Мы тут хотим вас немножко отвлечь от гастролей. Мы договорились насчет прослушивания у Салливана — сразу, как вернетесь. Позвоните мне, как только окажетесь в городе.

Чет повесил трубку.

* * *

От певцов этого не требовали. От рок-групп тоже. Ни от дрессировщиков собак, ни от эстрадных исполнителей. Только от комиков. Комики должны были являться в отель «Дельмонико», подниматься на одиннадцатый этаж, в шестикомнатный номер, где жили Салливаны, и устраивать шоу лично для Эда. Для Эда и для Роберта Пречта, продюсера Салливана. Эд желал

заранее видеть комиков, потому что Эд не доверял комикам. Ведь комедианты по природе своей вольнолюбивы и непредсказуемы. От них только и жди сюрпризов. Эд не любил сюрпризов. Эд любил, чтобы ему предоставляли именно то, за что он платил, и ничего более. Поэтому комикам приходилось делать то, чего не делали ни певцы, ни исполнители рок-н-ролла, ни дрессировщики собак, ни прочие артисты: им приходилось развлекать короля перед тем, как им дозволялось выступить перед всем королевством.

Я отправился в «Дельмонико». На одиннадцатый этаж. Я исполнил свою программу. Я исполнял ее для двух зрителей. Я на своей шкуре почувствовал: не важно, какой у тебя за плечами актерский опыт, — если взять среднее число зрителей, которых ты привык смешить, и вычесть из этого числа сто и еще девяносто восемь, то привычное дело оборачивается совершенно новой задачей. Тут не было смешков, задающих тебе ритм, позволяющих тебе судить о том, как тебя принимают. От Эда и Роберта — только кивки. Изредка — улыбки, видимо означавшие, что им нравились мои номера. Может быть, нравились. А может быть, они просто улыбались, чтобы не показывать, до чего ты им гадок. Трудно сказать.

Эд вообще не был особенно улыбчивым, а после того, как в автокатастрофе насмерть разбилась его любимая, он сделался еще более мрачным. С ввалившимися глазами и угрюмым выражением лица он выглядел как профессиональный гробовщик.

Из-за этих кивков и редких улыбок моя пятиминутная программа сжалась до четырех с хвостиком.

Я закончил.

Я поблагодарил Эда, Роберта и вышел из гостиничного номера в коридор. Там меня поджидал Чет, выряженный в свой неизменный синий костюм. Он спросил у меня, как все прошло.

Как все прошло? Двое ребят ухмылялись и кивали головами. Откуда мне знать, как все прошло?

Мы постояли там пару минут.

Из номера вышел Роберт. Попросил называть его просто Бобом. Довольно молодой парень, весь такой чистенький, аккуратный, но по тому, как он говорил — быстренько проанализировал мою программу, процитировал ту шутку, обсудил эту, — я догадался, что Боб стал продюсером шоу благодаря смекалке, а не потому, что женился на дочери босса. Хотя и это он для верности тоже сделал.

Чет принялся за обычную тираду из серии «Джеки Манн — комик что надо»:

— Я же говорил вам, что этот парень — хоть куда. Хорош собой, владеет речью, представительный…

— И смешной, — прибавил Боб, как бы напоминая Чету о самом главном.

— И смешной. Что смешной — об этом и говорить не надо. Я хочу сказать, что в Джеки вы получаете полный набор, действительно полный набор. Телевидение полюбит этого парня, Боб. Говорю вам, телевидение его полюбит.

— Через воскресенье у нас будет свободная щелка в комедийном разделе. Эд хочет вас туда вставить, Джеки.

— Отлично, — ответил за меня Чет.

Боб только улыбнулся в ответ на наигранное воодушевление Чета. Он-то насмотрелся на всяких агентов.

— Так что позвоните мне, обсудим детали.

— Первым же делом завтра утром.

— Джеки. — Боб протянул мне руку. — Классная программа. Вы произведете фурор в нашем шоу. — И он исчез за дверью гостиничного номера.

Чет сказал:

— Это очень, очень… Вы же знаете, Салливан платит гораздо больше, чем во всех других эстрадных шоу на телевидении.

— Дело не в деньгах.

— Да, дело не в деньгах. Конечно. Но и деньги не помешают, ничуть не помешают.

— Спасибо.

Чет бросил на меня вопросительный взгляд — мол, «за что?».

— За то, что устроили мне Салливана.

— Это ваша заслуга. Это вы там исполняли свои номера.

— Ну, тогда спасибо за то, что устроили мне прослушивание.

— Мы же вам обещали устроить прослушивание. А когда мы что-нибудь обещаем… Или, может быть, вы думали, что мы вас обманем? — Чет в шутку сделал обиженное лицо. — Неужели вы могли подумать, что мы для вас ничего не сделаем?

Последнее время, пока я разъезжал по гастролям, мне даже к телефону не удавалось подозвать Чета. Ну да, именно так я и думал. Но я снова повторил:

— Спасибо.

Чет спросил, не хочу ли я отметить событие

— зайти куда-нибудь, выпить чего-нибудь. Но я отказался. Мне просто хотелось пойти домой. Хотелось пройтись до дома пешком.

И я отправился домой.

И вот что я вам скажу: пока я шел, я чувствовал себя превосходно. Абсолютно спокойно — несмотря на то, что находился в преддверии того, к чему стремился, ради чего трудился всю жизнь. Я слышал про тех ребят, которые испытывают сверхзвуковые самолеты: как раз перед тем, как они набирают скорость звука, самолеты начинает колбасить и колбасить, а потом… ничего. Они прорывают звуковой барьер, и дальше все идет гладко и плавно. Вот и у меня было в этот момент такое ощущение. У меня было такое ощущение, что все тычки и подзатыльники, вся нервотрепка — все ушло в прошлое. У меня было такое ощущение, будто некий вселенский суд выдал мне подтверждение того, что совершенные мной поступки, как бы там все ни оборачивалось, были правильными. И впервые в жизни, насколько я помнил, у меня появилось ощущение, что теперь-то все в моей жизни потечет как по маслу.

* * *

Помню, что была среда. Помню, что был хороший день. Помню, что я чувствовал себя отдохнувшим — пять ночей, прошедших после прослушивания у Салливана, были отданы крепкому сну. Я был уверен в предстоящем теледебюте, не слишком тревожился из-за него. Все идет как надо. А раз все идет как надо, то зачем тревожиться? Помню, на улице было хорошо, погода стояла приятная: солнечно, тепло, но не слишком жарко. Я вышел из дома и направился к ресторанчику на углу, чтобы позавтракать, и не заметил ни привычной давки, ни всегдашней лихорадочности на нью-йоркских улицах. Всюду создавалось впечатление, что день будет очень хорошим. Может, так оно и было.

А может, день был самый обычный. Просто из-за того, что я в тот день узнал, потом, когда я вспоминал о тех первых, утренних часах, они казались мне гораздо прекраснее.

Когда я зашел в ресторан, двое ребят за столиком спорили об Энди Уорхоле. Я заказал еду — французский тост, яичницу из двух яиц. Это был мой любимый завтрак. Гренки, поджаренные в яйце с молоком и яичница-болтунья. Офици-

антка записала мой заказ на зеленой карточке и поместила ее в вертушку на кухонном прилавке для повара.

Странно, наверно. Странно, что вся эта чепуха так отчетливо врезалась мне в память. Но все это тоже составляло часть того момента: мой заказ, то, как официантка записала его и передала повару. Потом пошла за кофе, и я проводил ее взглядом — просто так, от нечего делать. Когда она проходила под телевизором, установленным под потолком в углу, я мимоходом взглянул на экран — и увидел лицо, которое видел всего раз, много лет назад. Но я узнал его безошибочно. Не важно, как давно это было, — я узнал это лицо моментально. Майами. Та глухая дорога. По телевизору показывали того чернокожего мужчину, который тогда спас мне жизнь. Во всяком случае, его фотографию. Его фотография оказалась в сводке новостей.

— Что он сделал? — спросил я куда-то в пустоту, надеясь, что кто-нибудь ответит.

— Что? — переспросила в ответ официантка.

— Этот человек, что он еде…

Официантка взглянула на телеэкран, но изображение мужчины уже исчезло. Теперь показывали какой-то дом, подъездную аллею со следами про-

литой краски.

— Кажется, говорят о том, что этого мужчину убили. — Она произнесла это отстранение, как телефонистка, сообщающая номер.

Я снова пытался выговорить: «Что?» — но слова застряли у меня в горле.

— То ли этой ночью, то ли сегодня утром. Перед его домом. Кажется. Его застрелили. Ну, вот… — Она подошла к телевизору, дотянулась до него пальцами, прибавила громкость.

Ведущий новостей рассказывал о последнем, очевидно, по времени заказном убийстве в ходе борьбы за гражданские права. Миссисипи. Поздно ночью. Медгар Эверс, подходя к своему дому, получил пулю в спину.

Всего одну пулю.

Но этой пули, выпущенной из винтовки, оказалось достаточно, чтобы проделать дыру величиной с кулак с одной стороны тела и выйти с другой, прихватив с собой по пути изрядное количество мышечной и костной ткани. Прихватив все это, она не остановила своего движения, пока не пролетела через окно и стену кухни и не упала на стол, как какой-нибудь мрачный сувенир. Но и ее не хватило, чтобы убить этого человека. Убить сразу, на месте. Эта пуля свалила Медгара, но

ему еще удалось, с хлещущим из него фонтаном крови, подползти к крыльцу дома…

Я не заметил, как мои пальцы впивались в стол, как я подошел вплотную к телевизору.

…Подползти к жене и детям, которые выбежали из дома навстречу своему умирающему мужу и отцу. Он продержался еще некоторое время, пока друзья погрузили его в железнодорожный вагон и помчались в больницу при Миссисипском университете, и еще немного, так что его принесли в палату для оказания первой помощи, где белые доктора не очень-то торопились оперировать подстреленного чернокожего. Вот сколько он продержался, но не дольше.

На телеэкране снова показали изображение дома. То, что я вначале принял за краску, оказалось пятнами крови.

Медгар Эверс. Муж. Отец. Мой спаситель. Погиб. Погиб, так как считал, что чернокожие должны обладать основополагающим, неслыханным, неприкосновенным правом сидеть там, где они пожелают, и в ресторане, и в автобусе. Может быть, даже голосовать.

Выпуск новостей закончился, начался очередной «мыльный» сериал.

До моего слуха долетали обрывки разговоров за

ресторанными столиками. Мэр совсем свихнулся, совсем рехнулся, если думает… Янки — просто попрошайки, и что им нужно, так это… Парень рассказывал приятелю про какую-то юбку на работе — неприкаянную разведенку, которая не прочь…

Разговорчики. Ни слова про Медгара. Никто ничего про него не говорил. Для меня вплоть до этой минуты он оставался лицом без имени. Для остального мира он не станет даже воспоминанием.

— Ваш заказ. — Это официантка подошла с моей едой. — Ваш заказ готов.

Я поднялся, пошел к двери, остановился, вернулся и бросил ей денег. А потом ушел.

* * *

Вот как все должно было быть: должны были показывать Московский цирк… вернее, сначала должны были показать Эда. Эд должен был выйти, произнести свои привычные фразы типа «Здрасьте-добро-пожаловать-на-наше-классное-шоу», а затем поприветствовать всех присутствующих в зале звезд. В зале всегда присутствовали звезды, потому что звезды любили лишний раз сверкнуть рожами на всю страну, от побережья до побере-

жья, потрудившись лишь притащиться в студию и занять зрительские места на передаче Эда. Так вот, вначале появлялся Эд со своими приветствиями, потом показывали цирк, а потом — меня. Все шло по плану. Евангелие от самого человека. Боб говорил мне, что правило Эда заключается в следующем: «Открывай программу пошире, показывай хороший комедийный номер, вставляй что-нибудь для детей, веди представление чисто». Рази публику наповал, смеши ее, развлекай на всю катушку, но чтоб все было чисто. Чисто, надежно, приятно для зрителей — вот чего требовал Эд Салливан и что он представлял.

Пока шла репетиция, у меня многократно возникало чувство, что это уже было. Я столько раз мысленно переживал этот миг, что он казался мне таким же реальным, как и любое подлинное событие моего прошлого. Несмотря на лихорадочную возню вокруг меня — на растущую панику съемочной группы, которая, не важно, сколько раз они уже проделывали все это, с каждой секундой приближалась к прямому выходу в прямой эфир для всей Америки, — я чувствовал себя так же, как чувствовал себя с тех пор, как Боб пожал мне руку и сообщил, что я буду выступать в шоу, — то есть совершенно спокойно. У меня

было ощущение, что я призраком прохожу через мгновенье, уже завершенное, и что как бы со стороны, подобно привидению, наблюдаю за происходящим. Все, что от меня требовалось, — это разыграть свою роль согласно сценарию.

Разве что сценарий оказался не совсем таким, каким я его всегда себе представлял. Он очень сильно изменился с тех пор, как Медгар Эверс получил пулю в спину.

Администратор сцены подозвал меня, попросил быстренько пробежаться по своему тексту перед камерами. Я, как заядлый картежник, в очередной раз вытащил из кармана листки бумаги — пожелтевшие, затрепанные, но так и не выброшенные. Это была почтовая бумага из отеля «Сент-Реджис» в Сан-Франциско. Я быстро просмотрел текст, который так долго пролежал без дела, дожидаясь своего часа. Встал на то место, где буду стоять во время съемок, посмотрел в камеру и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Джеки Манн. Я — негр».

* * *

Мы с Четом и Бобом сидели в кабинете Боба. Боб сочувствовал мне — сочувствовал, как мог, учитывая ситуацию, — но его сострадание явно

тонуло под натиском эмоций, которые на полной скорости врывались в него через то отверстие, которое я в нем только что пробил. Чет раскалился, как вулкан, но сдерживал себя. Решил — пусть Боб выговорится. Видимо, он боялся того, что может произойти, если он сам выпустит свою ярость на волю.

Боб сказал — осторожно, но по делу:

— Он в бешенстве. Эд в абсолютном… Ваша программа была…

— Она была смешной, — ответил я.

— Она была…

— Смешной. Вы слышали, как смеялись люди, присутствовавшие на репетиции. А все эти телевизионщики — они тысячу комиков, наверное, переслушали на своем веку? Все шутки, какие только можно, переслушали, а? И они…

— Это был нервный смех.

— Смех!

— Дай ему сказать! — рявкнул на меня Чет. — Дай человеку высказаться.

Я даже не поглядел на Чета. Я не глядел ни на него, ни на Боба. Я не хотел попадать под гипноз каких бы то ни было эмоций, струившихся у них из глаз. Я просто рассеянно глазел в несуществующую точку прямо перед собой.

Боб помолчал секунду, подождал, когда все успокоятся.

— Понимаете, в чем беда, Джеки? Вы выступили перед нами в «Дельмонико», мы одобрили ваш номер, — и тут вы в последний момент не просто меняете программу — вы поднимаете всю эту… вопите тут о расовом вопросе, о Вьетнаме!

— Я говорю о том, что делается в мире.

— Да половина американского населения Вьетнам даже на карте не найдет. Я хочу сказать — кому какая разница, что де…

— Я говорю о том, что происходит с неграми. Я высказываю собственную точку зрения, и делаю это смешно. Что тут плохого?

— …Ничего. Ничего особенного…

— Я же не бранюсь. Не наливаюсь злобой. Я просто говорю…

— Да, в свое время, на своем месте — в этом нет ничего плохого. Но на государственном телеканале, в воскресный вечер? Нам это не подходит. Не это желает слышать Америка.

— А откуда вы знаете, раз еще никто об этом не говорил?

— Господи, — сплюнул Чет.

Боб от возмущения даже не нашелся что сказать. Потом он снова принялся внушать мне:

— Джеки, Эд Салливан и это шоу точно так же стремятся поддерживать исполнителей-негров, негритянское движение, как и любая другая телепрограмма. В «Линкольн-Меркьюри» устроили Эду большущий разнос за то, что он обнимался с Эллой Фицджеральд и Перл Бейли. Ему было наплевать. Эд ни разу не отшатывался… Помните, какого он задал жару Уинчеллу за то, что тот грубо обошелся с Джозефиной Бейкер в клубе «Аист»? Но как бы Эд лично ни относился к неграм или к борьбе за гражданские права, — все равно нельзя превращать передачу, выходящую в эфир в восемь вечера, в самодеятельную ораторскую трибуну.

Тут Боб перестал меня убеждать и перешел к делу:

— Пожалуй, я могу все уладить, поговорив с Эдом. Я скажу ему… Скажу ему что-нибудь, но я смогу оставить вас в шоу только при условии, если вы исполните ровно то, что исполняли перед нами в «Дельмонико». Вы должны мне это обещать, Джеки. Вы должны мне пообещать, что исполните ту программу, которую мы одобрили. Так да или нет?

Я промолчал.

Чет обратился к Бобу:

— Давайте теперь я с ним потолкую.

Боб кивнул, встал. Двинулся, чтобы уходить, но напоследок подытожил всю нашу долгую дискуссию:

— Джеки, не напортачь с Эдом Салливаном. — И вышел из своего кабинета, оставив меня наедине с Четом.

Чет провел ладонями по лицу, потом по голове, пригладил волосы. Такой ритуально-успокоительный жест.

И сказал, спросил:

— Что ты делаешь?

— Делаю свое дело.

— Ты себя губишь — вот что ты делаешь. Это все равно, что… все равно, что взять пистолет — Господи, вот уж никогда бы не подумал, что ты… Это все равно, что взять пистолет, приставить к виску и забрызгать стену собственными мозгами. Это — самоубийство. — Чет ослабил узел своего синего, в пятнышках узора, галстука. — Шоу Салливана! Какого черта тебе взбрело…

— Он спас мне жизнь.

— …Что?

— Медгар Эверс спас мне жизнь.

Чет не нашелся, что на это сказать. Он пару раз силился что-то из себя выдавить, но рот у него

только молча раскрывался и закрывался, больше ничего.

— Много лет назад. Он не дал меня забить насмерть.

— И теперь ты должен… что? Должен памятник ему воздвигнуть?

— Нет. Не ему. Мне кажется, я должен это сделать ради себя самого.

— Ладно. Ладно, вот в этом-то и проблема: ради себя самого, ты это делаешь ради себя самого. А ты подумал, что ты Бобу устраиваешь? Ты огонь ему под задницу подносишь! Он для тебя старался! Я… — Тут руки у Чета сжались, он покатал один из кулаков у себя по лбу, туда-сюда, безуспешно пытаясь справиться со злостью.

Потом продолжил, несколько сбавив тон:

— Я для тебя старался, Джеки. Ты пришел в агентство, ты пришел ко мне, ты сказал, что тебе нужен Салливан. Я устраиваю тебе Салливана. Я делаю звонки, я жму на все кнопки, и Я — УСТРАИВАЮ — ТЕБЕ — САЛЛИВАНА! Я ради тебя голову подставляю, а ты теперь топор над ней заносишь. Господи! — Чет снова вступил в маленькую схватку со своей злостью. Похоже, злость брала верх.

Я сделал то, что до сих пор избегал делать. Я

посмотрел Чету в глаза. И не увидел там никакой ярости, — значит, я ошибался. Я увидел там только боль. И мольбу.

— Да, и знаешь что, слушать тебя было действительно смешно. Все эти шутки по поводу расового вопроса, гражданских прав… тебе здорово это удается. В понедельник утром ты можешь наделать серьезный переполох такими шутками. В понедельник — после Салливана, после Салливана, после того, как станешь звездой. Если ты что-то хочешь сделать ради себя самого, Джеки, тогда сделайся звездой.

Если я хочу сделать что-то ради себя самого… А разве я делал это — исполнял свою сан-францисскую программу — ради себя самого? Может, это и вправду было эгоизмом с моей стороны? Может, я настолько отчаялся унять свое горе по человеку, которого едва знал, сознание своей вины оттого, что человек, боровшийся за позитивные перемены, мертв, а я, борющийся всего лишь за плату повыше и славу погромче, все еще живехонек, — что всем этим пытался заслонить реальность существующего положения? Может, я просто пытался успокоить себя, отогнать дурные мысли о том, что я не человек, а дерьмо?

Я и сам не знал.

Я и сам не знал. Я так долго лгал себе, лгал насчет того, что нужно, чего нельзя, что можно делать ради того, чтобы продвигаться дальше, поэтому теперь я уже сам не знал, где истина. Чет старался для меня. Он раздобыл мне то, что обещал. Он устроил мне Салливана. Разве правильно с моей стороны будет подвести его — все равно что лопатой его ударить, — лишь бы самому при этом почувствовать себя праведником?

Совсем неправильно. Уж в этой-то истине я не сомневался.

Понедельник. Настанет понедельник — и я смогу шутить о чем угодно и где угодно. Начиная с понедельника, который наступит вслед за воскресеньем, передо мной откроется множество возможностей, и я смогу делать все так, как мне заблагорассудится. А пока…

— Ладно. Скажи им, что я исполню ту, другую, программу.

* * *

Ярко-красная секундная стрелка плавно и неуклонно бежала по черно-белому циферблату часов, висевших на стене. Теперь уже минуты. Минуты — вместо лет, дней, часов. Минуты до наступления восьми часов по восточному стан-

дартному времени, до начала шоу Салливана. Из гримерки я слышал глухой гул — это зрители постепенно заполняли зал своими телами и своим набухающим возбуждением. Но мне было все равно. Я оставался совершенно спокоен.

Время от времени из громкоговорителей вырывался голос, хладнокровно раздававший указания съемочной группе и напоминавший, сколько времени остается до эфира.

Минуты.

Чет ходил туда-сюда по студии, кому-то жал руки, смазывал колеса, готовил мир к встрече с Джеки Манном. Отлично. Я был рад, что можно немного побыть наедине с собой, поразмышлять. И я чувствовал, что буду рад еще больше, когда все это окажется позади. Я устал от борьбы. Всегда, сколько я себя помнил, шоу Салливана было смысловым центром моего существования. Было моим воскресным отдыхом, лазейкой в лучший мир, предметом моих мечтаний. В каком-то — очень ощутимом — смысле это определяло мой путь. Это заменяло мне жизнь. Теперь я хотел вернуть себе собственную жизнь.

Я начал повторять мысленную шпаргалку, напоминать себе всякие мелочи: «Стой прямо. Когда выйдешь на сцену, стой прямо. Улыбнись.

Обязательно улыбнись людям. Будь уверен в себе. Владей моментом. Почему бы мне теперь не владеть им, раз я годами платил за него в рассрочку?»

Стук в дверь. Он прозвучал как выстрел, и я подскочил на месте. Я нервничал гораздо больше, чем говорил себе. Даже сейчас — вечная ложь.

Это был Боб.

— Ты готов, Джеки?

— Да, — ответил я.

— Отличное будет шоу. — Он слегка запнулся. — Я рад, что нам удалось все уладить.

— Да, мне жаль, что тогда так вышло. Я перед вами в долгу за то, что вы для меня сделали. И перед Четом тоже.

— Он хороший агент. Мне приятно было услышать, когда Сид сказал мне, что теперь вы с ним работаете. Я ничего не имею против Сида, нет-нет, но «Уильям Моррис»…

Боб еще что-то говорил, но я сидел секунду, может быть, другую, не слыша его, не слыша, что он там говорит, а переваривая то, что он только что произнес.

— Вам Сид сказал?

— Да.

— Вы говорили с ним?

— Когда я позвонил ему, чтобы сообщить, что хочу пригласить вас на прослушивание.

— Вы позвонили Сиду?

— Ну да. Он же долгое время с вами работал. Когда я ему позвонил и сказал, что готов вас посмотреть, он мне сообщил, что теперь вы с «Уильямом Моррисом», и мне нужно…

— И тогда *вы* позвонили Чету. — Я произнес это медленно. С расстановкой: — *Вы* позвонили Чету и сообщили ему, что хотите устроить мне прослушивание?

Боб не мог понять, что означает такая реакция с моей стороны. Он не мог понять, почему у меня такой потрясенный, уязвленный вид. Почему у меня такой вид, как будто меня внезапно и коварно пырнули в бок ножом — длинным и зазубренным.

— Ну да. Я позвонил Чету… Он же ваш агент.

Сверху, из громкоговорителей, снова раздался божественный глас, сообщивший, что до эфира осталось три минуты.

— Ладно, Джеки, мне тут еще кое-что нужно уладить. За вами придет мальчик, минут за пять до вашего выхода. Ни пуха ни пера!

Боб ушел.

Я остался сидеть, не помня себя.

Я стоял за кулисами.

Эд сидел перед камерами и говорил:

— …Прямо здесь, на этой сцене… Сенсационный молодой… Телевизионный дебют…

Не мог сосредоточиться на словах, не мог даже…

Краешком глаза заметил, что кто-то подает мне жест, направив большие пальцы рук вверх.

Эд произнес мое имя.

Оркестр. Хлопки зрителей.

Мои ноги подрагивали. Ладони покрылись испариной.

Я вышел на середину сцены…

Стой прямо. Обязательно иди прямо.

Вышел к звездочке, нарисованной посреди пола…

Будь уверен в себе. Владей моментом.

Мое сердце заколотилось со сверхзвуковой скоростью, и его стук заглушил для меня все остальное. Я взглянул на зрителей, но не увидел их, ослепленный ярким электрическим светом, бившим мне прямо в глаза. Только темные силуэты — живое чернильное пятно. Хлопающие тени — и телекамеры. Три громоздких чудища, нацелившие на меня свои глазищи. Через них вся Америка смотрела на меня.

И улыбнись. Обязательно…

Не смог выдавить из себя улыбку.

Не смог.

Аплодисменты стихли.

Наступила тишина.

Снова тишина. Та самая тишина, на дно которой я заглядывал вот уже столько лет. Пустой провал.

Только…

На этот раз провал не был пустым. На этот раз, словно перед умирающим, передо мной начал крутиться фильм моей собственной жизни, у меня перед глазами стремительно проносились картинки из прошлого. Название: «История Одного Человека». Вот я, много лет назад, за семьдесят кварталов отсюда, в совершенно другом мире, смотрю по телевизору шоу Салливана в гостях у Бабушки Мей. Вот я работаю в эстрадных театриках, в клубах Виллиджа, а вот «Копа», Тахо и Лас-Вегас, вот звезды, на разогреве у которых я выступал, вот представления, которые я завершал. Я увидел со стороны, как я осилил дорогу и взобрался на гору. Я увидел все то, без чего мне никогда бы не подняться туда, где я теперь стоял.

Чего мне это стоило!

Я увидел, как я кривляюсь и несу чепуху, чтобы

работяги в лагере лесорубов не избили меня. Как танцую перед южанами-расистами, чтобы те меня не линчевали. Как трусливо увиливаю, когда Фрэнсис ставит на кон свою карьеру, только чтобы поцеловать меня. Как меня травят из-за Лилии голливудские громилы. Как я женюсь на женщине, которая мне безразлична. Как упускаю женщину, которую любил больше и дольше всего на свете, и позволяю ей ускользать все дальше и дальше от меня.

А потом — как я выбрасываю из своей жизни Сида Киндлера, чтобы какой-то посторонний парень мог сделать вид, будто это он меня протолкнул куда нужно.

Чего мне это стоило.

Чего мне это стоило…

Это стоило мне всего.

В приступе внутренней опустошенности я отчетливо увидел, как Джеки Манн виляет и кланяется, лебезит и пресмыкается, лизоблюдствует и подличает, унижается и раболепствует, скулит и все рвет, рвет от себя клочки, и все рвет, рвет себя на клочки, пока наконец то, что от него остается, не превращается в невидимку без голоса и без лица.

Джеки Манн.

Джеки Манн?

Джеки Ничтожество. Я стал ничтожеством. Я не стал ничем иным, кроме как ничем.

Джеки Манн?

Джеки Манн.

Я обратился к зрителям, я обратился ко всему миру:

— Добрый вечер, я — Джеки Манн… Я — негр. Я сообщаю вам об этом, потому что я не всегда был негром. Раньше я был цветным. Насколько я понимаю, скоро мы начнем называть себя чернокожими. Мы постоянно меняем самоназвание. Наверно, мы надеемся, что белые окончательно запутаются — и тогда нас наконец полюбят: «Ненавижу этих…» — «Кого?» — «Да этих, ну как их… цве… не…че… Не все ли равно!» Мне кажется, негры начинают наконец-то пользоваться уважением. Раньше, если ты негр, ты должен был садиться в конец автобуса, топтаться в конце очереди. А теперь, когда отправляют солдат во Вьетнам, все, как один, твердят: «Ах нет, пожалуйста, вы, негры, идите первыми, мы вас пропускаем». Что ж, я думаю, из негров во Вьетнаме получатся очень хорошие солдаты. Нас пошлют в чужую страну, где нас ненавидят, где люди ни за что ни про что рвутся нас убивать.

А для нас это — привычные будни где-нибудь в Бирмингеме, штат Алабама. Я даже не уверен, идут ли там, во Вьетнаме, вообще какие-нибудь боевые действия. Наверно, это губернатор Уоллес наконец-то нашел правильный путь к интеграции: «Ну вот, вы, негры, давайте живо полезайте вот в этот корабль и плывите отсюда… а мы все потом за вами приедем».

Люди не смеялись. Черта с два! Люди стонали. Они стонали и стонали, их стоны накатывали волна за волной. Эта подкованная, толковая нью-йоркская аудитория еще никогда не видела, не слышала, не встречала ничего похожего на меня — молодого чернокожего комика, который заливал не насчет теши или своего последнего сумасшедшего свидания — который измывался над своей черномазостью. Я уверенно вышел на сцену и бросился в бой. Я постоял за себя, за свой народ. Мои байки били прямо в цель. У меня была своя позиция, своя точка зрения.

У меня был свой голос.

Я исполнил один номер — про то, что не хочу собирать хлопок, поэтому даже кусочка ваты из флакончика с аспирином не вытащу, — и мне пришлось замолчать, такой тут поднялся хохот с хлопаньем пополам. Мне пришлось подождать,

пока публика не нахлопается досыта.

Я начал мысленно подрезать свои сюжеты из боязни, что́ к отпущенным мне пяти минутам добавятся еще три.

Пять минут.

И я их заполнил. Я заполнил их настолько, что они лопнули. Если и был еще такой ловкий комик — подскажите мне кто. Если и был человек смешнее меня, напомните мне его имя. На протяжении тех пяти минут я был свеж, остер и опасен. Я превзошел самого себя. Таким мне уже никогда не суждено было предстать.

И ни один человек, кроме тех, кто находился в студии, никогда не увидел и не услышал ни единого слова из моего выступления.

* * *

Думаю, они были начеку. После того маленького представления во время репетиции, несмотря на все мои обещания, они были готовы к тому, что Джеки Манн может понести отсебятину. А может, там каждую минуту были готовы вообще к любому подвоху: как-никак, прямой эфир. Словом, кто-то уже сидел у пульта с пальцем наготове, чтобы нажать на выключатель. Как только я произнес свою первую фразу, как толь-

ко заикнулся о том, что я чернокожий, на этот выключатель нажали. Меня вырубили из эфира. Большая часть страны в течение пяти минут вместо меня видела надпись «ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВАЙТЕСЬ У ТЕЛЕВИЗОРА».

При ретрансляции на Западное побережье вместо меня в передачу вставили медведя-велосипедиста из Московского цирка.

А потом со мной по-настоящему расправились.

Эд Салливан — добропорядочный, степенный Эд Салливан — обливал меня такой грязной руганью, что от нее даже у пьяных матросов, наверное, закровоточили бы уши. Эд требовал от меня ответа за содеянное, называл меня пакостником, говорил, что я ему страшно напакостил, но теперь он мне напакостит еще больше за учиненную ему пакость. Таково краткое и цензурное изложение его более бессвязной и пространной отповеди, которую он обрушил на меня с лихорадочной горячностью; но в целом смысл его речи сводился к этому.

А Эд был человеком слова. Он сдержал свое слово и сильно мне напакостил. Он распустил про меня слухи, и какие слухи: Джеки Манн — не комик, а настоящий псих, он способен запустить в прямом эфире трехэтажным матом. Нанимайте

его, если не боитесь рисковать.

В начале 1960-х никто не хотел брать на себя подобного риска.

Чет, почувствовав себя преданным, — к тому же ему досталось от Эйба Ластфогеля, которому, в свой черед, досталось от Эда Салливана, — бросил первую пригоршню грязи на останки моей карьеры. У меня был подписан контракт с «Уильямом Моррисом» на два года. «Уильям Моррис» больше не собирался устраивать мне никаких ангажементов. Во всяком случае, в приличных клубах. Подвальчики, погребки в Виллидже — там мне позволялось работать. Позволялось. Но на протяжении двух лет ни одному заведению, где бы количество зрителей превышало количество тараканов, ползающих по углам уборной, не разрешалось нанимать Джеки Манна, даже попросись он хоть мыть посуду.

Податься мне было некуда — ангелы-хранители улетели от меня. Я сам сжег мосты, соединявшие меня с Фрэнком К. Теперь он даже не шевельнул бы своим наманикюренным пальцем, чтобы спасти меня. Фрэнк С. тоже от меня отвернулся после того, как наше агентство, «Уильям Моррис», ознакомило его с собственной версией правды о Джеки Манне. Для человека, вечно мелькавшего

в газетных колонках сплетен, Фрэнк на удивление доверчиво глотал всякую гадость, которую ему рассказывали о других людях. Смоки? Сэмми попытался сделать самую малость, чтобы все как-то уладить, позвонил туда, сюда. Пообещал помочь мне — как я помог ему однажды, за несколько лет перед тем.

Я тогда помог ему, предав его.

Я даже думать не хотел о том, как он может помочь мне.

Звонила Фрэнсис.

Наверняка она прослышала о том, что на самом деле произошло с шоу Салливана. В ту пору телешоу Фрэнсис уже теряло накал, но у нее по-прежнему сохранялось влияние, связи. Фрэнсис еще могла бы дать новый толчок моей карьере.

Поэтому она и звонила. Она звонила и звонила. Я не ответил ни на один ее звонок. Я даже на секунду не подумал о том, что можно позволить ей окончательно загубить карьеру из-за помощи своему лучшему, самому давнему и дорогому другу, который доказал свою преданность тем, что, считай, плюнул ей в лицо.

Сид тоже пытался связаться со мной. Ему в этом повезло не больше, чем Фрэнсис.

Тамми так ни разу и не позвонила. Не думаю,

что она даже пробовала это сделать. Как бы то ни было, я никогда не получал вестей от нее. Но о ней слышал. Создав группу с Марвином Гаем, Тамми наконец-то совершила прорыв, и какой успешный прорыв! Я всегда знал, что ей это удастся. Их дуэт записывал хит за хитом. «Нет на свете такой высокой горы», «Если б я могла весь свой мир выстроить вокруг тебя», «Нет ничего лучше того, что есть».

«Ты — это все, что мне нужно».

Я просто отпал, когда услышал эту песню в первый раз. Никогда еще голос Тамми не звучал лучше, никогда еще она не выражала такой страсти и эмоции. Ее голос, этот ее бесценный дар, всегда заставлял тебя чувствовать то, что чувствовала она, пробуждала во мне любовь. Он заставлял меня снова и снова ощущать ту рану в душе, которая не поддавалась исцелению.

В 1967 году во время концерта в Хэмпден-Сиднейском колледже в Вирджинии, как раз завершая песню «Твоя бесценная любовь», Тамми упала на сцене. Ее отвезли в больницу. Диагноз: опухоль мозга.

Три года.

Три года бесплодной борьбы за жизнь. За это время она, всегда такая хрупкая, похудела почти

на сорок фунтов, потеряла память и контроль над мышцами. Три года — и восемь операций, перенесенных в течение восемнадцати месяцев. Три года безуспешных попыток снова записать альбом, которые кончились тем, что вокал Тамми в последних песнях, на которых стояло ее имя, пришлось писать другой девушке.

16 марта 1970 года Тамми Террелл, Томазина Монтгомери, умерла в Филадельфии. В тот день закончились ее трехлетние мучения.

Когда ее не стало, мне подумалось о наших с ней спорах: сколько раз Тамми стискивала голову, начинавшую болеть от бесконечной чепухи, которую я обрушивал на нее. А потом мне подумалось о моем отце и о том, как он замучил мою мать до смерти. А потом мне подумалось, что, кто знает, вдруг яблоко от яблони и в самом деле недалеко падает?

Для меня наступили годы потерь.

Началось с того, что я не смог попрощаться с Тамми. К тому времени, когда я узнал о ее болезни, долго скрывавшейся от публики — а я был теперь для Тамми только публикой, — ее уже не стало. Я стал размышлять, не отправиться ли мне на похороны.

Потом подумал — а кому я там нужен?

И не поехал.

Дружба Фрэнсис оказалась для меня потерянной навсегда. Хоть она и пыталась связаться со мной, но мой стыд помешал нам поговорить с ней еще хоть раз. За дальнейшей жизнью Фрэнсис я следил лишь как заинтересованный, но безучастный наблюдатель. Со временем ее телешоу выдохлось, и его закрыли. Ее альбомы перестали продаваться. Она сыграла пару ролей в кино, но так и не прорвалась на большой экран. Ее карьера как-то сошла на нет, но это, похоже, мало что значило для нее. За годы работы Фрэнсис успела накопить денег и правильно ими распорядилась. Поместила большую часть денег в банки, а на оставшиеся купила участок земли под Санта-Барбарой. Большой участок земли. К тому времени, когда шоу-бизнес покончил с ней, она тоже покончила с шоу-бизнесом: она больше не нуждалась в работе. Но Фрэнсис всегда производила впечатление милого и искреннего, порядочного человека. Она производила на всех такое впечатление, потому что именно таким человеком и была. Поэтому, естественно, жирные крупные корпорации пожелали, чтобы милая, искренняя Фрэнсис пропихивала их продукцию. Она согласилась и участвовала в их коммер-

ческих передачах, и люди любили ее даже за это — за рекламу разных товаров. Некоторым зрителям она вообще была известна только в этой роли. Но даже и этого, в придачу к ее индивидуальности, оказалось достаточно, чтобы вновь оживить ее популярность, и ей дали вести утреннее ток-шоу, которое продержалось еще несколько лет. А когда и оно закрылось, то Фрэн уже окончательно и официально удалилась с телеэкрана. Помимо вечеринок для старой голливудской гвардии, которые Фрэн устраивает, она раз в год показывается на гольф-турнире, спонсируемом жирной крупной корпорацией, для которой она нахваливала товар, и названном ее именем. Я даже не уверен, играет ли в гольф сама Фрэн.

Малыш Мо, Моррис, был убит вместе с Фредом Хэмптоном во время полицейской облавы в здании «Черной Пантеры» в Чикаго, в 1969 году[55]. Копы, ворвавшиеся туда среди ночи, сделали больше сотни выстрелов. Моррис не сделал ни одного выстрела. Он был безоружен.

---

[55] Примечания: 55

Партия «Черная Пантера» (осн. в 1966 г.) — политическая организация негритянских активистов, пропагандировавшая насильственные действия во имя достижения равноправия чернокожих с белыми. К началу 1980-х гг., подорванная изнутри распрями и соперничеством ее лидеров, фактически сошла со сцены социальной борьбы.

Фрэнка Костелло не стало в 1973 году. В отличие от большинства мафиозных главарей, он ушел сам, никто ему не споспешествовал в этом. Бобби похоронила его в шелковом костюме. Он оставался щеголем до самого конца.

Лилии со временем надоело кино, она покинула Голливуд, покинула Америку, сбежав замуж за какого-то принца, не то за султана, не то за эмира, не то еще за какого-то баснословного богача. Со временем он ей тоже надоел, и она бросила его ради какого-то молодца, который зарабатывал на жизнь тем, что управлял парусными кораблями. Потом и я, и остальной мир устали следить за скачками ее настроения и предоставили Лилии тихо растаять в туманной дымке.

Сэмми Дэвис по-прежнему оставался крупной звездой, затем звездой уже не такой крупной, а потом превратился просто в человека-легенду, который был знаменит тем, что таскался с белыми девицами и обнимался с Никсоном. О нем ходила и другая легенда — что он был чертовски талантливый актер эстрады, но эта легенда почему-то явно отступала на второй план, главным же представлялось то, что он таскался с белыми девицами и обнимался с Никсоном. В конце концов многолетнее курение настигло Куриль-

щика-Смоки. Рак горла. Еще до того, как Сэмми Дэвис навсегда отправился в Вечное Казино, когда у него, исхудавшего и изможденного болезнью, после операции остался лишь шепот взамен прежнего несравненного голоса, Голливуд уже поспешил со своими звездными подношениями, наградами и почестями, которыми он так любит осыпать умирающих светил: «Мы будем скучать по тебе, дружище. Вот тебе почетный значок; спасибо, что станцевал». После его смерти от нового черного Голливуда, от молодого черного Голливуда посыпались сплошные похвалы в его адрес: дескать, какой же Сэмми был талант, и что он был настоящим Джеки Робинсоном от шоу-бизнеса, и что если бы Сэмми не водил дружбу с белой братией, не останавливался в белых гостиницах, не миловался с белыми звездульками и не делал всего того, что ему только взбредало в голову и за что ему всегда так влетало от чернокожей общины, — то где бы «мы» были сейчас!

Забавно… Хотя нет, чего уж тут забавного. Грустно. Очень грустно. Наконец Сэмми завоевал то уважение, которого он добивался всю жизнь, но для этого ему вначале пришлось умереть.

И наконец, Синатра. Он прожил на свете восемь десятилетий с лишком, причем больше пяти из

них — уже будучи знаменитостью из знаменитостей. Мы слушали его записи, смотрели его фильмы, читали все до одной сплетни — правдивые или лживые, хорошие или плохие, — какие о нем распускались в печати. Но, мне кажется, если бы Фрэнк прожил в десять раз и еще на десять десятилетий дольше, то даже тогда мы бы так никогда по-настоящему и не узнали этого человека. Он одинаково легко радовался жизни в обществе принцев, президентов, сутенеров и гангстеров. Он мог сердечно обнять человека, а уже в следующую секунду с не меньшим удовольствием оставить от него мокрое место. Но Фрэнку прощали это. Ему прощали это, потому что, если бы он хоть на долю процента изменился, то уже перестал быть Синатрой. А в конце-то концов быть Синатрой — это все, что умел Фрэнк. Пусть есть певцы лучше него, пускай нетрудно отыскать более талантливых актеров, да и более яркие личности тоже найдутся, но я сомневаюсь, что когда-нибудь кто-нибудь еще сумеет столь легко, безмятежно и совершенно справиться с ролью звезды, как это удавалось Фрэнсису Альберту Синатре.

Я вернулся из изгнания, куда меня сослали Эд Салливан и агентство «Уильям Моррис», но так

никогда и не оправился от этого. Те два года, на которые я выпал из прежней жизни, с таким же успехом могли бы оказаться сотней лет. Клубы, большие модные клубы, регулярно закрывались. «Сайрос», «Копакабана», при всем своем могуществе, безуспешно сражались с неминуемой гибелью. Толпы поредели. Для большинства людей куда более удобным местом развлечения становились гостиные. В новом мире стиль времяпрепровождения в ночных клубах, среди певичек и коктейлей, выглядел самопародией.

Этот новый мир был таким местом, где устраняли президентов, а также их братьев, а также борцов за гражданские права — по списку. Войны разыгрывались в ночных выпусках новостей, на улицах, в университетских кампусах и практически всюду, кроме собственно военных зон. Наступило время протеста, расового смешения и свободной любви, тихой ярости и раздора между поколениями.

И люди говорили об этом. Комики проходились на этот счет. Тебя считали избитым, старомодным занудой, отставшим от жизни, если ты этого не делал.

К тому моменту, когда я вернулся из небытия, выяснилось, что голос, который я обрел в тот

вечер на шоу Салливана, уже не был единственным в своем роде: он был всего лишь одним из многих. Я оказался даже не бывшим, а никогда не бывшим.

Но я продолжал работать, соглашался на любые выступления, какие мне перепадали, потому что… Даже не знаю почему. Потому что поначалу у меня теплилась слабая надежда, что мне еще удастся обрести новый голос, прорваться через общий гвалт и пробиться поверх чужих голов. Когда же эта мечта окончательно лопнула, то я продолжал выступать просто потому, что не представлял, чем еще можно заняться. Среди неуклонно редеющих толп, во все более скромных заведениях, еще мелькали кое-какие знакомые лица — люди, которых можно было, пожалуй, считать приятелями. Это была жалкая пантомима жизни: без друзей, без семьи и без возможностей, очень далекая от той картины, о какой я когда-либо мечтал. Но, вероятно, весьма близкая к существованию, которого я заслуживал.

Наши дни

Снова поздние ночные часы. Выхожу на сцену, стараюсь выжать смешки из кучки пьянчуг. Снова. Никаких стриптизерш. Теперь их нет. Только я — и пьянчуги да тридцать лет, отделяющих начало моего пути — от финиша.

Тридцать лет.

За это время я нажил возраст, морщины, квартиру, которая некогда символизировала мое продвижение вперед и наверх, а теперь снимается в соответствии с содержимым моего кармана. А еще — комедийные выступления в поздние ночные часы. Да, это я раздобыл. Снова.

В одну из таких поздних ночей, переходивших в раннее утро, я встретил в одном вест-сайдском клубе комика, с которым давно был знаком. Как и я, он был уже далеко не молод. Мы с ним неплохо ладили. В окружении всех этих новых лиц, свежих лиц, которые постоянно возникали в комедийных клубах, мы с ним, пара бывалых корешей, ощутили себя чуть ли не друзьями.

После выступлений, сидя в баре, мы выпивали, обменивались историями о прежних днях, дели-

лись информацией о том или ином владельце клуба, который еще мог бы подкинуть зрелому исполнителю работенку. С возрастом находить работу отнюдь не становилось легче. Не важно, каков ваш номер, — более проворными оказывались молодые. И ангажементы доставались молодым.

И тогда этот мой знакомый комик пожаловался, что он какое-то время работал с Сидом, но потом, когда тот умер, ему пришлось буквально бороться за выживание.

Я задохнулся, поперхнулся, услышав это.

Мой собеседник воскликнул:

— Так ты не знал?!

Нет. Я не знал. Но мог бы сообразить. Сид был немолод, когда я познакомился с ним. Прошло уже двадцать лет со времени моего последнего с ним разговора. Так что — я не знал, но мог бы сообразить. Но когда я это услышал, когда я услышал, что Сида больше нет…

Мой собеседник сообщил кое-какие подробности. Это произошло несколько лет назад. Он умер во сне. Мирная кончина. Заметив, какое у меня сделалось выражение лица, комик спросил, все ли со мной в порядке.

Я ответил, что да, все в порядке. Это было

неправдой. Я отказался от очередной порции выпивки, пожелал своему приятелю всего хорошего.

Я вернулся домой.

Немного подумал.

И додумался до того, что мне нужно… нужно что-то сделать. Может быть, было слишком поздно что-то делать, но ведь Сид умер, и, не важно, сколько прошло лет, не важно, как давно мы с ним в последний раз говорили, я знал, что не могу позволить ему просто так уйти в небытие, не сделав… не сделав чего-нибудь.

Брат. У Сида был брат. Я произвел кое-какие розыски, расспросил людей, которые знали Сида. Раздобыл телефонный номер. Дом престарелых. Позвонил туда. Результат был плачевным. Брат Сида тоже умер.

Дочь брата. У Сида была племянница. Пришлось просить. Умолять. Играть против правил. Какая-то женщина из дома престарелых сообщила мне имя и телефон племянницы Сида.

Я позвонил.

— Алло?

— Могу я поговорить с Эллисон Уоллак?

— Эллисон — это я.

— Простите за беспокойство, я бы не хотел…

Меня зовут Джеки Манн. Я был другом вашего дяди. Мы с ним давно не общались. Пожалуй, что очень давно. Я только сейчас узнал о его смерти и хотел… — Я смолк. — Ваш дядя был таким замечательным человеком. Он был… Я просто хотел, чтобы кто-то знал, что его помнят.

Пауза.

— Джеки Манн?

— Да.

— А вы сейчас в городе?

— …Да.

— А мы бы не могли с вами увидеться? У меня есть кое-что, и мне нужно… и я хотела бы вам это передать.

Кое-что…

Да. Я сказал Эллисон, что да, мы очень даже можем увидеться. Я буду рад. Я предложил встретиться на следующий день, но она решила, что чем раньше, тем лучше: сегодня вечером. Мы назначили время.

Кафе в Виллидже. Теперь здесь все было иначе — не так, как в прежние дни. Теперь здесь не собирались поэты, художники и битники. Теперь это было заведение, где предлагали пятьдесят сортов «Фольджерса» и кругом околачивались персонажи, мечтающие стать актерами и сетую-

щие на свою собачью жизнь.

Я сразу узнал Эллисон, едва она переступила порог кафе. Она оказалась красивой женщиной лет, наверное, под сорок. Зрелость очень шла ей. Но особенно узнаваемой ее делало выражение глаз, напомнившее мне Сида.

Мы поздоровались. Сели за столик, минутку помолчали. О чем нам было говорить? Чужие люди. Нас объединял только человек, которого больше не было. Потом Эллисон достала из кармана пальто конверт стандартного размера. Помятый, выцветший, похоже, он долгие годы меня дожидался.

— Перед смертью дядя Сид передал этот конверт моему отцу, попросил непременно сохранить его, причем так попросил, что стало ясно: это важно. И точно так же мой отец перед смертью передал его мне. Наверное, дядя знал… во всяком случае, надеялся, что когда-нибудь вы объявитесь.

Эллисон протянула мне конверт. На нем почерком Сида было написано только одно слово: Джеки.

Я взял конверт. Раскрыл. Внутри оказалось письмо:

Джеки,

Надеюсь, тебе никогда не придется читать это письмо, надеюсь, все, что хочется сказать тебе, я смогу сказать при личной встрече. Но если этого не произойдет, тогда за меня все скажет мое письмо.

Джеки, я даже не могу тебе передать, как мне хотелось присутствовать на твоем выступлении в шоу Салливана.

Я понимаю, как важно было это шоу для тебя, для твоей карьеры, и после всего, через что мы вместе прошли, пусть из тени, я хотел оказаться там и разделить с тобой этот вечер. Но это был твой вечер. И я подумал, что лучше остаться дома. Я смотрел шоу по телевизору. Когда тебя вырубили из эфира, я был ошарашен и разозлен: ну надо же, какое невезение! Ты так старался, столько мечтал об этом — и вдруг какая-то техническая незадача — как раз во время твоего номера! Впрочем, я все же порадовался за тебя. Я знал, что Салливан снова пригласит тебя, а случившаяся промашка только привлечет к тебе внимание прессы. Но тебя больше не приглашали, да и в прессе ничего не появилось, и я не мог понять, что же, черт

возьми, произошло.

Я расспросил кое-кого. Я все выяснил.

Не знаю, каковы были обстоятельства, не знаю, почему ты выбрал именно тот момент из всех возможных, но, Джеки, у меня нет слов, чтобы выразить тебе, как я горжусь тобой, — тем, что ты решился исполнить свою «сан-францисскую» программу. Мне рассказывали, что ты был великолепен: уверенные, взвешенные и смешные шутки. Ты выступил таким комиком, каким, я всегда это знал, ты обязательно станешь. Я смотрю, куда за последние десять лет зашла комедия, зашла страна, и думаю: а где бы сейчас был Джеки, если бы тогда какой-то парень не нажал на кнопку и не вычеркнул его шутки из истории? Но если ты часом сомневаешься, правильно ли поступил, не лучше ли было бы исполнить тогда какие-нибудь другие шутки, нежели попасть на обочину, — то не сомневайся. Ты постоял за себя, Джеки. Ты сделал то, на что имел полное право. Ты доказал, что ты — сам себе господин, и в конечном счете у тебя могут отнять все остальное, но никто не

отнимет у тебя главного — твоей сути: ты — смешной комик и исключительный человек. Спасибо тебе, Джеки. Спасибо за то, что ты позволял мне представлять тебя миру. И спасибо за то, что ты был моим другом.

Сид.

Когда я добрался до слов «моим другом», до подписи, по моему лицу уже вовсю бежали слезы, капая на бумагу. Я хотел было смахнуть их, вытереть влагу. Но реку просто так не вытрешь. Я перестал и пытаться. Я сломился. Я спрятал лицо в руках, а руки опустил на стол — и весь стол затрясся от моих рыданий. Сквозь собственные всхлипы и вздохи я слышал, как шепчутся люди, которые оказались невольными свидетелями моего покаяния. Пусть шепчутся. Я навсегда прощался с другом.

Я почувствовал прикосновение руки к моей спине. Эллисон. Услышал ее шепот. Это была заупокойная молитва, каддиш, в которой таились и сила, и прощение, — на древнееврейском, так что я не понял ни слова. Но прикосновение молитвы, ее звуки подействовали на меня так, что я принялся рыдать еще сильнее. Эллисон оставалась

со мной, пока я не выплакался.

Потом она спросила, все ли со мной в порядке.

Внутри меня с годами накопилось чувство вины. Оно давило такой тяжестью, что я едва выносил его вес, но очищения не наступало. Письмо Сида сняло с меня этот груз вины. Когда он упал, этот груз, я ощутил — впервые за без малого двадцать лет, — что могу дышать глубоко, безвинно и честно.

Я ответил Эллисон, что со мной все в порядке.

— Рада была с вами увидеться, Джеки. Всего наилучшего.

Эллисон ушла.

Очень, очень аккуратно сложив письмо Сида, я поместил его обратно в конверт, а конверт положил в карман.

Через некоторое время я подозвал официантку и заказал сырники с земляникой. Официантка принесла мне сырники. Без земляники. Со взбитыми сливками. Я вежливо отослал тарелку назад и велел ей принести мне то, что я просил.

* * *

Я по-прежнему немного работаю. Когда подворачивается работа. Комедийный бум, начавшийся в восьмидесятых (тогда клубы плодились

как грибы, на каждом шагу, а выступления в прямом эфире появлялись на каждом кабельном канале), сошел на нет в начале девяностых. Само искусство — а я зову это искусством — прошло полный цикл. Комики перестали разжигать сердца и почти все сделались на одно лицо, будто упаковки майонеза из супермаркета, так что на них перестали обращать внимание. А еще все они наперебой демонстрировали небывалое умение едко и метко оценивать состояние общества, ругаясь, и ругаясь, и ругаясь — просто по той причине, что ругаться стало можно.

Замрите на секунду — и вы услышите, как Ленни ворочается в гробу.

Ну да ладно.

Те заведения, что еще остались, не видят почти никакого прока в старике, чье время давно прошло: зачем ему шаркать по их сцене?

…Но еще остаются казино.

Америка одержима азартными играми, и теперь повсюду полно казино. Тематические казино, индейские казино, казино на борту речных пароходиков. И в каждом казино имеется зал для отдыха, а каждому такому залу требуется артист. Человек моих лет, очевидец «золотого века» Лас-Вегаса, им очень даже подходит; я собираю

приличное число зрителей — в основном моего возраста или даже чуть старше, которые хотят заново прожить свое прошлое. Иногда приходит публика помоложе: эти ребята желают приобщиться к атмосфере «Крысиной Стаи», пользуясь любой возможностью, находя любой способ — потягивая виски с содовой и мартини, куря сигары, но не понимая, что для таких парней, как Фрэнк, Сэмми и Дайно, все эти детали были лишь примочками, незначащими аксессуарами. Для участников «Саммита» пофигизм был состоянием души.

Не важно.

Я работаю. Я исполняю свои номера, как всегда. Как всегда — но, по прочтении письма Сида, — иначе, чем раньше. Раньше, выходя на сцену, я постоянно думал о том, что нужно идти вперед, рваться наверх, приобретать известность. Мечтал стать «кем-то». Выступление было лишь средством для достижения этой цели. Ничем больше.

А теперь…

Теперь все гораздо проще — теперь все так, как всегда должно было быть, но как никогда не было: я просто пользуюсь маленьким даром, которым наградил меня Бог, чтобы развлекать людей. Смешить людей.

Этим я и занимаюсь. Десяток зрителей, сотни — я выхожу на сцену и наслаждаюсь моментом. Чаще всего представления проходят хорошо. Обычно все остаются довольны. А иной раз, неизвестно по какой причине — то ли я вхожу в раж, то ли публика настраивается на мою волну, а может, и то, и другое, и еще тысяча причин, начиная с того, что где-то в Китае вспорхнула бабочка, — иной раз я бываю в ударе. По-настоящему в ударе. Мои шутки так же остры, а следующий за ними смех так же оглушителен, как в ту пору, когда я выступал в «Сэндз», в «Копе» или в «Сайрос». Случается, я произношу остроту, а потом, как бывало раньше, мне приходится замолкать, стоять и ждать, пока публика не прекратит хохотать и корчиться от смеха. И вместе с их хохотом и аплодисментами…

Вы, пожалуй, скажете, что я впадаю в банальность. Скажете, что я всего-навсего сентиментальный старый осел. В свое время как только меня не называли, так что, если хочется, обзывайте меня как угодно. Мне не жалко. Но внезапно, среди хохота и аплодисментов, я различаю голос моей матери, которая обращается ко мне, как будто стоит тут же, поблизости: «Ты — необыкновенный, Джеки Манн. И не слушай тех, кто

считает по-другому».

Может быть, с возрастом я просто стал более доволен собой, но, переборов все эти годы, я окончательно начинаю верить тому, что говорит мне этот голос.